957 83
Г 68

ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2003

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА МИЛАНА КУНДЕРЫ "КНИГА СМЕХА И ЗАБВЕНИЯ" / РАССКАЗ ДЖОНА АПДАЙКА "МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА" / ПОВЕСТЬ ЯНУША ГЛОВАЦКОГО "ПОСЛЕДНИЙ СТОРОЖ" / СТИХИ ИСПАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ МАРИИ ВИКТОРИИ АТЕНСИА / РОМАН ЛУИДЖИ МАЛЕРБЫ "ГРАНАДА-КЛУБ" / ЭССЕ СЬЮЗЕН СОНТАГ И РОБЕРТО КАЛАССО

Основан в 1891 году

[8]

2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Джон Апдайк. *Многообразие религиозного опыта.* Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн

20 Милан Кундера. *Книга смеха и забвения.* Фрагменты романа. Перевод с чешского Нины Шульгиной

65 Мария Виктория Атенсиа. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

71 Януш Гловацкий. *Последний сторож.* Повесть. Перевод с польского И. Подчищаевой

137 Луиджи Малерба. *Гранада-клуб.* Роман. Перевод с итальянского Ф. Двин

**Статьи, эссе**

225 Сьюзен Сонтаг. *Болезнь как метафора.* Перевод с английского Марка Дадяна

258 Роберто Калассо. *Брак Кадма и Гармонии.* Глава из книги. Иосиф Бродский. *Вместо предисловия.* Перевод Е. Касаткиной

**Среди книг**

272 Ирина Адельгейм. *"Непереводимая игра слов (прим. перев.)".* Николай Мельников. *Смешной недуг мистера Эндерби*

**Курьер "ИЛ"** 281

**Авторы номера** 285

© "Иностранная литература", 2003

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".**

**Главный
редактор**

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
*заведующая отделом критики и публицистики*

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

А. М. Зверев
*заместитель главного редактора*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

**Общественный
редакционный совет:**

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

**Международный
совет:**

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

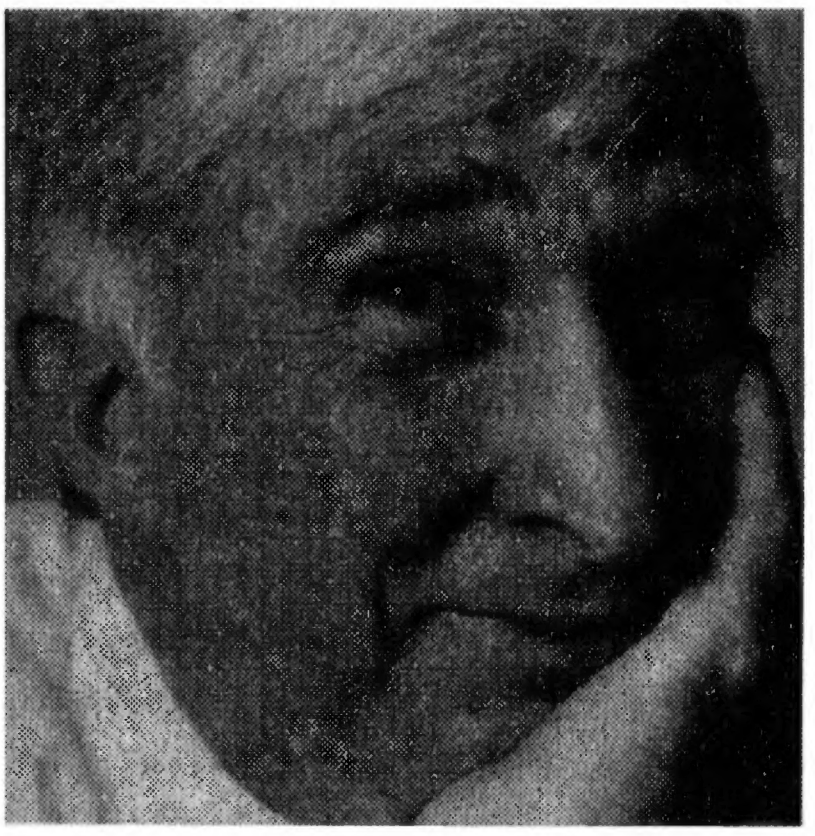
**Редакция :**

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

**Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).**

# Джон Апдайк





# *Многообразие религиозного опыта*[1]

**Рассказ**

*Перевод с английского* И. Бернштейн

*БОГА нет* – эта истина открылась Дэну Келлогу в ту минуту, когда он увидел, как рухнула Южная башня Всемирного торгового центра. Сам он жил в Цинциннати, но оказался в Нью-Йорке – гостил у дочери в Бруклин-Хайтс, где из верхней квартиры открывался вид на Южный Манхэттен, всего в миле по прямой. Он еще удивлялся: откуда это валит такой густой маслянистый дым и что за белые фрагменты, вроде кусочков картона, вьются внутри черного дымного столба, интересно, кто это и что там делает? – когда вдруг, как падает к ногам женщины шелковая рубашка, небоскреб уронил свои стены и исчез, оставив в воздухе серебристое шуршание. Земля снизу, где Дэну было уже не видно, отозвалась стоном и изрыгнула облако пепла и размельченной материи, и оно медленно, так показалось Дэну на расстоянии, стало разрастаться черным грибом. За рекой на одной ноте истошно выли сирены; а вокруг толпились посторонние здания из стекла и камня, сохраняя позы равнодушных, немых свидетелей. Почудилось ли Дэну, будто к безмолвному небу выплеснулся хор человеческих голосов – крик боли, вырванный тем безжалостным, бесчеловечным, что случилось? Или же он всего только примыслил эмоции долетевшему до него гулу удара? То была новая для него шкала явлений, подобных блицкригу или извержению

© by John Updike, 2002
© И. Бернштейн. Перевод, 2003

1. Это выражение Апдайк заимствовал у известного американского психолога и философа Вильяма Джеймса (1842–1910); так называется его книга, посвященная психологии религии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вулкана. Вслед за обвалом наступила оглушительная тишина, по крайней мере Дэн несколько секунд ничего не слышал.

Десятью этажами ниже, прямо под ним, у въезда в подземный гараж перешучивались два чернокожих служителя на дежурстве, один — сидя в алюминиевом кресле, но Дэну Келлогу их не было слышно, словно разговор шел под стеклянным колпаком или в немом кинофильме. Оба были в рубашках с короткими рукавами, в это сентябрьское утро с ясного неба лил летний зной. Единственное облако было созданием рук человеческих: плотную массу дыма, грязного, с желтыми закраинами, сносило к востоку, а снизу его пополняли все новые и новые клубы. Что башни в самом деле больше нет, не верилось. Как могло сооружение, такое грандиозное и сложное, вертикальный улей, возведенный по последнему слову науки, кишевший людьми, преимущественно молодыми, в одно мгновение запросто обрушиться под тяжестью собственного веса? Ответ был: по законам материи. Мелкое происшествие под огромным, неколебимым куполом небес. Десница Божья не принимала в этом участия, потому что ее не существует. У Бога нет рук, нет глаз, нет сердца — нет ничего.

Так Дэн Келлог, шестидесятитрехлетний юрист англиканского вероисповедания, с запозданием пришел к выводу, естественному для ребенка, оплакивающего смерть любимого хомячка, для женщины, потерявшей свое дитя, для миллионов людей, вовлеченных в беспощадную стихию войны или чумы. От осознания космической пустоты у него захватило дух, даже при том, что в этой новой истине содержалось и его личное небытие, подобно тому, как те белые кусочки картона содержались, невесомо взлетая и вращаясь, внутри столба из кипящего дыма. Дэн Келлог наконец примкнул к человечеству, идущему путем стоического атеизма. Всю жизнь он сопротивлялся этому знанию, прятался, молился, защищался верой своих предков из Огайо и изысканными, остроумными книгами былых времен — Кьеркегора, Честертона, — читанными в ранней молодости. Но ведь окажись он в том небоскребе (чье мгновенно текучее исчезновение было по-своему прекрасно, как цветной снимок суперновой звезды, только моментальный, точно взмах платком), будь он там, разве груз обрушившегося бетона и металла стал бы хоть на одну унцию легче, разве промедлил бы обвал хоть на одну миллисекунду в своем разрушительном, дробящем, испепеляющем низвержении?

Нет. Великое Нет пришло к нему не из мрака, как представил бы это религиозный миф, а солнечным днем с максимальной видимостью; "при беспощадной ясности", как описывали тот день впоследствии опрашиваемые летчики. Только после своего открытия, прострелившего навылет все его существо, Дэн, слабея ногами, в панике спохватился, что его дочь Гретхен занимается финансами, — правда, ее служба на этом берегу, но по делам она нередко бывает во Всемирном торговом центре, присутствует на деловых завтраках, которые устраивались на самом верхнем этаже, откуда никому не было спасения.

Ошеломленный, опустошенный, он покинул свой наблюдательный пост на крыше и вошел внутрь квартиры Гретхен. Флегматичная няня Люсиль, уроженка одного из Малых Антильских островов, и младшая внучка Дэна Виктория шести лет, простуженная и поэтому оставшаяся дома, сидели в библиотеке.

Библиотека — небольшая комната, где по стенам, обклеенным красными обоями, стоят ореховые книжные шкафы; книги еще тех времен,

когда Гретхен кончала среднюю школу, а потом бизнес-колледж, среди них — боевики времен холодной войны и устаревшие учебники по медицине, некогда принадлежавшие ее мужу, с которым она развелась, как и сам Дэн развелся с ее матерью. Люсиль задернула штору на окне, выходящем в сторону Манхэттена. Она объяснила Дэну: "Я ей говорю, не гляди в окно, но по телевизору все равно только и показывают что катастрофу, на какой канал ни переключи".

— Плохие люди, — обратилась к нему взволнованная Виктория, из-за насморка выговаривая слова еще невнятнее, чем обычно, — плохие люди хотят сломать все дома в городе Нью-Йорке.

— Ну, это уж было бы слишком много домов, Вики, — сказал он. При разговорах с детьми что-то неуступчиво-пунктуальное в его характере мешало мириться с неточностями.

— Почему Бог позволяет плохим людям делать зло? — спросила Виктория.

Был у него на это ответ, новообретенный, но он от него воздержался. Личико девочки раскраснелось, и не из-за простуды, а от зрелища, которое она успела увидеть в окно, пока не задернули штору. Дэн дал ей прежний ответ, усвоенный еще когда он был верующим:

— Потому что Он дает людям свободу самим выбирать между добром и злом.

Ее лицо — такие чистые линии и нежная фактура, "беспощадная ясность" — на секунду затуманилось, задумалось над этой теологией.

А потом она выкрикнула, широко раскинув руки:

— Плохие люди делают все что хотят — что ни захотят!

— Не всегда, — поправил он ее. — Иногда хорошие им не дают. Даже большей частью так.

В затененной комнате они были как три заговорщика. Люсиль сидела на диване, покачиваясь и тихо постанывая.

— Как подумаешь обо всех людях, что остались там, — приговаривала она словно бы про себя. — Я рассказывала Вики, у нас на Ангилье, когда я была девочкой, не было электрического света, и телефоны только для полицейских, они по острову ездили на велосипедах. Преступлений не было, если не считать, когда рабочие возвращались с трехмесячных работ и разбирались с женами за дурное поведение. Самый высокий дом имел три этажа, а люди безлунными вечерами не выходили из своих хижин.

Потом уже более энергичным тоном, предназначенным для ободрения слушавшей ее девочки, она сообщила Дэну:

— Пять минут назад звонила ее мама, работа на сегодня кончилась, мама возвращается домой, только не знает на чем. Может быть, придется идти пешком от самой Тридцать четвертой улицы.

У Дэна на сегодня тоже были планы: он собирался перед возвращением в Цинциннати съездить на метро в музей Уитни на выставку Уэйна Тибо[1] — она должна была скоро закрыться. В возрасте Виктории он мечтал работать на студии Уолта Диснея, делать рисованных зверюшек, которые умеют двигаться и разговаривать, и Тибо какое-то время тоже этим занимался. Дэну нравились его по-диснеевски конфетные яркие краски и энергичные пузатые фигурки. Но теперь посещение этой вы-

1. Уэйн (Мортон) Тибо (р. 1920) — американский художник.

ставки вдруг сделалось невозможным, отошло в идиллическое, безбаррикадное прошлое.

— Ну что ж, будем ждать маму, — сказал Дэн, стараясь взять на себя роль лидера. — Вот что, — объявил он, — давайте наделаем пончиков к маминому возвращению! Она, наверно, придет ужасно голодная!

И наклонившись, ткнул пальцем внучке в живот, как будто она и есть этот самый пончик из телевизионной рекламы.

Но девочка не захихикала, даже не улыбнулась. Из-под челки и прямой полоски бровей глядели болезненно блестящие серьезные глаза. Ее интересовало, что еще происходит там, за окном, куда ей не разрешается смотреть. О том же думала и Люсиль, но не позволяла себе включить телевизор. И Дэн тоже не позволил себе еще раз выйти на крышу, чтобы удостовериться в своей космической интуиции.

Через час появилась Гретхен, целая и невредимая, но потрясенная и вся в поту от непривычного пешего перехода из Манхэттена по мосту в толпе таких же беглецов. Тридцатисемилетняя дочь Дэна, крепкая, стройная деловая женщина, женщина-солдат, решительно отличалась и от робкого, осмотрительного отца, и от вялой, мягкотелой сибаритки-матери. Она сразу включила Си-эн-эн на маленьком кухонном телевизоре и с осуждением принюхалась к запаху свежеиспеченных пончиков. "Мы стараемся отучить Викторию от сладкого, — заметила она отцу, а когда он стал объяснять, что они с Люсиль хотели таким образом отвлечь девочку от происходящего, Гретхен распорядилась: — Пусть немного посмотрит. Это история. Грандиозное событие. Такие вещи нельзя скрывать". В Бруклин-Хайтс, рассказала она им, закрыто автомобильное движение, и люди с портфелями, обсыпанные пеплом, движутся пешком по середине Генри-стрит. Спрятав теплые пончики на недосягаемую полку, она послала Люсиль привести из школы старшую сестру Виктории Гермиону, отца отправила в супермаркет со списком, что купить, а сама с Викторией пошла в банк снять побольше наличных денег на случай, если начнется неразбериха.

На Монтегю-стрит был в разгаре обеденный час, над столиками снаружи, как всегда, стоял гул голосов, но какой-то неестественно натужный, как будто обедающих снимают скрытые телекамеры. Уличные сценки казались театральными, даже мальчишки, ошивающиеся возле супермаркета, были исполнены сознания собственной значительности и всеобщего внимания. В воздухе стоял едкий запах и сыпались сверху снежинки сажи. На Дэна эти внешние впечатления, поступающие от органов чувств, действовали резче обычного, так как мозг его был теперь свободен от присутствия Бога. В прежней жизни простого здравого смысла без Бога ему было недостаточно; думалось, что так не отдается справедливая дань восхищения чудесам Вселенной. Теперь ему было показано воочию, как мало дела Вселенной до его доброго мнения. Он катил перед собой магазинную тележку. Никакой толпы охваченных паникой покупателей в магазине не наблюдалось, наоборот, торговый зал казался пустоват и словно бы темнее обычного, сумеречнее, болезненнее — похоже на какое-то дохристианское подземное царство, Шеол, или Гадес, или как там оно у них называлось. Люди продвигались по рядам, задерживаясь у коробов с пряниками и у полок с консервами, словно первый раз в супермаркете, и неуверенно оглядывались друг на друга, узнавая и не узнавая знакомых.

Дэн вернулся, увешанный четырьмя пластиковыми пакетами, по два в руке, тяжесть апельсинов, молока и клюквенного сока оттянула ручки, и они врезались в ладони. Гретхен с деньгами и с планами на ближайшее будущее была уже дома. На уличных столбах появились объявления: кровь сдавать можно в гостинице "Марриотт" рядом с муниципалитетом; а в церкви Милосердия в шесть часов состоится специальная служба.

В "Марриотте", среди притихшей толкотни, отец с дочерью заполнили подробные анкеты и из громкоговорителя услышали, что им следует пока идти домой, банк крови переполнен, сейчас больше не нужно, но если потребуется, они в списке. В церкви Дэн, отыскав для себя и своих четырех спутниц место на задней скамье, задумался о том, какое все-таки животное человек: мы, точно собаки, ползем на брюхе, чтобы лизать руку Бога, который, если Он существует, только что дал нам свирепого пинка. Чем больнее Он нас пинает, тем упоеннее мы пресмыкаемся и лижем Ему руку. Большая старая церковь, памятник эпохи бурного церковного строительства после Гражданской войны, по такому случаю была полна, и священнослужительница, невысокая молодая женщина со стрижкой в форме колокола, трубным голосом объявила, что несколько членов прихода до сих пор числятся пропавшими без вести. И зачитала их имена. Помолимся за их благополучие, сказала она, и за души тех, кто сегодня погиб, и за судьбу нашей великой страны. Все понурили головы, и хруст шейных позвонков вознесся под темные своды.

Тогда-то Дэн и ощутил себя среди них посторонним. Это ощущение чуждости сохранялось и в последующие недели, когда над каждым крыльцом появились звездно-полосатые флаги, а в каждой витрине на стекле — надписи бритвенным кремом: "Боже, благослови Америку". И когда он на автобусе с двухдневным опозданием возвратился в Цинциннати, где из окна за рекой открывался вид не на дымящиеся руины небоскребов, а на землю Кентукки, там тоже над каждым радиатором пестрел слегка уже потрепанный бумажный флажок как некий символ неустрашимости и национального самоуважения. Набожность обитателей срединных американских штатов, хотя и раздражавшая порой фундаментализмом и пуританством, но в общем вполне его устраивавшая, теперь представлялась ему варварством. Президент, выступая по телевидению, поначалу неумело использовал военную риторику, потом подучился и вполне ею овладел. В вечерних известиях показывали импровизированные алтари по всему Нью-Йорку, на тротуарах и возле пожарных станций. Под цветными фотографиями погибших горели, плавясь, поминальные свечи; лежали привядшие цветы в бумажных обертках и пластмассовых футлярах. А у Дэна вызывала досаду эта жалкая, абсурдная попытка современного великого государства лечить свои раны посредством заношенной старой магии флагов и свеч: человечество испокон веков привыкло адресовать в пустоту самые выразительные жесты своей беспомощности.

Примерно за неделю до того, как Дэна Келлога посетило откровение, коренастый молодой мусульманин, носящий так же, как и миллионы его единоверцев во всем свете, имя Мохаммед, сидя в нечистом месте — полутемном придорожном стриптиз-баре на восточном побережье Флориды, — колебался, следует ли заказать пятую порцию виски со льдом. Его товарищ по имени Наваф, помоложе и тщедушнее сложением, припод-

нял было в знак протеста узкую ладонь, но сразу же снова уронил ее на столик. Им было предписано не выделяться, а уж конечно нет более верного средства, чем накачаться алкоголем, если надо слиться с Америкой, этим обществом нечестивых с его ужасающей вседозволенностью и электронной лихорадкой фальшивых возможностей и удовольствий. Тут даже воздух, пропущенный сквозь кондиционеры, отдавал обманом. От виски у Мохаммеда жгло в горле. Он как бы подвергал свою храбрость испытанию огнем.

На низкой эстраде под издевательское бормотание музыки без мелодии извивалась вокруг медного шеста юная женщина, совершенно обнаженная, не считая стратегических парчевых лоскутов, и слегка присыпанная блестками, но посетители у редких столиков даже не думали обращать на нее внимание, только сам Мохаммед время от времени скользил по ней взглядом. Она была тощая, как голодный подросток, но с выпуклостями жира в тех местах, которые отличают женщину; впрочем, этот жир, как было известно Мохаммеду, вводили ей подкожными уколами, чтобы выпуклости выглядели округлыми и тугими. Блудница повисла на шесте вниз головой, размахивая ногами, так что между ними отсвечивала узкая парчевая полоска, а длинные волосы свисали густой платиновой завесой до самого пола, затоптанного ее сестрами по профессии. Танцовщиц было три: негритянка-босоножка, чьи ступни и ладони блестели, как серебряные; угольная брюнетка с желтыми рысьими глазами, которая выступала на высоких каблуках и то и дело высовывала подрагивающий кончик языка; и блондинка, самая невыразительная из трех — эта двигалась как бы машинально, повторяясь, устремив в темный зал невидящие льдисто-голубые глаза, густо обведенные чернью, — похоже на египетскую фреску. Она не видела Мохаммеда, и он, в душе своей, не видел ее. Наваф — с которым Мохаммед еще и еще раз повторял все подробности предстоящего дела, четко подогнанные одна к другой и синхронизированные вплоть до последнего условного знака начала операции, который должен прийти по мобильному телефону, — пил сладкое зелье под названием "дайкири", и вот теперь встал и второпях ушел в туалет. Наваф молод и всего два месяца как в этой стране; здешняя пища для него до сих пор яд. Он еще не нарастил защитную оболочку, как Мохаммед. Шарообразные груди нагой женщины так же, как и густые волосы, свисали вниз, выбритое или выщипанное лоно мелькало из-под парчового лоскута. Сквозь алкогольное марево полуприкрытые глаза Мохаммеда охватывали всю картину — таким представляют себе Рай необразованные феллахи: среди прохладных струй темноокие девственницы на шелковом ложе ждут героических мучеников, чтобы одарить их чудесными плодами. Но гурии, их белые руки, их ясные глаза — это ведь символ окончательной чистоты, ослепительная противоположность здешним худосочным блудницам, которые тупо извиваются на грязных подмостках.

Еще одна блудница, немолодая официантка, жирная и морщинистая бочка протухшей похоти, скисших американских "равных возможностей", в это время совала ему счет: "Кончилась смена... Убираю свои столы... Сорок восемь долларов". Акцент гнусавый, невнятный, горячо толкует что-то, но неразборчиво, он понял только, что не в первый раз за этот вечер вызвал ее раздражение.

Но почему, собственно, он должен немедленно расплатиться? Наваф до сих пор не возвратился из туалета, и заказанные сандвичи еще на

столе, не съеденные. Да, вот как было дело: когда-то раньше — то ли час, то ли десять минут назад, память у него плывет, — эта женщина подходила и сказала, что хочет убрать со стола, а он ответил, что они еще не кончили ужинать, хотя на самом-то деле от здешней пищи его воротит. Избыток и расточительство, как и все в этой стране, открытый сандвич с горячим ростбифом, а теперь он еще остыл и прилип к хлебу, уже не розовый, а серый — дохлятина, каким-то образом оказавшаяся далеко внизу, под колышущимися слоями воздуха, и жареный картофель, и кислая капуста — отрава, жратва для уличных псов. Но все-таки надо будет, наверно, поесть немного, чтобы унять в горле жжение от виски, и надо строже поговорить с Навафом, понадежнее одеть его в прочную скорлупу для предстоящего решительного действа, заранее расписанного до мельчайших деталей, как на технологическом чертеже, приготовленном к занятиям по инженерным расчетам. Мохаммед обучался инженерному делу вместе с неверными, проходил математику, которую они столетия назад украли у арабов.

Да, надо поесть, ибо назначенный день, высший миг, уже близок, и ты обязан быть здоровым, иметь железные нервы и твердую руку, хранить силу и чистоту. Сознание величия задуманного дела сдавливало горло и рвалось наружу, кверху, хотелось выкрикнуть, возгласить, как некогда Пророк, чье имя он носит, восславить превыше всех мыслимых достоинств и заслуг великолепие Бога и суда Его. *Для неверующих Мы приготовили кандалы и цепи и Огонь полыхающий. Языками пламени исхлещем вас и расплавленной медью.*

Блондинка на эстраде откинула парчовую полоску и на раскоряченных ногах пошла вокруг шеста, показывая выбритую промежность — неуклюже и отвратительно, вызывая отдельные одобрительные возгласы от затемненных столиков. Вернулся Наваф, бледный. Признался, что его рвало в туалете. Мохаммед ощутил горячую любовь к своему брату по заговору, к младшему брату, которого у него никогда не было; он рос на утопающей в садах окраине Каира вместе с четырьмя сестрами. Ради них, чтобы они не стали блудницами, он и посвятил себя священному делу. Слишком легкомысленные, они не понимали, что соблазны, которые изливали на них радио и телевидение, — от Дьявола, специально предназначенные завлечь их в трясину. Родители в своей европейской одежде, со своим третьесортным материальным благополучием в виде фальшивых западных ценностей были слепы к злу, причиняемому их отпрыскам. Сидят у себя в Гизе на вилле за зашторенными окнами, с прислугой и в комфорте, точно слепые пещерные жители, не видящие величия Того, Кто во гневе обратит этот мир со всеми его соблазнами в мертвую пустыню. Эту божественную пустыню под черными звездными небесами Мохаммед носит в своей душе. *Когда разорвется небо, осыпятся звезды и сольются океаны; когда опрокинутся и расколются надгробья – тогда каждая душа будет знать, что она сделала и что упустила сделать.*

Снова появилась официантка, на этот раз с мужиком, плешивым буфетчиком в желтой футболке с какой-то надписью на груди, буквы от больших до маленьких, словно убегающие, не то реклама пива, не то название спортивной команды, у Мохаммеда в глазах все расплывается. Наваф забеспокоился, дыхнул жаром испуга. Он уже зашевелился, засобирался, будто согласен уйти. Мохаммед положил ладонь ему на локоть, пресекая готовые сорваться с его губ извинения, и сам встал со стула

лицом к лицу с мужиком в желтой футболке. От резкого подъема закружилась голова, но ясность мыслей сохранилась, и не затуманилось сознание происходящего вокруг. На эстраде уже новая девка-босоножка, закутанная в кисейные шарфы, которые она сейчас будет в луче прожектора сбрасывать один за другим, и освещение изменилось, от прожектора в зале стало светлее. Белые лица здешних жителей повернуты к его столику, им интересно наблюдать скандал. Секрет, хранимый в груди Мохаммеда, грозил прорвать хрупкую скорлупу и вырваться наружу. Сколько раз бывало, какая-нибудь мелочь — автобусный билет, бумажка из иммиграционной службы, обмолвка в разговоре с назойливым соседом, который из дружеских чувств, как принято у американцев, лез с расспросами, — могла выдать весь тщательно разработанный план; но Всемилостивейший простер хранительную длань. Мохаммед властен над собственным языком, этим мускулом, который движет горы. Он достал и открыл бумажник, показал им толстую пачку двадцаток, полсотенных и даже сотенных с тусклыми зелеными изображениями разных мертвых героев их безбожной демократии. "Тут уж как-нибудь да хватит, чтобы заплатить по счету, — сказал он сердитому мужику в желтой футболке. — И вот еще гляди-ка сюда... — Не удовлетворившись демонстрацией своего финансового могущества, Мохаммед выхватил и быстро помахал туда-сюда у того перед глазами карточкой учащегося летной школы и удостоверением пилота, подделанным в Германии. — Я летчик".

Враг сразу сник, проникся уважением. И проговорил врастяжку гнусавым голосом вырожденца и наркомана:

— Ух ты, здорово. На какой авиалинии?

Без тени колебания — это ведь была почти что правда и, будучи произнесена, стала полной правдой, как провозглашенная вера становится истинной и плоды ее — ослепительным, жарким пламенем, — Мохаммед ответил:

— На американской. — Это прозвучало, как суд Божий, как пророчество. Он повторил: — На "Американских авиалиниях".

Из-за рабочего стола, расположенного ближе к центру просторного зала операций, до отказа набитого маклерами и мониторами, Джиму Финчу было видно в окно почти одно только небо, но если встать, открывался вид на плоский голубой берег Нью-Джерси за статуей Свободы. С такой высоты даже статуя, глядящая от них в другую сторону, казалась маленькой, точно фигурка-сувенир, которые продаются в киосках для туристов. Джим каждое утро приезжал на работу из Ньюарка (трое детей, четыре спальни, микроскопический участок земли на восточной окраине), оттуда между серыми крышами и зелеными деревьями виден был небоскреб, где он работает. Он даже показывал детям свой этаж, отсчитывая шесть сверху, хотя на таком расстоянии с уверенностью сказать нельзя, — основу конструкции составляют вертикальные ребра, — и не разглядишь, где один этаж переходит в другой. Стальные трубы, стоящие рядами, точно соломины для питья, служат опорой, а окна в промежутках между ними будто сужены, вверх и вниз через них видно хорошо, а в стороны не особенно. Вот и сейчас полосы голубого неба кажутся гладким театральным задником, если бы только не то, что снизу по нему, крутясь, восходят струи дыма и с ними подлетают какие-то белые бумажки.

Зазвонил его мобильный телефон. Привычным движением, мгновенным, как бросок змеи, Джим схватил с пояса трубку. Но звонок оказался не по делу, это звонила Марси из Нью-Джерси. "Джим, солнышко, – сказала она, – не сердись, пожалуйста, я забыла попросить, ты так быстро ушел, но ты не мог бы по дороге домой, когда заберешь вещи из чистки, проехать мимо гастронома и прихватить полгаллона цельного молока? И может быть, еще узнай насчет канталупок".

– Хорошо, конечно. Послушай, Марси...

– Те зеленые, что были на прошлой неделе, не дозрели дома, а сразу сгнили, но в магазине сказали, что в понедельник привезут другие, получше. Корка должна немного проминаться, но чтобы углубления не оставалось. – Джим смотрел, как снизу взлетел лоскут обгорелой изоляции и уплыл куда-то вбок, а она продолжала: – Молока обезжиренного нам самим вполне достаточно, но Фрэнки и Кристен, они теперь растут, им сколько ни дай – все мало, что он, что она. Я, честное слово, хотела взять еще, но тележка уже была переполнена. Ты извини, ладно?

– Марси, понимаешь, тут...

– Если увидишь что-нибудь на десерт по своему вкусу, купи. И еще, может быть – только обязательно проверь дату, – полдюжины яиц, *крупных*, но не *экстра*. И не забудь, что у Энни сегодня игра в спортзале прихода, начало в шесть тридцать, футбол в закрытом помещении, она очень волнуется и хочет, чтобы мы оба присутствовали.

– Послушай...

– Молодой помощник священника наводит на нее страх, она говорит, что он бесчеловечный, ему слишком хочется выиграть.

– Слушай, ради бога, ты не могла бы, черт возьми, на минуту замолчать?

– Что случилось, Джим? У тебя какой-то странный голос.

– Тут происходит что-то странное, не пойму что. Три минуты назад внизу под нами ухнуло со страшной силой, я подумал, на улице, но вроде бы ближе. Нас тряхнуло, и теперь за окном виден дым. Внутренние телефоны все вырубились. Люди возвращаются с лестничной площадки, говорят, лифты не работают и на лестнице полно дыма.

– Боже мой.

– Никто не паникует... ну, то есть почти никто. Конечно, скоро все наладят. Что там такое могло стрястись?

– Боже мой.

– Перестань, дорогая. Разберутся, в чем дело, и все приведут в порядок. Я не могу долго разговаривать, нас должны будут перевести куда-нибудь. Ого! Марси, ты не поверишь, но у нас тут пол нагрелся. Пол горячий, представляешь?

– Джимми, сделай же что-нибудь! Прими меры. Когда понадобится телефон, сразу отключись. Недаром мне не нравились эти небоскребы, да еще ты работаешь так высоко.

– Слушай, Марси, ты с какого телефона говоришь? С верхнего переносного?

– Д-да.

У нее дрогнул голос, как у ребенка, испугавшегося, что он сделал что-то не то и теперь его накажут. За мили друг от дружки они оба ощутили себя провинившимися детьми, у обоих заныло внизу живота.

– Пойди в комнату Энни и посмотри в окно. Скажешь мне, что оттуда видно.

Дожидаясь ответа, Джим обратил внимание на то, что в зале среди столов происходит движение, что-то стадное, с топотом, возгласами, визгом; но Джиму не показалось, что надо присоединиться. Накапливающийся запах, индустриальный, жирный и сладкий, с примесью дегтя, привел ему на память запахи аэродрома и дрожащий воздух над взлетно-посадочной полосой перед тем, как колеса оторвутся от земли.

— Джим?

— Я здесь. Что видно у Энни из окна?

— О господи, дым! Почти у самого верха. Будто курится огромная сигара. И сверху вниз словно бы по желобам стекают черные чернила. Что это может быть? Помнишь, какая-то ракета вроде бы сбила самолет у побережья Лонг-Айленда?

— Глупости. Должно быть, неполадки внутри здания. Тут в стенах столько электропроводки, целый Китай можно зажарить, если закоротит. Ты не волнуйся, скоро все поправят. Тут есть специалисты, которым платят кучу денег только за то, что они сидят и планируют выход из таких ситуаций. Хотя, надо сказать...

— Что, Джимми? Что надо сказать?

— Я начал говорить, что тут становится здорово трудно дышать. Но кто-то взял и разбил окно. Швыряют стулья в окна. — Голос у него дрогнул. — Марси, ты меня слышишь?

— Да, да...

— Даже не знаю, милая, похоже, дело принимает неважный оборот.

— Дымит ниже вас, — взволнованным голосом подбодрила она его. — Никак не могу сосчитать, на сколько этажей.

— И не пытайся. — Ее голос служил связью с внешним миром, но и сковывал, удерживал на месте. — Слушай, Марси. Если я не выберусь. Я тебя люблю.

— Боже мой! Не говори так! Держись нормально.

— Нельзя держаться нормально, когда все ненормально.

— Ты не можешь подняться по лестнице и подождать на крыше?

— Кое-кто пытался, по-моему, но на лестнице слишком много дыма. Уже почти ничего не видно. Ты скажешь детям, что я их очень люблю?

— Хо-хорошо, — прерывающимся голосом, не споря. На нее не похоже, чтобы она так вдруг сдалась. Это испугало его.

Он постарался думать практично:

— Все документы, какие тебе могут понадобиться, — в тумбе, что рядом с письменным столом, в среднем ящике. Ленни Палотта тебе поможет. У него хранятся бумаги по фонду взаимопомощи и страховые полисы.

— Не надо, милый, не думай так. Выбирайся оттуда, и все. Ладно?

— Да, конечно. Может быть. — Люди жались к окнам, где не так жарко и можно дышать, на высоте сотого этажа, где аэропланы, поднимаясь, втягивают колеса и чувствуешь легкий толчок. — Но на всякий случай: живи так, как захочешь.

— Что ты такое говоришь, Джим, что значит, живи, как захочешь?

— Ну, то есть живи своей жизнью. Делай, что, по-твоему, лучше для тебя и детей. Не поступайся собой. Скажи Энни, если я не приеду, что я очень хотел сегодня там быть.

И только теперь, когда он представил себе свою пухленькую дочурку в футбольных трусах, взволнованную, раскрасневшуюся, ему захотелось плакать.

— Как это, не поступайся собой?

— Я благославляю тебя, понятно? Даю тебе мое благословение на все, что ты решишь. Все правильно. Ты свободна.

— Нет, Джимми, нет! Это невозможно!

Но он уже больше не мог говорить. Дым, жар, гарь толкали его к окнам, где между стальными ребрами карабкались вверх человеческие тени. Он прицепил мобильник обратно к поясу, машинально прихватил пиджак и, пригибаясь, побежал по горячему полу туда, где у окон теснились его сослуживцы. Теперь они — его родные, уже несколько лет они в дневное время были его родными. Их специальность — находить выход, они покажут, что надо делать. Подобно самолету, поймавшему крыльями высоту, он оставил тяжесть позади; обрывались связи, отпадали обязательства. Он чувствовал себя в эти мгновенья невесомым, как новорожденный.

Симпатичный молодой человек рядом с нею сказал, что работает в отделе сбыта, сейчас летит в Сан-Франциско на конференцию по проблемам телекоммуникаций, а в выходные занимается спортом — играет в регби. Кэролайн удивилась, что в США окончившие колледж, оказывается, еще играют в регби. За свою долгую жизнь она когда-то давно, вскоре после войны, провела год в Англии и побывала однажды на матче по регби в Кембридже. Ей запомнились толстоногие мужчины в трусах и полосатых фуфайках, толкавшиеся в грязи, в холоде и сырости под низким пасмурным небом, а потом бросавшиеся бежать к воротам, держа скользкий овальный мяч обеими руками и по-дамски семеня, — смешно, на взгляд, привыкший к американскому футболу. На тот же взгляд казалось странным, что они играли почти совсем раздетые, в коротких трусах, но никто, похоже, не получал травм.

Они представились друг другу в самом начале рейса, вскоре после вылета из Ньюарка. Самолет поднялся в воздух, стал набирать высоту и разворачиваться, круто кренясь, так что конец крыла с тоненькой антенной, или что это там торчало, так наклонился к земле, что казалось, они вот-вот скатятся обратно на залитую солнцем прерию улиц, крыш, автострад и тускнеющих красок сентябрьской листвы. Кэролайн много летала на своем веку, гораздо больше, чем могла мечтать в детстве, когда летать на самолете считалось уделом героев: летчиков-испытателей, Линдберга и других — и посмотреть на проплывающую над домом "этажерку" выбегало во двор все семейство. Сначала она летала в колледж в Огайо на тряском двухвинтовом самолете, который садился в старом кливлендском аэропорту имени Хопкинса. Потом, взрослая, — навещать родственников в Сент-Луисе и Миннеаполисе; и в Англию — на год в аспирантуру; и на острова Карибского моря, в Аризону и в Европу проводить отпуск вместе с мужем или сопровождать его в некоторых лекционных турах, когда он стал человеком известным; и на три дня в гости к детям, когда они разлетелись из дому и праздновали свадьбы; и уже в роли матриарха — для знакомства с новорожденными внуками, а потом, пока они росли, на всевозможные торжественные даты, так или иначе с ними связанные; и даже в ужасно дорогое путешествие вокруг света после кончины мужа — позволила себе развеяться в горе. В общей сложности и сосчитать немыслимо, сколько сотен тысяч миль она налетала. Но все равно самолеты она не любила, ей действовало на нервы все это — отчаянный разбег, отрыв от земли, внезапный крен, непонят-

ные смены машинного тона, вдруг ни с того ни с сего тряска над океаном, так что всплескивает кофе в чашке и сердце подкатывает к горлу. Теперь самолеты стали гораздо больше и летают плавнее. А вспомнишь те давние полеты, так кажется, они, вроде аттракционов в парках, были задуманы нарочно для того только, чтобы пугать, — серебристые турбовинтовые самолетики, перескакивающие через Аппалачи, где все склоны в жилках искрящихся на солнце речушек; и кургузые авиаперевозчики из Сан-Хуана, прыгающие с острова на остров, у них был круто наклонный проход между креслами, и черные стюардессы раздавали леденцы, чтобы от перепада давления не заболели уши. Улетая в колледж, Кэролайн всегда одевалась по-парадному, даже — подумать только! — в белых перчатках. А теперешние реактивные лайнеры — вроде автобусов: пассажиры садятся в чем попало, во всяком неприличном тряпье, сидят не подымая головы от своих ноутбуков и недовольны, если приземляются с задержкой в одну минуту — можно подумать, для них лично в небе проложены рельсы.

Симпатичный молодой человек, как только голос пилота разрешил передвигаться по салону и пользоваться ноутбуками, спросил у нее, не будет ли она против, если он, поскольку кругом много свободных мест, отсядет, чтобы им обоим было просторнее. Она нашла, что с его стороны это очень мило — справиться у нее, признак хорошего старомодного воспитания. Она смотрела, как он устраивает себе рабочий кабинет на двух соседних креслах по ту сторону прохода, а потом стала смотреть в окно на землю в пяти тысячах миль внизу — картина, знакомая с тех первых нервных полетов в Огайо столько лет и поездок назад. Пролетели над Делавэром, потом над Саскуэханной; и в ожидании, пока стюардесса подвезет к ним дребезжащую тележку с напитками, она, по-видимому, задремала, потому что вдруг очнулась, будто ее грубо встряхнули. Самолет дергался и трясся; он вел себя совершенно не так, как раньше.

Но на лицах вокруг не было тревоги, за спинками сидений не вскинулась ни одна голова. Перед занавесом, отгораживающим первый класс от кабины летчиков, стоял молодой человек и что-то объявлял, Кэролайн не могла толком разобрать, что именно. Стройный, на щеках редкая поросль, жесты замедленные и трогательно изящные. Оружия при нем незаметно, однако его все слушали, и неумелая перемена в управлении самолетом тоже каким-то образом была связана с ним. Чувствовалось, что он охвачен нервным возбуждением, глаза расширены, зрачки плавают в белках. Из-за занавеса вышел еще один молодой человек, более плотного сложения, но потом снова ушел. Перед тем как скрыться, он что-то прокричал, Кэролайн послышалось словно бы: "Оставайтесь на местах — ничего вам не будет!" Ей подумалось, что эти молодые люди, должно быть, неважно владеют английским, сидящие впереди пассажиры напрасно пытаются завязать разговор с парнем у занавеса. Гул голосов в салоне самолета становился все громче, как на фуршете или в классной комнате во время дождя, многие включили мобильные телефоны, в том числе и любитель регби через проход от нее, его рука, держащая аппаратик возле уха, выглядела грубой, с красными суставами и широким обручальным кольцом.

Моторы взвыли, и от внезапного крена у Кэролайн чуть не выскочило сердце: самолет разворачивался. Огромное блестящее крыло за ее окном наклонилось к серо-зеленой земле. По-видимому, это Огайо, гор уже не видно, а вон и город, дымящий трубами, наверно Акрон или Янгста-

ун. Солнце теперь светило с ее стороны и неприятно слепило глаза. После операции катаракты два года назад она снова видела младенчески яркие краски и четкие линии, но зато роговица стала болезненно чувствительной к свету. Похоже, что самолет взял курс на юго-восток, обратно в сторону Пенсильвании. Кэролайн попыталась сосредоточиться и представить себе направление полета, но все никак не могла толком проснуться. Самолет вылетал из Ньюарка в восемь угра, так что у себя в Принстоне ей пришлось встать в половине шестого. Ее вдруг прошиб пот. Кожа ощутила страх, когда рассудок еще ничего не осознал. Главным было желание, простое и горячее, почти молитва: чтобы их самолет, как хрупкую игрушку, вынули из невидимых неумелых рук, которые его так дергают и трясут.

Она удивилась, что человек, стоящий перед занавесом, видимо угонщик, позволяет пассажирам разговаривать по телефонам; наверно, чтобы они вели себя спокойно. Он двинулся вперед, прошел немного между креслами, вернулся обратно. В поднятой руке угрожающе блеснуло что-то металлическое, похоже на ножичек с выдвижным лезвием, каким вскрывают коробки, но лицо с этой бородой, которая не совсем борода, казалось слабым, серым. Мысли его были не здесь, мысли витали где-то еще. В черных джинсах и красной клетчатой рубахе с длинным рукавом, он походил на молодого программиста, летящего в Силиконовую долину. У Кэролайн тоже два внука компьютерщики, одеваются, как сельскохозяйственные рабочие, как хиппи прошлых десятилетий, якобы они любят землю; но у этого парня не было ни ручки, ни карандаша в нагрудном кармане. А был только ножичек, и бескровное лицо, и шапка густых черных кудрей над сросшимися бровями, а под ними — отсутствующие, отсвечивающие глаза. Почему он ни на кого не смотрит?

Как унизительно, что она так вспотела, белье под шерстяным платьем липнет к коже, она оделась потеплее, думала, что уж на Гаити-то всегда прохладно, какая бы жара ни стояла в Принстоне. Теперь, когда сойдут с самолета, от нее будет пахнуть. Секвойи, ветры с залива — она понимала, что сегодня, возможно, к ним не доберется. Самолет посадят, скорее всего, на каком-нибудь заштатном аэродроме, и начнутся долгие торги, переговоры. Зато, когда наконец станут выпускать заложников, старая дама вполне может оказаться в числе первых.

Пассажиры удостоверились, что молодой террорист с ножиком спит с открытыми глазами, и тогда от кресла к креслу, вихрясь, побежали потоки сообщений: знаки, жесты, взгляды, разговоры, все более и более откровенные и взволнованные. Люди, сидевшие впереди, успели за откинутым на минуту занавесом заметить нечто; и известия о том, что они там увидели, покатились назад у нее над головой, неразборчивые, но леденящие ее потную кожу. Другие пассажиры, наоборот, что-то узнали по телефону и спешили этим поделиться с остальными. Прямо рядом с нею, вокруг ее давешнего соседа, симпатичного игрока в регби, собрались молодые мужчины в белых рубашках с галстуками и что-то обсуждают, как футболисты на середине поля. *Сговор* – так это, помнится, называлось на матче в Англии.

Кэролайн попробовала подслушать, но услышала только возбужденное неразборчивое бормотание, а под конец отчетливое слово "Да" — на разные голоса. Прошло голосование. Стройный молодой араб снова двинулся по проходу, что-то показывая руками, наверно, просто хотел, чтобы все сели. Самолет по-прежнему болтало в неизвестно чьих руках,

он то клевал носом, то вскидывался чуть ли не на дыбы, но ее сосед-регбист твердо встал и присоединился к остальным — он оказался среди них самым рослым, из отвернутых манжет выглядывали крупные, ширококостные запястья, — и теперь все стояли лицом к пилотской кабине. Кэролайн запрокинула голову и встретилась с ним взглядом; он улыбнулся ей, поднял большой палец. Она услышала, как кто-то из них произнес: "Все готовы? Вперед!"

Где-то на передних местах заплакал ребенок. Кэролайн не знала, что в самолете есть дети. Голос молодой матери дрожал, но плач смолк; должно быть, она дала пустышку. Еще дальше впереди раздались крики, присоединился другой женский голос, немолодой, сиплый, возмущенный. Сквозь рев моторов было не разобрать, о чем кричат. Парня с ножом скрыли широкие плечи и белые рубашки крепких американцев. Белые рубашки, в свою очередь, скрылись за синим занавесом. Оттуда донеслись удары, дребезг опрокинутой тележки. В салоне пассажиры, остававшиеся на своих местах, подняли страшный гомон.

Самолет накренился еще гораздо сильнее прежнего, и Кэролайн ощутила так же ясно, как если бы тросы и рычаги, управлявшие огромной машиной, были ее собственными сухожилиями и костями, что управление потеряно — разорвана жизненно важная связь. Стал слышен скрежет; она увидела в иллюминатор, как напряглись закрылки, обнажая свою изнанку, и все огромное заостренное крыло с крохотной антенной на самом конце и с разными надписями для механиков на алюминиевых сегментах опустилось отвесно вниз; сложная, могучая конструкция приняла положение, из которого уже нет возврата. Кэролайн была потрясена огромностью всего: летательного аппарата, и планеты Земля, и прозрачного пространства между ними — вот так же она была потрясена тогда в больнице, когда сняли повязку с глаз и вернули ей мир во всей беспощадной яркости его красок. Тело ее грузно повисло на ремне безопасности, ремень больно врезался в бок.

За исцарапанным пластиком иллюминатора пронеслась земля во всех ее деревенских подробностях: несколько домов и сараев, зеленое пятно леса, поле, обнесенное забором, пустынная грунтовая дорога; в ушах хлопнуло, и Кэролайн поняла, что, при всей ужасающей невероятности, это — на самом деле, это — реальность, лежащая в основе вещей, низвержение в жерло тяжести. Оставалось еще время на молитву, но мозг утратил слова; она чувствовала, что висит вниз головой, и отчаянно ревущий у самого ее уха мотор сообщал дрожь всему вокруг. Она летела навстречу истине, которую внушали ей родители и все заступники в ее долгой жизни: благополучие — лишь узкая тропа, чуть оскользнешься, а рядом беда. *Господи,* успела подумать Кэролайн, *помилуй.*

Дэн стоял у края присыпанной пеплом террасы на крыше дома, где жила его дочь. Отсюда он полгода назад видел, как обрушилась башня. С тех пор газетные известия все настойчивее подтверждали то, что ему тогда открылось. В Техасе судили женщину, которая планомерно, одного за другим утопила пятерых собственных детей; католические священники, как выяснилось, совращают своих малолетних питомцев гораздо, несравненно чаще, чем нам можно вообразить или им покаяться; чуть не каждую неделю где-нибудь в Соединенных Штатах возмущенный, или отчаявшийся, или доведенный до бешенства отец убивает жену или бывшую жену и детей, а затем, как бы в качестве достаточной компенсации,

и свою жизнь кончает самоубийством. Между тем, объявлена и ведется война, сопровождаемая обычными бессмысленными жертвами: столкновения вертолетов, бомбы, падающие не туда, ложные данные разведки — кровавая каша, которую не оправдывает ни библейский закон мести, ни самопожертвование. Вдохновители зла остались на свободе; схваченные враги — обессиленная, запутавшаяся мелкая сошка. Эти жалуются на кубинский климат и на нехватку мусульманских священнослужителей. Требуют для себя — и другие громогласно требуют для них — неотъемлемых прав, как во всем мире. В Индии и в Израиле — резня на религиозной почве, в других местах — пожары, наводнения, эпидемии. Мир катится дальше, сея смерть и боль, точно сошедший с рельсов локомотив.



Младшая внучка, с которой они вместе были свидетелями самой красочной из современных катастроф, с озабоченным видом сообщила ему, что у всех собак в Нью-Йорке до крови стерты лапы от того, как они искали в груде обломков тела погибших людей.

Гретхен, трезво мыслящая глава своей семьи, не препятствовала девочке узнавать все, что сообщалось на эту тему в газетах и теленовостях. "Виктория ловит каждое слово, — говорила она отцу. — Гермиона, та, наоборот, с первого дня ничего не желает слышать. Считает ниже своего достоинства, по ее мнению, такие вещи — не для детей, ей негоже ими интересоваться. Словечко-то какое выискала: "негоже". А Вики нельзя отгораживать от того, что каждому известно, что обсуждают в школе ее одноклассники. Ей бы это пошло во вред, уверяю тебя, папа. В конце-то концов, по сравнению с детьми в Боснии и Афганистане она пока еще живет в довольно благоприятных условиях".

— Ну, не так чтобы уж у всех, Виктория, — поправил Дэн внучку. — Только у некоторых, кого специально обучали для такой работы, и у них на лапах были надеты особые кожаные калошки, которые сшили для них добрые люди. Большинство людей очень добрые.

Девочка смотрела на него воинственно, с сомнением, но с готовностью поверить. За эти полгода она выросла; в бледно-голубых глазах под прямыми бровями стало появляться более тонкое, серьезное выражение; в отдельные минуты, особенно когда она задумывалась о чем-то своем, он замечал в детски совершенных чертах ее лица зерна женственной тайны и будущей женской красоты.

Люсиль, находившаяся поблизости, сказала так, чтобы девочке было слышно: "Нашу Вики, ее очень интересует, что делается. Ужасную груду обломков, она знает, уже почти всю расчистили, и два голубых прожектора, что мы видим по вечерам, это как бы памятник.

Виктория объяснила деду:

— Они означают, что все, кто там остался, ушли на небо.

Днем, если смотреть с террасы, башен-близнецов Всемирного торгового центра просто не было. Их прозрачные силуэты, подобно виртуальным фигурам на компьютерном чертеже, только мысленно просматривались в небе над сохранившимися, ясно видимыми джунглями Нижнего Манхэттена. Эти прямоугольные облака из стекла и алюминия оказались стерты с городского горизонта. Их там больше не было, но Дэн тут был, и Бог был с ним; атеистическая отмена не состоялась. По-прежнему надо было каждую неделю жертвовать на церковь, и все так же заседал подкомитет по недвижимости и ее содержанию, членом которого он являлся. Как и в Цинциннати, здешняя англиканская цер-

ковь тоже отличалась консерватизмом, изливала в уши прихожан потоки длинных рассуждений Кранмера[1], в которых трудно не запутаться. Но без всего этого Дэну не доставало бы доброго дружеского общения — рукопожатий при встречах в Готическом притворе, неловких взаимных благословений. Почему, протестуя против содеянного Богом, а вовсе не людьми, надо наказывать своим неприсутствием этих славных вежливых прихожан, для которых повторение хором, через определенные промежутки времени, Апостольского символа веры составляет часть, и не малую, той жизни, которой они живут, не жалея усилий, не опуская рук, упрямо соблюдая законы человеческого общежития? Он лишился бы воскресных утренних скоплений прихожан в церкви, и запаха мастики, которой натирают скамьи, и затхлого духа от старых подушечек, на которые преклоняют колена, и отчаянного чувства уже почти проигранного спора, и вкуса безвкусной облатки во рту.

Оттуда, где стоял Дэн, на высоте десяти этажей над Бруклин-Хайтс (а там, внизу, как и тогда, в сентябре, сидели у въезда в гараж для посетителей двое сторожей, перебрасываясь шутками), отдаленное зияние на месте башен-близнецов было подобно слабому источнику света, от которого ему за спину падала тень, прозрачная, но неотвязная, как бы счет, выставленный за его живое наличие. Он остался жив, и тень Бога не покинула его. Удивительная вещь: какими бы огромными ни были явления, человеческое сознание способно их охватить, оно словно еще огромнее. И оно требовало от него повествования о его жизни, как бы жестоко и бессмысленно ни были оборваны жизни других людей, мгновенно погубленных или лишенных права родиться.

На террасу тихонько вышли Гретхен с Викторией — его потомство, его билет в генетическое бессмертие.

— Поразительно, — сказала Гретхен, угадывая отцовские мысли, — как то, чего уже нет, продолжает нас преследовать. Близнецов видишь на старых рекламных щитах: городские власти не обратили внимания или не дали себе труда заретушировать задний план, и это хватает за душу. В кинофильмах из городской жизни и в телесериалах тоже порой мелькают две башни: вид из Сохо, со Стейтен-Айлендского парома, откуда-нибудь из центра; а теперь вообще все кадры с ними собрали на отдельную кассету, как поцелуи в "Новом кинотеатре 'Парадизо'"[2]. Прямо какой-то культ.

Виктория возбужденно сообщает:

— Потом, когда плохих людей больше не будет, их поставят на прежнем месте, в точности как были.

И показывает, раскинув руки вширь и встав на цыпочки, высоко вверх.

Дэн склонен разрушать чужие иллюзии, хотя своими дорожит.

— Думаю, что это было бы не очень разумно, — возразил он ребенку. — И не очень по-американски.

— Почему же не по-американски? — подключилась непременная спорщица Гретхен; возможно, эта ее манера все оспаривать проистекала из тайной обиды: если бы родители не развелись, возможно, и ее брак бы не распался; они положили дурной почин.

1. Томас Кранмер (1489–1556) — архиепископ, видный деятель английской Реформации.
2. "Новый кинотеатр 'Парадизо'" — фильм итальянского режиссера Джузеппе Тарнаторе (конец 80-х).

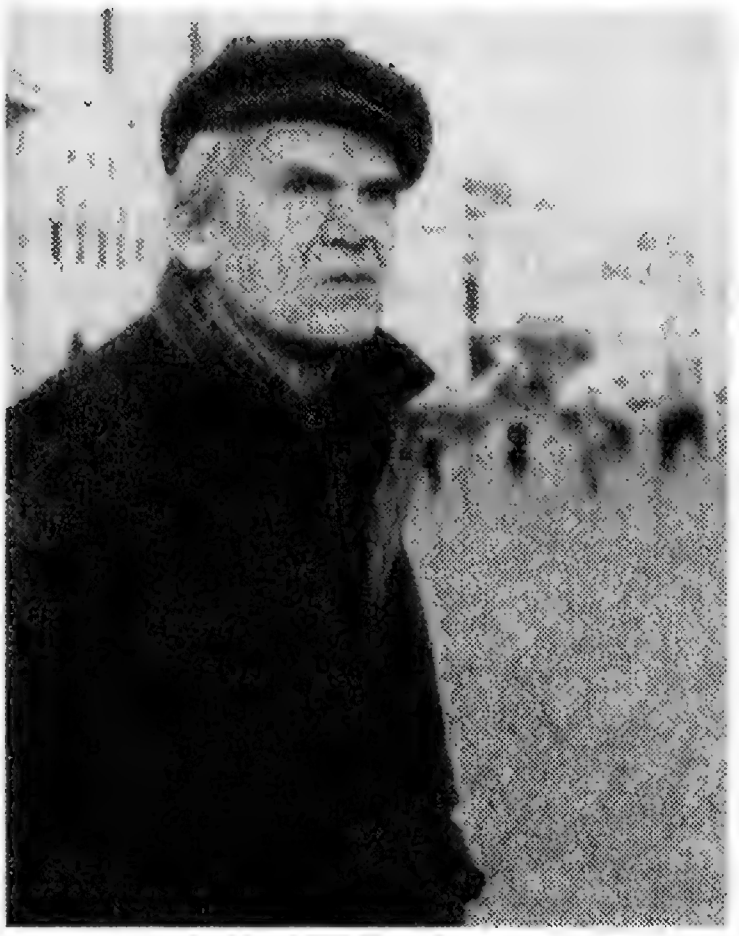
— Мы же не стоим на месте, — тактично ответил Дэн. — Как нация. Мы стараемся учиться на своих ошибках. Эти башни были выше, чем надо. Арабы правы, это была гордыня.

Гермиона, босая, выглянула из двери, но на грязную крышу не ступила. Она сказала с укоризной:

— Детям нельзя показывать то, на что вы смотрите. Это — страшное.

— А ты не бойся, — успокоила ее младшая сестра. — Наша учительница сказала, что голубые прожекторы, как радуга. В знак того, что больше никогда такого не будет.

# Милан Кундера



# *Книга смеха и забвения*

## Фрагменты романа

*Перевод с чешского* Нины Шульгиной

**От переводчика**

**"Книга смеха и забвения" содержит семь самостоятельных частей, спаянных в единое романное целое темой и смыслом повествования. Доминантная тема романа заключена уже в самом названии: *смех* как прием мистификации истории (смех *ангельский*) или трезвого ее постижения (смех *демонический*) и *забвение* как знак смертельно опасного (для человека или нации) отречения от собственного прошлого. Оба эти понятия воспринимаются как широкая метафора человеческих судеб в XX столетии. Сам Кундера пишет: "Вся эта книга — роман в форме вариаций. Отдельные части следуют одна за другой как отдельные отрезки пути, ведущего внутрь темы, внутрь мысли, внутрь одной-единой ситуации, понимание которой теряется в необозримой дали.**

**Это роман о Тамине, и в минуту, когда Тамина уходит со сцены, это роман для Тамины. Она — главное действующее лицо и главный слушатель, а все остальные истории — лишь вариации ее истории и отражаются в ее жизни, как в зеркале".**

**Публикуемые две части отобраны с тем расчетом, чтобы создать у читателя достаточно емкое представление о романе.**

© Milan Kundera, 1978
© Н. Шульгина. Перевод, вступление, 2003
Полностью роман будет опубликован в издательстве "Азбука".

# *Утраченные письма*



## 1

По моим подсчетам, обряд крещения ежесекундно в мире проходят два или три новых вымышленных персонажа. Оттого-то я всегда теряюсь, когда и мне случается присоединяться к этому сонму Иоаннов Крестителей. Но что поделаешь? Я же должен как-то называть своих персонажей. А чтобы на сей раз было ясно, что моя героиня принадлежит мне и никому другому (я привязан к ней больше, чем ко всем остальным), я даю ей имя, которое еще ни одна женщина никогда не носила: Тамина. Она видится мне красивой, высокой, ей лет тридцать, и родом она из Праги.

Я представляю себе, как она идет по улице провинциального города на западе Европы. Да, вы верно подметили: имя далекой Праги я называю, тогда как город, в котором происходит действие, остается неизвестным. И пусть это против всех правил перспективы, но вам придется с этим смириться.

Тамина работает официанткой в маленьком кафе, принадлежащем одной супружеской паре. Их доход так мал, что супругу пришлось поступить на другую работу, а освободившееся место доверить ей. Разница между скудным жалованьем хозяина на его новом рабочем месте и еще более скудным жалованьем, что они платят Тамине, составляет их маленькую прибыль.

Тамина разносит кофе и кальвадос посетителям (их мало, кафе постоянно полупустое), а затем снова становится за барную стойку. На табурете у бара обычно сидит кто-то, кому хочется поговорить с ней. Ее все любят. Ибо Тамина умеет слушать, о чем рассказывают ей люди.

Но в самом ли деле она их слушает? Или просто внимательно и молчаливо смотрит на них? Этого я не знаю, да и так ли это важно? Главное, она не прерывает их. Вы же знаете, как бывает, когда двое беседуют. Один говорит, а другой перебивает его: “ну точно как у меня, я...” и начинает рассказывать о себе, пока первому уже в свою очередь не удается вставить: “ну точно как у меня, я...”

Эта фраза “ну точно как у меня, я...” может казаться согласным эхом, продолжением мысли собеседника, но это вовсе не так: на самом деле это грубый бунт против грубого насилия, стремление высвободить из рабства собственное ухо и силой завладеть ухом противника. Ибо вся жизнь человека среди людей не что иное, как битва за чужое ухо. И весь секрет Тамининой популярности заключается в том, что она не стремится рассказывать о себе. Она без сопротивления принимает захватчиков своего уха и никогда не говорит: “ну точно как у меня, я...”

## 2

Биби на десять лет моложе Тамины. Вот уж без малого год, как она изо дня в день рассказывает о себе. А недавно объявила Тамине (собственно, с этого всё и началось), что она с мужем собирается летом посетить Прагу.

В эту минуту Тамина словно пробуждается от долголетнего сна. Биби продолжает говорить, а Тамина (против своего обыкновения) прерывает ее:

— Биби, если вы поедете в Прагу, не смогли бы вы зайти к моему отцу и взять один пустячок для меня? Ничего крупного! Всего лишь небольшой пакет, он легко поместится в вашем чемодане!

— Для тебя что угодно, — с готовностью говорит Биби.

— Я была бы по гроб жизни благодарна тебе, — говорит Тамина.

— Положись на меня, — заверяет ее Биби, и обе женщины еще немного толкуют о Праге; у Тамины пылают щеки.

Затем Биби говорит: — Я хочу написать книгу.

Тамина думает о своем пакете в Праге и знает, что должна сохранить Бибино расположение. Поэтому тут же предлагает ей свое ухо: — Книгу? И о чем же?

Годовалая дочка Биби ползает под барным табуретом, на котором сидит ее мама, и визжит.

— Тише! — бросает Биби, обратив взгляд к полу, а затем, выдыхая сигаретный дым, говорит: — О том, как я вижу мир.

Ребенок визжит все пронзительнее, а Тамина спрашивает: — И у тебя хватило бы духу написать книгу?

— А почему нет? — говорит Биби и снова задумывается: — Конечно, неплохо бы получить хоть какие-то сведения о том, как пишется книга. Ты случайно не знаешь Банаку?

— Кто это? — спрашивает Тамина.

— Писатель, — говорит Биби. — Живет здесь. Хотелось бы с ним познакомиться.

— А что он написал?

— Не знаю, — говорит Биби и добавляет в задумчивости: — Пожалуй, стоило бы что-нибудь почитать из его книг.

## 3

Вместо возгласа радостного удивления в трубке прозвучало ледяное: — Надо же! Ты наконец вспомнила обо мне?

— Ты же знаешь, что у меня туго с деньгами. Звонить очень дорого, — извиняясь, сказала Тамина.

— Могла бы написать. Марка для письма, надеюсь, тебе по карману! Я уж и не помню, когда получила от тебя последнее письмо.

Тамина поняла, что разговор со свекровью начался скверно, и потому сперва долго расспрашивала ее, как живет и что делает, прежде чем осмелилась сказать: — Я хочу тебя кое о чем попросить. Уезжая, мы оставили у тебя один пакет.

— Пакет?

— Да. Петр при тебе запер его в письменном столе своего отца. Ты же помнишь, у него там всегда был свой ящик. А ключ отдал тебе.

— Ни о каком ключе я и понятия не имею.

— Как же так, мама! Ключ должен быть у тебя. Петр точно дал его тебе. Это было в моем присутствии.

— Вы мне ничего не давали.

— Прошло много лет. Ты, может, забыла. Я прошу тебя только посмотреть, где этот ключик. Ты наверняка его найдешь.

— А что мне с ним делать?

— Просто посмотри, в ящике ли этот пакет.

— А почему бы ему там не быть? Вы положили его туда?

— Положили.

— Тогда зачем мне открывать этот ящик? Вы думаете, я что-то сделала с вашими записными книжками?

Тамина опешила: откуда свекровь знает, что там записные книжки? Они же были завернуты, и сверток тщательно заклеен скотчем. Тамина, однако, не выдала своего удивления.

— Я ведь ничего такого не говорила. Я только прошу тебя посмотреть, все ли там в порядке. А потом скажу тебе еще кое-что.

— А ты не можешь мне объяснить, в чем дело?

— Мама, у меня нет времени долго говорить. Это очень дорого!

Свекровь расплакалась: — Тогда не звони мне, если это дорого!

— Не плачь, мама, — сказала Тамина. Она прекрасно знала эти слезы. Когда свекровь хотела чего-то добиться от них, она всегда плакала. Своим плачем она обвиняла их, и не было на свете ничего более агрессивного, чем ее слезы.

Трубку, казалось, сотрясали рыдания, и Тамина сказала: — Мама, я еще позвоню.

Свекровь плакала, и у Тамины не хватало смелости положить трубку прежде, чем она услышит слова прощания. Но рыдания не утихали, и каждая слеза стоила немалых денег.

Тамина повесила трубку.

— Мадам Тамина, — сказала хозяйка кафе удрученным голосом, указывая на счетчик: — Вы разговаривали по телефону страшно долго. — Она подсчитала, сколько стоил разговор с Чехией, и Тамину ужаснула величина суммы. Ведь ей приходилось считать каждый сантим, чтобы дотянуть до следующего жалованья. Но, не сказав ни слова, Тамина заплатила положенное.

## 4

Тамина и ее муж покинули Чехию нелегально. В государственном бюро путешествий они записались в туристическую поездку на побережье Югославии. Там, отбившись от группы, через Австрию направились на Запад.

Стараясь не привлекать к себе внимания, каждый из них взял лишь по одному большому чемодану. Захватить с собой объемистый пакет, содержавший их переписку и Таминины дневники, в последнюю минуту они не осмелились. Случись полицейскому оккупированной Чехии при таможенном досмотре открыть их багаж и обнаружить, что они везут с собой к морю на две недели весь архив своей личной жизни, они сразу навлекли бы на себя подозрение. Зная к тому же, что после их бегства квартира будет конфискована государством, они решили не оставлять там пакета, а сохранить его у свекрови Тамины в заброшенном, теперь уже никому не нужном письменном столе покойного свекра.

За границей муж Тамины заболел, и она лишь наблюдала, как медленно его отнимает у нее смерть. Когда он умер, ее спросили, хочет ли она похоронить или кремировать тело. Она ответила, что хочет кремировать. Ее спросили, хочет ли она хранить прах в урне или развеять его. Лишенная родного очага, она испугалась, что будет вынуждена всю жизнь носить мужа как ручную кладь. И она позволила развеять его прах.

Я представляю себе, как мир вокруг Тамины растет ввысь кольцеобразной стеной, а Тамина остается внизу, словно маленькая лужайка. И на этой лужайке расцветает единственная роза — воспоминание о муже.

Или представляю себе настоящее Тамины (оно состоит из подношения кофе и подставления уха) плывущим по воде паромом, на котором она сидит и смотрит назад, только назад.

Однако в последнее время ее приводит в отчаяние, что прошлое все больше и больше тускнеет. После смерти мужа у нее сохранилась лишь фотография с его паспорта, все остальные фото остались в конфискованной пражской квартире. Она смотрит на эту жалкую, проштемпелеванную, со срезанным уголком карточку, на которой муж, снятый анфас (точно преступник, сфотографированный для судебного опознания), не очень-то и похож на себя. Она ежедневно сколько-то времени проводит над этой фотографией, занимаясь своего рода духовными упражнениями: старается представить себе мужа в профиль, затем в полупрофиль, а затем в три четверти. Она мысленно прочерчивает линию его носа, подбородка и что ни день приходит в ужас от того, что в этом воображаемом рисунке появляются новые спорные черты, когда зрительная память отказывает ей.

Во время этих упражнений она пыталась представить себе его кожу, ее цвет и все ее мелкие изъяны: бородавочки, наросты, веснушки, сосудики. Это было трудно, почти невозможно. Краски, которыми пользовалась ее память, были нереальны и вообще не годились для изображения человеческой кожи. Это научило ее особой технике воспоминания. Сидя напротив того или иного мужчины, она использовала его голову в качестве скульптурного материала: она упорно смотрела на него и мысленно переделывала его лицо, придавала ему более темный оттенок, разбрасывала по нему веснушки и бородавочки, уменьшала уши или окрашивала глаза в голубой цвет.

Но все эти усилия лишь доказывали, что образ мужа безвозвратно ускользает. Еще в начале их любви он попросил ее (будучи на десять лет старше, он уже имел некое представление о скудости человеческой памяти) вести дневник и записывать для них обоих все события их жизни. Она сопротивлялась, утверждая, что это насмешка над их любовью. Она слишком любила его, чтобы суметь допустить, что казавшееся ей незабвенным может быть забыто. В конце концов она, разумеется, согласилась, но без восторга. И ее дневники отражали это: в них было много пустых страниц и отрывочных записей.

## 5

Она прожила с мужем в Чехии одиннадцать лет, и записных книжек, оставшихся у свекрови, тоже было одиннадцать. Вскоре после смерти мужа она купила тетрадь и разделила ее на одиннадцать частей. Хотя ей и удалось восстановить в памяти много полузабытых событий и ситуаций, случалось, она не знала, в какую часть тетради их занести. Хронологическая последовательность безнадежно утрачивалась.

Прежде всего ей хотелось воскресить в памяти такие события, которые служили бы ориентирами в потоке времени и создали бы основной костяк реконструированного прошлого. В частности, их отпуска. Их несомненно было одиннадцать, но она сумела вспомнить лишь девять. Два безвозвратно исчезли из памяти.

Эти девять найденных отпусков она попыталась занести в отдельные части тетради. С уверенностью она делала это лишь тогда, когда тот или иной год был чем-то ознаменован. В 1964 году у Тамины умерла мама, и спустя месяц они отправились в печальный отпуск в Татры. Помнила она и то, что на другой год они поехали к морю в Болгарию. Она также помнила отпуск в 1968 году и в году последующем, ибо это были последние отпуска, проведенные в Чехии.

Но если большинство отпусков она худо-бедно сумела воссоздать в памяти (пусть некоторые и не смогла распределить по датам), полный крах она потерпела, когда попыталась вспомнить их общие рождественские и новогодние праздники. Из одиннадцати рождественских праздников она обнаружила в уголках своей памяти всего два, а из двенадцати новогодних — пять.

Еще хотелось вспомнить все имена, которыми он называл ее. Собственным ее именем он пользовался, пожалуй, только первые две недели их совместной жизни. Его нежность была неким устройством, без конца производящим разные прозвища. У нее было много имен, но они как-то быстро изнашивались, и он не уставал давать ей новые и новые. В течение тех двенадцати лет, что они знали друг друга, у нее было двадцать-тридцать имен, и каждое относилось к определенному периоду их жизни.

Но как восстановить утраченную связь между прозвищем и ритмом времени? Тамине удается воскресить ее лишь в редких случаях. Например, она вспоминает дни после маминой смерти. Муж настойчиво шептал ей на ухо ее имя (имя того периода, той минуты), словно старался разбудить ее. Это прозвище она помнит и может с уверенностью вписать его в раздел, помеченный "1964". Но все остальные имена взмывают свободно и суматошно, вне времени, словно птицы, вырвавшиеся из вольера.

Вот почему она так отчаянно мечтает заполучить этот пакет записных книжек и писем.

Конечно, она знает, что в записных книжках немало неприятных моментов, дни неудовольствия, размолвок, даже тоски, но дело вовсе не в этом. Она не хочет возвращать прошлому его поэзию. Она хочет вернуть ему свое утраченное тело. Ее побуждает не мечта о красоте, а мечта о жизни.

Итак, Тамина сидит на плывущем пароме и смотрит назад, только назад. Все содержание ее бытия сводится лишь к тому, что́ ей видится там, далеко позади. Так же, как уменьшается, теряется и расплывается прошлое Тамины, уменьшается и теряет свои очертания она сама.

Тамина мечтает о записных книжках, дабы хрупкий остов прошлого, каким она создала его в новой тетради, обрел стены и стал домом, в котором она смогла бы жить. Ибо если рухнет шаткое строение воспоминаний, как непрочно поставленная палатка, от Тамины останется лишь одно настоящее, эта незримая точка, это ничто, медленно продвигающееся к смерти.

## 6

Почему же в таком случае она давно не попросила свекровь прислать ей эти старые записные книжки?

Переписка с заграницей в Чехии проходит через руки тайной полиции, и Тамина не в силах была смириться с мыслью, что полицейские чиновники будут совать нос в их интимную жизнь. Сверх того, фамилия мужа (которую она продолжала носить) бесспорно все еще числится в черных списках, а полиция испытывает неслабеющий интерес к любым документам, касающимся жизни своих противников, пусть даже умерших. (Тут Тамина нисколько не ошибается: в папках полицейских архивов — наше единственное бессмертие.)

Вот поэтому Биби — единственная ее надежда, и она сделает все, чтобы обязать Биби. Она хочет познакомиться с Банакой, и Тамина рассуждает: ее подруге не мешало бы знать фабулу хотя бы одной его книги. Все-таки надо, чтобы во время разговора Биби обронила: "Да, именно так вы и говорите в своей книге!" Или: "Вы ужасно похожи на своих героев, господин Банака!" Тамина знает, что в квартире у Биби нет ни одной книжки и что чтение нагоняет на нее скуку. И потому Тамина хотела бы знать, о чем пишет Банака, а уж затем подготовить подругу к встрече с ним.

В зале сидел Гуго, и Тамина поставила перед ним чашечку кофе:

— Гуго, вы знакомы с Банакой?

У Гуго пахло изо рта, но в остальном он казался Тамине вполне симпатичным: был тихий, робкий, лет на пять моложе ее. Он заходил в кафе раз в неделю и впивался взглядом частично в книги, которые носил с собой, частично в Тамину, стоявшую за стойкой.

— Конечно, — ответил он.

— Я хотела бы узнать содержание одной из его книг.

— Запомните, Тамина, — сказал Гуго, — еще никто никогда не читал Банаку. Читать книги Банаки значит просто выставить себя идиотом. Ни у кого нет сомнений, что это писатель второго, если не третьего или даже десятого сорта. Уверяю вас, что и сам Банака в определенной мере жертва собственной репутации, он презирает людей, читавших его книги.

Итак, больше она не интересовалась книгами Банаки, но и не упустила возможности организовать встречу с писателем. Иногда она предоставляла свою квартиру, пустующую в течение дня, замужней маленькой японке по имени Жужу, тайно встречавшейся с одним женатым преподавателем философии. Философ знал Банаку, и Тамина обязала обоих любовников привести его к ней в тот день, когда у нее в гостях будет Биби.

Узнав об этом, Биби сказала: — Возможно, Банака хорош собой, и твоя сексуальная жизнь наконец изменится.

## 7

В самом деле, с тех пор, как умер муж, Тамина не была близка ни с одним мужчиной. И вовсе не из принципа. Напротив, эта ее верность даже за порогом смерти казалась ей почти смешной, и она никогда не хвасталась ею. Но стоило ей представить себе (а это случалось часто), что она раздевается на глазах у чужого мужчины, перед ней всегда возникал образ мужа. Она знала, что именно в этот момент увидит его. Знала, что увидит его лицо и следящие за ней глаза.

Конечно, все это было нелепо, даже абсурдно, и она вполне это сознавала. Она не верила в загробную жизнь души мужа, равно как и не ду-

мала, что оскорбит его память, заимев любовника. Но она ничего не могла с собой поделать.

Ей пришла в голову даже такая странная мысль: ей было бы куда легче изменять мужу при его жизни. Он был веселым, удачливым, сильным, она чувствовала себя гораздо слабее его, и ей казалось, что она, даже при желании, не могла бы ранить его.

Сейчас все изменилось. Сейчас она оскорбила бы того, кто не может защищаться, кто отдан ей во власть, как ребенок. У ее покойного мужа нет никого, кроме нее, ах, никого, кроме нее, на всем белом свете!

И потому, стоило ей лишь подумать о возможности телесной близости с другим мужчиной, тотчас возникал образ мужа и с ним — мучительная печаль, а с печалью и непомерное желание плакать.



## 8

Банака был уродлив и вряд ли мог пробудить в какой-либо женщине дремлющую чувственность. Тамина наливала ему чай в чашку, и он весьма учтиво благодарил ее. Впрочем, все чувствовали себя у Тамины свободно, и Банака вскоре сам прервал беспорядочную болтовню и с улыбкой обратился к Биби:

— Я слышал, вы хотите писать книгу. О чем же она?

— Ничего особенного, — сказала Биби. — Роман. О том, как я вижу мир.

— Роман? — спросил Банака голосом, в котором прозвучало явное неодобрение.

— Это необязательно будет роман, — уклончиво поправила себя Биби.

— Только представьте себе роман, — сказал Банака. — Множество разных персонажей. Вы хотите убедить нас, что все о них знаете? Что вы знаете о том, как они выглядят, о чем думают, как одеваются, из какой семьи происходят? Согласитесь, что это вас вовсе не интересует!

— Это правда, — согласилась Биби, — не интересует.

— Видите ли, — продолжал Банака, — роман — плод человеческой иллюзии, будто мы можем понять другого. Но что мы знаем друг о друге?

— Ничего, — сказала Биби.

— Это правда, — сказала Жужу.

Преподаватель философии одобрительно кивнул.

— Единственное, что мы можем сделать, — сказал Банака, — это свидетельствовать о себе самих. Все остальное — превышение наших полномочий. Все остальное — ложь.

Биби восторженно согласилась: — Это верно! Абсолютно верно! Я ведь тоже ни о каком романе не помышляю. Я просто неудачно выразилась. Я хотела писать именно так, как вы сказали: о себе самой. Свидетельствовать о своей жизни. При этом я не хочу скрывать, что моя жизнь совершенно будничная, обыкновенная и что я, в общем, ничего особенного не пережила.

Банака улыбался: — Это не имеет значения! Если смотреть извне, так я тоже ничего особенного не пережил.

— Да, — воскликнула Биби, — правильно сказано! Если смотреть извне, я ничего особенного не пережила. Если смотреть извне! Но если смотреть *изнутри*, я чувствую, что мой опыт стоит того, чтобы написать о нем и тем самым заинтересовать всех.

Тамина, подливая в чашки чаю, была довольна, что оба мужчины, спустившиеся к ней в квартиру с Олимпа духа, обходительны с ее подругой.

Преподаватель философии, попыхивая трубкой, прятался за дымом, словно стыдился.

— Уже начиная с Джеймса Джойса, — сказал он, — мы знаем, что наивысшее приключение нашей жизни — отсутствие приключения. Одиссей, воевавший в Трое, возвращался морями, сам управлял судном, на каждом острове его ждала любовница, нет, это не наша жизнь. Гомеровская Одиссея переместилась вовнутрь человека. Она стала содержанием его души. Острова, моря, обольщающие нас сирены, Итака, призывающая нас, сегодня это лишь голоса нашей души.

— Да! Это именно то, что я чувствую! — воскликнула Биби и вновь обратилась к Банаке: — Поэтому я и хотела вас спросить, как взяться за это. У меня часто возникает ощущение, что все мое тело переполнено жаждой выразиться. Говорить. Высказаться. Иногда кажется, что я могу сойти с ума, меня до того распирают чувства, что хочется кричать; вам, господин Банака, это несомненно знакомо. Я хотела бы рассказать о своей жизни, о своих ощущениях, я знаю, они совершенно особые, но, когда передо мной лист бумаги, все мои мысли вдруг улетучиваются. Вот я и подумала, что это дело техники. Вероятно, мне не хватает каких-то знаний, которые есть у вас. Ведь вы написали такие прекрасные книги...

## 9

Я избавляю вас от урока по искусству письма, который преподали оба Сократа молодой женщине. Скажу кое о чем другом. Недавно я проехал на такси из одного конца Парижа в другой, и таксист разговорился. По ночам он не спит. Страдает хронической бессонницей. Началось это еще во время войны. Он был моряком. Корабль его потопили. Он плавал в море три дня и три ночи. Потом его спасли. Несколько месяцев был между жизнью и смертью. Выздоровел, но лишился сна.

— Моя жизнь на треть длиннее вашей, — сказал он с улыбкой.

— Что же вы делаете с этой третью, данной вам в дополнение? — спросил я.

— Пишу, — сказал он.

Я спросил, что он пишет.

Он пишет о своей жизни. О человеке, который плавал в море три дня и три ночи, боролся со смертью, потерял сон и все-таки сохранил силу жить.

— Вы это пишете для своих детей? Как хронику семьи?

Он горько засмеялся: — Для моих детей? Их это не интересует. Пишу просто книгу. Думаю, она может помочь многим людям.

Разговор с таксистом вдруг осветил мне суть писательской деятельности. Мы пишем книги, потому что наши дети не интересуются нами. Мы обращаемся к анонимному миру, потому что наша жена затыкает уши, когда мы разговариваем с ней.

Вы, пожалуй, возразите: в случае с таксистом речь идет о графомане и никоим образом не о писателе. Стало быть, прежде всего нам надо уточнить понятия. Особа, пишущая любовнику по четыре письма на дню, не графоманка, а влюбленная женщина. Но мой приятель, делающий фотокопии своей любовной переписки, чтобы однажды издать

ее, — графоман. Графомания — это желание писать не письма, дневники, семейные хроники (то есть писать для себя или для своих самых близких), а писать книги (то есть обретать аудиторию неизвестных читателей). В этом смысле страсть таксиста и страсть Гёте одинаковы. Гёте от таксиста отличает не иная страсть, а иной результат страсти.



Графомания (одержимость писать книги) закономерно становится массовой эпидемией при наличии трех условий развития общества:

1) высокого уровня всеобщего благосостояния, дающего возможность людям отдаваться бесполезной деятельности;

2) высокой степени атомизации общественной жизни и вытекающей отсюда тотальной разобщенности индивидуумов;

3) радикального отсутствия больших общественных изменений во внутренней жизни народа. (С этой точки зрения мне представляется знаменательным, что во Франции, где по существу ничего не происходит, процент писателей в двадцать один раз выше, чем в Израиле. Кстати, Биби точно выразилась, заявив, что, *если смотреть извне,* она ничего не пережила. Именно это отсутствие жизненного содержания, эта пустота и является мотором, понуждающим ее писать.)

Однако результат в свою очередь воздействует на причину. Тотальная разобщенность порождает графоманию, но массовая графомания в то же время обостряет чувство тотальной разобщенности. Изобретение книгопечатания когда-то дало человечеству возможность взаимопонимания. В пору всеобщей графомании написание книг обретает обратный смысл: каждый отгораживается собственными словами, словно зеркальной стеной, сквозь которую не проникает ни один голос извне.

## 10

— Тамина, — сказал Гуго, болтая с ней однажды в пустом кафе, — я знаю, у меня нет ни малейшей надежды расположить вас. Я даже не буду пытаться. Но все-таки я могу пригласить вас на воскресный обед?

Пакет находится в провинциальном городе у свекрови, и Тамина хочет переправить его к отцу в Прагу, чтобы Биби смогла его оттуда забрать. Казалось бы, нет ничего проще, но на уговоры старых людей с их причудами ей придется потратить много времени и денег. Телефонный разговор стоит дорого, а ее жалованья едва хватает на оплату квартиры и необходимое питание.

— Да, — сказала Тамина, думая о том, что в квартире у Гуго есть телефон.

Заехав за ней на машине, он повез ее в загородный ресторан.

Убогость ее положения могла бы облегчить ему роль всесильного покорителя, но за фигурой низкооплачиваемой официантки он видит таинственный опыт чужестранки и вдовы. Он чувствует себя неуверенно. Ее любезность словно непробиваемый панцирь. Он хотел бы привлечь ее внимание, заинтересовать ее, проникнуть в ее мысли!

Он попытался придумать для нее нечто необычное. Не доехав до цели, он остановил машину, решив побродить с нею по зоологическому саду, расположенному в парке красивого загородного замка. Они ходили среди обезьян и попугаев на фоне готических башен. В парке они оказались совершенно одни, лишь деревенский садовник сметал опавшие листья с широких аллей. Миновав волка, бобра и тигра, они подошли к

большому полю, обнесенному проволочной сеткой, за которой содержались страусы.

Их было шестеро. Увидев Тамину и Гуго, птицы подбежали к ним. Сбившись в стайку у забора, они вытягивали длинные шеи, таращили на них глаза и беспрестанно открывали широкие плоские клювы. Они открывали и закрывали их с невероятной, лихорадочной быстротой, словно разговаривали, перекрикивая друг друга. Но их клювы были безнадежно немы и не издавали даже тончайшего звука.

Страусы походили на гонцов, заучивших какую-то важную весть, но по дороге неприятель перерезал им голосовые связки, и они, достигнув цели, могли лишь беззвучно шевелить губами.

Тамина, точно заколдованная, смотрела на страусов, а они без устали говорили, говорили все настойчивее, а когда она и Гуго двинулись в путь, побежали за ними вдоль ограды и, продолжая щелкать немыми клювами, предупреждали ее о чем-то, но о чем — Тамина не ведала.

## 11

— Это было похоже на эпизод из страшной сказки, — говорила Тамина, разрезая паштет. — Словно они хотели сообщить мне что-то ужасно важное. Но что? Что они хотели сказать мне?

Гуго стал объяснять, что это молодые страусы и что именно так они и ведут себя. Когда он в последний раз был в этом зоологическом саду, они все шестеро, подбежав к ограде, тоже открывали свои немые клювы.

Но Тамина оставалась встревоженной: — Видите ли, в Чехии я оставила кое-что. Пакет с некоторыми бумагами. Если отправить его почтой, полиция скорее всего конфискует его. Биби летом собирается в Прагу. И обещала мне его привезти. А теперь мне стало страшно. И я задаюсь вопросом, не пришли ли страусы предупредить меня, что с этим пакетом что-то случилось.

Гуго знал, что Тамина вдова и что муж ее эмигрировал по политическим причинам.

— Это какие-то политические документы? — спросил он.

Тамина уже давно осознала: если она хочет, чтобы ее жизнь была понятной здешним людям, она должна ее упростить. Было бы чрезвычайно сложно объяснить, почему эта частная переписка и интимные дневники могут быть конфискованы и почему она вообще придает им такое значение. Она сказала: — Да, политические документы.

И тут же испугалась, что Гуго захочет подробнее узнать об этих документах, но ее тревога была напрасной. Разве кто-нибудь когда-нибудь задавал ей какие-то вопросы? Люди обычно сообщали ей то, что они о ее стране думают, но ее опыт не занимал их.

Гуго спросил: — А Биби знает, что это политические документы?

— Нет, — ответила Тамина.

— Это хорошо, — сказал Гуго. — Не говорите ей, что речь идет о политике. В последнюю минуту она испугается и ничего не возьмет. Вы не представляете себе, Тамина, как люди боятся. Пусть Биби думает, что речь идет о чем-то совершенно незначительном и обыкновенном. Ну, к примеру, о вашей любовной переписке. Да, скажите ей, что в этом пакете любовные письма!

Гуго посмеялся над своей идеей: — Любовные письма! Да! Это то, что не переходит границ ее кругозора! Биби способна это понять!

Стало быть, для Гуго, думает Тамина, любовные письма — нечто незначительное и обыкновенное. Никому даже в голову не приходит, что она могла кого-то любить и что это было так важно.

Гуго добавил: — Если ее поездка почему-то сорвется, положитесь на меня. Я поеду и найду там ваш пакет.

— Спасибо, — искренне сказала Тамина.

— Я поеду и найду его, — повторил Гуго, — пусть меня даже посадят.

— Да полно вам! — возражает Тамина. — Ничего такого с вами не случится! — И она пытается ему объяснить, что иностранным туристам в Чехии не грозит никакая опасность. В Чехии жизнь опасна только для чехов, да и те уже не сознают этого. Она говорила взволнованно и долго, она знала эту страну как свои пять пальцев, и я могу подтвердить, что она говорила сущую правду.

Час спустя она держала у своего уха трубку телефона Гуго. Ее разговор со свекровью был ничуть не удачнее первого: — Вы не давали мне никакого ключа! Вы от меня всегда все скрывали! Почему ты заставляешь меня вспоминать, как вы всю жизнь ко мне относились!

## 12

Если для Тамины так важны ее воспоминания, почему же она не возвращается в Чехию? Эмигранты, нелегально покинувшие после 1968 года страну, были тем временем амнистированы и приглашены вернуться. Чего же тогда боится Тамина? Она ведь слишком неприметная фигура, чтобы на родине подвергаться опасности!

Да, она без боязни могла бы вернуться. И все-таки не может.

Мужа на родине предали все. И Тамина считает: вернись она к ним, она бы тоже его предала.

Когда его постоянно понижали в должности, а в конце концов и вовсе выгнали с работы, никто не заступился. Даже друзья. Конечно, Тамина знает, что в глубине души они были на его стороне и лишь страх принуждал их молчать. Но именно потому, что были на его стороне, они тем больше стыдились своего страха и, встречая его на улице, делали вид, что не замечают его. Супруги из деликатности и сами стали избегать людей, дабы не пробуждать в них стыда. И вскоре оба почувствовали себя прокаженными. Когда они покинули Чехию, бывшие коллеги подписали публичное заявление, в котором оклеветали и осудили мужа. Они, конечно, сделали это ради того, чтобы не лишиться работы, как лишился ее несколько раньше муж Тамины. Однако же сделали это. И тем самым еще больше углубили между собой и двумя эмигрантами пропасть, которую Тамина никогда не согласится перепрыгнуть, чтобы вернуться туда.

Когда в первую ночь после бегства они проснулись в маленьком отеле в Альпах и осознали, что они одни, оторванные от мира, в котором развертывалась вся их предыдущая жизнь, Тамина почувствовала освобождение и облегчение. Они были в горах, в восхитительном уединении. Вокруг стояла невообразимая тишина. Тамина воспринимала ее как нежданный дар, и ей вдруг подумалось, что муж покинул Чехию, чтобы спастись от преследования, а она — чтобы обрести тишину; тишину для мужа и для себя; тишину для любви.

После смерти мужа ее охватила внезапная тоска по родине, где повсюду остались следы одиннадцати лет их жизни. В порыве вдруг нахлынувшей сентиментальности она послала траурное извещение десятку знакомых. Но не получила ни одного ответа.

Месяцем позже на оставшиеся сбережения она поехала к морю. Надев купальный костюм, она проглотила тюбик транквилизатора и уплыла далеко в море. Думала, что таблетки вызовут у нее глубокую усталость и она утонет. Но холодная вода и спортивная сноровка (она всегда была превосходной пловчихой) не дали ей уснуть, да и таблетки, видимо, были слабее, чем она предполагала.

Она вернулась на берег, пошла в номер и проспала там двадцать часов. Когда проснулась, ощутила в себе покой и мир. Решила жить в тишине и ради тишины.

## 13

Телевизор Биби озарял серебристо-голубым светом присутствующих: Тамину, Жужу, Биби и ее мужа Деде, коммивояжера, вернувшегося накануне после четырех дней отсутствия. В комнате стоял слабый запах мочи, а на телеэкране была большая, круглая, старая, лысая голова: незримый журналист адресовал ей провокационный вопрос:

— Мы прочли в ваших мемуарах несколько шокирующих эротических признаний.

Шла регулярная передача, в которой популярный журналист приглашал к участию в беседе нескольких авторов, чьи книги вышли в свет на минувшей неделе.

Большая голая голова самовлюбленно улыбалась: — Помилуйте! Ничего шокирующего! Всего лишь предельно точный подсчет! Посчитаем вместе. Моя эротическая жизнь началась в пятнадцать лет. — Старая круглая голова гордо огляделась вокруг: — Да, в пятнадцать. Сейчас мне шестьдесят пять. Стало быть, у меня за спиной пятьдесят лет эротической жизни. Я могу предположить, а это весьма скромная оценка, что я занимался любовью в среднем два раза в неделю. Следовательно, сто раз в год, или же пять тысяч раз в течение моей жизни. Считайте дальше. Если оргазм продолжается пять секунд, значит, у меня было двадцать пять тысяч секунд оргазма. А в сумме это шесть часов пятьдесят шесть минут оргазма. Недурно, как по-вашему?

Все в комнате серьезно кивали, а Тамина вообразила себе лысоголового старика, испытывавшего непрерывный оргазм: как он извивается, хватается за сердце, как спустя четверть часа у него изо рта выпадает искусственная челюсть, а спустя еще пять минут он падает замертво. Она прыснула со смеху.

— Что ты смеешься? — приструнила ее Биби. — Это не такой уж плохой итог! Шесть часов пятьдесят шесть минут сплошного оргазма.

Жужу сказала: — Многие годы я вообще не знала, что такое испытывать оргазм. Но теперь, вот уже несколько лет, испытываю его достаточно регулярно.

Все стали обсуждать оргазм Жужу, в то время как на экране выражала свое возмущение уже другая физиономия.

— Почему он так сердится? — спросил Деде.

Писатель на экране говорил: — Это весьма важно. Весьма важно. Я объясняю это в своей книге.

— Что весьма важно? — спросила Биби.

— Что он провел свое детство в деревне Руру, — пояснила Тамина.

У субъекта, который провел свое детство в деревне Руру, был длинный нос, отяжелявший его, словно гиря: его голова все больше и больше клонилась вниз, и временами сдавалось, что она выпадет из экрана в комнату. Лицо, отяжеленное носом, было безмерно возбуждено, когда изрекало:

— Я объясняю это в своей книге. Все мое творчество связано с простой деревней Руру, а кто этого не понимает, тот вообще не может постичь мои произведения. Даже свои первые стихи я писал именно там. Да. Я считаю это весьма важным фактом.

— С некоторыми мужчинами, — сказала Жужу, — я вообще никогда не испытываю оргазма.

— Не забывайте, — говорил писатель, и его лицо все больше возбуждалось, — что именно в Руру я впервые сел на велосипед. Да, я подробно пишу об этом в своей книге. А вы все знаете, что значит в моих произведениях велосипед. Это символ. Велосипед для меня — это первый шаг человечества из патриархального мира в мир цивилизации. Первый флирт с цивилизацией. Флирт девственницы перед первым поцелуем. Пока еще девственность, но уже грех.

— В самом деле, — сказала Жужу, — моя коллега Танака первый оргазм испытала на велосипеде, когда была еще девственницей.

Все стали обсуждать оргазм Танаки, а Тамина спросила Биби: — Я могу от тебя позвонить?

## 14

В соседней комнате запах мочи был еще сильнее. Там спала дочка Биби.

— Я знаю, что вы не разговариваете, — шептала Тамина, — но иначе я не получу от нее своего пакета. Есть единственная возможность: ты поедешь к ней и возьмешь его. Если она не найдет ключа, заставь ее взломать замок. В ящике мои вещи. Письма и прочее. У меня есть право на них.

— Тамина, не принуждай меня разговаривать с ней!

— Папа, пересиль себя и сделай это для меня. Она боится тебя и не осмелится отказать.

— Знаешь что? Если твои знакомые приедут в Прагу, я дам им для тебя шубу. Это важнее, чем старые письма.

— Но мне не нужна шуба. Мне нужен мой пакет.

— Говори громче! Я не слышу тебя! — просил отец, но дочь умышленно говорила шепотом, чтобы Биби не слышала ее чешских фраз, по которым сразу бы поняла, что она звонит за границу и что каждая секунда разговора дорого обойдется.

— Я говорю, что мне нужен мой пакет, а не шуба! — повторила Тамина.

— Тебя всегда волнуют глупости!

— Папа, телефон стоит ужасно дорого! Скажи, пожалуйста, ты правда не можешь поехать к ней?

Разговор был трудным. Отец поминутно просил ее повторить сказанное и упорно не соглашался поехать к свекрови. В конце концов проговорил:

— Позвони брату! Пусть съездит он! И привезет этот пакет мне!

— Но брат ее совсем не знает!

— Тем лучше, — засмеялся отец. — Иначе он никогда бы к ней не поехал.

Тамина быстро прикинула: это, конечно, неплохая идея послать к свекрови брата, человека энергичного и властного. Но Тамине не хочется ему звонить. С тех пор как она за границей, они не обменялись ни единым письмом. Брат занимает высокооплачиваемую должность и сохранил ее лишь благодаря тому, что не поддерживает никакой связи с сестрой-эмигранткой.

— Папа, я не могу ему звонить. Может, ты сам все ему объяснишь? Прошу тебя, папа!

## 15

Когда отец, человек низкорослый и хилый, шел, бывало, по улице, держа Тамину за руку, он гордо выпячивал грудь, словно демонстрировал всему свету памятник своей одной героической ночи, в которую сотворил дочь. Зятя он всегда недолюбливал и вел с ним непрерывную войну. И, предлагая послать Тамине шубу (наверняка доставшуюся ему от какой-нибудь умершей родственницы), был движим не заботой о здоровье дочери, а своим старым соперничеством. Он хотел, чтобы Тамина предпочла отца (шубу) супругу (пакету бумаг).

Тамину приводило в ужас, что судьба ее пакета во враждебных руках отца и свекрови. Она все чаще представляла себе, как ее дневники читают чужие глаза, и ей пришла мысль, что чужие взгляды подобны дождю, смывающему надписи на стенах. Или подобны свету, что раньше времени падает на фотобумагу в ванночке с проявителем и губит изображение.

Она поняла, что ценность и смысл ее памятных записей состоит лишь в том, что они предназначены *только ей*. В ту минуту, когда они утрачивают это свойство, обрывается интимная нить, связывающая ее с ними, и она уже будет читать их не своими глазами, а глазами публики, которая знакомится с документом, написанным другим. И тот, кто писал его, станет для нее существом посторонним. Поразительное сходство, которое все же останется между нею и автором дневников, будет производить на нее впечатление пародии и насмешки. Нет, она никогда не сможет читать свои дневники, если их коснулись чужие глаза!

И ею овладело нетерпение: эти дневники и письма ей захотелось получить как можно быстрее, покуда запечатленный в ней образ прошлого еще не погублен.

## 16

В кафе появилась Биби и подсела к барной стойке: — Привет, Тамина. Дай мне виски.

Биби в основном пила кофе и только в исключительных случаях портвейн. Просьба дать ей виски говорила о том, что Биби в особом расположении духа.

— Как продвигается книга? — спросила Тамина, наливая в рюмку виски.

— Чтобы писать, надо быть в лучшем настроении, — ответила Биби. Она залпом выпила виски и попросила еще рюмку.

В кафе вошли несколько посетителей. Узнав, что угодно каждому из них, Тамина вернулась к стойке, налила подруге вторую рюмку виски и принялась обслуживать клиентов. Когда она снова подошла к стойке, Биби сказала:

— Деде больше не могу выносить. После своих поездок он два дня валяется в постели. Два дня не вылезает из пижамы. Ты бы вынесла это? И самое ужасное, когда ему хочется трахаться. Он понять не может, что это траханье мне просто обрыдло. На этом надо поставить точку. Он только и знает, что готовится к своим отпускам. Лежит в пижаме на кровати и изучает атлас. Сначала собирался в Прагу. Но сейчас это его уже не привлекает. Нашел какую-то книгу об Ирландии и во что бы то ни стало хочет туда.

— Значит, вы поедете в отпуск в Ирландию? — спросила Тамина, чувствуя, как перехватило горло.

— *Мы? Мы* никуда не поедем. Я останусь дома и буду писать. Он никуда меня не вытянет. Мне Деде не нужен. А я для него вообще пустое место. Я пишу, но, представляешь, он еще ни разу не спросил, о чем я пишу. Я поняла, что нам с ним вообще не о чем говорить.

Тамина хотела спросить: "Так ты, значит, не поедешь в Прагу?" — но снова перехватило горло, и она не смогла вымолвить ни слова.

Тут в кафе вошла японка Жужу и вскочила на барный табурет рядом с Биби. Она спросила: — Вы могли бы заниматься любовью прилюдно?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, к примеру, тут в кафе, на полу, на глазах у всех. Или в кино во время сеанса.

— Тише! — крикнула Биби дочке, поднявшей визг у ножек ее табурета. Потом сказала: — А почему бы и нет? В этом нет ничего противоестественного. Почему надо стыдиться того, что естественно?

Тамина снова набралась было мужества спросить у Биби, поедет ли она в Прагу. Но тут же поняла, что вопрос излишен. Было даже слишком очевидно: Биби в Прагу не поедет.

Из кухни в зал вошла хозяйка кафе и с улыбкой спросила Биби: — Как вы поживаете?

— Нужна революция, — сказала Биби. — Что-то должно произойти! В конце концов, должно же что-то произойти!

Ночью Тамине снились страусы. Они стояли у ограды и наперебой разговаривали с ней. Они вселяли в нее страх. Не в силах сдвинуться с места, она, словно загипнотизированная, смотрела на их немые клювы. И судорожно сжимала губы. Во рту у нее было золотое кольцо, и она боялась потерять его.

## 17

Почему я представляю ее с золотым кольцом во рту?

Я ничего не могу поделать: я представляю ее именно так.

И вдруг мне вспоминается фраза: "*...тихий, чистый, металлический тон; будто золотое кольцо падает в серебряную чашу*".

Томас Манн еще в ранней молодости написал наивный, захватывающий рассказ о смерти: в этом рассказе смерть прекрасна, как прекрасна она для всех тех, кто мечтает о ней, когда он очень молод и смерть еще нереальна и пленительна, точно голубоватый голос далей.

Молодой человек, смертельно больной, садится в поезд, потом выходит на неведомой станции, идет в город, названия которого он не зна-

ет, и в одном доме у старухи, чей лоб покрыт экземой, снимает комнату. Нет, я не собираюсь рассказывать, что происходило в этой временно снятой квартире, я хочу лишь упомянуть об одном незначительном эпизоде: когда этот больной молодой человек ходил по комнате, "*ему казалось, что среди чеканных звуков собственных шагов он слышит рядом, в соседних комнатах, какой-то неопределенный звук, тихий, чистый, металлический тон; но, возможно, это лишь казалось ему. Будто золотое кольцо падает в серебряную чашу, подумал он...*"

У этого маленького акустического эпизода нет в рассказе ни продолжения, ни объяснения. С точки зрения чистого действия, его можно было бы беспрепятственно опустить. Звук раздался, и все; ни с того ни с сего; просто так.

Я думаю, что Томас Манн позволил зазвучать этому "*тихому, чистому, металлическому тону*", чтобы возникла тишина. Она была нужна ему, чтобы услышать красоту (ибо смерть, о которой он рассказывал, была *смертью-красотой*), а красота, чтобы быть воспринятой, требует хотя бы минимальной тишины (измеряемой именно звуком упавшего в серебряную чашу золотого кольца).

(Да, я знаю, вам непонятно, о чем я говорю, ведь красота давно погибла. Она исчезла под слоем шума — шума слов, шума машин, шума музыки, шума букв, — в котором мы постоянно живем. Красота затоплена, как Атлантида. После нее осталось только слово, чей смысл год от года все менее вразумителен.)

Тамина впервые услыхала эту тишину (драгоценную, точно обломок мраморной статуи из затонувшей Атлантиды), проснувшись после бегства из Чехии в альпийском отеле, окруженном лесами. Второй раз она услыхала ее, плавая в море с желудком, полным таблеток, принесших ей вместо смерти нежданный покой. Эту тишину ей хочется оберечь своим телом и в своем теле. Вот почему она видится мне в ее сне: она стоит у проволочной ограды и, судорожно сжимая губы, держит во рту золотое кольцо.

Против нее за оградой шесть длинных шей с маленькими головками и плоскими клювами, что беззвучно открываются и закрываются. Она не понимает их. И не знает, угрожают ли они ей, предупреждают, увещевают или просят. А поскольку ничего не знает, испытывает безмерную тревогу. Она боится потерять золотое кольцо (этот камертон тишины) и, судорожно сжимая губы, хранит его во рту.

И Тамина никогда не узнает, о чем они пришли сказать ей. Но я это знаю. Они пришли не за тем, чтобы предупреждать ее, наставлять или угрожать ей. Она для них вовсе ничего не значит. Они пришли, чтобы каждый из них рассказал ей о себе. Как он ел, как спал, как бежал к ограде и что видел за ней. Что провел свое знаменитое детство в знаменитой деревне Руру. Что его знаменитый оргазм продолжался шесть часов. Что за оградой он видел бабку, повязанную платком. Что он плавал, занемог, но потом выздоровел. Что в молодости он ездил на велосипеде, а нынче съел мешок травы. Они все стоят перед Таминой и наперебой рассказывают ей о себе, воинственно, напористо и агрессивно, ибо на свете нет ничего более значительного, чем то, о чем они хотят ей сказать.

## 18

Несколькими днями позже в кафе появился Банака. Пьяный в стельку, он уселся на табурет у бара, дважды упал с него, дважды взгромоздился

снова, заказал себе кальвадос и опустил голову на стол. Тамина заметила, что он плачет.

— Что с вами, господин Банака? — спросила она.

Банака посмотрел на нее заплаканными глазами и пальцем ткнул себя в грудь: — Меня нет, понимаете! Меня нет! Я не существую!

Затем он пошел в туалет, а оттуда прямиком на улицу, так и не расплатившись.

Тамина рассказала об этом Гуго, а тот вместо объяснения показал ей страничку газеты с несколькими рецензиями на книги, а также с заметкой о творении Банаки, состоявшей из четырех саркастических строк.

Эпизод с Банакой, который пальцем тыкал себя в грудь и плакал, потому что он не существует, напоминает мне строку из гётевского "Западно-восточного дивана": *"Живет ли человек, когда живут другие?"* В вопросе Гёте сокрыта тайна самой сущности писательства: человек, пишущий книги, превращается во вселенную (разве не говорят о вселенной Бальзака, вселенной Чехова, вселенной Кафки?), а сущность вселенной именно в том и заключается, что она единственная. Наличие другой вселенной, стало быть, угрожает самой ее сущности.

Два башмачника, если их мастерские не на одной улице, могут жить вместе в чудесной гармонии. Но стоит им начать писать книгу об участи башмачника, они тотчас станут мешать друг другу и задавать вопрос: *"Живет ли башмачник, когда живут другие башмачники?"*

Тамине кажется, что даже единый посторонний взгляд может уничтожить ценность ее интимных дневников, а Гёте одержим мыслью, что даже единый взгляд одного-единственного человека, скользящий поверх строк его произведения, ставит под сомнение само существование Гёте. Разница между Таминой и Гёте не более, чем разница между человеком и писателем.

Тот, кто пишет книги, либо всё (он — единственная вселенная для самого себя и для всех других), либо ничто. А так как никому не дано быть *всем*, мы все, пишущие книги, являем собою *ничто*. Непризнанные, ревнивые, озлобленные, мы желаем другому смерти. Тут мы все равны: Банака, Биби, я и Гёте.

Неудержимый рост массовой графомании среди политиков, таксистов, рожениц, любовниц, убийц, воров, проституток, префектов, врачей и пациентов убеждает меня в том, что каждый человек без исключения носит в себе писателя как некую возможность, и потому человечество по праву могло бы вы́сыпать на улицы и кричать: мы все писатели!

Ибо каждый человек страдает при мысли, что он исчезнет в равнодушной вселенной неуслышанным и незамеченным, а посему сам хочет вовремя превратиться во вселенную слов.

Но когда однажды (и это будет скоро) во всех людях проснется писатель, настанут времена всеобщей глухоты и непонимания.

## 19

Теперь ее единственной надеждой остается Гуго. Он пригласил ее на ужин, и на этот раз она с радостью приняла приглашение.

Гуго сидит за столом напротив нее и думает об одном: Тамина постоянно от него ускользает. В ее присутствии он теряет уверенность и не решается атаковать ее напрямую. И чем больше он страдает от невозможности достичь цели, весьма скромной и определенной, тем сильнее

его желание завоевать мир, эту неохватность неопределенного, эту неопределенность неохватного. Он вынимает из кармана журнал и, раскрыв его, протягивает ей. На раскрытой странице большая статья, подписанная его именем.

Затем он разражается длинной тирадой. Говорит о журнале, показанном ей: да, за пределами их города пока читают его немногие, однако это серьезное теоретическое издание, и люди, его выпускающие, не робкого десятка и со временем далеко пойдут. Гуго говорит, говорит, и его слова должны стать метафорой его эротической агрессивности, демонстрацией его мужской силы. В этих словах — волшебная готовность абстрактного, спешащего заменить непреклонность конкретного.

И Тамина, глядя на Гуго, преображает его лицо. Эти ее духовные упражнения превратились в манию. По-другому она уже не смотрит на мужчину. Усилием воли она мобилизует все свое воображение, и в результате карие глаза Гуго действительно меняют цвет, становясь вдруг голубыми. Тамина смотрит на него пристально: ведь для того, чтобы голубой цвет не рассеялся, она должна удержать его в глазах Гуго всей силой своего взгляда.

Этот взгляд будоражит Гуго, заставляя его говорить все больше и больше, глаза его светятся яркой голубизной, лоб мягко вытягивается над висками, пока впереди не остается лишь узкий треугольник волос, обращенный острым концом вниз.

— Я всегда направлял свою критику против нашего западного мира, и только. Но несправедливость, царящая здесь, может привести нас к ложной снисходительности к другим странам. Благодаря вам, да, Тамина, благодаря вам я понял, что проблема власти повсюду одинакова, и у вас, и у нас, на Западе и на Востоке. Мы не должны пытаться заменить одну форму власти другой, но мы обязаны отрицать сам *принцип* власти, и отрицать его повсеместно.

Гуго наклоняется над столом к Тамине, кислый запах из его рта нарушает ее духовные упражнения настолько, что надо лбом Гуго вновь нависают густые, низко растущие волосы. А Гуго опять говорит, что все это он понял лишь благодаря ей.

— Как так? — прерывает его Тамина. — Мы же никогда не говорили об этом!

На лице у Гуго уже только один голубой глаз, да и тот постепенно коричневеет.

— Нам и не надо было о чем-то говорить. Достаточно того, что я о вас много думал.

Официант, склонившись, поставил перед ними тарелку с закуской.

— Прочту это дома, — сказала Тамина и сунула журнал в сумку. Потом сказала: — Биби в Прагу не едет.

— Я знал это, — сказал Гуго и добавил: — Не волнуйтесь, Тамина. Я обещал вам. Я сам поеду туда.

## 20

— У меня для тебя хорошая новость. Я говорил с твоим братом. Он поедет к свекрови в эту субботу.

— Правда? И ты объяснил ему все? Ты сказал, что, если свекровь не найдет ключа, надо просто выломать замок?

Тамина, словно в дурмане, повесила трубку.

— Хорошая новость? — спросил Гуго.

— Да, — сказала она.

В ушах у нее стоял голос отца, веселый и решительный, и ей подумалось, что она была несправедлива к нему.

Гуго встал, подошел к бару. Достал оттуда две рюмки и налил в них виски.

— Звоните от меня, Тамина, когда вам угодно и сколько угодно. Я могу повторить вам то, что уже сказал. Мне с вами хорошо, хотя я знаю, что вы никогда не будете со мной спать.

Он принудил себя произнести это "я знаю, что вы никогда не будете со мной спать" лишь для того, чтобы доказазать себе, что способен выговорить перед этой неприступной женщиной определенные слова (пусть даже в осторожной, отрицательной форме), и теперь казался себе почти храбрецом.

Тамина встала и направилась к Гуго, чтобы взять у него рюмку. Она думала о брате: они не общались, но все же любят друг друга и готовы друг другу помочь.

— Пусть все у вас получится! — сказал Гуго и выпил.

Тамина тоже выпила свое виски и поставила бокал на столик. Собралась было сесть, но не успела: Гуго обнял ее.

Она не сопротивлялась, разве что отвернула голову. У нее искривился рот, лоб покрылся морщинами.

Он обнял ее, даже не зная, как это случилось. Сначала он сам испугался, и, оттолкни его Тамина, он робко отступил бы от нее и, возможно, попросил бы прощения. Но Тамина не оттолкнула его, а ее искривленное лицо и повернутая голова лишь несказанно возбудили его. Те немногие женщины, которых он до сих пор знал, никогда не отвечали на его ласку столь выразительно. Если они и решались вступить с ним в любовную связь, то раздевались и совершенно спокойно, чуть ли не равнодушно ждали его дальнейших действий. Гримаса на лице Тамины придавала их объятию такую значимость, какая до сих пор ему и не снилась. Он стал безудержно обнимать ее, пытаясь сорвать с нее платье.

Но почему Тамина не сопротивлялась?

Вот уже три года она с опасением думала об этой минуте. Вот уже три года она жила под ее гипнотическим взглядом. И эта минута пришла, причем именно такой, какой она ее представляла. Вот почему она не сопротивлялась. Она приняла ее, как принимают неотвратимое.

Разве что голову отвернула. Но и это не помогло. Образ мужа был здесь, и по мере того, как она поворачивала лицо, он перемещался по комнате. То был огромный портрет гротескно огромного мужа, мужа сверхъестественной величины, да, все было точно так, как в течение трех лет она себе представляла.

И вот Тамина уже совсем обнажилась, и Гуго, возбужденный тем, что принимал за ее возбуждение, с изумлением обнаружил, что лоно ее сухое.

## 21

Однажды во время небольшой операции, которую ей делали без наркоза, она заставляла себя повторять неправильные английские глаголы. Сейчас она старалась вести себя подобным образом, сосредочив мысли

на своих дневниках. Она думала о том, что скоро они будут в безопасности у отца и этот славный малый Гуго привезет их. А этот славный Гуго уже не одну минуту бешено метался на ней, когда она вдруг заметила, что при этом он странно приподнимается на руках и двигает во все стороны бедрами. Было ясно: он недоволен ее откликом, она кажется ему недостаточно возбужденной, и потому он силится проникнуть в нее под разными углами и отыскать в ее глубинах таинственную точку чувственности, сокрытую от него.

Она не хотела видеть его многотрудных усилий и отвернула голову. Стараясь приструнить мысли, она снова направила их на свои дневники. Заставила себя повторить в уме очередность их отпусков в том виде, в каком пока ей удалось ее восстановить: первый отпуск на берегу небольшого озера в Чехии, потом Югославия, опять озерцо в Чехии и один чешский водный курорт, но очередность этих отпусков все еще неясна. В 1964 году они были в Татрах, на следующий год — в Болгарии, потом след снова теряется. В 1968 году они весь отпуск провели в Праге, на следующий год отправились на курорт, а потом была уже эмиграция и последний отпуск в Италии.

Сейчас Гуго отстранился от ее тела и попытался перевернуть его. Она догадалась: он хочет, чтобы она встала на четвереньки. Тут вдруг она вспомнила, что Гуго моложе ее, и застыдилась. Но она старалась умертвить все свои чувства и с полным равнодушием подчиниться ему. Потом она ощутила резкие толчки его тела на своем крупе. Она поняла, что он хочет потрясти ее своей выносливостью и силой, что он вступил в решающий бой, что сдает выпускной экзамен, на котором должен доказать, что победит и будет достоин ее.

Она не знала, что Гуго не видит ее. Лишь мимолетный взгляд на зрелый и красивый круп Тамины (казавшийся ему открытым оком, безжалостно смотревшим на него) минуту назад так его возбудил, что он тотчас закрыл глаза, замедлил движения и стал глубоко дышать. Теперь он старался думать о чем-то постороннем (это было единственное, в чем они походили друг на друга), лишь бы немного продлить любовную близость.

А она в то же время видела напротив себя, на белой поверхности шкафа Гуго, огромное лицо мужа; быстро закрыв глаза, она опять начала воскрешать в памяти очередность отпусков, словно это были неправильные английские глаголы: сперва отпуск на берегу озера, затем Югославия, озеро, курорт или же курорт, Югославия, озеро, потом Татры, Болгария, и тут след теряется, затем Прага, курорт, наконец Италия.

Шумное дыхание Гуго прервало ее воспоминания. Она открыла глаза и на белом шкафу снова увидела лицо мужа.

Гуго тоже внезапно открыл глаза. Он увидел око Тамининого крупа, и наслаждение пронизало его, словно молния.

## 22

Брату Тамины, навестившему ее свекровь, не пришлось взламывать ящик. Он не был заперт, и в нем хранились все одиннадцать дневников. Они не были упакованы, а лежали вразброс. Письма в ящике тоже лежали все вперемешку, создавая бесформенную гору бумаг. Письма

вместе с дневниками брат поместил в чемоданчик и отправился с ним к отцу.

Тамина по телефону попросила отца все аккуратно упаковать и заклеить, а главное, запретила ему и брату что-либо читать.

Слегка обиженным тоном отец уверил ее, что им и в голову никогда не пришло бы уподобиться свекрови и читать то, что их не касается. Но я-то знаю (да и Тамина это знает), что есть взгляды, которым ни один человек не может противиться: например, взгляд, брошенный на автомобильную катастрофу или на чужое любовное письмо.

Итак, интимные бумаги наконец были сложены у отца. Но так ли они еще важны для Тамины? Разве она не говорила себе сотню раз, что посторонние взгляды подобны дождю, смывающему надписи?

Нет, она ошибалась. Она мечтает о своих дневниках больше прежнего, они ей еще дороже. Ее записи опустошены и изнасилованы так же, как опустошена и замарана она сама, стало быть, они — она и ее воспоминания — сестры с одинаковой судьбой. Она любит их еще больше.

Но она чувствует себя осквернённой.

В очень давние времена, когда ей было лет семь, дядя застиг ее в спальне голой. Ей было страшно стыдно, и стыд ее превратился в бунтарство. Она торжественно поклялась себе, что никогда в жизни не взглянет на дядю.

Ее могли попрекать, ругать, смеяться над ней, но на дядю, часто заходившего к ним, она никогда больше не подняла глаз.

Сейчас она оказалась в такой же ситуации. Отцу и брату она была благодарна, но уже не хотела их видеть. Лучше, чем когда-либо прежде, знала: к ним она уже никогда не вернется.

## 23

Нежданный сексуальный успех принес Гуго столь же нежданное разочарование. Несмотря на то, что ему дозволялось заниматься с нею любовью, когда ему вздумается (она едва ли могла отказать ему в том, что допустила однажды), он чувствовал, что не сумел ни покорить ее, ни обольстить. О, может ли быть нагое тело под его телом таким безучастным, таким недосягаемым, таким далеким и чужим? Он же хотел сделать ее частью своего внутреннего мира, этой великолепной вселенной, сотворенной его кровью и его мыслями!

Он сидит напротив нее в кафе и говорит: — Хочу написать книгу, книгу о любви, да, о себе и о тебе, Тамина, о нас двоих, наш сокровеннейший дневник, дневник наших двух тел, да, я хочу в нем развеять все запреты и сказать о себе все-все, кто я и что я думаю, но одновременно это будет и политическая книга, политическая книга о любви и любовная книга о политике...

Тамина смотрит на Гуго, и он, подавленный ее взглядом, вдруг теряет нить речи. Он мечтал увлечь ее во вселенную своей крови и своих мыслей, но она абсолютно замкнута в собственном мире, и его слова, слова неразделенные, все больше тяжелеют в его устах, и их поток замедляется:

— ...любовная книга о политике, да, ибо мир должен быть сотворен соразмерно человеку, соразмерно нам, нашим телам, твоему телу, Тамина, моему телу, да, чтобы человек однажды мог иначе целовать, иначе любить...

Слова все больше тяжелеют, они словно огромные куски твердого неразжеванного мяса. Гуго умолк. Тамина была красива, и он почувствовал к ней ненависть. Ему казалось, что она злоупотребляет своей судьбой. Свое прошлое эмигрантки и вдовы она превратила в некий небоскреб ложной гордыни, с высоты которой она смотрит на всех остальных. И Гуго ревниво думает о собственной башне, которую старается воздвигнуть напротив ее небоскреба, но которую она отказывается замечать: башню, выстроенную из опубликованной статьи и задуманной книги об их любви.

Потом Тамина сказала: — Ты когда собираешься ехать в Прагу?

И тут Гуго осенило, что она никогда не любила его и была с ним лишь потому, что нуждается, чтобы кто-то поехал в Прагу. Его наполнило неодолимое желание отомстить ей за это.

— Тамина, — говорит он, — я думал, ты сама догадаешься. Ты же читала мою статью!

— Читала, — подтверждает Тамина.

Он не верит ей. А если и читала, то не заинтересовалась ею. Она ни разу не заговорила о ней. И Гуго сознает, что единственное большое чувство, на которое он способен, это верность его непризнанной, покинутой башне (башне опубликованной статьи и задуманной книги о любви к Тамине), что он готов сражаться за эту башню и что заставит Тамину заметить ее и изумиться ее высоте.

— Ты же знаешь, что я там затрагиваю проблему власти. Исследую, как функционирует власть. Причем ссылаюсь на то, что творится у вас. И говорю об этом без обиняков.

— Скажи, пожалуйста, ты и вправду думаешь, что в Праге знают о твоей статье?

Гуго уязвлен ее иронией: — Ты уже давно живешь за границей и забыла, на что способна ваша полиция. Эта статья имела большой отклик. Я получил уйму писем. Ваша полиция знает обо мне. Не сомневаюсь в этом.

Тамина молчит и становится все красивее. Бог мой, да он готов сто раз съездить в Прагу, лишь бы она хоть мельком заметила его вселенную, куда он хочет взять ее, вселенную его крови и его мыслей! И он внезапно меняет тон.

— Тамина, — говорит он печально, — я знаю, ты сердишься, что я не еду в Прагу. Я раньше говорил тебе, что могу подождать с публикацией этой статьи, но потом понял, что молчать больше нельзя. Ты понимаешь меня?

— Нет, — отвечает Тамина.

Гуго знает: все, что он говорит, сплошная бессмыслица, поставившая его в положение, в каком он вовсе не хотел быть, но пути к отступлению нет, и он полон отчаяния. Лицо его покрывается красными пятнами, голос срывается: — Ты не понимаешь меня? Я не хочу, чтобы у нас произошло то же, что и у вас! Если мы все будем молчать, станем рабами!

В эту минуту Тамину охватило немыслимое отвращение; вскочив со стула, она бросилась в туалет; желудок подводило к самому горлу, она склонилась над унитазом, ее вырвало, тело стало извиваться в корчах, словно в рыданиях, а перед глазами маячили яйца, член, волосы на лобке этого типа, и она чувствовала запах из его рта, чувствовала прикосновение его бедер к своему заду, и мелькнула мысль, что она уже не может представить

себе половые органы своего мужа, что теперь память омерзения сильнее памяти нежности (о боже, память омерзения сильнее памяти нежности!) и что в ее несчастной голове не останется ничего, кроме этого типа, у которого пахнет изо рта, и она корчилась, и ее рвало и рвало.

Потом она вышла из туалета, и ее рот (все еще полный кислого запаха) был крепко сжат.

Он был в растерянности. Хотел проводить ее домой, но она не произносила ни единого слова и крепко сжимала губы (как в том сне, когда во рту она хранила золотое кольцо).

Он заговаривал с ней, она не отвечала и только ускоряла шаг; уже не находя слов, он еще с минуту молчаливо шел рядом, а потом остановился. Она устремилась вперед, так и не оглянувшись.

Она продолжала подавать кофе и в Чехию уже никогда не звонила.



# *Ангелы*

## 1

В феврале 1948 года вождь коммунистической партии Клемент Готвальд вышел на балкон пражского барочного дворца, чтобы обратиться к сотням тысяч сограждан, запрудивших Староместскую площадь. Это была историческая минута в судьбе Чехии. Шел снег, было холодно, а Готвальд стоял с непокрытой головой. Заботливый Клементис снял свою меховую шапку и надел ее на голову вождя.

Ни Готвальд, ни Клементис не знали, что по той самой лестнице, по какой они поднимались на исторический балкон, в течение восьми лет ежедневно ходил Франц Кафка, ибо в том же дворце во времена Австро-Венгрии помещалась немецкая гимназия. Не знали они и о том, что на первом этаже этого же здания Герман Кафка, отец Франца, владел магазином, на вывеске которого рядом с его именем была нарисована галка (по-чешски kavka).

Если Готвальд, Клементис и все прочие не знали о Кафке, то Кафка знал об их незнании. Прага в его романе — город без памяти. Этот город в романе уже совершенно забыл свое название. В нем никто ни о чем не помнит и ни о чем не вспоминает, даже Йозеф К. как бы ничего не знает о своей предыдущей жизни. Не звучит там ни одной песни, которая бы воспоминанием о минуте своего рождения связывала настоящее с прошлым.

Время романа Кафки — это время человечества, утратившего связь с человечеством, человечества, уже ничего не знающего и ничего не помнящего и живущего в городах, которые никак не называются и в которых даже улицы не имеют названий или именуются иначе, чем именовались вчера, поскольку имя — неразрывная связь с прошлым, и люди, у которых нет прошлого, — это люди без имени.

Прага, по словам Макса Брода, город зла. После поражения чешской Реформации в 1621 году иезуиты, стремясь обратить народ в истинную католическую веру, наводнили Прагу великолепием барочных соборов. Эти тысячи каменных святых, которые отовсюду смотрят на

вас, угрожают вам, следят за вами, гипнотизируют вас, это сбесившееся войско оккупантов, которое вторглось в Чехию три с половиной столетия назад, чтобы вырвать из души народа его веру и его язык.

Улица, на которой родилась Тамина, именовалась Шверинова. Это было в годы войны, когда Прага была оккупирована немцами. Ее отец родился на Чернокостелецком проспекте. Это было во времена Австро-Венгерской империи. Когда мать Тамины вышла замуж за ее отца и переехала к нему, этот проспект уже носил имя Маршала Фоша. Это было после Первой мировой войны. Детство свое Тамина провела на проспекте Сталина, а ее муж увез ее в новый дом уже с улицы Виноградской. Но это была одна и та же улица, только постоянно меняли ее название, промывали мозги, чтобы она окончательно очумела.



По улицам, не знающим своего названия, бродят призраки поверженных памятников. Поверженных чешской Реформацией, поверженных австрийской контрреформацией, поверженных Чехословацкой республикой, поверженных коммунистами; наконец повержены были даже статуи Сталина. Вместо этих уничтоженных памятников теперь по всей Чехии растут по меньшей мере тысячи статуй Ленина, они растут, как трава на развалинах, как меланхолические цветы забвения.

## 2

Если Франц Кафка был пророком мира без памяти, то Густав Гусак — его создателем. После Т. Г. Масарика, именуемого *президентом освободителем* (все его памятники без исключения были повержены), после Бенеша, Готвальда, Запотоцкого, Новотного и Свободы он стал седьмым президентом моего отечества, так называемым *президентом забвения*.

Русские привели его к власти в 1969 году. С 1621 года история чешского народа не переживала такого истребления культуры и интеллигенции, как в период его правления. Все вокруг думали, что Гусак всего лишь преследовал своих политических противников. Однако борьба с политической оппозицией была скорее предлогом и удобным случаем, чтобы русские при посредстве своего наместника добились чего-то более существенного.

В этом смысле считаю весьма примечательным, что Гусак выбросил из университетов и научных институтов сто сорок пять чешских историков. (Говорят, что вместо каждого из них — загадочно, словно в сказке — вырос в Чехии новый памятник Ленину.) Один из этих историков, мой друг Милан Гюбл, в очках с непомерно толстыми стеклами, в 1971 году сидел в моем кабинете на Бартоломейской улице. Мы смотрели на шпили градчанских башен, и нам обоим было грустно.

— Если хотят ликвидировать народ, — говорил Гюбл, — у него прежде всего отнимают память. Уничтожают его книги, его культуру, его историю. И кто-то другой напишет для него другие книги, навяжет другую культуру и придумает другую историю. Так постепенно народ начнет забывать, кто он и кем был. Мир вокруг него забудет об этом еще намного раньше.

— А язык?

— А зачем кому-то у нас его отнимать? Он станет просто фольклором и раньше или позже отомрет естественной смертью.

Было ли это гиперболой, продиктованной бесконечной печалью?

Или правда, что народ не сможет пересечь пустыню организованного забвения и остаться живым?

Никто из нас не знает, что впереди. Но одно определенно: в минуты ясновидения чешский народ может с близкого расстояния узреть образ своей смерти. Не как реальность и даже не как неотвратимое будущее, а как совершенно конкретную возможность. Его смерть всегда рядом.



## 3

Спустя полгода Гюбла арестовали и приговорили к нескольким годам лишения свободы. В это время умирал мой отец.

В течение последних десяти лет жизни он постепенно терял дар речи. Поначалу не мог вспомнить разве что некоторые слова или вместо них употреблял другие, им подобные, и тут же сам тому смеялся. Но под конец ему удавалось произносить лишь немногие слова, и все его попытки продолжить разговор завершались фразой, которая была одной из последних, ему оставшихся: "Это странно".

Когда он говорил "это странно", его глаза выражали бесконечное удивление по поводу того, что он все знает, но ничего не может сказать. Вещи утратили свои имена и слились в одну-единственную неразличимую реальность. И только я, когда разговаривал с ним, умел на какое-то время эту безымянную бесконечность вновь превратить в мир именованных вещей.

Его необычайно большие голубые глаза на красивом старом лице голубели как прежде. Я часто выводил его на прогулку. Обычно мы обходили только один квартал, на большее у отца не было сил. Он двигался плохо, маленькими шажками, и при малейшей усталости клонился вперед и терял равновесие. Мы вынуждены были часто останавливаться, и он отдыхал, опершись лбом о стену.

На этих прогулках мы говорили о музыке. Покуда отец говорил хорошо, я задавал ему мало вопросов. А теперь хотел наверстать упущенное. Да, мы говорили о музыке, но это был странный разговор между тем, кто не знал ничего, но знал множество слов, и тем, кто знал все, но не знал ни единого слова.

На протяжении этих всех десяти лет своей болезни отец писал объемистую книгу о сонатах Бетховена. Хотя он писал несколько лучше, чем говорил, но и при письме у него все чаще и чаще случались провалы памяти, и в конце концов уже никто не мог понять его текст, состоявший из слов, которых не существует.

Однажды он позвал меня в свою комнату. На рояле стояла соната опус 111, раскрытая на вариациях. "Взгляни", — сказал он и указал на ноты (играть он тоже не мог), — "взгляни", — повторил он, и после долгого усилия ему удалось еще добавить: "Я уже знаю!", а потом все старался объяснить мне что-то важное, но его фразы складывались из совершенно невразумительных слов, и он, увидев, что я не понимаю его, удивленно посмотрел на меня и сказал: "Это странно".

Конечно, я знаю, о чем он хотел говорить, его же давно занимала эта проблема. Бетховен в конце жизни почувствовал необычайную тягу к форме вариаций. На первый взгляд может показаться, что эта форма из всех форм самая что ни на есть поверхностная, простая иллюстрация музыкальной техники, работа скорее для кружевницы, чем для Бетхове-

на. А он превратил ее (впервые в истории музыки) в одну из самых значительных форм, в которую облек свои самые прекрасные размышления.

Да, это хорошо известно. Но отец хотел знать, как понимать это. Почему именно вариации? Какой за этим скрывается смысл?



Вот почему он тогда позвал меня к себе в комнату, указал на ноты и произнес: "Я уже знаю!"

## 4

Молчание отца, от которого скрылись все слова, молчание ста сорока пяти историков, которым запретили вспоминать, эта всеохватная тишина, что доносится из Чехии, создает фон картины, на которой я рисую Тамину.

Она по-прежнему разносит кофе в кафе маленького города на западе Европы. Но она уже не излучает того сияния дружеской любезности, которая некогда притягивала к ней посетителей. У нее нет больше желания внимательно их выслушивать.

Однажды, когда Биби вновь уселась на табурет у барной стойки, а ее дочка, ползавшая по полу, невыносимо визжала, Тамина, так и не дождавшись, покуда мать одернет ребенка, сказала: — Ты не можешь что-нибудь сделать, чтобы она так не кричала?

Биби обиделась: — Скажи мне, почему ты ненавидишь детей?

Было бы ошибкой считать, что Тамина ненавидит детей. Зато в голосе Биби она отчетливо уловила совершенно неожиданную враждебность. Она и сама не знала почему, но они перестали быть подругами.

Однажды Тамина не вышла на работу. Такого еще никогда не бывало. Жена хозяина пошла проверить, что с ней. Позвонила в дверь, но никто не открыл. Она отправилась туда и на следующий день, но опять безрезультатно. Она вызвала полицию. Выломали дверь, но обнаружили там лишь тщательно убранную квартиру, где все было на месте и ничто не вызывало подозрений.

Тамина не вышла на работу и в последующие дни. Полиция снова занялась этим делом, но ничего нового опять-таки не обнаружила. Дело об исчезновении Тамины было отнесено к тем, что так и остались нераскрытыми.

## 5

В тот роковой день к барной стойке подсел молодой человек в джинсах. Тамина в это время была уже одна в кафе. Молодой человек заказал себе кока-колу и стал медленно потягивать питье. Он смотрел на Тамину, а она смотрела в пространство.

Вдруг он сказал: — Тамина.

Это вполне могло произвести на нее впечатление, однако не произвело. Не составляло особого труда узнать ее имя, которое было известно в округе всем посетителям.

— Я знаю, вам грустно, — продолжал молодой человек.

Но и это не возымело желанного действия. Она знала, что существует множество способов обольщения женщины и что один из самых надежных путей к женскому лону лежит через ее грусть. Тем не менее она посмотрела на него с бóльшим интересом, чем минуту назад.

Они разговорились. Прежде всего внимание Тамины привлекли его вопросы. Не их содержание, а то, что он вообще задавал их. Бог мой, сколько времени прошло с тех пор, как кто-то о чем-то ее спрашивал! Ей казалось, что прошла целая вечность! Единственный человек, кто постоянно расспрашивал ее, был ее муж, ибо любовь — это постоянное вопрошание. Да, лучшего определения любви я не знаю.

(В таком случае, возразил бы мне мой друг Гюбл, никто не любит нас больше полиции. И вправду. Так же, как всему, что *наверху*, противостоит то, что *внизу*, негативом любовного интереса оказывается любопытство полиции. Порой можно перепутать, что внизу, а что наверху, и мне совсем не трудно представить одиноких людей, мечтающих время от времени подвергаться допросу в полицейском участке, дабы кому-нибудь рассказать о себе.)

## 6

Молодой человек смотрит ей в глаза, слушает ее, а затем говорит ей, что все, называемое ею воспоминанием, на самом деле совершенно другое: она лишь зачарованно вглядывается в свое забывание.

Тамина утвердительно кивает головой.

А молодой человек продолжает: этот печальный взгляд, обращенный вспять, уже нельзя считать проявлением верности покойному. Покойный исчез из этого взгляда, и она смотрит в пустоту.

В пустоту? Чем же тогда так утяжелен ее взгляд?

Он утяжелен не воспоминаниями, объясняет ей молодой человек, а угрызениями. Тамина никогда не простит себе, что она забыла.

— А что же в таком случае мне делать? — спрашивает Тамина.

— Забыть свое забвение.

— Посоветуйте мне, как это сделать, — горько смеется Тамина.

— Разве у вас никогда не возникало желания уйти?

— Возникало, — признается Тамина. — Мне ужасно хочется уйти. Но куда?

— Туда, где вещи легки, как дуновение ветерка. Где вещи утратили свою тяжесть. Где нет угрызений.

— Да, — мечтательно говорит Тамина. — уйти туда, где вещи ничего не весят.

И словно в сказке, словно во сне (а ведь это сказка! ведь это сон!) Тамина покидает барную стойку, за которой провела несколько лет жизни, и выходит с молодым человеком из кафе. У тротуара стоит красный спортивный автомобиль. Молодой человек садится за руль и предлагает Тамине место рядом.

## 7

Я понимаю угрызения, мучившие Тамину. Когда умер мой отец, я испытывал нечто подобное. Я не мог простить себе, что так мало задавал ему вопросов, что так мало знаю о нем, что позволил себе пренебречь им. И именно эти угрызения помогли мне вдруг понять, чем он, должно быть, хотел поделиться со мной, указывая на раскрытые ноты сонаты опус 111.

Попробую объяснить это посредством сравнения. Симфония — это музыкальный эпос. Можно было бы сказать, что она подобна пути, веду-

щему сквозь бесконечность внешнего мира, от вещи к вещи, все дальше и дальше. Вариации — это тоже путь. Но этот путь не ведет сквозь бесконечность внешнего мира. Вам несомненно знакома мысль Паскаля о том, что человек живет между пропастью бесконечно великого и пропастью бесконечно малого. Путь вариаций ведет к той *второй* бесконечности, к бесконечному внутреннему многообразию, что скрывается в каждой вещи.

В вариациях, стало быть, Бетховен открыл иное пространство и иное направление поисков. В этом смысле его вариации являются новым *призывом отправиться в путь.*

Форма вариаций — это форма максимального сосредоточения, позволяющая композитору говорить лишь о существе дела, идти прямо к самой сердцевине. Предметом вариаций является тема, которая зачастую ограничивается всего шестнадцатью тактами. Бетховен проникает внутрь этих шестнадцати тактов, словно колодцем спускается в недра земли.

Путь ко второй бесконечности столь же полон приключений, что и путь эпоса. Так физик доходит до волшебного нутра атома. С каждой вариацией Бетховен все больше и больше удаляется от начальной темы, которая схожа с последней вариацией ничуть не более, чем цветок со своим образом под микроскопом.

Человек сознает, что ему не дано объять Вселенную с ее солнцами и звездами. Куда более невыносимым ему представляется, что он обречен потерять и вторую бесконечность, ту близкую, до которой рукой подать. Тамина потеряла бесконечность своей любви, я потерял отца, и все мы потеряли плоды трудов своих, ибо за совершенством надо идти до самой сердцевины, которой нам никогда не достичь.

То, что бесконечность внешнего мира ускользнула от нас, мы принимаем как вполне естественную участь. Но до самой смерти мы будем корить себя за то, что потеряли вторую бесконечность. Мы размышляем о бесконечности звезд, а бесконечность собственного отца нас совсем не занимала.

Неудивительно, что форма вариаций стала страстью зрелого Бетховена, который прекрасно знал (как это знает Тамина и как знаю это я), что нет ничего более невыносимого, чем потерять человека, которого мы любили, — эти шестнадцать тактов и внутреннюю вселенную их бесконечных возможностей.

## 8

Вся эта книга — роман в форме вариаций. Отдельные части следуют одна за другой как отдельные отрезки пути, ведущего внутрь темы, внутрь мысли, внутрь одной-единой ситуации, понимание которой теряется в необозримой дали.

Это роман о Тамине, и в минуту, когда Тамина уходит со сцены, это роман для Тамины. Она — главное действующее лицо и главный слушатель, а все остальные истории являются лишь вариациями ее истории и отражаются в ее жизни, как в зеркале.

Это роман о смехе и о забвении, о забвении и о Праге, о Праге и об ангелах. Кстати, это отнюдь не случайность, что молодого человека, сидящего за рулем, зовут Рафаэль.

Местность становилась все более пустынной, все меньше было зелени и все больше охры, все меньше травы и деревьев и все больше песка и глины. Вскоре автомобиль свернул с шоссе и покатил по узкой тропе, внезапно завершившейся крутым склоном. Молодой человек затормозил. Они вышли. Остановились на краю склона; в десяти метрах под ними была узкая полоса глинистого берега, а за ним вода, мутная, коричневая, тянувшаяся в необозримую даль.



— Где мы? — спосила Тамина, и сердце ее сжала тоска. Она хотела сказать Рафаэлю, что рада была бы вернуться назад, но не осмелилась: боялась услышать его отказ, который еще усилил бы ее тревогу.

Они стояли на краю склона, перед ними простиралась вода, а вокруг была одна глина, размякшая глина без всякой травы, словно предназначенная для разработки. И в самом деле, неподалеку стоял брошенный экскаватор.

Тут Тамина вспомнила, что именно так выглядела местность в Чехии, где в последнее время работал ее муж, когда выгнанный с занимаемой должности устроился экскаваторщиком в ста километрах от Праги. Всю неделю он жил там в вагончике и только по воскресеньям приезжал к Тамине в Прагу. Поэтому раз в неделю она отправлялась к нему сама. Среди такого же пейзажа они вместе совершали прогулки: размякшая глина без травы и деревьев, снизу охра и желть, сверху — низкие серые тучи. Они шагали рядом в резиновых сапогах, которые увязали в грязи и скользили. Они были одни в целом мире, и их охватывало чувство тревоги, любви и отчаянного страха друг за друга.

Это чувство отчаяния теперь овладело ею, и она была счастлива, что вместе с ним внезапно и неожиданно вернулся к ней утраченный осколок прошлого. Это было совершенно утраченное воспоминание, и оно, пожалуй, впервые с той поры воскресло в ней. Она подумала, что надо было записать это в свою тетрадь! Тогда бы она и год точно знала!

И снова захотелось ей сказать молодому человеку, что хорошо бы вернуться назад. Нет, он был не прав, когда говорил ей, что ее печаль — лишь форма без содержания! Нет, нет, ее муж в этой печали все еще живой, он только потерян, и она должна идти его искать! Искать по всему свету! Да, да! Теперь она это особенно понимает! Тот, кто хочет вспоминать, не смеет сидеть на одном месте и ждать, что воспоминания придут к нему сами! Воспоминания разбежались по всему свету, и нам надо путешествовать, чтобы найти их и вспугнуть в укрытии!

Все это она хотела сказать молодому человеку и попросить его отвезти ее назад. Но тут вдруг снизу от воды донесся свист.

## 9

Рафаэль схватил Тамину за руку. И сжал ее так сильно, что уже нельзя было вырваться. По склону пролегала узкая, извилистая, скользкая тропинка. Он повел по ней Тамину вниз.

На берегу, где еще минуту назад никого и в помине не было, стоял мальчик лет двенадцати. Он держал за веревку лодку, легко покачивавшуюся у края воды, и улыбался Тамине.

Она оглянулась на Рафаэля. Он тоже улыбался. Она переводила взгляд с одного на другого, как вдруг Рафаэль стал громко смеяться, и мальчик присоединился к нему. Это был странный смех, ведь ничего смешного не происходило, но при этом — заразительный и сладостный:

он призывал ее забыть о своей тревоге и обещал что-то неясное, то ли радость, то ли мир, и потому Тамина, стремясь избавиться от своей тоски, послушно засмеялась вместе с ними.

— Вот видите, — сказал ей Рафаэль, — вам нечего бояться.

Тамина вступила в лодку, закачавшуюся под ней. Опустилась на сиденье у кормы челна. Оно было мокрым. Сквозь летнюю легкую юбку она почувствовала, как сырость коснулась ее зада. Это было скользкое прикосновение, и в ней снова проснулась тревога.

Мальчик оттолкнул лодку от берега, взялся за весла, и Тамина оглянулась. Рафаэль стоял на берегу и смотрел им вслед. Он улыбался, и Тамине показалось, что в этой улыбке есть что-то странное. Да! Улыбаясь, он незаметно качал головой! Он совсем незаметно качал головой.

## 10

Почему Тамина не спросит, куда она едет?

А тот, кому не важна цель, не спрашивает, куда он едет!

Она смотрела на мальчика, что сидел напротив и работал веслами. Он казался ей совсем слабеньким, а весла слишком тяжелыми.

— Может, мне сменить тебя? — спросила она, и мальчик, радостно кивнув, отпустил весла.

Они поменялись местами. Теперь он сидел на корме и смотрел, как Тамина гребет, а чуть погодя вытащил из-под сиденья маленький магнитофон. Зазвучали рок, электрогитары, пение. Мальчик начал слегка извиваться в ритме музыки. Тамина смотрела на него с отвращением: этот ребенок кокетливо, по-взрослому вилял бедрами. Его движения казались ей непристойными.

Чтобы не видеть его, она закрыла глаза. Тут мальчик усилил звук магнитофона и сам стал тихо напевать. Когда Тамина снова подняла на него глаза, он спросил: — А ты почему не поешь?

— Я не знаю этой песни.

— Как так не знаешь? Ее знают все.

Он продолжал извиваться на своем сиденье, и Тамина, уже почувствовав усталость, спросила его: — Может, ты снова ненадолго сядешь за весла?

— Греби ты, — засмеявшись, ответил мальчик.

Но Тамина действительно устала грести. Положив весла в лодку, она попыталась отдохнуть: — Мы скоро там будем?

Он указал рукой вперед. Она обернулась. Берег был уже недалеко. Он отличался от той местности, откуда они отплыли: был зеленый, травянистый, поросший деревьями.

Вскоре лодка натолкнулась на дно. Примерно с десяток детей, игравших на берегу в мяч, с любопытством уставились на них. Они вышли из лодки. Мальчик привязал лодку к колышку. За песчаным берегом тянулась длинная аллея платанов. Они пошли вдоль аллеи и минут через десять оказались у низкого, широкого здания. Перед ним было множество странных больших цветных предметов непонятного назначения, а также несколько волейбольных сеток. Что-то в них удивило Тамину. Ах да, они были натянуты слишком низко над землей.

Мальчик сунул два пальца в рот и засвистел.

# 11

К ним подошла девочка лет девяти, не больше. У нее было очаровательное личико, а кокетливо выставленный вперед животик вызывал воспоминание о девственницах на готических полотнах. На Тамину она посмотрела без особого интереса, взглядом женщины, уверенной в своей красоте и желающей подчеркнуть ее демонстративным равнодушием ко всему, что не является ею самой.

Она открыла дверь белого дома. Они вошли прямо (там не было ни коридора, ни прихожей) в большую комнату, уставленную кроватями. Оглядевшись по сторонам, словно считая кровати, девочка указала на одну из них: — Ты будешь спать здесь.

— Что же, по-твоему, я буду спать в дортуаре?

— Детям не нужна отдельная комната.

— Каким детям? Я же не ребенок!

— Здесь одни дети!

— Какие-то взрослые здесь все же должны быть!

— Нет, здесь нет никаких взрослых.

— Тогда что делать здесь мне?! — выкрикнула Тамина.

Не обращая внимания на ее волнение, девочка пошла назад к двери. Остановившись на пороге, она сказала: — Я зачислила тебя в отряд белок.

Тамина не поняла.

— Я зачислила тебя в отряд белок, — повторила девочка тоном недовольной учительницы. — Все дети распределены по отрядам, которые носят имена зверюшек.

Тамина не пожелала говорить о белках. Она хотела вернуться. Спросила, где мальчик, который привез ее сюда.

Девочка сделала вид, что не слышит, о чем говорит Тамина, и продолжала давать ей свои пояснения.

— Меня это не интересует! — кричала Тамина. — Я хочу обратно! Где тот мальчик?

— Не кричи! — Пожалуй, ни один взрослый не сумел бы вести себя более высокомерно, чем этот красивый ребенок. — Не понимаю тебя, — продолжала девочка и, чтобы выразить свое удивление, покачала головой. — Почему ты сюда приехала, если хочешь уехать?

— Я не хотела сюда приезжать.

— Тамина, не ври. Кто же отправляется в дальний путь, не зная, куда он едет? Отучись врать.

Тамина, повернувшись спиной к девочке, бросилась к платановой аллее. Добежав по ней до берега, попыталась отыскать лодку, которую около часа назад мальчик привязал там к колышку. Но ни лодки, ни даже колышка нигде не было.

Она припустилась бегом, решив обследовать весь берег. Песчаный пляж вскоре сменился трясиной, и ей пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнуть ее и снова выйти к воде. Берег все время изгибался неизменной дугóй, так что она (не найдя и следа лодки или какой-либо пристани) примерно через час оказалась там, где платановая аллея вливается в пляж. Тамина поняла, что она на острове.

Она медленно пошла по аллее к дортуару. Там стояла в кружок группа из десяти ребят: девочки и мальчики в возрасте от шести до двенадцати лет. Увидев ее, они закричали: — Тамина, иди к нам!

Дети расступились, освобождая для нее место.

И тут она вспомнила Рафаэля, как он улыбался и качал головой.

Сердце у нее сжалось от ужаса. Не обращая внимания на детей, она прошла прямо в дортуар и, свернувшись калачиком, примостилась на своей кровати.



## 12

Ее муж умер в больнице. Она навещала его часто, как только могла, но он умер ночью, один. Когда на следующий день она, придя в больницу, нашла постель мужа пустой, старик, лежавший в той же палате, сказал ей: "Сударыня, вам надо подать жалобу! Ужасно, как они обращаются с умершими!" В глазах у него был страх, он знал, что и его ждет скорая смерть. "Его схватили за ноги и потащили по полу. Думали, что я сплю. Я видел, как его голова ударилась о порог и подскочила".

У смерти — двойное обличье: с одной стороны, она означает небытие, с другой — чудовищно материальное бытие трупа.

Когда Тамина была очень молода, смерть представлялась ей только в первом обличье, в обличье небытия, и страх смерти (впрочем, довольно неопределенный) был вызван ужасной мыслью, что когда-нибудь ее не станет. С течением времени этот страх уменьшался и в конце концов почти исчез (мысль, что однажды она не увидит неба или деревьев, уже совсем не устрашала ее), зато она все чаще думала о той второй, материальной стороне смерти: ее ужасало, что она станет трупом.

Быть трупом казалось ей невыносимым унижением. Еще сколько-то минут назад человек был храним стыдом, святостью наготы и интимной жизни, но достаточно мгновения смерти, и его тело попадает в распоряжение кого угодно, его могут раздеть, распороть, могут копаться в его внутренностях, а затем, с отвращением зажав нос от смрада, сунуть в морозильник или в огонь. Она захотела кремировать мужа и развеять его прах еще и того ради, чтобы не мучиться, представляя себе, что происходит с его дорогим телом.

А когда несколько месяцев спустя она подумала о самоубийстве, то решила утопиться где-нибудь далеко в море, чтобы об унижении ее мертвого тела знали только рыбы, которые немы.

Я уже упоминал о рассказе Томаса Манна: молодой человек, смертельно больной, садится в поезд, поселяется в незнакомом городе. В его комнате стоит гардероб, и каждую ночь из него выходит болезненно красивая обнаженная женщина и долго рассказывает ему что-то сладостно грустное: и эта женщина, и этот рассказ — это смерть.

Это смерть сладостно голубоватая, как небытие. Ибо небытие — беспредельная пустота, а пустое пространство голубого цвета, и нет ничего более прекрасного и утешительного, чем голубизна. И вовсе не случайно Новалис, поэт смерти, любил голубизну и искал ее, куда бы ни отправлялся. Сладость смерти голубого цвета.

Но если небытие молодого человека у Томаса Манна было так прекрасно, что сталось с его телом? Тащили его за ноги через порог? Вспороли ему живот? Бросили его в яму или в огонь?

В то время Манну было двадцать шесть, а Новалис так и не дожил до тридцати. Мне, увы, больше, и в отличие от них я не могу не думать о теле. Нет, смерть не голубого цвета, и Тамина это знает не хуже меня. Смерть — каторжная работа. Умирая, мой отец несколько дней лежал в жару, и мне казалось, он тяжко работает. Весь в поту, он был сосредото-

чен только на своем умирании, словно смерть была ему не по силам. Он уже не сознавал, что я сижу у его постели, уже не в состоянии был заметить меня, работа, которую он затрачивал на смерть, полностью его изнуряла, он был сосредоточен, как всадник, из последних сил стремящий своего коня к далекой цели.



Да, он ехал верхом.

Куда он ехал?

Куда-то далеко, чтобы скрыть свое тело.

Нет, не случайно все стихи о смерти уподобляют ее дороге. Молодой человек у Манна садится в поезд. Тамина — в красный спортивный автомобиль. Человеком владеет безмерное желание уехать, чтобы скрыть свое тело. Но эта дорога тщетна. Он едет верхом, а его находят в постели, и голова его ударяется о порог.

## 13

Почему Тамина на острове детей? Почему я представляю ее именно там?

Не знаю.

Быть может, потому, что в тот день, когда умирал мой отец, я слышал, как звучат веселые песни, исполняемые детскими голосами?

Повсюду на восток от Эльбы дети организованы в так называемые пионерские отряды. Вокруг шеи они носят красные галстуки, ходят, как взрослые, на собрания и подчас поют "Интернационал". Время от времени, следуя доброй традиции, они повязывают красный галстук какому-нибудь знаменитому взрослому и присваивают ему звание почетного пионера. Взрослые это обожают, и чем они становятся старше, тем большую испытывают радость, получая от детей красный галстук для своего гроба.

Его уже все получили: получил его Ленин, получил его Сталин, Мастурбов и Шолохов, Ульбрихт и Брежнев. А в тот день на большом торжестве, устроенном в Пражском Граде, получил свой галстук и Гусак.

В тот день жар у отца несколько спал. Стоял май, наше окно, выходившее в сад, было открыто. С противоположной стороны дома сквозь цветущие ветви яблонь доносилась до нас телетрансляция праздника. Раздавались песни, исполняемые высокими детскими голосами.

Как раз в это время у нас был врач. Он стоял, склонившись над отцом, который уже не мог произнести ни слова. Потом он повернулся ко мне и громко сказал: "Он впал в кому. Его мозг в состоянии распада". Я видел, как огромные голубые глаза отца еще больше расширились.

После ухода врача я в страшной растерянности попытался тотчас что-то сказать, чтобы отогнать эту фразу. Я кивнул в сторону окна: — Слышишь? Вот комедия! Гусак сегодня произведен в почетные пионеры!

И отец засмеялся. Он смеялся, чтобы дать мне понять, что его мозг в порядке и я могу разговаривать и шутить с ним как прежде.

Потом сквозь яблони до нас долетел голос Гусака: — Дети! Вы — будущее! — И минуту спустя: — Дети! Никогда не оглядывайтесь назад!

— Я закрою окно, лишь бы не слышать его, — сказал я, подмигнув отцу, и он, улыбнувшись мне своей бесконечно прекрасной улыбкой, согласно кивнул.

Спустя какое-то время у него снова подскочила температура. Он сел на коня и ехал верхом несколько дней подряд. Меня он уже больше никогда не видел.



## 14

Но что ей было делать, если она вдруг оказалась среди детей, если перевозчик исчез вместе с лодкой и вокруг не было ничего, кроме бесконечной воды?

Она решила бороться.

Ах, до чего грустно: живя в маленьком западноевропейском городе, она никогда ни к чему не стремилась, а здесь, среди детей (в мире вещей, что ничего не весят), она станет бороться?

Но как, кстати, она собирается бороться?

Когда в день своего приезда она, уклонившись от игр, бросилась на свою кровать, словно это была неприступная крепость, то уже в воздухе почувствовала растущую враждебность детей и испугалась. Решила предотвратить ее, расположив их к себе. А это, конечно, означает, что ей надо стать такой же, как они, принять их язык. И в самом деле: она добровольно участвует во всех их играх, вкладывает во все их затеи свою фантазию и свою физическую силу, и дети, естественно, вскоре поддаются ее чарам.

А если она хочет стать такой же, как они, она должна отказаться от своей сокровенной жизни. В первый день она отказалась идти с ними в ванную комнату, стесняясь мыться на глазах у всех, а теперь она ходит в ванную вместе с ними.

Ванная, большая, облицованная кафелем комната, — средоточие всей жизни детей и их тайных помыслов. На одной ее стороне — десять стульчаков, на противоположной стороне — десять рукомойников. Как правило, один отряд в подвернутых ночных рубашках сидит на стульчаках, а другой — в чем мать родила — моется у рукомойников. Те, что сидят, смотрят на тех, голых, а те, что у рукомойников, оглядываются на тех, что на стульчаках, и вся ванная насыщена потаенной чувственностью, вызывающей в Тамине какое-то смутное воспоминание о чем-то давно забытом.

Тамина сидит в ночной рубашке на стульчаке, а голые тигры, что у рукомойников, не сводят с нее глаз. Потом шумит спущенная вода, белки встают со стульчаков, снимают длинные ночные рубахи, а тигры отходят от рукомойников и идут в общую спальню, откуда приходят уже кошки; теперь они усаживаются на опустевшие стульчаки и неотрывно смотрят на высокую Тамину с черным подчревьем и большими грудями, которая вместе с белками стоит у рукомойников.

Она уже не стыдится. Она чувствует, как ее зрелая сексуальность делает ее королевой, властвующей над теми, у которых подчревье еще безволосое.

## 15

Итак, поездка на остров, пожалуй, не была каким-то заговором против нее, как ей казалось, когда она впервые увидела дортуар и свою кровать в нем. Напротив, она наконец очутилась там, где мечтала быть: в том далеком прошлом, где еще не было мужа, где его не существовало ни в вос-

поминаниях, ни в мечтах и где, следовательно, не было ни тяжести, ни угрызений.

Она, в ком всегда жило столь обостренное чувство стыда (стыд был верной тенью любви), сейчас представала нагой перед множеством чужих глаз. Поначалу это смущало ее и мучило, но вскоре она привыкла, ибо ее нагота не была бесстыдной, а просто теряла свой смысл, становилась невыразительной, онемелой и мертвой. Ее тело, в каждой частице которого была запечатлена история любви, стало бессмысленным, и в этой бессмысленности были облегчение и покой.



Но если зрелая чувственность шла на убыль, мир иных удовольствий начал медленно выплывать из далекого прошлого. Оживало множество похороненных воспоминаний. Например, вот это (неудивительно, что оно давно исчезло из ее памяти, поскольку для взрослой Тамины оно не могло не быть невыносимо непристойным и смешным): учась в первом классе начальной школы, она обожала свою молодую красивую учительницу и многими месяцами мечтала о том, чтобы ей позволили вместе с нею пойти в туалет.

Сейчас она сидела на стульчаке и, улыбаясь, прикрывала глаза. Она представляла себя той самой учительницей, а маленькую веснушчатую девочку, сидевшую на стульчаке рядом и с любопытством ее разглядывавшую, — прежней маленькой Таминой. Она настолько вообразила себя этой веснушчатой девочкой с ее похотливым взглядом, что вдруг где-то в дальних глубинах своей памяти почувствовала содрогание полупроснувшегося возбуждения.

## 16

Благодаря Тамине белки побеждали почти во всех играх, и потому они решили торжественно наградить ее. Все награждения и наказания, которые дети назначали себе, происходили в ванной комнате, и награждение Тамины выражалось в том, что все дети будут ей прислуживать: самой Тамине не дозволялось даже коснуться себя, за нее все должны были самоотверженно делать белки в качестве абсолютно преданных прислужниц.

И вот как они ей служили: прежде всего, пока она сидела на стульчаке, они тщательно вытирали ее, потом, подняв ее со стульчака, спускали воду, стягивали с нее рубашку, подводили к рукомойнику и все наперебой старались омыть ее грудь, живот и ужасно любопытствовали, как выглядит то, что у нее между ног, и каково оно на ощупь. Иной раз ей хотелось отогнать их, но это было весьма затруднительно: она же не могла плохо обращаться с детьми, которые, кроме всего, с потрясающей последовательностью придерживались правил игры и делали вид, что просто служат ей в знак вознаграждения.

В конечном итоге они отправлялись укладывать ее ко сну на кровать и там снова находили тысячу всяких премилых предлогов, чтобы прижиматься к ней и гладить все ее тело. Детей было ужасно много, и трудно было определить, кому принадлежит та или иная рука, тот или иной рот. Она ощущала прикосновения по всему телу и особенно в тех местах, которые были у нее иными, чем у них. Она закрывала глаза, и ей казалось, что ее тело качается, качается медленно, как в колыбели: она испытывала легкое и удивительное блаженство.

Она чувствовала, как от этого блаженства подергивается уголок губ. Она снова открывала глаза, и перед ней представало детское лицо, оно внимательно разглядывало ее рот и говорило другому детскому лицу: "Смотри! Смотри!" Теперь над ней склонялись уже два лица и жадно всматривались в подергивавшийся уголок губ, словно разглядывали механизм разобранных часов или муху, у которой оторваны крылья.

И все же ей казалось, что ее глаза видят нечто совершенно другое, чем ощущает ее тело, и что дети, склоненные над ней, вовсе не связаны с тем тихим, покачивающимся блаженством, которое она испытывает. И потому она снова закрывала глаза и лишь наслаждалась своим телом, ибо впервые в жизни ее тело блаженствовало, не обремененное душой, которая, уже ничего не воображая себе, ни о чем не вспоминая, тихо удалилась из комнаты.

## 17

Вот что мне, пятилетнему, рассказывал отец: каждая тональность — это маленький королевский двор. Правит там король (первая ступень), у которого два помощника (пятая и четвертая ступени). Им подчинены четыре сановника, и у каждого из них к королю и к помощникам свое особое отношение. Кроме них при дворе размещаются еще другие пять тонов, называемых хроматическими. Эти тона, хотя и занимают высокое положение в других тональностях, здесь всего лишь гости.

Поскольку каждой из двенадцати нот присущи свое назначение, свой титул, своя функция, сочинение, которое мы слышим, не является простым сочетанием звуков, а перед нами развертывается некое действо. Иной раз события бывают ужасно запутанными (как, например, у Малера или в еще большей степени у Бартока или Стравинского), в них вмешиваются принцы разных дворов, так что подчас трудно определить, какому двору тот или иной тон, собственно, служит или же он и вовсе является тайным агентом нескольких королей одновременно. Но и в таком случае даже самый наивнейший слушатель может хотя бы в грубых чертах, приблизительно угадать, о чем идет речь. И самая сложная музыка все еще представляет собою *язык*.

Это говорил мне отец, а вот уже мое тому продолжение: однажды один великий человек обнаружил, что язык музыки в течение тысячелетия исчерпал себя и что ему под силу разве что пережевывать одни и те же идеи. Революционным декретом он низложил иерархию тонов и сделал их равноправными. Он подчинил их строгой дисциплине: ни одному из них уже не дозволялось появляться в сочинении чаще другого и тем самым претендовать на старые феодальные привилегии. Королевские дворы были раз и навсегда упразднены, и вместо них возникла единая империя, основанная на равенстве, имя которому — додекафония.

Возможно, звучание музыки стало еще интереснее, но человек, привыкший за тысячелетие наблюдать интриги тональностей королевских дворов, слышал звук и не понимал его. Впрочем, империя додекафонии вскоре пришла в упадок. После Шёнберга пришел Варез, уничтоживший не только тональность, но и сам тон (тон человеческого голоса и музыкальных инструментов), заменив его рафинированной организацией шумов, которая, при всей своей увлекательности, уже открывает историю не музыки, а чего-то другого, основанного на иных принципах и ином языке.

Когда Милан Гюбл в моем пражском кабинете развивал идею возможной гибели чешской нации на просторах русской империи, мы оба знали, что эта мысль, какой бы оправданной она ни была, свыше нашего понимания и что мы говорим о *невообразимом.* Человек, пусть он и смертен, не может представить себе ни конца пространства, ни конца времени, ни конца истории, ни конца нации, он всегда живет в иллюзорной бесконечности.

Люди, завороженные идеей прогресса, не подозревают даже, что каждый шаг вперед в то же время является и шагом на пути к концу и что в радостных лозунгах *только дальше* и *только вперед* звучит непристойный голос смерти, побуждающей нас поторопиться.

(Если нынче одержимость словом *вперед* стала всеобщей, то не потому ли это, что смерть обращается к нам уже с очень близкого расстояния?)

В те времена, когда Шёнберг основывал свою империю додекафонии, музыка была богаче, чем когда-либо прежде, и опьянена своей свободой. Никому и в голову не могло прийти, что конец столь близок. Никакой усталости! Никакого заката! Шёнберг творил в самом дерзновенном духе молодости. Он был исполнен оправданной гордости, полагая, что единственный путь, ведущий вперед, именно тот, который он выбрал. История музыки окончилась в расцвете смелости и мечты.

## 18

Но если правда, что история музыки окончилась, что же тогда осталось от музыки? Тишина?

Как бы не так, музыки все больше и больше, в сотни раз больше, чем в самые славные ее времена. Она разносится из репродукторов на домах, из чудовищной звуковой аппаратуры в квартирах и ресторанах, из маленьких транзисторов, которые люди носят с собой на улицах.

Шёнберг умер, Эллингтон умер, но гитара вечна. Стереотипная гармония, затасканная мелодия и ритм, действующий тем сильнее, чем он монотоннее, — вот все, что осталось от музыки, вот она, та самая вечность музыки. На этих простых комбинациях нот могут объединиться все, ведь это само бытие, что кричит в них свое ликующее "*я здесь!*". Ни одно согласие не может быть громче и единодушнее, чем простое согласие с бытием. Оно объединяет арабов с евреями, чехов с русскими. Тела, опьяненные сознанием своего существования, качаются в простом ритме звуков. Поэтому ни одно сочинение Бетховена не вызывало столь сильную коллективную страсть, как однообразно повторяющиеся удары по струнам гитар.

Однажды, примерно за год до смерти отца, когда мы вместе отправились на обычную прогулку вокруг квартала, песни сопровождали нас на каждом шагу. Чем грустнее становились люди, тем громче ревели репродукторы. Они старались заставить оккупированную страну забыть о горечи истории и отдаться радостям жизни. Отец остановился, поднял взгляд к репродуктору, откуда несся шум, и я почувствовал, что он хочет сообщить мне что-то чрезвычайно важное. Сделав над собой усилие, он сосредоточился, чтобы выразить свою мысль, а потом медленно, с натугой проговорил: — Нелепость музыки.

Что он хотел этим сказать? Неужто он хотел оскорбить музыку, которая была страстью его жизни? Нет, думаю, он хотел мне сказать, что существует какое-то *изначальное состояние музыки*, состояние, предшествующее ее истории, состояние до первой постановки вопроса, состояние до первого раздумья, до начала игры с мотивом и темой. В этом первичном состоянии музыки (музыки без мысли) отражается сущностная нелепость человеческого бытия. Над этой сущностной нелепостью музыка поднялась лишь благодаря непомерным усилиям духа и сердца, и это был тот величественный свод, что распростерся над веками Европы и угас в высшей точке полета, как пущенная ракета фейерверка.

История музыки смертна, но нелепость гитар вечна. Музыка сейчас вернулась в свое изначальное состояние. Это состояние после последней постановки вопроса, состояние после последнего раздумья, состояние после истории.

Когда Павел Гора, чешский певец поп-музыки, в 1972 году уехал за границу, Гусак пришел в ужас. И тотчас написал ему во Франкфурт (в августе того же года) личное послание. Привожу из него цитату, ничего не придумывая: *"Дорогой Павел, мы не сердимся на Вас. Я прошу Вас, вернитесь, мы сделаем для Вас все, что Вы пожелаете. Мы поможем Вам, Вы поможете нам..."*

Поразмыслите, пожалуйста, над этим: Гусак, и глазом не моргнув, позволил эмигрировать врачам, ученым, астрономам, спортсменам, режиссерам, операторам, рабочим, инженерам, архитекторам, историкам, журналистам, писателям, художникам, но не мог смириться с мыслью, что страну покинул Павел Гора. Ибо Павел Гора олицетворял собой музыку без памяти, ту музыку, в которой навсегда погребены кости Бетховена и Эллингтона, прах Палестрины и Шёнберга.

Президент забвения и идиот музыки были достойны друг друга. Их объединяло общее дело. *"Мы поможем Вам, Вы поможете нам"*. Один не мог существовать без другого.

## 19

Но в башне, где царствует мудрость музыки, человек подчас испытывает тоску по тому монотонному ритму бездушного крика, который доносится извне и в котором все люди братья. Постоянно общаться только с Бетховеном опасно, как опасны все привилегированные положения.

Тамина всегда немного стеснялась, когда должна была признать, что она со своим мужем счастлива. Она опасалась, что люди будут ее ненавидеть за это.

Поэтому сейчас ею владеет двойное чувство: любовь-привилегия, а все привилегии — вещь незаслуженная, и за них надо платить. То, что она здесь, среди детей, надо воспринимать как форму наказания.

Но это чувство сменяется другим: привилегия любви была не только раем, но и адом. Жизнь в любви протекала в постоянном напряжении, страхе, беспокойстве. Стало быть, здесь, среди детей, она для того, чтобы наконец вознаградить себя отдыхом и покоем.

Ее сексуальность до сих пор была оккупирована любовью (я употребляю слово "оккупирована", поскольку секс — не любовь, он лишь территория, которую любовь присваивает себе) и, стало быть, являлась частью чего-то драматического, ответственного, значительного и тревожно хранимого. Здесь у детей, в царстве незначительности, сексуальность на-

конец стала тем, чем она исходно была: маленькой игрушкой для производства плотского наслаждения.

Или скажу несколько иначе: сексуальность, освобожденная от *дьявольской* связи с любовью, стала *ангельски* невинной радостью.



## 20

Если первое насилие, совершенное детьми над Таминой, было полно поразительного смысла, в последующих повторениях та же ситуация быстро утрачивала характер некоего послания и превращалась в рутину, все менее содержательную и все более грязную.

Среди детей вспыхивали раздоры. Те, что были заняты любовными играми, начали ненавидеть тех, кто был к ним равнодушен. И среди Таминых любовников возникла определенная враждебность между теми, кто чувствовал себя ее фаворитами, и теми, кто чувствовал себя отвергнутыми. И все эти обиды стали обращаться против Тамины и тяготить ее.

Однажды, когда дети склонялись над нагим телом Тамины (одни стояли подле ее кровати, другие — на коленях на кровати, кто-то сидел верхом на ее теле, а кто-то — на корточках у ее головы и промеж ее ног), она вдруг почувствовала жгучую боль. Кто-то сильно ущипнул ее за сосок. Она вскрикнула и уже не смогла сдержаться: сбросив всех до единого с кровати, замолотила в воздухе кулаками.

Она знала, что не случайность и не чувственность были причиной боли: некоторые дети ее ненавидели и желали ей зла. С тех пор любовным встречам с детьми был положен конец.

## 21

И вдруг не стало больше никакого мира в царстве, где вещи легки, как дуновение ветерка.

Дети играют в "классики", прыгая из одного квадрата в другой сперва на правой ноге, потом на левой, а потом обеими ногами вместе. Тамина тоже прыгает с ними. (Я вижу ее высокое тело среди маленьких детских фигурок, она прыгает, волосы развеваются вокруг лица, а в сердце — бесконечная тревога.) Вдруг канарейки разражаются криком: она, дескать, заступила черту.

Белки, естественно, протестуют: нет, ничего она не заступила. Обе команды склоняются над чертой и рассматривают след Тамининой ноги. Но черта, проведенная на песке, имеет нечеткие контуры, и след Тамининой туфли — также. Случай спорный, дети кричат друг на друга, их спор продолжается уже четверть часа и с каждой минутой разгорается все больше.

Тут Тамина совершает роковую ошибку; махнув рукой, она говорит: — Ладно, пусть так, я заступила черту.

Белки кричат, что это неправда, что Тамина свихнулась, что она врет, что она вовсе не заступила черту. Но спор ими уже проигран, их утверждение, отвергнутое Таминой, ничего не весит, и канарейки испускают победный крик.

Белки неистовствуют, кричат на Тамину, обзывают ее предательницей, а один мальчик толкает ее так сильно, что она едва удерживается на ногах. Она отмахивается от них, а они воспринимают это как сигнал к

тому, чтобы накинуться на нее. Тамина защищается, она взрослая, сильная (и преисполнена ненависти, о да, она колотит детей так яростно, словно обрушивается на все, что когда-либо ненавидела в жизни), у детей течет из носу кровь, но тут летит камень и попадает Тамине прямо в лоб: пошатнувшись, она хватается за голову, заливается кровью, и дети отступают от нее. Вмиг воцаряется тишина, и Тамина уходит в дортуар. Она ложится на кровать, решив про себя никогда больше не участвовать ни в каких играх.

## 22

Я вижу Тамину: она стоит посреди дортуара, а вокруг на всех кроватях лежат дети. Она — в центре всеобщего внимания. Из одного угла раздается: "Сиськи, сиськи!" К этому присоединяются и остальные голоса, и до Тамины доносится скандированный крик: "Сиськи, сиськи, сиськи..."

То, что еще совсем недавно было ее гордостью и оружием, черная поросль на подчревье и красивая грудь, теперь стало мишенью оскорблений. Ее зрелость в глазах детей превратилась в уродство, грудь стала абсурдной, как опухоль, а не по-человечески волосатое подчревье вызывало у них образ зверя.

Наступила пора преследований. Они гонялись за ней по острову, кидали в нее палки и камни. Она пряталась, убегала от них, и со всех сторон до нее долетала ее кличка: "Сиськи, сиськи..."

Нет ничего более унизительного для человека сильного убегать от слабого. Но слабых было много. Она убегала от них и сама же стыдилась этого.

Однажды она подкараулила их. Было их трое, и она колотила их до тех пор, пока один мальчик не упал, а двое других бросились наутек. Она, однако, была проворнее и сумела ухватить их за волосы.

И тут на нее упала одна сетка, вторая и третья. Да, все волейбольные сетки, низко натянутые над землей перед дортуаром, поджидали ее здесь. А трое детей, которых она за минуту до этого колотила, были не чем иным, как ловушкой. Теперь она, замотанная в клубок веревок, извивается, барахтается, а дети с криком волокут ее за собой.

## 23

Почему эти дети такие злые?

Да нет же, они вовсе не злые. Напротив, они полны сердечности и не перестают относиться друг к другу с большим дружелюбием. Никто из них не хочет использовать Тамину только для себя. Все время слышится их "смотри, смотри". Тамина запутана в клубке сеток, веревки врезаются ей в кожу, и дети указывают друг другу на ее кровь, слезы и искаженное болью лицо. Они щедро предлагают ее друг другу. Она скрепила их братство.

Ее беда не в том, что дети злые, а в том, что она оказалась за пределами их мира. Человек не возмущается тем, что на бойнях забивают телят. Телята вне человеческого закона, так же как и Тамина вне закона детей.

Если кто и полон ненависти, так это Тамина, не дети. Их желание причинять боль позитивно, полно веселья и по праву может быть назва-

но радостью. Они хотят причинить боль тому, кто за пределами их мира, лишь бы только прославить собственный мир и его закон.

## 24



Время вершит свое, и все радости и развлечения при повторе теряют свое очарование; так же как и охота за Таминой. Дети, кстати, и впрямь совсем незлые. Мальчик, который помочился на нее, когда она лежала под ним, спутанная волейбольными сетками, несколькими днями позже вдруг улыбнулся ей прямодушной прекрасной улыбкой.

Не говоря ни слова, Тамина вновь стала принимать участие в их играх. Вот она уже опять прыгает из одного квадрата в другой сперва на правой ноге, потом на левой, а потом обеими ногами вместе. Пусть она никогда и не войдет в их мир, однако она внимательно следит за тем, чтобы не оказаться вне его. Она старается держаться точно на границе.

Однако это успокоение, эта нормальность, этот компромиссный *модус вивенди* таил в себе весь ужас постоянности. Если недавние преследования давали Тамине возможность забыть о существовании времени и его необозримости, теперь, когда стремительность нападения ослабела, пустыня времени вышла из полутьмы, ужасающая и сокрушительная, подобная вечности.

Постарайтесь запечатлеть в памяти этот образ: она должна прыгать из квадрата в квадрат сперва на правой, потом на левой ноге, а потом обеими ногами вместе и считать весьма важным, заступила она черту или нет. Она должна так прыгать изо дня в день и при этих прыжках нести на своих плечах тяжесть времени, точно крест, который с каждым днем становится тяжелее.

Оглядывается ли она еще назад? Думает ли о муже и о Праге?

Нет. Уже нет.

## 25

Вокруг подиума бродили призраки поверженных памятников, а на нем стоял президент забвения с повязанным на шее красным галстуком. Дети аплодировали и выкрикивали его имя.

Прошло уже восемь лет, но в памяти моей по-прежнему звучат его слова, летевшие сквозь цветущие ветви яблонь.

"Дети, вы будущее", — говорил он, и сегодня я знаю, что это имело иной смысл, чем на первый взгляд может казаться. Дети — будущее не потому, что однажды они станут взрослыми, а потому, что человечество с течением времени будет становиться все инфантильнее: детство — это образ будущего.

"Дети, никогда не оглядывайтесь назад", – кричал он, и это означало, что мы не смеем дозволить будущему сгибаться под тяжестью памяти. Ведь дети тоже без прошлого, и лишь в этом заключена тайна чарующей невинности их улыбки.

История — непрерывный ряд преходящих перемен, тогда как вечные ценности существуют вне истории, они неизменны и не нуждаются в памяти. Гусак — президент вечного, но никак не преходящего. Он на сторо-

не детей, а дети — это жизнь, а жизнь — это "*видеть, слышать, есть, пить, мочиться, испражняться, нырять в воду и глядеть на небо, смеяться и плакать*"[1].

Говорят, что когда Гусак кончил свое обращение к детям (к тому времени я уже закрыл окно и отец снова собрался оседлать коня), Павел Гора взошел на подиум и запел. У Гусака текли по щекам слезы умиления, и солнечные улыбки, сиявшие со всех сторон, слились с этими слезами. В эту минуту великое чудо радуги изогнулось над Прагой.

Дети запрокинули головы, увидели радугу и, засмеявшись, стали аплодировать.

Идиот музыки допел песню, а президент забвения распростер руки и возгласил: "Дети, *жить – это счастье*!"

## 26

Остров оглашается ревом пения и грохотом электрогитар. На открытом пространстве перед дортуаром на земле стоит магнитофон, а над ним — мальчик. В нем Тамина узнает перевозчика, с которым когда-то давно приехала на остров. Она взволнована. Если это перевозчик, значит, где-то здесь должна быть и лодка. Она понимает: такой случай нельзя упустить. У нее колотится сердце, и с этой минуты она ни о чем, кроме побега, уже не думает.

Мальчик смотрит вниз на магнитофон и виляет бедрами. Прибегают дети и присоединяются к нему: они выставляют вперед то одно плечо, то другое, запрокидывают головы, размахивают руками с вытянутыми указательными пальцами, словно грозят кому-то, и криками вторят пению, рвущемуся из магнитофона.

Тамина прячется за толстым стволом платана, она не хочет, чтобы ее видели, но и глаз оторвать от них не может. Они ведут себя с таким же вызывающим кокетством, как взрослые, двигая бедрами взад и вперед, словно имитируют совокупление. Непристойность движений, наложенная на детские тела, разрушает контраст скабрезности и невинности, чистоты и порочности. Чувственность обессмысливается, невинность обессмысливается, словарь распадается на части, и Тамине становится дурно, словно в желудке образуется пустота.

А идиотизм гитар продолжает греметь, и дети танцуют, кокетливо выставляя вперед животики. Все эти вещи, что ничего не весят, вызывают в Тамине тошноту. В самом деле, эта пустота в желудке порождена именно этим невыносимым отсутствием тяжести. А поскольку крайность способна в любой момент превратиться в свою противоположность, максимальная легкость стала чудовищной *тяжестью легкости,* и Тамина знает, что она уже не в силах вынести ее ни на минуту дольше. Она поворачивается и бежит.

Бежит вдоль аллеи к воде.

Вот она уже у берега. Оглядывается вокруг. Но лодки нигде нет.

И так же, как в первый день, она обегает по берегу весь остров, чтобы найти ее. Но никакой лодки не видно. В конце концов она возвращается к тому месту, где платановая аллея вливается в пляж. Там носятся взволнованные дети.

Она останавливается.

Заметив ее, дети с криком бросаются к ней.

1. Цитата из книги Анни Леклер "Слово женщины".

## 27

Она прыгнула в воду.

Но причиной тому был не страх. Она думала об этом давно. Ведь переправа на лодке к острову продолжалась не так уж и долго. Противоположного берега, правда, не видно, но все же доплыть до него наверняка в человеческих силах!

Дети с криками добежали до того места на берегу, откуда она прыгнула, и несколько камней упало возле нее. Но плыла она быстро и вскоре оказалась вне досягаемости их слабых рук.

Она плыла, и впервые после невероятно долгого времени ей было хорошо. Она чувствовала свое тело, чувствовала его прежнюю силу. Она всегда плавала превосходно, и ее движения доставляли ей удовольствие. Вода была холодной, но она радовалась этому холоду. Ей казалось, что он смывает с нее всю детскую грязь, все слюни и взгляды ребят.

Плыла она долго, и солнце меж тем медленно опускалось в воду.

А потом стемнело и наступила непроглядная тьма, не было ни луны, ни звезд, и Тамина старалась все время держаться одного направления.

## 28

Куда, впрочем, она мечтала вернуться? В Прагу?

Она уже совсем забыла о ней.

В маленький городок на западе Европы?

Нет. Она хотела просто убежать.

Значит ли это, что она хотела умереть?

Нет, нет, вовсе нет. Напротив, ей ужасно хотелось жить.

И все-таки она должна была представлять себе мир, в котором хотела жить!

Нет, она не представляла его. Все, что осталось у нее, — это огромная жажда жизни и ее тело. Эти две вещи и больше ничего. Она хотела унести их с острова, чтобы сохранить. Свое тело и эту жажду жить.

## 29

Потом стало светать. Она напрягла зрение в надежде увидеть впереди берег.

Но впереди не было ничего, одна вода. Она оглянулась. Неподалеку, в каких-нибудь ста метрах, а то и меньше, был берег зеленого острова.

Неужто она плавала целую ночь на одном месте? Ее охватило отчаяние, она почувствовала, как с потерей надежды обмякли ее руки и ноги и какой нестерпимо холодной стала вода. Закрыв глаза, она все-таки продолжала плыть. Она уже не надеялась достичь противоположного берега, сейчас она думала лишь о своей смерти, мечтая умереть где-то посреди водяной шири, в отдалении от всех и вся, одна, только с рыбами. Глаза закрывались, и, возможно, на какое-то время она задремала, потому что вдруг, почувствовав в легких воду, закашлялась, стала задыхаться и тут, посреди этого кашля, услыхала детские голоса.

Шлепая руками, чтобы удержаться на воде, и не переставая кашлять, она огляделась. Неподалеку от нее плыла лодка, а в ней — дети. Они кричали. Поняв, что она увидела их, притихли. Не спуская с нее глаз, стали подплывать к ней. Она заметила, как безмерно они взволнованы.

Она испугалась, что дети захотят спасти ее и ей придется снова с ними играть. Она почувствовала, как теряет сознание и как немеют конечности.

Лодка вплотную приблизилась к Тамине, и пять детских лиц жадно склонились над ней.



Она отчаянно закачала головой, словно хотела сказать им: дайте мне умереть, не спасайте меня.

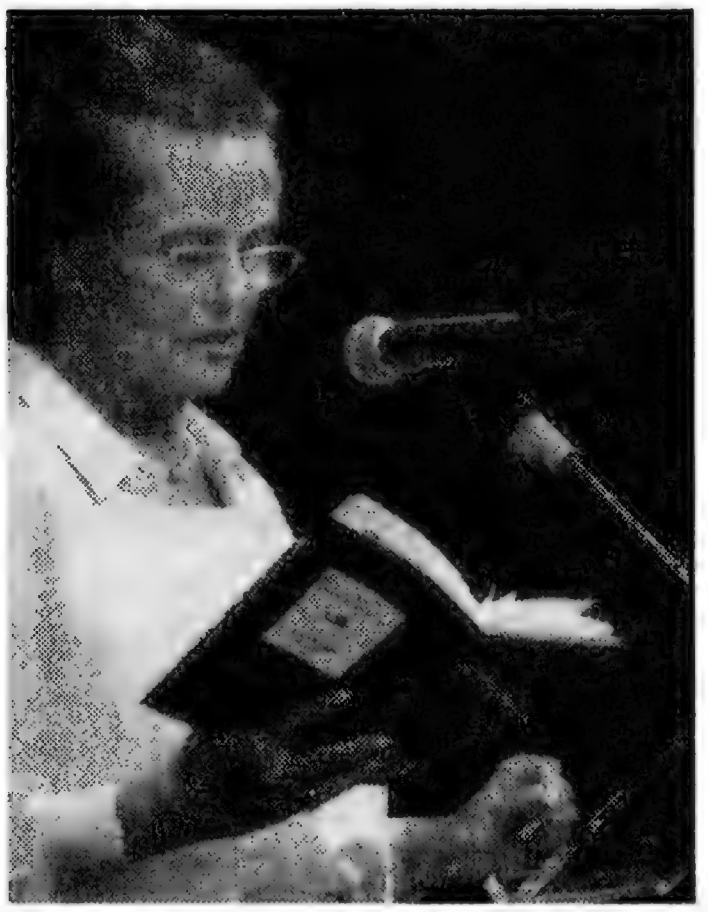
Но страх ее был напрасен. Дети вовсе не двигались, никто не подал ей ни весла, ни руки, никто и не собирался ее спасать. Они лишь раскрытыми, жадными глазами наблюдали за ней. Один мальчик управлял веслом так, чтобы лодка все время оставалась на близком от нее расстоянии.

Она снова заглотнула воду в легкие, закашлялась, зашлепала вокруг руками, чувствуя, что уже не держится на поверхности. Ноги все больше тяжелели. Они точно гири тянули ее вниз.

Голова ушла под воду. Еще раз-другой резкими движениями она поднялась над поверхностью и всякий раз видела лодку и детские глаза, устремленные на нее.

Потом она исчезла под водной гладью.

# Мария Виктория Атенсиа



## *Стихи*

*Перевод с испанского и вступление* Натальи Ванханен

**От переводчика**

Имя Марии Виктории Атенсиа хорошо известно в Испании. Ведущие издательства страны выпускают ее книги, а сама она не стремится к столичному шуму. Мария Виктория родом из Малаги. В этом городе в 1931-м она появилась на свет, в нем живет и сейчас.

Малага — это юг Испании, Андалусия — колыбель поэзии, родина многих поэтов. В Малаге и сегодня традиционно проходят многочисленные поэтические фестивали. Андалусия подарила стране богатейший фольклор. Немало всемирно известных певцов, гитаристов, легендарных исполнителей народного танца фламенко — уроженцы здешних краев. Тут особая пластика слова и жеста, пластика пейзажа, который, гибко потягиваясь, медленно утекает за горизонт бесконечными рядами серебристых, кряжистых, таких древних даже с виду олив. А еще Малага — это море, вкус воды и неоглядность пространства.

Но и стихии воды, такой близкой к стихии слова, Марии Виктории оказалось мало: ее тянула еще и крылатая стихия воздуха — небо. Уже взрослым человеком — к тому времени она была матерью четверых детей — она научилась водить самолет: уж очень хотелось оторваться от земли, воспарить в буквальном смысле слова. Ни страха, ни даже мысли об опасности у нее не было — одна только радость. Лишь позже, когда в авиакатастрофе разбился знакомый пилот, ахнула: как же я так могла, а дети? Больше она за штурвал не бралась.

Впрочем, увлечение авиацией было единственным, чему "помешали" дети. "Кто это выдумал, будто дети мешают сочинять стихи? — искренне удивляется Ма-

© María Victoria Atencia, 2003
© Н. Ванханен. Вступление, перевод, 2003
Редакция благодарит Марию Викторию Атенсиа, безвозмездно предоставившую право на публикацию.

рия Атенсиа. — У меня всегда было наоборот. Они только сил прибавляют!" Сил у Марии Атенсиа и правда всегда хватало на многое. Она и сейчас высокая, красивая, спокойно-энергичная. Долгое время она всерьез занималась музыкой и живописью, освоила технику гравюры, увлекалась различными народными промыслами.



Но все это лишь добавление к главному делу жизни — поэзии. Стихами она заболела еще в юности. Томики Беккера и святой Терезы Авильской рано стали ее настольными книгами. А прочитав Рильке, она была потрясена настолько, что долгое время вообще не могла сочинять.

Зато социальная поэзия всегда оставляла ее равнодушной — случай редкий для так называемого поколения пятидесятых, к которому принадлежит поэтесса. Ведь испанские пятидесятники чем-то сродни нашим шестидесятникам — в литературу они входили в глухую пору дряхлеющей франкистской диктатуры и, как правило, — с темой протеста. А у Марии Атенсиа — стихи-цветы, стихи-бабочки, похожие на японские хайку. Какой уж тут протест?

Между тем мертвящему языку официоза стихи молодой поэтессы противостояли с не меньшим упорством, чем прямолинейная гражданская лирика: как живая вода — мертвой, простое человеческое слово — механическому государственному рупору. В Малаге пятидесятых сложился кружок литераторов, заново открывавших для себя отечественную поэзию. Там для многих впервые прозвучало имя Гарсиа Лорки, их земляка, родившегося и погибшего совсем неподалеку — в Гранаде. Парадокс времени состоял в том, что книги расстрелянного Лорки свободно лежали в магазинах и библиотеках — тут франкистские власти проявили "преступную халатность". Подлость эпохи состояла в другом — в молчании. Не говорить о настоящей поэзии, делать вид, будто ее не существует, — тактика нехитрая, но, как выясняется, весьма эффективная. Во всяком случае на некоторое время, пока горстка любознательных не докопается, не доберется до сути.

Главным девизом Марии Атенсиа стало не сфальшивить, не приукрасить, не исказить. "Спаси господь чего изобрести, / Присочинить, хотя бы вот настолько..." Она не стремится поразить красочностью метафор. Ее сила в точности и сдержанности, в лаконизме. "Простым и благородным" назвал ее стих великий поэт двадцатого столетия Хорхе Гильен. Заслужить такие слова — честь повыше любого лауреатства. Престижные премии, впрочем, тоже не обошли поэтессу. В 1998 году Марии Атенсиа присуждены Национальная премия критики и премия андалусийской критики, а в 2000 году она удостоилась премии Луиса де Гонгоры.

## *Термы*

Темнеющее зеркало, в котором
тускнеет ирис, юность загубя.
Без кровли, под небесным омофором,
едва ли вы узнаете себя
в дому, где роскошь о восьми колоннах,
и серная вода, и полумрак,
где ржавчина съедает покоренных:
фарфор и мрамор, ванну-саркофаг.

Часы без стрелок на манер Висконти
минувшему определяют срок
и будущему — там, на горизонте, —
что скоро этот перейдет порог.

## *Гетто*

Здесь густ и плотен воздух. В нем тепло.
Рисунок стен ломается в воде.
Мне, ластясь, кот опутывает ноги —
и предстаю недвижной перед Яхве.

## *Хорхе Манрике*[1]

В животворящий ли, в предсмертный день
к реке слетают голуби напиться
и пьют, закинув клювики, и тень
плывет за тенью к морю — навсегда,
и в нишу колумбарную гнезда
уже без тени отлетает птица.

## *Белка*

В опавшей роще дерево — распятье.
Лишь белка резво скачет по нему,
играет, что-то прячет в закрома,
проходит осень, близится зима,
вот-вот я что-то важное пойму:
я — мертвый лист утраченного дня,
вдруг память белки сбережет меня...

## *Девочка*

Та девочка с косичками и челкой
и сундучком через плечо, в котором
хранились, помню, фото всех домашних,
та девочка опять передо мною
на старом фото — от нее ушла я
и к ней вернулась после долгих странствий.
Я так ее прошу: останься прежней!
Порадуйся, что юны мама с папой,
играй с ягненком и броди по речке,
а обо мне, сегодняшней, не думай:
я вроде тех докучных старых теток —
они порой наведывались в гости,
а как их звали — нипочем не вспомнить.

1. Хорхе Манрике (1440—1479) — испанский поэт, автор поэмы "Строфы на смерть отца...", мотивы которой использованы в этом стихотворении. Особенно знамениты строки Х. Манрике о реке жизни, уносящей все сущее к морю смерти. "Уже без тени отлетает птица" — существа без тени, то есть бесплотные, по старинным верованиям принадлежат иному миру. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

## *Там, где прежде стирали*

К долбленой длинной каменной купели
с пожитками спускаюсь в подземелье.
Я занимаю очередь в безлюдном,
сыром туннеле.
Предпоследней шлюха
свое полощет, после отмывают
обноски мертвых. Мой черед – за ними.
Вода умеет одарять забвеньем.

## *Сад памяти*

И не входя, я знаю этот сад –
цветник и ту чугунную беседку,
где жирные глицинии висят,
всю оплетя узорчатую сетку;
журчит вода, и я брожу в саду,
в который никогда не попаду,
но, не входя, я знаю этот сад...

## *Полет*

Пепе Борною

Дрожанье крыльев в небе разлито́ –
бесплотное летит в свое ничто.

## *Конец*

I have a cat in mind[1].
Томас С. Элиот

А ночью как-то раз она ушла –
пушистый ком привычного тепла –
бывает же! – лишь нежность и вниманье
все двадцать лет
взаимопониманья.
Щадя меня, исчезла навсегда,
так по-кошачьи не сказав куда.

## *Фреска*

Море – гигантская фреска,
святой Христофор-Христофорище[2],

1. А у меня всё кошка на уме (*англ.*).
2. По традиции, святой Христофор изображается на церковных фресках гигантом, переносящим на другой берег младенца.

такой огромный, что смотреть на него надо издали —
хоть сейчас перенесет нас на другой берег, в новые земли.
Что́ ему наше старое побережье и его вечный песок,
который бежит и бежит,
траурной пеленой покрывая первые рассветные блики.



## Под *стеклянным колпаком*

Укроюсь под стеклянным колпаком,
забьюсь под панцирь — всё, я с потрохами
у пустоты в плену.

Скрещенья мачт
размыты, ветер странствует верхами.
Душа, свернувшись змейкой, спит давно.

Но, вжавшись в землю, прорасту, воспряну,
и мне еще, как дереву, фонтану,
проснуться, распрямиться суждено.

## *Из жизни Красной* Ша*почки*

Салфетка в клетку на горшочке меда,
в корзинке сливки, хлеб, иная снедь,
и бабушка ждет моего прихода,
раскрыв глаза, чтоб внучку разглядеть.

В корзинке детство, лес, его загадки,
вкус приключенья — только позови,
и жажда жить взахлеб и без оглядки,
и весь запас желаний и любви.

## *Все эти вокзалы...*

Антонио Гамонеде

Все эти вокзалы, перроны, а главное — годы
и ветер впридачу, к тому же — чего не примнится,
вопрос-то ведь жизни и смерти — иные невзгоды,
сухой поцелуй напоследок, чтоб с прошлым проститься, —
итог подведенный, последний свидетель былого,
а все-таки дивная осень, а все-таки снова
восточная пышность стогов, как говаривал Хопкинс[1],
их купольный блеск — улыбнись и скажи без печали:
а жизнь-то, похоже, в начале,
ну в самом начале!

1. Джерард Мэнли Хопкинс (1844—1899) — английский поэт.

## *Воздух*

Мои занятья, местонахожденье —
в конце концов, кому какое дело!
Я — просто я, со дня... со дня рожденья,
которого отметить не успела.
Нет прежних чувств, затем что дух бесплотен,
он только воздух, облачная пена,
а воздух, как мальчишка, беззаботен —
у школьников большая перемена.

## *Февраль*

Не может быть, казалось бы, но есть:
из воздуха рожденье божьих тварей —
февральский дрозд, что, скажем, хочет сесть
среди ветвей моих араукарий.
Всё об одном я, Господи прости,
цепь повторений речь моя, и только.
Спаси Господь чего изобрести,
присочинить, хотя бы вот настолько, —
избави Бог! Фантазия — беда:
невольно извратит воображенье
и эту трель, и этот взлет дрозда,
пока февраль нас вводит в искушенье.

## *Земля*

Излишни поясненья: мы — земля.
Корней, костей копилка, перемолка,
в сухой пыли зеленая иголка,
что, тычась, прорезается из тьмы
и рвется ввысь, вот что такое мы —
смола, янтарь, податливая глина,
из терракоты птичка-окарина,
всё кажется, она вот-вот вспорхнет...
А дерево — нетленно, невредимо —
глядит на нас с подоблачных высот.

# Януш Гловацкий

# *Последний сторож*

**Повесть**

*Перевод с польского* И. Подчищаевой

**Збышеку Рыбчинскому,**
**с которым мы работали**
**над киноверсией этой повести**

**НА исходе июля около семи вечера я сидел в ресторане "Фьорелло" напротив Линкольн-центра, размышляя о кознях судьбы и о том, как бы мне заставить ее улыбнуться. Сидел я уже три часа за одним из двенадцати столиков, стоявших на улице в охранной тени двенадцати зонтов в бело-голубую полоску, к дизайну которых приложил руку знаменитый француз Жан-Мари Коттард.**

**Надвигающийся на город ураган "Алан" был где-то совсем рядом: раскаленный от зноя воздух превратился в вязкую, как сироп, массу. После первой порции двойного скотча я подумал, не перебраться ли внутрь, где наверняка прохладнее и приятней, но после третьей махнул на все рукой. Ближе к восьми померкли стеклянные стены Метрополитен-оперы, и сквозь них перестали просвечивать летающие человекорыбы на шагаловском панно.**

**Между тем на тротуарах Бродвея становилось все оживленней. В толпе прохожих среди сверкающих жемчугами и бриллиантами пар, спешащих на концерт в Метрополитен-оперу, сновали на роликах по пояс голые темнокожие парни. Японские туристы с неизменными фотоаппаратами в обнимку шарахались от проституток и трансвеститов, по своему обыкновению ровно в семь высыпавших из ирландского бара на Шестьдесят первой улице. В нескольких шагах от меня седоголовый**

© Copyright by Janusz Głowacki, Warszawa, 2001
© И. Подчищаева. Перевод, 2003

мужчина в костюме от Армани, мокасинах от Брукс Бразерс и сорочке от Перри Эллиса лупил пятерней по телефону-автомату и орал что-то в трубку, но его заглушала разноголосица клаксонов, нетерпеливо понукавших скопления машин.



Я взял очередной скотч и, чтоб уж поскорее закончить вечер, запил его "Хайнекенном". В это время седоголовый, хватив напоследок кулаком по автомату, швырнул на столик перед моим носом изрядно помятый июльский номер "Пипл мэгэзин" и растворился в толпе. С обложки на меня глянуло лицо Джона Джефферсона Кейна. Журнал, подобно другим печатным изданиям на этой неделе, целиком состоял из статей, воспоминаний и сплетен о Д. Д. К., его поразительной жизни и неожиданной смерти.

В последние годы этот великий дизайнер всех времен и народов, которого называли Леонардо да Винчи нашего века, несколько отошел от мира. В техасской пустыне он воздвиг гигантских размеров замок, составленный из больших и малых фрагментов знаменитых зданий и памятников архитектуры. Д. Д. К. замкнуто жил в нем вместе с матерью, женой Соней, парой тысяч обслуги и отрядом охранников и телохранителей.

И вот в прошлый четверг мир затаил дыхание. Вместо баскетбольного матча национальной лиги между нью-йоркской командой "Никс" и лос-анджелесской "Лейкерс" и программы "60 минут" о российской мафии все телевизионные каналы дали в эфир прямую трансляцию скоропостижной кончины гения. Великий дизайнер, облаченный в свою знаменитую пижаму цвета византийского золота, возлежал на легендарном, им самим спроектированном в июне 2005 года шестиметровом ложе под балдахином. Сотни кинокамер и лес микрофонов склонялись к его лицу, над которым успел поработать молниеносно доставленный из Рима маг и волшебник макияжа Сальвадоре Беллини. Два миллиарда человек на всех пяти континентах застыли перед телеэкранами в напряженном ожидании последнего слова гения. В зловещей тишине слышались только сдавленные рыдания Стивена Харриса, на протяжении многих лет бессменного шефа телохранителей Кейна, который беспомощно наблюдал за тем, как Д. Д. К. трясущейся рукой в шестой раз пытается поднести ко рту вилку с кусочком своего любимого кушанья — венгерского гуляша. На седьмой рука великого старца упала, и округлый кусочек красного мяса шариком прокатился по снежно-белому ковру — очередной фантазии Кейна, сложной комбинации китайского шелка, афганской шерсти и марокканского кашемира. Затем слабеющие уста прошептали eaeea-oi neiaa, в которых одним почудилось "fuck", другим — "Господь, храни Америку", и величайший гений нашего времени навсегда сомкнул веки.

Вскоре после растянувшегося на несколько дней погребального ритуала, завершившегося кремацией тела великого человека и развеиванием праха (согласно воле усопшего) над техасской пустыней, произошла целая серия загадочных авиакатастроф. Один за другим в воздухе взрывались реактивные самолеты принадлежащей Кейну авиакомпании, на которых участники траурной церемонии покидали замок. Преступники пойманы не были. Поначалу подозревали исламских фундаменталистов, но ни одна из террористических группировок не призналась в совершении теракта. А оскорбленный подозрениями полковник Каддафи напомнил, что все его вечерние туалеты, кстати, равно как

и френч Саддама Хусейна и синий костюм Милошевича, были сшиты по эскизам Д. Д. К.

В катастрофах погибла не одна тысяча несчастных. В числе прочих две супермодели, чью смерть накануне осеннего показа мод оплакивали миллионы простых людей во всем мире.



Тем временем на Бродвее зажглись уличные фонари, потом озарился светом Линкольн-центр, и крылатые шагаловские персонажи вновь закружились в воздухе.

Однако я недолго предавался размышлениям на тему, как проходит мирская слава: мне помешал усевшийся за мой столик мужчина, который довольно нахально уставился на меня своими заплывшими голубыми глазками.

На вид ему было лет тридцать. Длинное туловище на коротковатых ногах, нос картошкой под низким лбом, багровый бычий загривок; неопределенного цвета волосы зачесаны назад волной, щеки чуть обвислые и тоже багровые. На первый взгляд — наружность довольно простецкая, однако в глаза бросалось какое-то несоответствие: большие, красные и короткопалые кисти выглядывали из рукавов шикарного пиджака, а на волосатом пальце поблескивал похоже что настоящий брильянт. Через минуту рядом с нами уже суетился чернявый официант с сережкой в ухе, одним молниеносным движением раздвинувший маленький столик и водрузивший на него обернутое льняной салфеткой ведерко со льдом и торчавшей в нем литровой бутылкой водки "Шопен". Не успел он отойти, над столиком навис мой сосед.

— Никак соотечественник — судя по лицу? — обратился он ко мне.

Я кивнул, и он со вздохом облегчения опустился на стул.

— Меня зовут Куба, — сообщил он, удостоив меня чересчур уж крепким рукопожатием. Некоторое время мы сидели молча, потом, ткнув пальцем в обложку журнала, он поинтересовался: — А вы, случаем, не слыхали о лотерее Кейна?

Спрашивать об этом было излишне. Все без исключения телеканалы вот уже два месяца кряду только и вещали что об этой лотерее. О ней знал весь мир.

Тут для порядка я должен напомнить молодому поколению читателей, что одной из величайших нетленок Д. Д. К., упрочившей его славу и умножившей состояние, была дизайнерская разработка и создание новой, ставшей подарком мужчинам всего мира, независимо от религии, цвета кожи и политических убеждений, модели облегающих трусов из королевского хлопка. Трусов, которые, как единодушно отмечали критики от моды, однажды и навсегда высвободили мужские ягодицы из плена анонимности. К каждой паре прилагались купон с пятилетней гарантией и лотерейный билет. Выигравший в лотерее получал дюжину легендарных трусов с автографом, а также место ночного сторожа в замке сроком на год, с ежемесячным окладом в двести тысяч долларов.

Стоит ли удивляться, что эта должность стала пределом мечтаний не только сотен тысяч амбициозных молодых американцев, но и миллионов нелегальных эмигрантов, по многу лет ожидающих получения гринкарты, дающей право на постоянное пребывание в Штатах. А награжденный Пулитцеровской премией за цикл эссе о моде на Ближнем Востоке Джон Фриман написал в "Нью-Йорк таймс", что лотерея Кейна — символ демократии и реальное воплощение "американской мечты".

Розыгрыш состоялся в Вашингтоне и стал гвоздем программы празднования Дня независимости. Днем позже Кейн неожиданно умер, и личность победителя не получила должной огласки. Признаться, я даже не мог бы с уверенностью сказать, кто в этой лотерее выиграл.

— Это был я, — представившийся Кубой мужчина залпом выпил стопку "Шопена" и неторопливо, со знанием дела наполнил ее снова.

Либо мошенник, либо с приветом, подумал я, продолжая потягивать пиво. Мужик невесело усмехнулся и, как будто прочитав мои мысли, укоризненно покачал головой.

— Вижу, вы мне не верите. В таком случае позвольте, я расскажу вам историю своей жизни.

Что оставалось делать? Кивнув, я налил себе очередной стакан.

## *Рассказ Кубы*

Наперед предупреждаю, что образование у меня не ахти какое, и красиво выражать свои мысли, как это делают наши великие поэты, писатели, кинорежиссеры и авторы научных книжек, я не умею. Замечу только, что помыкался я будь здоров как. А чтоб не быть голословным, скажу, что в деревушке Зажече, где я увидел свет, у отца с матерью нас было шестеро. Отец мой был кузнецом видным и не отказывал себе в удовольствиях.

Жили мы в страшной нужде, и в пять лет единственным подарком ко дню рождения мне была хворостина — коров пасти. Вскоре мать объявила нам, что к ноябрю ждет хворобы. Потребовала от отца прекратить гулянки и всерьез задуматься, потому что он теперь единственный глава семьи. Но к тому времени дело уже зашло — отец пустился во все тяжкие и вдобавок окончательно разленился.

В ноябре мать, как и пообещала, слегла. Болезнь быстро развивалась, пока ее не ухайдакала. А сразу после похорон отец всю нашу шестерку роздал по людям.

Не знаю, как остальные, а я попал к близкой родне в Кельце. Теткин муж тогда ходил в коммунистах, но недолго, всего какую-то пару недель, потому что угодил под колеса конной подводы. Сама тетка работала продажной женщиной, благодаря чему мне представилась возможность познакомиться с самыми разными интересными личностями. Тетка души во мне не чаяла со всех точек зрения и прививала нравственные устои и любовь к природе. Вдобавок ее постоянный клиент, Антоний Влосяк, педагог по призванию, безвозмездно просвещал меня по части того, какие книжки надо читать, дабы не блуждать вслепую по жизненным тропам. Жил я себе поживал как сыр в масле и каждый день ел от пуза, как и в праздник не всякий себе позволит.

Да только все пошло наперекосяк, когда после краха коммунизма повысилось качество услуг. Положение мое сделалось незавидным: тетка день ото дня стала терять клиентов, зарабатывать с гулькин нос и питаться нездоровой пищей. И тогда, всплакнув, не без этого, она отправила меня на работу — строить коттеджный поселок. Несмотря на весь мой энтузиазм, врожденный ум и смекалку работяги со стройки относились ко мне как не потребляющему напитки хреново. Пока в один прекрас-

ный день из корыстных побуждений я не упился до полусмерти. Только тогда они перестали считать меня коммунистом и быдлом.

Так вот, работал я, значит, на стройке, а тем временем вовсю шла нелегальная эмиграция в Америку. Брат Прораба, у которого второй брат уже жил в Бруклине, тоже готовился драпануть туда через Канаду. Получить канадскую визу можно было довольно легко, а американскую, как вам наверняка известно, куда сложнее.



Короче, чтоб не тянуть резину: я поддался на уговоры, попрощался со слезами на глазах поочередно сперва лично с теткой, а потом в письменной форме с братьями-сестрами, с которыми до этого связи не поддерживал, и вполне легально двинул проторенной дорожкой в Торонто. А оттуда тайком, за взятку, в канадском дальнобойном трейлере в Америку, верхом на коровах и с чемоданами наперевес.

Путь был тяжелым и долгим. Из-за битком набитой в трейлер рогатой скотины численностью восемьдесят голов не представлялось возможности покласть наши пожитки на пол — затоптали бы как пить дать. Через два часа чемоданы оттянули нам руки, а через четыре уже кто рыдал — в основном, конечно, женщины, — кто скрежетал зубами. Холод был жуткий, но когда я попросил у сидящего на соседней корове мужика, который вез с собой четыре литра водки и сам то и дело прикладывался к бутылке, хоть глоточек, потому как из меня всю душу вытрясло, он отговорился тем, что везет-де в подарок. Впрочем, скотинке тоже пришлось несладко — всю дорогу она ревмя ревела.

На границе иммиграционная служба даже не заглянула в трейлер, и в окрестностях Буффало наша теплая компания, состоящая из восемнадцати мужиков и четырех баб, со слезами радости на глазах поцеловала американскую землю. Не обошлось, правда, без небольшого конфуза: один из наших в дороге не удержался и оттяпал корове ухо якобы себе на портмоне. Что ж, как говорится, в семье не без урода.

Не буду долго распространяться о первых годах в Америке. Скажу только, что ехал я за океан, нашпигованный мечтами одна фантастичнее другой, почерпнутыми из беллетристики, но Америка не стала для нас ни родной матерью, ни даже теткой.

Перво-наперво, не без приключений, мы добрались до Грин-Пойнта[1]. Там Американский Брат Прораба за деньги делал из людей американцев посредством стрижки и одежды. Шельма каких поискать, без чести, без совести — заливал нам почище любого адвоката, а две его сестры наживались за счет курсов английского для поляков, причем учили без слов, на пальцах. Вдобавок сдавали меблированные одними только матрасами комнаты на улице Нассау, что за углом Грин-Пойнт-авеню. Вкалывали мы как черти, спали вповалку, и на девятерых у нас была одна-единственная сковорода — в основном на ней жарили яичницу, — да и та потом вконец заросла жиром, вышла из строя и жарить перестала. На ту пору как раз дело приняло оборот.

Американский Брат Прораба, носившийся с идеей женитьбы, желая выпендриться, приобрел одни выходные трусы с лотерейным билетом в придачу. Но вскоре, отказавшись от брачных планов, силком, как я ни открещивался, всучил мне трусы в счет оплаты одного рабочего дня. Я уже вам говорил, что этот Брат был прохвост каких поискать — от него всего можно было ожидать. Как только стало ясно, что трусы выиграли

1. Грин-Пойнт — район компактного проживания польских эмигрантов на окраине Нью-Йорка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

главный приз, он, размахивая ножом, сперва попытался их с меня стянуть. А когда подвалило телевидение и стало меня снимать, со злости покусился на собственную жизнь, впрочем, неудачно, потому что не намылил веревки и выскользнул из петли. Остальная братва поделилась на две группы: одни не прочь были полоснуть меня по горлу, другие без зазрения совести лизали задницу. Немало было и наглых предложений руки и сердца, и каждый раз, возвращаясь с работы, я обнаруживал на своем матрасе в полной боеготовности какую-нибудь из своих соотечественниц.

Не успел я выиграть, как мистер Кейн навеки закрыл глаза. Я подумал, что все пропало – Бог дал, Бог взял, а мои товарищи вздохнули с облегчением и на радостях перепились. Однако им вышел облом: в седьмом часу утра на улице Нассау появился белый лимузин, а в нем – чернокожий шофер с накрахмаленной рубашкой и билетом в первый класс. Слетелась вся улица. Братва от ненависти скинулась на бутылку, а я обвязал чемодан веревкой и – поминай как звали. Полет выдался беспокойным из-за того, что в замок я летел в качестве единственного пассажира, а посему все плясали вокруг меня, расспрашивали и не давали толком вздремнуть.

Личный аэродром мистера Кейна размером был невелик, всего на каких-нибудь шесть самолетов, но ухоженный. После посадки меня проводили в зал со сводчатым и красиво, будто в костеле, расписанным потолком. Затем, как положено, пропустили через рентген мой чемодан, в котором помещалось все, что необходимо иметь при себе готовящемуся занять пост ночного сторожа мужчине-холостяку, а именно: два кило сухой колбасы, сосиски, литровка "Шопена", носки на смену, образок Божьей Матери Ченстоховской, счастливые трусы, выходные рубашки, гребешок, зеркальце, станок для бритья с запасом лезвий, молоток, гвозди и мышеловка типа "гильотинка". Проверив чемодан, таможенник велел мне лечь на транспортер и, кстати говоря, со всем уважением, лично сунул мне палец в резиновой перчатке в задницу.

После благополучного завершения таможенного контроля регистрационная стойка прилетов была свернута, и весь обслуживающий персонал выстроился в очередь на вылет, шумящий, галдящий и орущий хвост которой извивался длинной змеей. Толклась в очереди пара-тройка суперэлегантных персон, но в основном преобладали музыканты и разноцветная – ну чисто экзотика – официантская братия; у этих в чемоданах и карманах бренчали и звякали столовые приборы. Хуже того, некоторые волокли картины в рамах, кресла, небольшие колонны из черного мрамора, в то время как другие в несколько рук тарабанили мягкие диваны. Я не знал, что мне делать: налицо было воровство, однако, с другой стороны, официально я еще не вступил в должность. Устроившись в кожаном кресле, я подумал, что на всякий случай прикинусь-ка дурачком. Для начала поднял глаза к потолку, с которого грозил пальцем бородач, вроде бы как сам Господь Бог, и перекрестился, а потом сделал вид, что сплю, и вскоре правда заснул.

Проснулся я оттого, что кто-то толкал меня в бок. Рядом со мной стояла дородная женщина, представившаяся кухаркой. У нее были соблазнительные, неотразимой волосатости ноги, а под форменным халатиком колыхались ничем не стесненные груди, в одной руке она держала тарелку фасолевого супа, а локтем свободной руки толкала меня. Было в ней что-то хватающее за сердце, и откровенно скажу, с самого

первого взгляда я начал впечатляться. Кстати сказать, она тоже завращала глазами. Оказывается, она как-то мельком видела меня по ящику издалека, но так чтобы вблизи такую знаменитую личность ей видеть еще не приходилось. Не считая мистера Кейна, конечно, но это было давно и неправда.

Вся она была бронзовая от загара, как будто только что вернулась из отпуска, но скоро выяснилось, что дело не в этом, а загар ей достался от родителей, поскольку родом она была из поселения Хуарес на реке Рио-Гранде, что на самой границе Мексики с Техасом. С аппетитом уминая за обе щеки фасолевый суп, немного острый на мой вкус, но конкретный, я, не теряя зря времени, принялся расспрашивать кухарку, не дошли ли до нее какие слухи.

Однако ей мало что было известно, одно ясно: творится что-то несусветное и ничего не понятно, все сматывают удочки, а я временно поступаю в распоряжение матери Кейна, то есть старой миссис Кейн, которая должна поставить меня на довольствие. И тут же спросила напрямик, с подкупающей искренностью, не желаю ли я выслушать историю ее жизни. Чтобы доставить ей удовольствие, а заодно убить время, я ответил, что конечно и что я согласен. Но прежде чем она набрала полную грудь воздуха, в зал ожидания внаглую, несмотря на сверкающий пол, въехал красный лимузин, похоже, а то и вполне очень даже возможно, "роллс-ройс". За рулем вместо негра сидел молодой, но не больно вежливый шофер, кое-как зашвырнувший мой чемодан в багажник. Одет он был с иголочки, весь такой прилизанный, в глазах огонь.

Я на скорую руку попрощался с кухаркой. И мы помчались по тротуарам, по паркетным полам, по асфальту, а над нами припекало неоновое солнышко, медленно перемещавшееся по потолку, так ловко изображавшему небо, что недолго было и обмануться.

Я пробовал заговорить с шофером, вот, мол, как бывает: мистер Кейн помер, а его мать все живет, и поинтересовался, как она вообще — ничего, не вредная, но он смерил меня таким взглядом, что я сразу заткнулся. Зато, что правда то правда, рулил он лихо, с понятием. Мы проносились мимо зданий, похожих на музеи, мимо закрытых несмотря на непоздний час ресторанов, мимо глаза намозоливших по телеку пирамид и наглухо забитого досками "Макдоналдса".

Возле какой-то колонны, наверняка знаменитой, я попросил водителя тормознуть и чуток меня просветить. Но он даже не взглянул в мою сторону. Раз-другой рядом с нами по насыпи прогрохотали вагоны метро, сплошь, как в Нью-Йорке, размалеванные граффити, порожние в нашу сторону и битком набитые висящими за окном, галдящими пассажирами — в противоположную, то есть в направлении аэропорта. Ни с того ни с сего машину вдруг подбросило, и нас оглушило взрывом. Я вежливо поинтересовался, что бы это могло значить, ведь мне как ночному сторожу положено быть в курсе, чтоб в случае чего не растеряться и не попасть впросак. Но шофер только сплюнул, перекрестился, поцеловал болтавшийся на шее образок — и все. Я подумал, что он, похоже, скорей всего, очень может быть, итальянец или испанец либо из Франции, Англии, России, Болгарии, Румынии, а то и Германии — эти народы не любят поляков. Для разнообразия я помечтал о ладно скроенных ногах кухарки. Долго мечтать, к сожалению, не пришлось, потому что мы намертво застряли перед насыпью, по которой, громыхая, то едва ползли, то со скоростью проносились поезда метро. Дальше ехать не было

никакой возможности, вроде бы по причине дорожной аварии. В самом деле, посередке из мостовой торчало что-то похожее на хвост самолета, крыша над нами была пробита, под ногами хрустело стекло и в просвете виднелось всамделишное небо, пасмурное и серое, с клочьями разлезшихся дымных облаков. Шофер знаками показал, чтобы я карабкался за ним на насыпь. А когда я хотел забрать из багажника чемодан, приказал оставить его на месте. Ну, почапали мы, значит, с ним по рельсам, снова пропустили метро и прямиком попали в кинозал на добрых тысячу мест. Только ни кассы, ни билетеров не было видно, как и афиш или даже намека на какую-нибудь рекламу.

Посреди пустого, без единого кресла зала одиноко стояла инвалидная коляска, зато с прицепом, а в ней один-разъединый зритель, для которого крутили фильм. Меня будто кто толкнул, что это, возможно, и есть старая миссис Кейн. Одетая во все красное и обвешанная золотом и бриллиантами, она точно какая-нибудь графиня сидела развалясь в кресле, трубками и проводами подсоединенная к прозрачному ящику, тоже на колесиках. В ящике, как я сразу смекнул, невзирая на кинозальный полумрак, помещались, похоже, искусственные почки, легкие, печень и, скорее всего, сердце — невооруженным глазом можно было наблюдать, как оно бьется. А в самих трубках непрерывно кипело и булькало то еле слышно, то бурно и бегали пузырьки.

Сама же старая миссис Кейн невзирая на свое далеко зашедшее долголетие заливала жажду коньяком из самой громадной, какую я только в жизни видел, рюмки. И безо всяких очков смотрела на копошащегося на экране старикашку с лысой, точно колено, головой. Как сонная муха по стеклу, ползал он по дворцовым комнатам и тростью колотил зеркала. До тех пор пока не вытянулся на кровати, успокоившись навеки, и тут в зале зажегся свет.

Старая миссис Кейн вытирала платочком слезы. То ли ей жалко было зеркал, то ли она сочувствовала старому паралитику, который один-одинешенек слоняется по дворцу. А то, может, ностальгия заела? Совсем как бабку Американского Брата Прораба из Грин-Пойнта, день-деньской торчавшую у окна и не сводившую глаз с улицы Кент — не идет ли кто. Впрочем, чужая душа потемки.

Тем временем старая миссис Кейн махнула мне рукой — иди, мол, за мной — и покатила в своей коляске с прицепом, да так резво, что я еле поспевал. Влетев в соседнюю комнату, я обомлел: каждый предмет мебели там представлял хищного зверя — страху не оберешься; а посредине из черного лебедя бил фонтан и мерно гудел кофейный аппарат в форме кота. На стенах свободного местечка не было — картина на картине, в количестве, намного превышавшем те, что висят в японском банке на Манхэттене, где в порядке халтуры месяц назад я драил полы.

Обходительный пожилой официант в зеленой ливрее с красными эполетами и седой головой налил нам кофе. Но когда я попросил чего-нибудь покрепче, даже ухом не повел, а подхватил свой багаж и деру. Я было подумал, что он тоже спешит на самолет, но нет, немного погодя он вернулся с еще одним, помоложе, одетым во все желтое, как канарейка, и на глазах у всех, не стесняясь, стал скатывать какую-то картину из трех частей, заполненную зверьем, голыми людьми, чертями, пожарами и еще бог весть чем. Обернули ее в клетчатый плед, очень даже возможно, что из шотландской шерсти, и только их и видели.

Как вновь прибывший я спросил старую миссис Кейн, какие тут вообще порядки. То есть должен ли я догонять и отнимать, потому что налицо воровство, или как?

Но она меня успокоила: чего уж там, пусть лучше возьмут себе, все равно пропадать, а следить, ловить и восстанавливать разрушенное в мои функции не входит, у меня найдутся дела поважнее. И велела сесть в кресло в форме медвежонка. Тут же ко мне на колени прыгнул белый пуделек. Я не стал его шугать из опасения, что он, вполне может быть, любимчик. Официанты входили и выходили, снимая, срывая или вырезая из рам картины; наконец, раскланялись и были таковы.

Тем временем на инвалидном кресле замигала красная лампочка. Включился сигнал тревоги, и старая миссис Кейн напомнила шоферу, что подошло время менять фильтры.

Шофер, что-то бурча себе под нос, пошел за аптечкой, а заодно как бы невзначай пнул меня ногой. Стиснув зубы, я сделал вид, будто мне по фигу, а миссис Кейн шепнула мне на ухо, чтоб я не обращал внимания, потому что он итальянец — ага, значит, я был прав, — ревнивый как черт и с норовом. Я вежливо ответил, что ничего и все нормально, а она доверительно сообщила, что бедняга с Сицилии и уже много лет тайно в нее влюблен, как раз сегодня опять попросил ее руки и расстроен, что она ему отказала. А отказала потому, что у него только секс в голове.

Я с грустью вставил: при росте благосостояния, мол, умственное и культурное развитие замирает. Она охотно со мной согласилась и спросила, как мне вообще в Америке и в частности в замке, потому что по акценту распознала во мне приезжего чужестранца.

Я ответил, что в Америке если хорошо, то лучше, чем в Польше, а если худо, то уж из рук вон. А замок самый что ни на есть огромный, какой мне только доводилось видеть.

Шофер менял фильтры в искусственных органах, а старая миссис Кейн вежливо осведомилась, не буду ли я так любезен выслушать историю ее жизни. Неудобно было отказывать пожилой женщине, хотя я совсем рассеялся вниманием из-за мельтешащих официантов, которые снова вернулись кромсать и резать, а также из-за шофера, что-то там на глазок вливавшего в пробирки и гремевшего фильтрами.

Старая миссис Кейн тем временем закурила “Мальборо лайт”, затянувшись так, что в трубках стало черно, и приступила к рассказу.

## *Рассказ старой миссис* Кейн

Я родилась в Чикаго на пересечении улиц Джорджа Вашингтона и Милуоки. Росла я красивым ребенком, а вокруг только горе с нуждой да сплошь нищая шушера. Мать была портнихой, а работала в прачечной — в самом темном ее уголке сидела за столиком с арендованной швейной машинкой марки “Зингер”. Она не столько шила, сколько занималась мелким ремонтом одежды — где подрубить, где укоротить, расставить или ушить — и плакала. Плакала безостановочно, по поводу и без повода. Плакала, когда ее брат погиб на войне и когда мой отец признался ей в любви и позвал замуж, плакала суровой зимой, а надо сказать, что в Чикаго зимы всегда суровые, и солнечным летом. Рыдала, в двадцать шестой раз глядя на Грету Гарбо в роли королевы Кристины, и заливалась

слезами, когда отдавала клиенту ушитые брюки и когда работавший на бензоколонке отец, прихватив из кассы всю выручку, сбежал с другой женщиной. Я не могла понять, как она с такими заплаканными красными глазами вообще попадала ниткой в иголку. А владелец прачечной, до того как вышвырнуть ее с работы, не раз предупреждал, чтоб прекратила разводить сырость, мол, только клиентов отпугивает. Но ничего не помогало, и она продолжала плакать. Плакала умирая, плакала даже после смерти. Я сидела у ее постели, и изумленный врач, качая головой, говорил, что в принципе такое невозможно, однако у нее по щекам градом катились слезы.

А теперь я вам открою один секрет. Именно тогда, в день ее смерти, я поклялась себе, что в жизни не запла́чу — пусть даже не знаю что произойдет, — и свое слово сдержала. Кстати, поэтому, хотя я не так уж молода, как вы наверняка успели заметить, кожа у меня гладкая как шелк и без единой морщинки.

Так вот, я не стала плакать, когда в возрасте тринадцати лет, вместо того чтоб ходить в школу, вынуждена была устроиться посудомойкой в паскуднейшую забегаловку под названием "Бар последней надежды", где двери не закрывались до четырех утра. Ни слезинки не проронила, когда шеф-повар и двое официантов, заманив в подсобку, больше трех часов насиловали меня на холодном полу. Впрочем, тут нечему удивляться — девчонкой я была на редкость красивой. Грудки — точно высеченные из мрамора, попка литая как колокол, талия рюмочкой. С самого моего рождения мать смазывала мне голову керосином, чтобы не дай бог не завелись вши, и, вероятно, поэтому волосы у меня были чернее воронова крыла и настолько густые, что парикмахер, который потом тоже меня насиловал, сломал о них железную расческу. Ну а глаза голубые, как само небо. Но вернемся к теме нашего разговора: я не плакала, когда меня назначили в помощницы повару и мне часами приходилось шинковать репчатый лук; я даже не прослезилась от радости, когда черти взяли моего Старикана. Не плакала я и по своему скончавшемуся пару дней назад единственному сыну. И только сегодня в кинозале — вы, наверное, обратили внимание — я всплакнула впервые в жизни, кстати, сама не знаю почему.

Но... я уже упоминала, что была исключительно хороша собой? Ну так вот, меня не только без конца насиловали, но и не раз звали замуж. Предложение мне делали шесть официантов, двое вышибал, сорок постоянных клиентов и даже один поэт. Все мои ухажеры подбрасывали букеты под дверь ресторанной кухни, приглашали в свои жалкие квартирки и норовили представить своей нищей родне.

Я же после работы и по выходным бродила в одиночестве по самым богатым районам Чикаго. Часами простаивала под окнами фешенебельных ресторанов. Вдыхала аромат сигар, запахи хорошего одеколона и вкусной еды, а также бензина шикарных авто, а из мусорных урн выуживала старые газеты. Потом бежала в свою комнатенку и читала при свече колонки светских новостей о раутах, бальных туалетах, скачках, любовных связях, самоубийствах. Я не расставалась с газетой и, ложась спать, засовывала ее под ночную сорочку, прижимая к себе так, чтоб царапало живот. Открою вам еще одну тайну. Я всегда точно знала, что заслуживаю чего-то большего, потому что красивее, лучше и способнее всей этой шантрапы. Но проблема была в том, как им это втолковать, — быдло оно и есть быдло, до него ничего не доходит. Опять же в интелли-

гентное общество, где меня, без сомнения, сразу бы приняли как свою, кроме как через бордель доступа практически не было.

Но я стискивала кулаки, молилась и верила, что красота и порядочность непременно будут вознаграждены и судьба мне когда-нибудь улыбнется. Так и вышло. Сначала богатую вдову, муж которой вместе с "Титаником" пошел ко дну и у которой я дважды в неделю убиралась, разбил паралич, и она взяла меня к себе сиделкой с постоянным проживанием. Тут я уж окончательно уверовала, что Бог не оставит меня своей милостью, и мигом уволилась из "Последней надежды". Вскоре вдова отправила меня учиться в вечернюю школу медсестер, взяв на себя все расходы. Она была женщиной всесторонне образованной — до такой степени, что выписывала иллюстрированные журналы со всего мира. Теперь у меня наконец отпала необходимость копаться в мусорных баках, и когда добрый Боженька послал мне Старикана, я была подготовлена лучше некуда. А случилось это так.

Был погожий ноябрьский день, как сейчас помню: ласково светило солнышко, с деревьев дождем сыпались листья. В такой чудесный день я толкала перед собой инвалидную коляску с моей наполовину парализованной хозяйкой, направляясь с ней на прогулку в парк. Вдруг из-за угла, на пересечении Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона медленно выкатился самый длинный на свете золотистый "роллс-ройс" с затемненными стеклами. Я остановилась как вкопанная, и если у меня перехватило дыхание, то лишь на какую-то долю секунды: фотографии этого "роллс-ройса" с одной единицей на номере я сотни раз разглядывала на первых полосах каждой без исключения светской хроники, прекрасно знала, кто в нем ездит, и мгновенно сообразила, что само небо посылает мне знак. Сперва меня прошиб пот, потом затрясло как в лихорадке, под ложечкой засосало, коленки мелко задрожали, а зубы начали выстукивать дробь, я икнула и поняла: теперь или никогда. Подождав, пока лимузин поравняется с нами, перекрестилась и, зажмурившись, бросилась вместе с каталкой прямехонько под колеса.

Бог меня хранил — авто ехало медленно, и удар получился несильным. Однако же и я и моя работодательница приземлились на мостовой. Она — с криком и сломанной рукой, а я с содранной в кровь коленкой. Шофер в ливрее, такой же, как у тех двоих официантов, которые сейчас выносят картину Гойи периода "черной живописи", выскочил из машины, ругаясь на чем свет стоит. Но я, поднявшись самостоятельно с мостовой, оттолкнула его и шагнула к затемненным окнам. Одно из них как раз начало опускаться, и показалась лысая голова Старикана. Лицо багрово-красное, вся левая половина вместе с выпученным и тоже налитым кровью глазом перекошена, с отвисшей чуть не до подбородка нижней губы капает слюна, а в правом углу рта торчит держащаяся на честном слове сигара.

Я влюбилась в него с первого взгляда. Стояла как зачарованная и таращилась, а он окидывал меня с ног до головы оценивающим взглядом. Я вам, кажется, говорила, что была необыкновенно хороша? Мне было пятнадцать лет, и грудки мои были точно высечены из мрамора. Кстати, вы в этом можете убедиться — потрогайте. Левую тоже. Признайтесь, даже сейчас вы не придеретесь к их безукоризненной форме. И на мои ноги вы, конечно же, обратили внимание — какие они длинные и узкие в лодыжках. Тогда кровь струйкой стекала по левой. Моя распластанная на мостовой работодательница что-то отчаянно выкрикивала, но я не

слушала, а только смотрела. Глядела на него во все глаза (как я уже упоминала, они у меня были огромные и голубые) и думала обо всех сходивших по нему с ума красавицах и богачках, о его печатающих правду и ничего кроме правды газетах, о банках, которые ему принадлежали, о том, что он чуть не стал губернатором, и о его легендарном замке, правда не идущем ни в какое сравнение с великолепным дворцом, в котором мы сейчас находимся. Смотрела и смотрела, пока на глаза не навернулись слезы, совсем как у моей матери. А про себя твердила только три слова: Боже, помоги сироте. Скажу вам по секрету, я уж думала, что все напрасно и ничего я не высмотрю, но тут Старикан вынул сигару изо рта, отер с губы слюни и нечленораздельно промычал одно-единственное, но самое прекрасное слово: "Полезай".

Вы, конечно же, догадались, что я сделала? Вы правы. Оставив позади ползающую по мостовой хозяйку и всю прошлую жизнь вместе со старыми платьями и спрятанными под паркетиной сбережениями, я как загипнотизированная полезла в лимузин. В голове у меня пронеслось: будь что будет, по крайней мере на собственном опыте узнаю, что такое любовь сильных мира сего, или хотя бы посмотрю одним глазком. А говорю я вам это, молодой человек, для того, чтобы вы знали, как важно в жизни уметь быстро принимать решения.

Разумеется, не стану утверждать, что не была несколько разочарована, когда Старикан, словечком со мной не перемолвившись, изнасиловал меня прямо в лимузине. Даже не сняв штанов, а только расстегнув ширинку. Повар, двое официантов и парикмахер — те хотя бы раздевались. В замке я тоже ожидала увидеть побольше жизни. Огромные богатства попросту пропадали впустую. Напрасно я клала Старикану на кровать телеграммы с приглашениями, напрасно к нему приезжали гости и репортеры — все получали от ворот поворот. С тех пор как его бросила жена, Старикан никого к себе не допускал и сам никуда не ездил. Дни и ночи напролет слонялся в пижаме по замку и бил венецианские зеркала, которые тут же заменялись новыми, швырял в меня подносы с едой и вообще по отношению ко мне вел себя так же, как при нашей первой встрече тогда, в машине. Примерно через год, несмотря на то что я женщина сентиментальная и крайне привязчивая, я начала в нем постепенно разочаровываться, пока совсем не разлюбила. Конечно, все это было весьма печально, однако, как ни крути, замок это замок, а не "Бар последней надежды". Я решила выдержать все до конца и забеременела от него. Узнав об этом, Старикан впал в такое бешенство, что я думала, он меня убьет. Не дал мне ни гроша и велел убираться с глаз долой. Когда за мной с треском захлопнулись ворота и я потащилась вниз с холма с огромным животом и маленьким чемоданчиком, чувствуя себя изгнанной из рая, я все равно не дала волю слезам и решила вернуться в Чикаго. Моя прежняя хозяйка в то время была уже парализована с головы до пят, и у нее была новая сиделка, мои вещи вышвырнули, а паркет заменили. Пришлось снова поступить на работу в "Последнюю надежду". И все началось сначала: грязь, нищета и хамские шуточки. С отчаяния я проговорилась одной из посудомоек, что брюхо нагуляла от Старикана, а она растрезвонила остальным. Никто, конечно, не поверил, только вся эта голоштанная шантрапа еще пуще принялась надо мной измываться.

Когда родился маленький Кейн, я сообщила об этом Старикану, но он даже не соизволил ответить. Мой прелестный, как девочка, сыночек

стал для меня единственным светом в окошке. Боже, как же он обожал шить! Все время проводя со мной на кухне, он забывал попить-поесть, глаз не смыкал, а все только шил и шил день и ночь напролет — может, пошел в свою бабку? Знакомый портной давал ему лоскутки, а он кроил, сшивал и обметывал петли.



Когда моему малютке исполнилось пять лет, Старикан вдруг о нас вспомнил. Перед баром появился "роллс-ройс", голодранцы рты поразевали, а я второй раз в жизни все бросила, ничего с собой не взяла. Без колебаний сняла и швырнула на пол халат, скинула деревянные сабо и, послав всех к черту, села в машину. А мой малыш Кейн — я придумала ему эту фамилию по созвучию с фамилией отца — захватил с собой одну только подушечку с иглами и две катушечки ниток.

Я опасалась, что Старикан нам с сыночком житья не даст, но вышло еще хуже. С первой же минуты он полюбил Кейна, а вот мне запретил показываться на глаза. Забрал у меня моего мальчика. Взамен своего прелестного малыша я получила комнату в замке, одну горничную, трехразовое питание и неограниченный доступ к алкоголю. Я ужасно страдала, но, как вы, наверно, догадались, если внимательно слушали мой рассказ, не плакала. Старикан устроил в замке огромный кинозал, правда не такой роскошный, как тот, в котором вы меня нашли. Приказал поставить в нем два кресла, только два! И часами смотрел там с моим малюткой "Снежную королеву". Боже, как он его баловал! Когда Кейн отказался ходить в школу, Старикан самолетами доставлял к нему учителей французского, рисования, кройки и шитья прямо из Парижа, Лондона и Рима, каждую неделю новых.

Мой сыночек обожал живопись, а у Старикана, как вы, вероятно, слышали, была фантастическая коллекция. Малыш пристрастился вырезать куски холста из картин Микеланджело, Тициана, Веласкеса и Рембрандта и шить из них вечерние платья и шлафроки. Старикан позволял ему все, а мой малютка обладал потрясающим чувством цвета и невероятным талантом к композиции. Он любил переодеваться девочкой. Ах, он был просто неотразим, когда надевал длинные черные чулки и подвязки! На подвязках он собственноручно вышил розочки. Уже тогда я не сомневалась, что его ждет захватывающая жизнь дизайнера.

Разумеется, я не собираюсь рассказывать вам во всех подробностях о детстве моего маленького великого художника. На эту тему его биографы накропали пару сотен томов, надо сказать, весьма поверхностных. От вашего внимания, конечно же, не укрылось, что я стараюсь как можно реже упоминать о его отце. По возвращении в замок я разговаривала со Стариканом только один раз. Это было сразу после бомбардировки японцами Перл-Харбора, когда моего мальчика призвали в армию. Я на коленях умоляла Старикана освободить сына от службы, для него это было пустяшным делом — всего один звонок. Но Старикан уперся — и ни в какую, твердил, что послужить в армии и особенно повоевать никому не помешает. Он якобы где-то вычитал, что мужчина, никого в жизни не застреливший, все равно что девственник.

Но у любящей матери сердце-вещун. Мой мальчик, всего несколько часов прослужив в морской пехоте, впал в глубокую депрессию, поначалу перестал принимать пищу, потом отказался от воды, и вскоре его поместили в госпиталь, а затем комиссовали из армии. Врачебная комиссия вынесла вердикт: причиной нервного срыва послужило тоскливое единообразие солдатских мундиров.

А потом... потом Старикан умер. Сами понимаете, в каком напряжении я ожидала оглашения завещания. Старикан всегда был непредсказуем, он даже не позволил сыну носить свою фамилию и официально его так и не признал. Но в завещании отписал ему все. Тогда я полюбила его во второй раз.

Мой мальчик часто говорил, что ненавидит отца и никогда не простит ему безобразного обращения со мной. Но иногда мне кажется — по-своему он все же его любил. Не случайно же моему сыночку так нравился фильм "Снежная королева". На похороны он, правда, не приехал, но в телеграмме сообщил, что прилетит позднее, чтобы продать замок. Уже тогда он вынашивал идею строительства нового замка, еще грандиознее, еще роскошнее отцовского, где под одним куполом было бы собрано все самое прекрасное и ценное, что только есть на свете. И вот вы видите этот шедевр.

А пока прямо из госпиталя он уехал во Францию изучать работы по дизайну армейской формы периода наполеоновских войн. И именно там, в оккупированном Париже, впервые поразил мир своим талантом. Не думаю, чтобы кто-либо еще сделал больше для сражающейся Франции, чем мой восемнадцатилетний мальчик. По сей день помню, как я была горда, когда генерал де Голль лично вручил Кейну орден Почетного легиона. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз: через полчаса у меня самолет, мне ведь еще надо вам заплатить, а чековая книжка в машине.

## Р*ассказ* К*убы*

Этими словами она задела мою слабую струнку. Стряхнув с колен пуделька, я вскочил с кресла. Хоть я и не шибко расчетливый, но не такой уж лох, меня не проведешь, я знаю, как деньги могут скрасить жизнь. А после того, как я купил на распродаже непромокаемые ботинки от Тимберленда рыжего цвета, чисто шерстяные носки и индийскую рубашку, в карманах у меня зияла та самая пресловутая дыра.

Между тем Антонио вынул из коляски старую миссис Кейн, сгреб в охапку и понес, а я ухватился за кресло-каталку со стеклянной тележкой и осторожно, чтобы не перепутались провода, полез за ним на насыпь. Однако уже через пару шагов характер Антонио дал себя знать, и произошел форменный скандал. А именно: шофер-итальянец схлопотал по морде за то, что, воспользовавшись ситуацией, начал прилюдно, на виду у всех лапать старую миссис Кейн. В ответ она распорядилась, чтобы мы поменялись местами. Антонио полез было в бутылку, но, видимо, как глава семьи она забрала такую власть, что отбрехиваться имел право только ее пуделек. Так что теперь на руках ее нес я, что, кстати, было куда легче. А Антонио, видать непривычный к физическому труду, пыхтел позади с инвалидной коляской. По пути я, чтобы она не забыла про чек, намекнул, мол, деньги значат много, но не все, потому что любовь на них купить невозможно. Она, как это услыхала, сразу обрадовалась, что оставляет замок в надежных руках.

Я успел уже перебраться через рельсы на другую сторону и готовился спускаться с насыпи, а Антонио все еще карабкался в горку, когда как назло на всех парах подлетел скорый поезд. Антонио прибавил газу, но,

оступившись, грохнулся. Заорав от страха, я хотел повернуть назад, однако было уже поздно. Так мы и стояли: я по одну сторону рельсов, Антонио сопел по другую, а натянувшиеся провода, будто только того и ждали, угодили прямиком под колеса. Из трубок прыснуло во все стороны желто-зелено-голубым. И старая миссис Кейн начала с шипением, точь-в-точь как проколотый мячик, съеживаться в моих руках. Господи Иисусе, свят-свят, если так дальше пойдет, накроется мой чек, и останусь я несолоно хлебавши. Бухнувшись на колени, я попробовал пальцами и полами пиджака затыкать трубки, но куда там. С перепугу, стараясь подбодрить старуху, я вякнул что-то о божьем милосердии, но, видно, она была из неверующих: только рассмеялась мне в лицо, продолжая таять на глазах. В следующую секунду золотые часики и прочие украшения со звоном покатились по насыпи. Я начал молиться про себя, а тем временем поезд укатил и показался Антонио весь в песке. Он только глянул и — даже не отряхнувшись — бегом к машине, распахнул багажник и гаркнул: "Давай скорей, закидывай ее сюда!"

На это я отважиться не смог, а подбежал к нему с тем, что у меня осталось, а осталось-то всего ничего — кожа да кучка костей. Тем временем Антонио разделся догола и начал для дезинфекции от макушки до пяток обрабатывать себя алкоголем, и видно было, что это ему не в новинку. Потом надел маску, вооружился сварочным аппаратом и принялся за дело: разматывал кабель с огромной бобины, что-то сваривал, брызгал клеем "Крейзи Глю". Работа кипела у него в руках. На моих глазах этот шофер превратился в другого человека. Резал, монтировал, прилаживал, накачивал воздух, лил что-то сразу из нескольких бутылей — в общем, крутился как белка в колесе, и починил-таки без моей помощи старую миссис Кейн. Я "Отче наш" не успел дочитать, как в трубках весело забурлило, а миссис Кейн, жалуясь только на легкую головную боль, уже выписывала мне чек за июль в размере двухсот тысяч долларов.

Таким вот образом в одну минуту состоялось мое превращение из нелегального иммигранта в уважаемого человека, может, даже с высшим образованием. Я бросился целовать ей ручки, еще чуток холодноватые, а шоферу признался, что был по отношению к нему несправедлив. Хотел даже его как родного прижать к груди, только он не выказал особого желания, зато принялся подбирать с земли драгоценности: бриллиантовые кольца, ожерелья, серьги, браслеты — и, вероятно чтоб не тратить зря время, швырял их прямо в багажник. В два счета укрепив инвалидную коляску на крыше автомобиля, он уже без всяких нахальных выходок усадил в нее старую миссис Кейн, сам вскочил в машину, и только их и видели.

Пуделек пытался влезть третьим, но Антонио, схватив его за шкирку, вышвырнул вон, да так, что тот еще долго, поджав хвост, кружился на месте и скулил. Я помахал им вслед зажатым в руке чеком, потом положил было его в карман пиджака, передумал, спрятал в чемодан, опять достал и в конце концов засунул в ботинок — что ни говори, подарок судьбы. Радость мою слегка отравляло беспокойство, где бы мне его обменять на кэш, то есть, говоря языком финансистов, где обналичить чек, когда все кругом закрыто, и даже если удастся его поменять, то куда спрятать такую кучу денег и кто мне заплатит за август, коль скоро все удирают.

Но я решил не забивать себе голову и вскоре уже предавался сладким мечтам о том, что с такими-то деньжищами вполне можно остепениться и завести себе бабенку, лучше всего в Польше. Да, но для начала

надо сперва познакомиться — не на первой же попавшейся жениться. Впрочем, это пара пустяков, у тетки широкие связи по этой части. А кроме того, признаться, кухарка уже вроде как вскружила мне голову, и если бы, к примеру, оказалось, что она верующая католичка, то, кто знает, может, я и не стал бы вникать, какой у нее цвет кожи и есть ли приданое, и дело с концом. Так я раздумывал, шагая по шпалам и только успевая пропускать поезда. Никакого даже внимания не обращая ни на фрагменты Древнего Египта, ни на забитые досками отели с вывесками то ли на французском, то ли на английском, а может статься, на немецком языке, тоскуя по своей родной деревеньке, где мне знаком был каждый кустик и камешек, и по Кельце, где я знал каждую забегаловку. Продвигался я по железнодорожной насыпи, строго следуя указателям, которые мне нарисовала кухарка, и только когда споткнулся о пуделя, до меня дошло, что собачонка не на шутку ко мне привязалась невзирая на то, что пару раз я угостил ее по хребту камнем.

А вокруг одна большая свалка и полный разгром. Сломанные кресла, разбитые буфеты, разодранные картины, раскрытые чемоданы — верно, вылетевшие из окон поездов, — ножи, вилки, вполне возможно, что и столовое серебро, теннисные ракетки и — ни живой души. Даже страх меня взял, не попутал ли я дороги и не заблудился ли часом.

Только вижу вдруг вдалеке по левую сторону от путей вроде бы как из трубы валит дым. И тут же из-за поворота показался покосившийся домик, что-то наподобие избушки на курьих ножках. Сердце у меня сжалось — выглядел он совсем как наш, родимый. На заборе весело пузырились простыни с пододеяльниками, большого и маленького размера трусы, ребячьи и дамские, и даже бюстгальтер. Вокруг носилась пацанва числом не меньше дюжины, похожая на нашу, только разноцветная, и, беззаботно гомоня, связывала по нескольку в пучок короткие толстые брусочки, как будто бы динамитные. А на самом порожке, приставив ладонь ко лбу козырьком, как от солнца, хотя тут везде было электричество, стояла одетая во все белое кухарка.

— А что, ребятишки эти — ваши детки? — спросил я, малость испугавшись, потому как, хоть вообще-то люблю мелюзгу, этих все-таки было многовато.

— Ну и шутки у вас, — ответила она. — Я женщина порядочная, к тому же девица. Это все подкидыши. Знаете ведь, как оно бывает. Родители приезжают с детьми замок посмотреть, а на обратном пути забывают прихватить с собой детишек.

Я вздохнул с облегчением, а кухарка тем временем приласкала пуделька, который крутился возле ее ног, повизгивал, вилял хвостом и вообще, похоже, страстно желал зацепиться здесь навсегда.

— С ходу могу сказать, что вы человек хороший. Животные вас любят, — заметила кухарка.

Я попросил веревку, но у нее не нашлось, так что я взял у ребятишек кусок проволоки. И привязал пуделька к забору, вроде как ей в подарок, чтоб дом сторожил.

Из благодарности она пригласила меня внутрь. Стол был накрыт в мою честь, только, к сожалению, не по-нашему, а по-мексикански: в основном все какие-то блинчики, к моему разочарованию, несладкие, зато начиненные желтым рисом и черной фасолью с наструганным зеленым авокадо. Кухарка деликатно выспросила, как и что с чеком, потом сказала, что она с детишками уже отобедала, но охотно составит мне компа-

нию, посидит-посмотрит. Враз почувствовав зверский голод, вместо ответа я основательно прошелся по блинчикам, потом выложил на стол извлеченную из чемодана колбасу, следом "Шопена" и щедрой рукой разлил по стаканам. Кухарка между тем уселась поудобнее, так что юбка у нее задралась по самое некуда, открывая взору панталоны и ляжки, красиво поросшие черным курчавым волосом, как у оленя, что, как известно, свидетельствует о страстности, но одновременно и о твердом характере. Я подумал, как сильно мне в жизни недоставало женщины — доброй, заботливой, потому что, как я уже упоминал, мать я потерял рано, а тетка, даже самая наилучшая, мать все равно не заменит.



Порядочно уже подкрепившись, я поднял тост, тот самый, который обычно поднимал в Грин-Пойнте Американский Брат Прораба, — за здоровье прекрасных дам. Потому что, если дамы будут здоровы, и с нашим здоровьем все будет в порядке. Мы чокались и пили стакан за стаканом, то залпом, то по глоточку, с расстановкой, но неизменно глядя друг другу в глаза, как велит старый мексиканский обычай. По прошествии недолгого времени в бутылке показалось дно, и тогда вдруг кухарка любезно дала мне выпить из своего стакана. Меня даже дрожь пробрала, и я не преминул заметить, что если кто выпьет из чужого стакана, то узнает мысли другого человека, на что она захихикала и кокетливо пихнула меня в бок. Очень я от этого возбудился и думаю себе: а если набраться смелости и ее чмокнуть. Ну что мне, в конце концов, может грозить? Самое большее, как Антонио, схлопочу по морде. Я потихоньку придвинулся вместе со стулом, и кто знает, чем бы все это закончилось, не загрохочи за окном поезд, и дом вдруг затрясся — понятное дело, рельсы-то рядом.

Но вдобавок, как говорится, мало этого: через открытое окно влетел и шлепнулся на стол выкинутый скорей всего и даже наверняка из проходящего поезда завязанный у горловины шпагатом куль нетипичной формы. А в нем что-то шебуршало, подпрыгивало и повизгивало, как если бы, к примеру, внутри была небольшая свинья или опять же крупный поросенок. Детвора, видимо распираемая любопытством, гурьбой вывалилась со двора в дом и окружила стол, наперебой крича и требуя немедленно развязать мешок. Я, как и полагается, сперва бросил взгляд на кухарку — женщина ведь, первое слово за ней, но та махнула, чтоб я приступал.

Для начала перекрестившись, я засунул внутрь пятерню и нащупал что-то сильно кудлатое. Сразу же следом высунулось девичье личико, потом голая шейка, обмотанная веревкой и с табличкой, на которой значилось: "Дочь Кейна". Голова распахнула глаза, очень даже красивенькие, хотя хитроватые, потому что карего цвета, и заторараторила как заведенная: "Папочка, я здорова, чувствую себя хорошо, но если ты не пришлешь денег, мне перережут горло". Я подумал, что голова не за того меня приняла, и хотел прояснить недоразумение, но, вижу, она меня совсем не слушает. Еще больше меня удивил тот факт, что при нормальной голове, симпатичном личике с правильными чертами и густых, хотя давно нечесаных волосах по мешку было видно: девчушка вроде коротковата, как бы недоукомплектована. Тем временем ребятня начала на меня наседать, перекрикивая друг дружку, с требованием, чтоб я ее вытянул из мешка целиком. Я потянул, и она вылезла наружу — голая по пояс, с торчащими, как собачьи уши, сиськами. Дальше я не стал ее вытягивать, потому что кухарка огрела меня по физиономии со словами, что де разочаровалась во мне, что я, мол, такой же, как все мужики, и ду-

маю только об одном. Запихнув голову, которая без передыху талдычила одно и то же, обратно в мешок, она крепко-накрепко его завязала и швырнула на пол, не слушая моих оправданий насчет трагического недоразумения и клятвенных заверений, что с мужской точки зрения меня совершенно, ну совершенно не интересует особа из мешка. В ответ кухарка погрозила кулаком и замотала головой, чтоб я себе не воображал, будто с ней у меня так же легко пойдет, как с другими.

И, в подкрепление своих слов, постлала мне кое-как на стоявшем в углу колченогом топчане. Потушила свет, ничуть не стесняясь, прямо на моих глазах натянула поверх одежды ночную сорочку и залезла в кровать. Часть детворы забралась к ней, а остальные притулились где попало. Мешок на полу без устали что-то лопотал, но скорее всего сам с собой.

Что было делать? Пристроив ботинки с чеком в головах — от греха подальше, — я снял пиджак и растянулся на постели. Сон, правда, никак не шел, да и кухарка ворочалась с боку на бок, придавливая ребятню, пока не подала голос, обратившись ко мне с вопросом, спал ли я уже когда с женщиной и как это выглядит.

Я честно, как на духу, ответил, что ничего нет прекраснее в жизни, чем физическая близость двух людей, особенно если они противоположного пола. Кухарка как особа впечатлительная, видно, ударилась в мечты, потому что вздохнула пару раз, и я за ней — из вежливости. Даже хотел что-то приятное добавить, да заснул. Последнее, что я слышал, это как пудель под дверью тихонько поскуливал, верно, не привычен был к проволоке и малость задохся.

Когда я утром продрал глаза, кухарка, косо на меня поглядывая, подала мне кофе с молоком и ломоть хлеба с маслом, посыпанный сахаром. На столе уже ждал сделанный ее рукой любительский рисунок, на котором было обозначено, где останавливается поезд и как мне доставить к нему мешок — чтоб глаза ее на него не смотрели; детей и след простыл.

Размышляя о превратностях судьбы, я поплелся на станцию. Поезд, как она и пообещала, был без машиниста, без билетов и в нужную мне сторону совершенно пуст. Останавливался автоматически и трогался так же. Через две остановки я сошел, строго следуя плану, и очутился возле построек, по виду напоминавших казармы. В караулке — ни души, зато из ворот один за другим выезжали до отказа набитые охранниками грузовики. Сколько я им ни махал, никто даже в мою сторону не взглянул, пока наконец какой-то мужик, менявший проколотое колесо, можно сказать, земляк, потому что, как выяснилось, был из Германии, не указал мне, где проживает самый главный и личный телохранитель.

Мне здорово не повезло: как на грех я попал под горячую руку, потому что тот аккурат складывал автоматы и гранаты, а также связанные в пучки брусочки, похожие на те, какими играли детишки, в три чемодана и очень спешил. Хоть ростом он и был невелик — каких-нибудь метр семьдесят с кепкой, — однако мускулы у него под пиджаком так и играли, не хуже, чем у породистого жеребца.

Моя персона у него доверия не вызвала — сперва он ощупал меня с ног до головы, видать, на предмет оружия. И только потом развязал мешок. Разволновался не на шутку, даром что bodyguard, сунул девчонке плитку шоколада и, утерев навернувшиеся слезы, снова завязал мешок, наверно, чтобы пыль не попала. Ну а уж после попросил меня сесть на

второй, под завязку набитый гранатами чемодан, который никак не хотел закрываться. Я объяснил ему мое положение, так, мол, и так, а он, кивнув, повел свой рассказ.



## Рассказ Стивена, шефа телохранителей

Родился я в Лос-Анджелесе, точнее, в Санта-Монике — угол Одиннадцатой улицы и Оушн Паркуэй. С детства я ростом не вышел и в придачу был тощий — кожа да кости. Быть низкорослым и в придачу тощим, сами понимаете, приятного мало. Вам приходилось бывать в Санта-Монике? Нет? Ну тогда вы не знаете, что значит быть маленького роста и в придачу тощим. В Санта-Монике вся жизнь протекает на пляже. Там рождаются, занимаются серфингом, надираются, трахаются, тонут, умирают. А в Рио-де-Жанейро когда-нибудь были, на Копакабане? Нет? Ну так я вам скажу: в Рио, если мужчина низкорослый и в придачу тощий, и ко всему прочему ноги у него тонкие, а у меня ко всему прочему ноги были как палки, то он стесняется показаться на пляже. А если стесняется показаться на пляже да в придачу с характером, то либо стреляет себе в висок, либо лезет в петлю, либо, глотнув для верности яду, идет топиться. В Санта-Монике дела обстоят получше, чем в Рио, однако ненамного. А я жил в Санта-Монике и был маленького роста и в придачу тощий.

Грудь у моей матери для примерной католички, какой она слыла, была внушительных размеров, в придачу она без конца за меня молилась. У обеих сестер буфера были почище материных, и они безжалостно мной помыкали. Отец, мужик ростом под метр девяносто, вкалывал на "Дженерал моторс" и в придачу меня стеснялся. Стеснялся, когда выпадало свободное время, но вообще-то у него времени ни на что не хватало, потому что он целиком посвящал его автомобилям — конек у него был такой. То есть, точнее, ему позарез было нужно, чтобы люди покупали машины и ничем больше не занимались. Не ели, не пили, не поддавали, не трахались, а только покупали и только автомобили. Но для того чтоб они начали их покупать и ничего больше в придачу не делали, надо было довести до ручки городскую транспортную сеть в Лос-Анджелесе. Вам, наверное, не надо говорить, что этот город когда-то славился на всю Америку самой лучшей системой городского транспорта? Трамваи и автобусы курсировали исправно, и в автомобилях не было особой нужды. Так что моему отцу и еще парочке таких же, как он, торговавших автомобилями и в придачу строивших автострады и мотели, потребовалось целых двадцать лет, чтобы окончательно разрушить транспортную систему города. Я понимаю, дело было нелегкое, но никак не может служить отцу оправданием, чтоб не заниматься единственным сыном, пускай даже низкорослым и в придачу тощим. Когда отец довел до конца свое черное дело и городского транспорта почти не осталось, зато на каждую семью приходилось по автомобилю и в придачу еще по одному запасному, он купил большой дом в Малибу и только тут огляделся: нет ли где поблизости меня и не подрос ли я или хотя бы, на худой конец, не прибавил ли в весе. Как рассказывают, раз он даже позвал меня по имени. Но для меня это уже никакого значения не имело: к тому времени меня уже зачислили в "зеленые береты"[1].

1. Десантно-диверсионные войска особого назначения.

Если вас интересует, как я, низкорослый и в придачу тощий, попал в ряды "зеленых беретов", то нам с вами придется вернуться в давно позабытые школьные времена. Я говорил, что был низкорослый и в придачу тощий? Так вот, из-за этого ни на уроках, ни после уроков ни одна, дословно ни одна киска не хотела со мной не то что знаться, даже в щечку чмокнуть. Вы мужчина из себя видный, вам этого не понять. У меня же без перерыва и без всякой надежды мало того, что постоянно был на взводе, еще и стрелял очередями. А знаете, как тяжело жить без всякой, пусть даже маленькой, надежды? Я мало что был низкорослый и тощий, так в придачу чуть не свихнулся. И кто знает, что бы из меня выросло, ведь мог бы, к примеру, как говорится, сбиться с пути, если бы не тренер школьной футбольной команды Майкл Мичел. Мало что он заменил мне отца, так еще привел за руку в тренажерный зал, взвалил на меня штангу, обложил гантелями и каждый божий день повторял: "Ты должен качаться, Стив, это единственное, что тебя в жизни может спасти. Не будешь качаться, Стив, любая, самая распоследняя шестерка будет, Стив, иметь тебя вдоль и поперек, как я". Говоря так, он намекал на тот факт, что, когда мне было десять лет, он меня трахнул и потом повторял это регулярно, в придачу силком, три раза в неделю последующие пять лет. Майкл враз сориентировался, что у такого коротышки, как я, инструмент должен быть солидный. Как известно, после сотворения мира Бог развесил все члены на веревочке, и коротышки расхватали самые длинные. Да-да, уж поверьте. Если я и благодарен кому в жизни, так это прежде всего Майклу Мичелу, а в придачу мистеру Кейну, но это уже много позже. Благодаря Майклу я избавился от комплексов, он, так сказать, сделал из меня человека. Уговорил заняться кунг-фу, и оказалось, что я — талант: уже через три месяца я сломал ему руку. Коротышкой я так и остался, но тощим в придачу уже не был. Потом я занялся карате и через полгода сломал Майклу ногу аж в четырех местах. Боже, как он мною гордился и, когда я навещал его в больнице, плакал от счастья и в придачу назвал меня своей Галатеей. Мало сказать, что он был человеком добрым, в придачу он был начитанный. К сожалению, мир полон зла и несправедливости; так вот я отплатил ему злом за добро. Ну, понимаете, сил моих не было смотреть, как он запал на одного парня из моего класса. Я предупреждал, чтоб он прекратил, но Майкл и ухом не повел. И пришлось, как ни было жаль, обвинить его в растлении малолетних; Майкла арестовали, он вылетел с работы, а выйдя из тюрьмы, мало того, что не пожелал со мной встретиться, так в придачу бросился под поезд. Я же сверх программы занялся стрельбой из стрелкового оружия.

Что касается мистера Кейна, то познакомились мы с ним в Сайгоне. Я как раз руководил эвакуацией посольства — вьетконговцы были уже в двух шагах. Сами знаете, каковы люди. Они там чуть не поубивали друг друга за места в вертолетах, а вот мистер Кейн и мистер Жан-Пьер стояли насмерть и ни в какую не соглашались лететь без двоих четырнадцатилетних вьетнамцев — супермоделей. И знаете, в этом был весь Кейн, он в придачу заботился о каждой топ-модели как о самом себе. Чего тут говорить, широкой души был человек, потому-то его и полюбил весь мир. Короче, я тоже, как говорится, человек, так что они улетели вчетвером только благодаря мне. Я велел пропустить вьетнамских мальчишек вместо одного сотрудника посольства с женой. Вы не поверите — мистер Кейн еще в воздухе предложил мне сотрудничество.

В одну минуту я не без сожаления бросил армию и в придачу перебрался в Нью-Йорк, прямиком в Кейн-тауэр на шестьдесят пятый этаж с видом из окон. Мистер Кейн занимал двенадцать комнат на самом верхнем, шестьдесят восьмом. Под ним проживала в одиннадцати комнатах Жозефина, то есть миссис Кейн, в придачу с дочкой, то есть так было до развода, потом этот этаж заняла его последняя жена, Соня, с которой он впоследствии переехал в замок, где она три дня назад самолично закрыла ему глаза. Целый этаж непосредственно под ними занимали повара, горничные, уборщицы и прочая шваль. А на шестьдесят пятом, как я уже говорил, жил я и в придачу сорок три моих сослуживца по Вьетнаму. Про остальные этажи промолчу, потому что это тайна! Хотите я вам кое-что скажу в придачу — как на духу? Получал я много почти ни за что. А все потому, что работа на мистера Кейна была детской забавой. Вы не поверите, но на протяжении первых сорока пяти лет на мистера Кейна было всего-то тридцать три профессиональных покушения. Естественно, я не беру в расчет таких подлянок, как бомбы в письмах, посылках, автомобилях или самолетах. Ситуация обострилась, когда мистер Кейн раскрутил в придачу собственное телевидение и начал выпускать свои знаменитые "Новости Кейна". В общем и целом все шло как по маслу: мы с сербами, албанцами, русскими, китайцами либо вождями хуту заранее садились и договаривались, какие районы будут в тот или иной день разбомблены или, скажем, население каких деревень вырезано, ну и на следующее утро сразу после завтрака уже были тут как тут с кинокамерами. Одно мне совсем не нравилось: мистер Кейн в придачу взял привычку летать туда со съемочной группой и на месте лично осуществлять контроль. От этого я начал преждевременно седеть. Вы только посмотрите, мне еще и семидесяти нет, а я уже седой, о, здесь и вот здесь. Должен сказать, нервы у мистера Кейна железные, даже когда из-за общей неразберихи в наземных службах наш самолет подстрелили (по пьянке, скорей всего) ооновские миротворческие силы и мистеру Кейну пришлось катапультироваться, он отнесся к этому с юмором и падал с улыбкой на губах.

Только однажды я видел, как он вышел из себя, буквально потерял над собой контроль. А произошло это в восточном Тиморе. В тот раз генерал Макарим, кстати, человек вообще-то солидный, слишком поздно предупредил нас о готовящейся резне, должен прибавить, на редкость впечатляющей: в программу входило сжигание живьем, отрезание голов мачете и в придачу насаживание младенцев на штыки. Ну а из-за этого опоздания мы прилетели уже к шапочному разбору. Местами там, правда, еще убивали и насиловали, но на главную новость для спецвыпусков Кейна это уже не тянуло. Они попробовали было уладить дело — паблисити им ведь тоже необходимо, — пытаясь всучить нам кассету с любительской съемкой резни. Но мистер Кейн такой дешевки не допускал: швырнул кассету на газон и в придачу растоптал ее ногами.

Честно говоря, больше всего проблем было с этой его дочкой. Никакими человеческими силами не удавалось за ней уследить. Наверно, в основном тут была виновата Жозефина. Это она настояла, чтобы у дочери было нормальное детство, и запросто отправляла ее в обычную школу, в придачу с совместным обучением, приставив небольшую охрану. Не мне вам рассказывать, каковы люди. Из-за людской злобы и алчности девочку в среднем два раза в неделю похищали, а на мою голову только лишние хлопоты. Во-первых, приходилось набирать новых телохранителей

на место застреленных, а в придачу доставлять похитителям выкуп. Конечно, мистер Кейн, как всякий родной отец, обожал свою Бетани и выкуп платил не торгуясь. Только один-единственный раз эти портачи из ФБР убедили его отказаться от переговоров, и вот тогда ее начали в придачу кромсать. Как сейчас помню, шесть недель кряду каждый божий день, даже в праздники, ее доставляли по кусочку с утренней почтой, как живой укор. Начали с пальцев ног — это еще мистер Кейн как-то пережил, но когда прибыл первый срез с живота, он сломался.

А надо сказать, что способ, которым была доставлена последняя посылка, повсеместно вызвал взрыв возмущения у отцов, матерей и детей всего мира. Окровавленный ошметок выпал из поздравительной телеграммы в тот самый день, когда мистер Кейн открывал в "Уолдорф-Астории" в окружении супермоделей обоего пола свой "белый год". Год, на протяжении которого, как он торжественно объявил, будет — в знак протеста против популизма, отсталости "третьего мира" и углубляющейся пропасти между бедными и богатыми — пить только белое вино, есть только белое мясо и в придачу одеваться только и исключительно во все белое. Представляете, как это подпортило праздник? Тогда-то он и велел мне передать похитителям деньги.

Бедняга мистер Кейн, может, и хорошо, что он до такого не дожил. На что это похоже: дочурку возвращают без всякого выкупа. Уж точно, поверьте мне, в мире все перевернулось вверх тормашками. Голову даю на отсечение, что и теперь мистер Кейн рвался бы заплатить выкуп, хотя, когда ее всю пообкромсали, сами посудите, на что она такая нужна?

Остальное я доскажу потом, теперь мне пора ехать. Знайте: вы мне нравитесь. А что до мешка, то лучше всего отнести его Жозефине. Как мать она, так сказать, в придачу обрадуется.

## Р*ассказ* К*убы*

Таким вот образом главный телохранитель выкрутился из положения, а я остался с мешком. Но делать было нечего. Еще и помог ему стащить чемоданы, чтобы джип внизу не надрывался гудками зазря; в общем, проводил, помахал вслед рукой и волей-неволей поплелся куда меня послали, благо что близко, то есть по адресу проживания предпоследней жены мистера Кейна, матери этой, из мешка.

Апартаменты, куда я попал, напоминали дворцовые залы, но что там творилось — форменный цирк: крик, шум, прислуга носится как угорелая, везде навалены горы сумок, чемоданов и даже кофров. Шофер то ли в чалме, то ли в тюрбане, черт его знает кто, возможно, даже и индус, выкатывал из гаража один за другим четыре лимузина — верно, на выбор. Ни я, ни мой мешок ничьего внимания на себя не обратили. Единственное, чего мы добились, так это то, что меня без конца пихали, задевали, гоняли с места на место, и каждый указывал пальцем в другом направлении. В такой ситуации мне ничего не оставалось, как действовать на свой страх и риск, то есть тарабанить свою ампутированную из залы в залу, попутно глазея на камины, огибая кресла и протискиваясь между диванами и светильниками на подставке, кто знает, может статься, что и золотыми. И тут вижу, неподалеку от бьющего фонтана перед зеркалом во всю стену скорее лежит, чем сидит, и скорее на столе, чем

на кровати, скорее женщина, чем мужчина, хотя и женщиной в полном смысле не назовешь. Тело вроде бы еще туда-сюда, примерно женское, но голова точно то ли кошачья, то ли, скорее всего, тигриная. Что касаемо лба, то он занимал полголовы, а над ним под электросушкой развевалась шатенистая грива, вроде как и конская, но, однако, скорее львиная. Щеки пухлые, губки, как это у кошек бывает, бантиком, нос, опять же на манер кошачьего, треугольником. В точности, как я сейчас описал, мне ее сперва разглядеть не удалось — вокруг, галдя, толпилось человек двадцать не то женщин, не то мужчин, не разобрать, и все в белых халатах. Одни это чудо-юдо растягивали, другие массировали, третьи, четвертые, пятые — кто обтирал влажной губкой, кто сушил, кто намазывал кремами либо работал кисточками, похоже, делая макияж, не считая остальных, которые припудривали.

Я попробовал было к ней протолкнуться, но куда там: только протиснусь поближе, как меня отпихнут, и так несколько раз подряд — я туда, а меня обратно. На мое счастье, она — возможно, из-за шума — открыла сперва один глаз, потом второй, опять же как у кошки, треугольничком и горящие, а в тот момент еще и влажные. Скорей всего и я сам, и мешок отразились в зеркале, потому что она вдруг как заголосит: "Деточка моя дорогая, маленькая моя, счастье мое, единственная моя, радость моя!" Мешок тоже, видать, ее по голосу признал, поскольку прекратил бубнить и давай орать во все горло: "Мамочка! Мамочка!" Ну и стало понятно, что, похоже, скорее всего передо мной собственной персоной бывшая жена мистера Кейна, то есть сама Жозефина Кейн.

Вся толпящаяся вокруг орава, тронутая до глубины души, еще энергичней принялась мять, мазать и махать кисточками, а миссис Кейн, хоть и прикрыла оба глаза, про дочь явно ни на секунду не забывала, потому что крикнула: "Доченька моя, что у тебя за вид. Неухоженная, растрепанная, бледная, голодная".

И велела немедленно привести ее в порядок, накормить, умыть, а перво-наперво причесать. Не могу сказать, чтоб меня не задела за живое эта картина: подумать только, мать, даже не глядя на завязанный мешок, способна сердцем видеть все насквозь. Сразу четверо мужчин и две женщины подскочили и, распутав узел на мешке, вытащили калеку на белый свет. Мужская половина начала впихивать ей в рот шоколад, булки и другие витамины, а женщины принялись расчесывать волосы, подкрашивать губы и брызгать туалетной водой. Остальные продолжали умащивать, мять и размалевывать Жозефину спереди и сзади, вертя не хуже цыпленка на вертеле. И тут надо признать, хоть, судя по всему, она была в летах, но тело сумела сохранить как у девочки. И груди, и попа, и низ живота, где курчавился рыжий треугольник, были хоть куда. Вот только голова все впечатление портила — у кошек, как известно, характер на редкость вредный.

А с другой стороны, мне-то что, я свое дело сделал и собрался было восвояси, и далеко бы уже ушагал, кабы Жозефина снова не сверкнула глазами и не прокричала вдогонку, что вообще-то у нее железный принцип — с террористами в переговоры не вступать, но уж коль я здесь, она велит мне сесть и послушать. Я хотел объяснить, что это фатальное недоразумение и никакой я не террорист, а здесь за сторожа. Но вся эта команда вертевших ее так и сяк зашикала на меня, зацыкала, и я вынужден был примоститься в ногах, смущенно отводя взгляд, как положено истинному католику. Дочка, умытая и накормленная, сама забралась в

мешок, один из слуг мешок завязал, и бывшая молодая миссис Кейн повела свой рассказ.



## *Рассказ Жозефины Кейн*

Родилась я в Монтгомери, столице штата Алабама; единственная дочь мультимиллионера с политическими амбициями. Как и большинство наследниц алабамских мультимиллионеров, с детства я была неотразимой красоткой с вьющимися от природы белокурыми волосами. Вы, конечно же, не могли не обратить внимания на мои огромные зеленые глаза. Так вот, уже тогда они светились умом. Училась я, разумеется, в Гарварде, где получила солидное гуманитарное образование. Одолела оба тома Пруста, без акцента щебетала по-французски, посмотрела два фильма Бунюэля и знала, где находится Украина.

И тем не менее — счастливой я себя не ощущала. Вам, как человеку впечатлительному, наверно, знакомо это чувство неудовлетворенности, жажда несбыточного, приступы внезапно нападающей тоски, глубокая задумчивость. Как-то раз на автостраде, мчась за рулем своего "порше", я так задумалась, что лишь спустя полчаса сообразила, что еду против движения. Надо было срочно себя спасать. Я перепробовала все, что можно и нельзя. Наблюдалась поочередно у шести лучших психиатров Алабамы. Накачивалась героином, кокаином и экстази, не реже раза в неделю меняла любовника, сотнями пар закупала туфли, моего отца выбрали в губернаторы — ничего не помогало. Сейчас я твердо знаю: мне просто недоставало любви. Отец, кстати прекраснейший человек, лишенный каких бы то ни было предрассудков (кроме антисемитизма и расизма), постоянно был занят политикой, введением смертной казни и не пропускал ни одного баскетбольного матча — на меня у него не оставалось времени. Мать, как подавляющее большинство женщин из семей богатых нефтепромышленников, увлекалась йогой и медитацией. Казалось, от будущего мне ждать нечего.

И вот однажды — а случилось это буквально спустя два дня после моего двадцатилетия — в солнечный, хотя немного душный день я загорала нагишом у бассейна, потягивая ром с кока-колой, слушая Мика Джаггера и время от времени проверяя месседжи. Как сейчас помню, я тогда еще раздумывала, не переспать ли мне с Дэниелом Фридманом, двадцатипятилетним гением в математике, который сходил по мне с ума, забрасывал розами и e-mail'ами и как раз в эту минуту через Интернет умолял встретиться с ним вечером в президентских апартаментах отеля "Четыре времени года".

Ближе к полудню солнце начало немилосердно припекать, я поднялась с шезлонга и тут — впервые в жизни — увидела Кейна. То есть до этого я сотни раз видела его по телевизору и на обложках глянцевых журналов, но вблизи лицезрела впервые. Он неторопливо шагал над ажурной от янтарных бликов водой нашего олимпийского бассейна, за ним семенил Жан-Пьер, а вокруг них увивался мой отец. Папочка как раз решил поучаствовать в президентской предвыборной гонке и уговаривал Кейна взяться за дизайн его избирательной кампании. Кейн был в смокинге из мягкой зеленой лайки, в майке цвета византийского золота и туфлях из змеиной кожи на высоком каблуке, Жан-Пьер — в своем неизменном черном платье с глубоким декольте и в бейсболке, я же — в чем мать ро-

дила. Кейн уставился на меня, буравя насквозь глазами — левым ярко-зеленым и правым желтоватым, почти лишенным зрачка. Это длилось какие-то доли секунды. Я оцепенела, по спине побежали мурашки. Накинув халат от Нормы Камали, я помахала им рукой. Жан-Пьер улыбнулся в ответ, но Кейн казался глубоко погруженным в свои мысли. Он равнодушно прошел мимо: я не была уверена, заметил ли он меня вообще. И только в полночь, точнее, в четверть первого, когда после двух выпитых бутылок шампанского "KRUG Clos du Mesnil 1985" я изо всех сил старалась заполучить хотя бы намек на оргазм, а Дэниел Фридман безумствовал на мне, всхлипывая и вопя от счастья, двери номера распахнулись и подошедший к нашему ложу в сопровождении управляющего отеля Кейн предложил мне выйти за него замуж. Он, как позже признался, попросту выкупил сеть этих отелей. Кейн дал мне время на размышление до полудня следующего дня. Но я сразу ответила, что согласна, хотя Дэниел Фридман так распалился, что ничего вокруг не замечал и был еще во мне.



С той минуты началась моя настоящая жизнь. Это уж не говоря о том, что отец выиграл выборы. Ясное дело, имея Кейна на своей стороне, проиграть он просто не мог.

Как сейчас вижу себя во время избирательной кампании: я стою в сапожках из черного конского волоса, простеганных янтарем, рядом с отцом, облаченным в костюм из кашемира с вкраплениями опилок, и матерью в скромном туалете из пальмовых листьев на бирюзовой шелковой подкладке. В тот период Кейна вдохновляли только природные материалы, таким образом он оповещал мир, что самое время покончить с абсурдом уничтожения нашей планеты. Ну, вы понимаете, все эти выхлопы, загрязнение атмосферы, вырубка джунглей. В тот день моросил дождь, но мы стояли под растянутым на километр тентом из голубого полотна, имитирующим чистое небо. Описание наших оригинальных нарядов попало во все газеты, в один голос провозгласившие Кейна римским папой минимализма и мастером подавленной сексуальности.

Объективно говоря — насколько я вообще способна быть объективной, — Кейн вступал тогда в свой самый креативный период. После выборов Белый дом и я были перекрашены сначала в голубой цвет, потом в розовый и, наконец, в красный. Это привело к подписанию многообещающего договора о разоружении с Россией и Китаем и принесло Кейну Нобелевскую премию мира.

А я гордилась им и была на седьмом небе от счастья, что этот гениальный человек принадлежит мне, что на моих глазах создаются великие произведения искусства и я могу разделять с ним муки творчества. Надо сказать, что этот гигант мысли, хоть и не было ему равных по изобретательности и творческой силе ума, частенько впадал в депрессию. Многие вещи, если ему не удавалось добиться абсолютного совершенства, он оставлял незавершенными. Но даже те, которые он считал неудавшимися, пленяли изысканностью композиции и элегантностью ассоциаций.

В то время Кейн уже трудился над трусами. К их созданию он готовился на редкость тщательно. Изучал анатомию человека — костную и нервную системы, мышцы, сухожилия. Посещал прозекторскую. Делал тысячи набросков, помечая их подчас даже для меня невразумительной цифирью, а то и иероглифами. В поисках универсального решения не

гнушался ни одним вариантом. И всегда оживлялся при виде необычных ягодиц. Мог таскаться за их обладателем целыми днями, осваивая их формы и щелкая без конца фотоаппаратом. Он считал, что ягодицы могут сказать о человеке все. Помню, как он сокрушался, что не в состоянии вообразить себе задницу Иуды: она, по его мнению, должна была являть собой законченный портрет предательства и жестокости.

Тем временем я перенесла несколько мелких косметических операций. С целью подчеркнуть талию мне вырезали пару ребер, увеличили и сделали более выпуклым лоб, разумеется, заменили губы, нос и щеки. Кейн был очень деликатен и ни о чем не просил, но, как всякий добросердечный человек, обожая зверей, однажды признался, что ничего не имел бы против, если бы я хоть немного походила на кошечку или львицу. Я согласилась не раздумывая, ведь ради него я готова была на все.

Когда я вышла из больницы, трусы обрели уже свою окончательную форму и как только на растяжках повисли над Таймс-сквер, критики единодушно признали эту композицию Сикстинской капеллой XXI века. Вскоре после этого срок президентства отца подошел к концу, трусы начали свое триумфальное шествие по бутикам и универмагам всего мира, а мы с Кейном переехали в Нью-Йорк. Сознаюсь, я обожала этот город, где никто не спит, дабы не тратить зря время.

Кейн был на пике славы, но отнюдь не намеревался сидеть сложа руки. Он начал скупать телеканалы и приступил к работе над дизайном оргазма. Он задался целью эстетизировать оргазм, смикшировать его, устранить элемент случайности, убрать неконтролируемые моменты, вскрики, посторонние шумы, всхлипы и сопение. Словом, создать оргазм, достойный людей XXI века. Первый год он экспериментировал только на мне. Но когда, увлекшись творческим поиском, переключился на других, между нами начались недоразумения. В прессу, слава богу, ничего не просочилось, и я все еще была счастлива. Родилась наша дочурка Бетани, Кейн оставался самым богатым и популярным человеком в Америке, собственно говоря, он был единственным стопроцентным кандидатом в президенты на приближавшихся выборах.

И тут грянул скандал. Один из трех телеканалов, до сих пор еще не выкупленных Кейном и принадлежавших королю презервативов и сопернику Кейна на выборах, показал ошеломленным американцам сенсационный материал — моего мужа, занимающегося безопасным сексом с Соней в маленьком мотельчике в Нью-Джерси. Это был самый крупный скандал XXI века и мое личное поражение. Но я твердо решила стоять до конца и вопреки всему защищать свою семью и нашу любовь. В те нелегкие дни я была рядом с мужем. Держа на руках нашу малютку, я в телевизионных интервью убеждала американцев, что к великим людям, опередившим свое время, следует подходить с особой меркой. На одну чашу весов я предложила положить слабости Кейна, на другую — то, что он сделал для мира.

Но это не помогло. С политической карьерой моего мужа было покончено. Отец умолял меня немедленно подать на развод. Я наотрез отказалась. В глубине души я была убеждена: Кейн на самом деле не любит Соню, их связь — всего лишь мимолетный роман, и вскоре все опять придет в норму. Но Кейн, ожесточившись из-за людской неблагодарности, в отместку решил узаконить свою связь с Соней. Ничего не поделаешь, я согласилась на развод, но никогда не переставала любить его и

восхищаться им. И знаю: фактически он меня не бросил. Ну сами посудите, иначе разве стал бы он уговаривать меня переехать к нему в замок?

Конечно же, жить вместе с ними я не стала, но всегда была под рукой и старалась даже полюбить Соню. Во всяком случае, между нами установились вполне приличные отношения, и за это Кейн был мне признателен. Впрочем, не раз в моменты душевного смятения он забегал ко мне на витаминную капельницу, и тогда мы вместе смотрели его любимый фильм — "Снежную королеву".



## Рассказ Кубы

В эту самую минуту уже упомянутый мною тип, по всей видимости индус, потому что в тюрбане, вклинился в окружавшую Жозефину толпу с отчаянным криком, из которого стало ясно: если не попасть на самолет прямо сейчас, то не улететь уже никогда. Массажисты и косметички, а вслед за ними и все остальные бросились, толкаясь и истошно вопя, врассыпную, на ходу расстегивая и стаскивая с себя халаты и хватая свои чемоданы. Остались только четыре девушки, видать самые преданные; они насилу согнули пополам и усадили миссис Кейн, которая, к сожалению, самостоятельно не так чтобы очень могла сгибаться. И пока одна заканчивала ее массировать, а еще одна втирать крем, две другие принялись одевать Жозефину в дорогу, натягивать трусы и колготы, ворсистые юбки, сапоги на высоких каблуках, а дальше что-то наподобие а-ля пиджака, тоже с ворсинкой, хотя кожаного, и в довершение напялили на нее стильную широкополую шляпу. И нескольких минут не прошло, как мадам была обряжена, как Господь Бог повелел, с шиком-блеском, и, энергично опираясь на две палки, уже ковыляла к выходу, а следом за ней устремилась вся ее шумная, без умолку галдящая свита.

И вот тогда, преодолевая робость, я бросился к ней с криком: не иначе как у нее вместо сердца камень, раз она так легко могла забыть о мешке.

— Видите ли, уважаемый, — сказала она даже любезно, однако не сбавляя хода, — я всю себя отдала, сделала все, что только в силах сделать мать, чтобы у моего ребенка было безоблачное детство, но, так уж совсем между нами, я никогда не была на сто процентов уверена, что Бетани действительно моя дочь. А все потому, что в первый раз ее похитили прямо из моего живота, сделав мне кесарево сечение, а возвратили, когда ей шел уже третий месяц, так что, посудите сами, можно ли быть в чем-то твердо уверенной? — Сказав так, Жозефина попросила при случае оповестить остальных террористов, чтобы прекратили приставать к ней с выкупом, поскольку теперь, когда Д. Д. К. нет в живых, она платить не намерена.

Тут наконец я сумел объяснить все недоразумение. Мы оба посмеялись, и я помог прислуге дотащить ее самый главный чемодан до лимузина, а мешок, в котором ампутированная, похоже, спала как убитая, забросил на багажник, после чего увязался с Жозефиной в аэропорт, обстоятельно выспросив по дороге о моих обязанностях и тактично намекая, мол, как же будет обстоять дело с оплатой моих услуг, коль скоро все поразбежались. Но, к сожалению, миссис Жозефина Кейн мыслями была слишком далеко, чтобы ответить.

На аэродроме возле самолета крутилась ребятня, что-то там прилаживая, не иначе как свои зарядики. Они даже замахали мне руками, но я сделал вид, будто их не признал, чуть не сгорев со стыда, такие они были чумазые. Миссис Кейн вручила мне пять долларов чаевых, которые я взял на всякий пожарный, ввиду полного отсутствия налички. А я еще раз обратился к ней с горячим призывом, чтоб она непременно захватила с собой мешок. Объяснив, что через него на мою голову сыплются одни неприятности, потому как кухарка не верит в мои намерения. И вообще как же так можно, сразу видно, что девчушка ее любит, дочери надлежит быть при матери, как Господь повелел. Она потрепала меня по щеке, добавила еще пять долларов, мешок взяла как ручной багаж в салон и, почтительно приветствуемая экипажем, взошла по трапу в самолет, а за ней ломанулась вся ее свита.

Я сделал ей ручкой на дорожку, а поскольку в общих чертах уже ориентировался, где нахожусь, махнул без промедления к дому кухарки, не дожидаясь, пока мадам улетит.

Опять я топал мимо забитых досками музеев, дворцов, ресторанов, один-единственный — против течения. А навстречу мне валили толпы, главным образом, скорей всего, горничных, поваров, драпающей официантской братии, женщин и мужчин, всех тех, кто, видать, не попал на сабвей и теперь плелся, сгибаясь под тяжестью награбленного — сервизов из тонкого фарфора, посеребренных подсвечников либо картин живописи. Все они насилу волочили ноги, двигаясь как сонные мухи, потому что каждый, мало что тащил неподъемные чемоданы, в которые было сложено награбленное, еще и напялил на себя с десяток костюмов либо платьев. А самые хитрые так еще обмотали себя дополнительно занавесками из кружев, не иначе как брюссельских. И теперь те, кто послабее, не справляясь с навьюченным на себя добром, то и дело на ходу срывали если не пальто, то шубейку, а иные и свадебное платье. А кто падал, тому никакого сочувствия не оказывалось, и они так и лежали пластом, пока к ним не возвращались силы.

Вообще по награбленному ходили как по ковру, а я в душе благодарил Бога, что никто не заставит меня все это убирать, потому как это выше человеческих сил. Минут через пятнадцать замок вдруг содрогнулся от взрыва, крышу пробило крыло самолета, сверху посыпались вилки, а неподалеку от меня брякнулся крупный обломок — по виду реактивного двигателя, потому как без воздушного винта; рухни он на метр ближе, я бы теперь вам этого не рассказывал. Перекрестившись, я подумал, что не иначе это дело рук гвардии кухаркиных сорванцов. А с другой стороны, для той бедолаги, дочки, может, оно и к лучшему, потому как что это за жизнь — в мешке.

Когда я добрался, огни были погашены, пуделек только вежливо поскулил, а мелюзга, все грязнее ночи, лежали, где кого сморил сон. Видно, вернулись короткой дорогой, наискоски, и теперь улыбались сквозь сон, как это водится у детей, своим мыслям. Стащив башмаки, я в одних носках пробрался через них к топчану. На главной кровати кухарка под одеялом ровно посапывала. Подойдя к своей лежанке, я с благодарностью отметил, что на ней постлано как положено. Украдкой проверил, не рылась ли кухарка в моем чемодане, но нет, потому что чек зашелестел в носке. Я уж было хотел растянуться на постели, как вдруг кухарка села в кровати, как лунатик или вампир, и сказала, что дольше так продолжаться не может и так с порядочной женщиной не поступают. Люди уже

начали сплетничать, и чтобы я мигом собрал свои манатки и убирался на все четыре стороны, причем без лишних слов.

— Сейчас, сейчас, — забормотал я испуганно, — а что, если я вас люблю всем сердцем и желаю жениться? И куда мне идти, когда ночь на дворе?



— Ну а коли так, то и разговор другой, — кивнула она и призналась, что тоже меня полюбила с первого взгляда и даже уже переговорила с Педро, который из Эквадора и в полномочия которого входит венчать в замке вступающих в брак. Он пока не уехал и завтра ровнехонько в шесть соединит нас священными брачными узами. При этом добавила, чтоб я снял рубаху и носки, она скоренько их простирнет. Тогда я подъехал к ней с вопросцем, коли на то пошло, не будет ли она так добра и не пустит ли к себе в постель. Она же строго ответила, что, к великому сожалению, нет, поскольку никому не дает до свадьбы. Что было делать? Я лишь сказал, что жду не дождусь этого светлого праздника, и вернулся к себе на топчанчик.

На следующий день спозаранок я проснулся от того, что меня трясут за плечо: кухарка решила заняться приготовлениями к свадьбе, да такой, чтоб не было стыдно перед людьми, но вот беда, ей даже нечего кинуть в кастрюлю. Конечно, в кладовке найдутся гамбургеры и мороженая рыба "Омаха Стейк", суп "Кэмпбелл", копченый лосось, тушенка, баночная ветчина "Кракус", бекон, сосиски, авокадо, желтый рис, черная фасоль, соевый соус, спагетти, овсяные хлопья по-ирландски с коричневым сахаром, фруктовое желе и мороженое. Само собой, с грехом пополам удалось бы состряпать тако[1] или буррито[2], а то и энчиладу[3], но не по такому же случаю.

Я поинтересовался, куда мне бежать и где брать продукты, когда все позакрыто и магазины забиты досками. Она только головой покрутила, что, мол, не ее это дело — и баста. Испокон веку известно, что женщина в доме для того, чтоб очаг поддерживать, а мужчина — добывать пропитание. И велела двигать на запад, где в замке проживала элита, там что-нибудь наверняка найдется.

Делать нечего. Натянул я на себя не совсем еще просохшие носки и рубаху, на всякий пожарный сунул чек в кармашек, в пиджаке у меня завалялась небольшая заначка, полученная от Жозефины, да и кухарка десятку добавила из личных своих сбережений, вдобавок завернув мне с собой на второй завтрак пару бутербродов с сыром. При моем появлении сабвей автоматически остановился, я сел и поехал. На переездах состав выгибало змеей, у собора он дал длинный гудок, а возле Сфинкса, музея, банкомата, магазина, "Макдоналдса" и "Пицца Хат" слегка притормаживал. Я смотрел в оба, но повсюду были только опущенные жалюзи, доски крест-накрест, решетки да замки размером в два моих кулака. Тишина, безлюдье, один только мусор. Что ни кинотеатр, то с разбитой витриной, а фотки порастащены. А если винный магазин, так со всех сторон огорожен колючей проволокой, а может, даже и заминирован, как в войну. Что ни театр, то без дверей, а драгсторы заколочены досками. Впрочем, даже если б я и оторвал доски, толку мало — кухарка ведь просила что-нибудь эдакое. Поезд то тормозил, то снова трогался —

1. Легкая закуска, бутерброд (*исп.*).
2. Кукурузная лепешка (*исп.*).
3. Блинчики из кукурузной муки с мясом, сыром и перцем (*исп.*).

и все автоматически, причем нигде ни одного обходчика, и кабы что случилось, некого было бы винить, фонари частью светили, частью мигали, а если вообще не горели, то темнота наступала аж жуть. Но я подумал: чего мне расстраиваться — коль Господь Бог дал столько заработать, надо полагать, не затем, чтоб теперь меня уморить во цвете лет.

Я опустил окно, потому что в поезде, как и во всем замке, кондиционеры еле тянули, вполне возможно, что из-за взрывов. Выставив голову наружу, я обомлел и протер глаза, высунулся снова и снова протер глаза. Впереди, вагона через два от меня, из окна торчит башка живой свиньи, которая, жмурясь, ну совсем как я, высунулась проветриться. Свинья взглянула на меня, но как-то недоверчиво, и тут же убралась со своим пятачком внутрь. Сперва я перепугался, не мираж ли это, какой случается видеть в пустыне погибающим от жажды. Однако для очистки совести выскочил в коридор, потом побежал, обшаривая глазами каждый вагон, по безлюдному поезду, который в этот момент как раз остановился, — никого. Тут я догадался выглянуть на перрон и, о счастье, смотрю, а свинья уже по нему трюхает, толстозаденькая, розовенькая, в майке с надписью "SOS Titanic". Едва успев просунуть колено между готовых захлопнуться дверей, я кинулся за ней вдогонку. Она, видно, разгадала мои намерения, этих животных, как известно, Бог умом не обидел, потому что припустила галопом. Я со всех ног бросился в погоню, но несмотря на то, что аж запыхался, все равно сильно отстал, во-первых, потому, что не знал местности, а она мчалась петляя, а во-вторых, пустой чемодан колотил меня по ногам.

Так, топча выбитые на плитах тротуара звезды, мы промчались вдоль здания с вывеской "Chinese Theater" и дальше, друг за дружкой, мимо странных домов, с виду настоящих, а на самом деле макетов, потому как из картона или из пластика, перепрыгивая через круглые, похожие на немецкие мины времен войны коробки с торчавшей из них, видимо, кинопленкой. Всюду воняло затхлостью и запустением, как в Музее Костюшко в Грин-Пойнте. Тут и там стояли на треногах или лежали грудой, разбитые вперемешку с целыми, кинокамеры, видать, для съемок, а в витринах под стеклом — костюмы (добрую половину которых успели растащить) разных эпох, начиная с римской античности, включая период завоевания индейцев и кончая современными. А между ними — куклы женщин и мужчин, прямо как живые, потому что из воска. К сожалению, осмотреть все как положено было недосуг, поскольку взятой мною на заметку свиньи и след простыл.

Вот так намаявшись, набегавшись по незнакомым местам, я вдруг почувствовал, как костлявая рука тоски по отчей сторонке моего детства, где мне знаком был каждый камешек и кустик, схватила меня за горло. Что и говорить, хоть ты и перебивался там с хлеба на воду, да ведь все свое, родное. И что с того, если отец бил тебя смертным боем за малейшую провинность и гонял на работу, а сам и пальцем не желал пошевелить, только приговаривал, что труд в поте лица — это нам наказание за грехи. Зато как прекрасно жаворонок, этот царь царей певчих птиц, выводил свою песню в голубом поднебесье, да и молодежь веселилась будь здоров как. По вечерам все слушали радио или ходили на дискотеку, а по воскресным дням — в костел. В читальне на полках — одни польские книжки, а свиньи не разбегались, да и куда им было бежать? Только знай себе подставляли загривки под топор, а здесь что — одна алчность с роскошью да потеря национального облика, и некому поплакаться в жилет-

ку. В таком душевном смятении брел я вперед в расчете на удачу или хотя бы на счастливый случай. А ну как свинья не отыщется, подумать страшно, что скажет тогда кухарка. И до того у меня смешалось все в голове, что я даже пару раз воскликнул: где ты, свинка! Тут вдруг ноги мои обо что-то зацепились, и я рухнул, треснувшись башкой так, что в глазах потемнело. Очнулся, вижу, лежу на топорище с надписью "Crime and Punishmant"[1]. И подумалось мне, что это хороший знак для меня и совсем плохой для свиньи: если найду ее, будучи при топоре, то хотя бы не придется душить голыми руками. А это маленькое удовольствие как для меня, так и для животинки.

И в этот момент меня угораздило запутаться в колючих зарослях роз, с краю всё сплошь неестественно красного, а дальше натурального чайного цвета, причем только что политых. Как я ни берегся и ни уворачивался, в кровь расцарапал лицо и в придачу обе руки, в одной из которых был чемодан. Однако с помощью топора пробил-таки себе дорогу и вышел к бассейну. Поначалу я решил, что вода в нем тоже ненастоящая — слишком уж была голубая, и в ней, как в зеркале, отражалась пятиметровая вышка для прыжков в воду. Я даже носки стянул и ногой попробовал, но оказалось, нормальная вода и, как положено, подогретая. А вокруг — лавочки, шезлонги, креслица, изогнутые, со всякими выкрутасами, раскрашенные, посеребренные, а может, кто знает, и позолоченные. Я одно испытал на пробу. Неудобное, но надо признаться, шикарное, прям тебе из давней исторической эпохи.

А вот теперь слушайте внимательно. Я было собрался идти дальше, когда вдруг получил знак свыше. Что-то меня дернуло еще раз глянуть на бассейн, а оттуда, как бы снизу, из-под воды, уставилось на меня знакомое свиное рыло. Я зажмурился, потом снова открыл глаза — рыло не исчезло. Струхнул я не на шутку, уж не видение ли это, не дьявольское ли искушение, но нет. Рыло и рыло — и тут меня как током ударило. Я поднял голову, вроде бы по сторонам посматриваю, а сам украдкой давлю косяка на вышку. И что же вижу, вот ведь хитрая скотина — забралась на самую верхотуру и там притаилась. Меня аж дрожь пробрала: если б не зеркальная гладь водной поверхности, я бы ее проглядел.

Между тем на часах уже без чего-то четыре. Господи, сколько времени потеряно зазря! А ведь мясо еще нужно вымочить, обварить кипятком, чтоб не было жестким, да натереть, чтоб не получилось безвкусным, чесноком, перцем и другими специями, думаю я, а сам с топором и с чемоданом карабкаюсь на вышку. Добрался до третьего уровня, потом до четвертого, а свинья глядит на меня странно так, будто колеблется, но одновременно пятится. Тут я чемодан отложил и с одним топором в руке как человеку ей говорю, мол, ничего не бойся, долго мучиться тебе не придется, а она пятачком крутит, точно что сказать хочет, и похрюкивает, но так как-то нетипично. Я ей опять объясняю, чтоб никакого сострадания к себе не ждала и обратный путь ей отрезан. А она поднялась на задние ноги и передними машет, будто сдается. Я еще подумал, не иначе как дрессированная, и толкую ей, кабы не особый случай, да были бы мы с ней на польской земле, я бы ее, как справное животное, розовое и чистенькое, взял к себе в хозяйство на откорм. Однако никак нельзя, поскольку свадьба на носу, а сам к ней шажок, а она от меня, и все-то на задних ногах. Я продолжаю ее успокаивать: ничего-ничего, мол, скоро все

1. Преступление и наказание (*англ.*).

будет позади. И только хорошенько размахнулся, как свинья поворачивается ко мне задом. Правильно делает, думаю про себя, я бы на ее месте тоже бы так поступил, чтоб не глядеть в глаза собственной смерти, на случай, если б мне перед тем глаза не завязали. Она же как нырнет прямо рылом в воду, только брызги полетели в разные стороны. Я прям опешил, но всего на минуту, потому как свинья погребла к бортику, вот-вот задаст стрекача. Сигануть за ней в воду мне не позволило благоразумие. Высоко, аж голова кружится, даже если б первым топор кинуть, все равно разобьюсь как нечего делать. Ну, я кубарем по ступенькам вниз. Свинка, несмотря на все старания, не успела еще выкарабкаться. Увидела, что я несусь к ней на всех парах, и, оттолкнувшись от бортика, поплыла на середину бассейна. Тогда я присел на скамеечку, тоже ведь здорово запыхался, сижу жду. Когда-нибудь она да устанет, думаю, поглядим еще, кто кого пересидит. Только и она не лыком шита — ногами почти не перебирает, при такой массе тела вряд ли ей грозит замерзнуть, да и жир будет держать на поверхности. А время-то идет, срок свадьбы все ближе, делать нечего, стянул я штаны, носки и в одних трусах от Кейна, с топором наперевес бултых в воду. Свинья ну изо всех сил грести туда, где поглубже, да с перепугу нахлебалась воды, закашлялась, а я ее одним махом хлобысть в лоб. Раз только и ударил, а точнехонько, хоть и нет у меня никакой сноровки и опыта работы на скотобойне.

Взглянула она на меня с горьким упреком да такими глазами, что не приведи бог потом в страшном сне увидеть, перевернулась брюхом вверх и вместе с топором, как тонущий корабль, ушла под воду. Я подумал, нет такой силы, чтоб она не всплыла, зачем мне зря голову мочить. Только аккурат кто-то выглянул из кустов и спрятался, потом еще раз, и опять — нырк обратно. Я помертвел от страха: не дай бог из-за убийства свиньи какие проблемы возникнут, со здешними законами я ведь не знаком. Выскочил из воды и в одних трусах присел на лавочку, маскируясь под туриста, с интересом осматривающего достопримечательности. Сижу жду. И тут из кустов выходит тип, который за мной подглядывал. Странноватое существо в фирменной бейсболке команды “Метс”. Сверху до половины вроде мужик, а дальше — юбчонка выше колен и туфли на шпильках. По виду довольно преклонных лет, однако передвигается без посторонней помощи, при этом ни единой морщинки, кожа лица натянутая как на барабане, и весь коричневый от загара. Не иначе, искусственного — тут не то что солнцу, даже лучику неоткуда взяться, освещение в замке сплошь электрическое.

А он присел рядышком и вежливо так повел разговор о погоде, попутно расхваливая мои глаза и стрижку с прической. Затем, проведя рукой по моему бедру, удивился, почему я не брею ноги, и, задрав подол, продемонстрировал свои — с гладко выбритой до шелковистости кожей, в чем и заставил меня удостовериться. А представился мне ни больше ни меньше как Жан-Пьером, то есть самым близким и личным другом мистера Кейна. Я отвечал на все нехотя, потому что, во-первых, не знал, что говорить, а во-вторых, не чувствовал себя в безопасности. Свиньи, по правде говоря, видно не было, значит, лежала себе на самом дне, но красное пятно на воде уже расплывалось. Чтобы отвлечь его внимание от бассейна, я сел к нему задом, чего он только и ждал: скоренько проглотил какую-то таблетку, запив ее минеральной водой из бутылки, потрепал меня за ухо и, называя проказником, прижался к моей спине и принялся разворачивать гондон. Я сидел ни жив ни мертв, не так-то лег-

ко, доложу я вам, с низкого польского жизненного уровня подняться на высокий, американский. Не смел даже оглянуться и посмотреть, не всплыла ли свинья. А он, пользуясь случаем, довольно нагло засадил мне конкретно и ритмично заколыхался у меня за спиной, временами покусывая в шею и нашептывая прямо в ухо историю своей жизни.



## Рассказ Жан-Пьера

Я родился в Париже, в Латинском квартале. А Латинский квартал, как вам наверняка известно, это сердце Парижа. Безудержно перекачивающее всю мерзость, и все краски мира, и зло, и добро, и высокие чувства, и пороки. Впрочем, бог мой, зачем я все это рассказываю — кому, как не тебе, шалунишка, знать это лучше меня. О, а ты стильный мальчик. Эти трусы, которые ты носишь с пиджаком, но без брюк... м-м, признайся, негодник, ты как-то связан с модельным бизнесом. А мой отец... Ты не поверишь, проказник, но мой отец ходил по дому в сеточке на голове, чтобы у него, не дай бог, не растрепались волосы. Нарадоваться не мог на свои волосы, такие они были светлые. А сеточка была черного цвета и сзади завязывалась на две тесемочки, похожие на крысиные хвостики. Прикинь, что за гадость!

Папа мой был очень крупный, очень белый, очень рыхлый и очень гордился, что рожден французом, ну не хам, а? Мама же была чудо как хороша. Глаза на пол-лица, красивая, обаятельная, миниатюрная и стройная, как куколка. Грудки у нее были такие маленькие, что я мог накрыть их одной ладошкой. А ведь, как вы, наверно, успели заметить, кисти рук у меня небольшие. Пальцы, правда, длинные и породистые. Мой отец носил бриджи. Самое отвратительное, что только есть на свете. Не брюки, а позорище, нарушающее все пропорции. Но отец считал, что у него красивые голени. После школы он заставлял меня работать в аптеке, а мама... мама меня любила. Моя дорогая мамочка вышла замуж за эту белую гору жира, чтобы помочь своей семье в Алжире. У нее там осталась куча братьев и сестер, живущих в страшной нищете. Отец считал, что облагодетельствовал маму, женившись на ней, и что она должна быть счастлива, когда он по ночам изредка наваливается на нее своей мерзкой тестообразной тушей. Мама, стиснув зубы и закрыв глаза, думала об Алжире, ибо все свои жалкие сбережения посылала родным. Вы не поверите, но эта скотина, мой отец, изменял ей. И с кем? С такой же белой, как он, и тестообразной хозяйкой пекарни напротив. Мама была такая крохотуля, что в двенадцать лет я ее уже перерос. У меня были золотистые волосы, черные как угли глаза и проблемы с эрекцией. Девчонки кидались на меня, точно стервятники на добычу, а у меня не стояло. Я плакал, порывался утопиться или повеситься. В конце концов, рыдая, во всем признался маме. И однажды, когда отец отправился к своей дебелой толстухе, мама взяла меня к себе в постель и начала терпеливо ласкать. Все получилось. Мы с мамой плакали от счастья. Украв у отца тысячу франков и соврав маме, что заработал их, убирая торговый зал супермаркета, я купил два пирожных и бутылку шампанского. Мы пошли к Сене и вдвоем выпили целую бутылку, а потом съели по эклеру, но я свой тут же выблевал. Это одно из самых прекрасных моих воспоминаний детства. Отец обнаружил пропажу денег и устроил дознание. А поскольку мама взяла все на себя, начал ее бить. Я кинулся на не-

го с кулаками, тогда он выпорол нас обоих. Ремнем. Я сказал маме, что убегу из дома, и на коленях умолял ее бежать вместе со мной. Но она ответила, что ей некуда деваться. Ну, и что еще на ней эта ее семья.

А я убежал. Меня приняли в банду, которой верховодил пятнадцатилетний креол по кличке Тигр. Роста он был небольшого, но у него была широкая гладкая грудь и изумительно смуглая кожа, горящие желтые, как у рыси, глаза, голубая татуировка, и к тому же он мастерски владел длинным ножом с костяной рукоятью, на которой было выцарапано "LOVE". Благодаря ему я узнал, что такое любовь. Мы жили вшестером с двумя девчонками в полуразрушенном доме. До сих пор так и не знаю наверняка, любил ли меня Тигр. Да, он со мной спал, но он спал со всеми парнями и девчонками из нашей банды. Иногда мне кажется, что Тигр попросту меня использовал. Принял в банду, потому что я был красавчик, с жемчужными зубками и невинной улыбкой, которая, если вы успели заметить, осталась у меня по сей день. Именно моя невинная улыбка распаляла похоть состоятельных престарелых дам и богатых стариков, пытавшихся обмануть и то и другое: и старость и смерть. Была, к примеру, одна такая Мишель, она по мне просто с ума сходила. Драгоценностей на ней было — как на витрине бутика Тиффани. Утверждала, что ей пятьдесят, хотя как минимум разменяла восьмой десяток. Пока она впихивала в меня шоколад и вливала шампанское, я подсыпал ей в бокал снотворный порошок. Ее лежавшие на животе груди меня не очень-то вдохновляли, но я закрыл глаза, мысленно помолился, и все получилось. Как только она захрапела, Тигр, поджидавший за дверью, обчистил ее квартиру. Разумеется, я получил свою долю и, конечно же, бросился с этими деньгами к маме. Я дожидался ее на улице, а увидев, залился слезами. Эта скотина, мой отец, колотивший ее смертным боем, повредил ей что-то внутри. Она шла по тротуару, едва передвигая ноги и харкая кровью. Я одолжил у Тигра нож с костяной рукоятью. Как следует его наточил, но не успел исполнить задуманное: в тот же день полиция замела всю нашу банду. Наши фотографии поместили в "Монд". Добросердечная старушка Мишель поклялась на судебном разбирательстве, что я ни о чем не подозревал, и меня отпустили. У выхода из здания суда меня поджидали два ассистента Коко Шанель. Тот, что повыше, Жан-Клод, к слову сказать, сердечный друг молоденького Диора, оказывается, увидел мою фотографию в "Монд" и совершенно обалдел. Сказал, что я похож на попавшего в ад ангелочка. Кстати, с тех пор в модельном бизнесе ко мне прилипла кличка Ангелочек.

Со мной провели фотосессию — снимки вышли на редкость удачными. Тогда Жан-Клод распродал все, что у него было, взял дополнительно кредит и специально для меня создал собственную коллекцию одежды. Через два дня после окончательного ее завершения в Париж вступили немецкие войска. Я прекрасно это помню, ибо ровно неделю спустя впервые вышел на подиум.

Успех был колоссальный. Мы стали жить вместе. Жан-Клод без конца спрашивал, люблю ли я его, а я отвечал, что люблю. Он был милый и добрый, но нашу любовь можно было сравнить с ванильным мороженым, сладким, но быстро тающим во рту. Зато я начал зарабатывать бешеные деньги. Втайне от мамы купил ей квартирку, обставил и нанял прислугу. Мне хотелось сделать ей сюрприз, но в тот час, когда я радостно бежал к ней с ключами, в тот самый день, когда мое фото впервые появилось на обложке "Пари Матч", — мама умерла. Это было ужасно. Вы

только подумайте, она так никогда и не увидела меня на подиуме. Не дождалась моей славы и богатства, а я так страстно желал, чтоб она мною гордилась. Я проплакал всю ночь. Даже сейчас, когда я об этом говорю, мои глаза наполняются слезами: от вашего внимания, конечно, не укрылось, что я чрезвычайно чувствителен.



На следующий день после маминой смерти у меня был показ. Я демонстрировал новейшую коллекцию Жан-Клода. На подиуме я плакал. Критики были потрясены. Моя фотография красовалась на первой полосе "Фигаро" с надписью: "Плачущий ангелочек". А сразу под ней шли списки расстрелянных заложников. На похоронах я хотел было подойти к отцу и плюнуть ему в лицо, как вдруг заметил, что он плачет. Я не поверил своим глазам. Неужели этот скот любил ее? Мы бросились друг другу в объятия в первый и последний раз в жизни. На церемонию прощания он пришел в бриджах.

Спустя несколько дней произошло событие, перевернувшее мою жизнь. В крохотном бистро "Мадлон" на Монмартре я встретился с Кейном. Разумеется, я слышал о нем и раньше. Мир моды бурлил от пересудов. Все только и сплетничали о стройном красавце, сказочно богатом и гениальном юном дизайнере, приехавшем из Америки, чтобы помочь сражающейся Франции. По слухам, он втайне от всех готовил что-то грандиозное. Пару раз он промелькнул передо мной на демонстрации мод, но вокруг клубилась такая толпа, что пробиться к нему не было никакой возможности.

В тот знаменательный день за полчаса до начала примерки я сидел в бистро у окна, запивая вином хрустящие круассаны и наблюдая, как несколько немецких жандармов и гестаповцев вели заключенных. И в этот самый момент надо мной раздался голос: "Невероятно". Я поднял глаза и обомлел: это был Кейн. Я не заметил, как он вошел. Он был потрясающе молод. Возможно, даже моложе меня. Кейн буквально впился глазами в немцев. Я кожей ощущал, какая напряженная работа совершается в его могучем мозгу. Он медленно потянулся за темно-коричневым портфелем из мягкой кожи с двумя блестящими замочками и ремешком. В горле у меня пересохло. Я не в состоянии был пошевельнуться, чувствуя, что через минуту произойдет что-то страшное. А Кейн... сощурил свои выразительные, оттененные длинными девичьими ресницами глаза, резким движением извлек из портфеля небольшой блокнот черной кожи и оправленный в серебро карандашик и начал быстро, увлеченно что-то набрасывать. Потом оторвался от блокнота, откинул со лба черные волнистые волосы, и в этот момент наши взгляды встретились.

— Что ты думаешь об угольном цвете этих мундиров? — спросил он.

Сглотнув слюну, я сказал, что он кажется мне чересчур депрессивным. Кейн улыбнулся. У него была чарующая улыбка и алые, слегка припухлые губы.

Между тем один из заключенных, растолкав эссэсовцев, бросился бежать и в мгновение ока скрылся за углом. Жандармы кинулись за ним и тоже исчезли. До нас донеслись звуки выстрелов.

— А что скажешь об этих металлических штуковинах? — снова спросил Кейн. Я не сразу догадался, что он имел в виду бляхи жандармов.

— Скорей всего, не привьются, — сказал я, с трудом выговаривая слова.

Он опять улыбнулся и покачал головой. Допил вино, спрятал блокнот и вышел в задумчивости. А я минут пятнадцать просидел без движе-

ния, не переставая о нем думать. Кстати, из-за этого я опоздал на примерку.

Двумя неделями позже до нас довели приказ одного из руководителей Сопротивления явиться на конспиративную квартиру в окрестностях Парижа. Все, кто его получил, а это была большая группа топ-моделей, пребывали в диком возбуждении. Мы чувствовали, что происходит нечто грандиозное, наконец-то и мы сможем принести пользу нашей несчастной родине. Поочередно входили высшие офицеры. Последним появился генерал, а за ним вошел Кейн. Боже мой, не могу передать, какое это было счастье, когда из четырехсот лично представленных Кейну самим генералом де Голлем моделей Кейн выбрал меня в качестве символа сражающейся Франции. За каких-то несколько недель Кейн создал свою легендарную недорогую цивильную форму для юного борца за свободу. Она поражала своей простотой. Черный берет, шейный платок, светлый плащ, коричневые замшевые перчатки и ботинки на мягкой подошве. Изящно, сексуально, легко. Впечатляюще. Гордый вызов, брошенный в лицо гитлеровским модельерам. А потом... потом наступил день, когда Кейн на первом подпольном показе мод представил свою коллекцию. При моем появлении на подиуме — а я шел, с трудом преодолевая дрожь в коленках, — на минуту воцарилась мертвая тишина. А затем — взрыв эмоций. Ради одного такого мгновения стоило жить. В тот вечер были покорены сердца всех парижан, а исход Второй мировой войны предрешен. Цвет молодежи Парижа и других оккупированных столиц бросился в бой в кейновском берете на голове.

А мы с Кейном, ну что же... Чувство вспыхивает внезапно. В кафешках Монмартра и Монпарнаса, постоянно рискуя жизнью, запивая багет с сыром бри красным вином, мы строили великие планы на будущее. В голове Кейна бродили первые зачатки идей, которые свою окончательную форму приобрели спустя несколько лет в Нью-Йорке, в его офисах на Седьмой авеню.

Но все это было потом. А пока шел сорок четвертый год, самый прекрасный год в моей жизни. Мы были красивы, молоды и талантливы, богаты и до смерти влюблены друг в друга. Нам верилось, что эта любовь продлится вечно; действительно, мы находились в близких отношениях довольно долгое время. И не слушайте вы бредни Жозефины, утверждающей, что Кейн ее любил. Кейн обратил на нее внимание в бассейне лишь потому, что у нее не было ни одного волоска на лонном бугорке, а его интересовало все, что хотя бы чуть-чуть выходило за рамки банального, любил же он на самом деле только меня. Правда, до тех пор, пока не появилась Соня. Впрочем, Соня — это совсем другая история.

Наша любовь была полноценной, настоящей и глубокой. Не какой-то там мимолетный романчик или извращенные забавы на пикнике. Мы оба знали, чего хотим, и дарили это друг другу с нежностью и без всяких ограничений. Но никогда-преникогда не заходили слишком далеко. Я, к примеру, обожал, когда мне рот заклеивали скотчем, а руки-ноги связывали сзади обыкновенным шпагатом и запирали потом в темном подвале, но не больше чем на один день. Мне нравилось, чтобы меня натирали наждачной бумагой, но только грудь, и лили разогретое масло, но только на живот. Или чтобы меня стегали, но только по бедрам и не ремнем, а, разумеется, хлыстиком. Кейн орудовал им мастерски; впрочем, наверно, любовь управляла его рукой. Во всяком случае, уже после нескольких ударов я кричал: "Да, да! Обожаю! Еще, еще!" Мы составили

список того, что доставляло нам наибольшее наслаждение, и повесили его на стене, оправив в барочную рамку восемнадцатого века. Никогда или почти никогда мы не занимались любовью под ЛСД или героином. Мы не хотели ни на секунду терять контроль над происходящим. У нас был свой пароль – "Монмартр", в память о нашей первой счастливой встрече. Когда Кейн слишком далеко заходил с газовой горелкой, достаточно было только произнести это слово. И тотчас же, полный раскаяния, он делал мне обезболивающий укол, целовал и заклеивал пластырем пострадавшее место.

Помню, как ужасно я был возбужден во время церемонии надевания на меня ошейника – это было незадолго до ухода немцев из Парижа. Кейн сам его сконструировал. Ошейник был сделан из пурпурного бархата, черно-рыжей кожи неродившегося теленка и колючей проволоки. Но даже после этого, когда я окончательно отдался ему не только телом, но и душой, когда стал называть его Господином, а он меня – своим рабом, мы договорились, что в одной комнате нашего дома мы будем равны и мне будет позволено сидеть в ней на чем угодно. Он разрешил мне участвовать в выборе обстановки для спальни. Конечно же, полностью избегать недоразумений удавалось не всегда. У Кейна, как у всякого великого человека, были свои странности. Вдруг ни с того ни с сего ему могло захотеться, чтобы и его связывали и запирали в подвале с заклеенным скотчем ртом. А если я, рыдая, начинал протестовать, он наказывал меня, откладывая газовую горелку и выбрасывая в мусорную корзину хлыст и наждачную бумагу. Но, боже мой, какими упоительными бывали потом наши примирения!

В то время Кейн работал дни и ночи напролет; впрочем, так было всегда. Ведь это он и никто иной придумал костюмы для финансовой элиты Уолл-стрит, битлов и ансамбля "Роллинг стоунз". Создал классическую модель одежды для хиппи, а затем для панков, для культуры хип-хопа и стильный прикид для "плохих парней" и музыкального андеграунда. Но и достигнув вершин славы, никогда, дословно никогда не закрывал глаза на ложь и несправедливость, царящие в мире, и сочувственно относился к борьбе миллионов молодых людей за свободу и социальные права. Из его дизайнерской мастерской вышла форма кубинских партизан. Он придумал шикарную униформу для ооповцев[1], мужественный образ Че Гевары с его трехдневной небритостью и аскетичный френч китайских хунвейбинов. Именно Кейн стал автором всех туалетов полковника Каддафи, спроектировал форму единого образца для сербских военизированных отрядов, а также создал имидж чеченских боевиков Басаева.

А я?.. В сотрясаемом шекспировскими страстями мире моды я был всегда при нем. Ну а сейчас, я чувствую, вы догадались, что речь пойдет о трусах. И абсолютно правы. Работа над этим проектом длилась годы и годы. Кейн засадил за компьютер сотни специалистов, но до конца не доверял никому. Сам ездил в Китай и Индонезию, Кению, Россию и Ирландию. Переодевшись, рыскал по кварталам бедноты, лазил в подземные схроны московских бомжей, подолгу рылся в сундуках индийских магараджей, шкафах советских партийных аппаратчиков и итальянских аристократов. Исподтишка рассматривал развешанные на веревках трусы в Милане и нью-йоркском Гарлеме. Установил сотни скрытых видео-

1. От ООП – Организация освобождения Палестины.

камер в квартирах обычных чиновников в Пекине, Киншасе и Буэнос-Айресе. Запирался на целые недели в портновских мастерских. Ни с кем не желал разговаривать, даже со мной. Скажу больше, перестал ходить на аэробику! Что ж, то была работа, достойная титана мысли. Он хотел создать нечто грандиозное, универсальное. Все время ощущая за спиной дыхание конкурентов. Американские дизайнеры уже многие годы бились над новой моделью мужских трусов. И кто, как не Кейн, лучше всех был об этом осведомлен. Платяные шкафы в его замке ломились от сотен тысяч трусов разных эпох, культур и исторических периодов. Кейн любил примерять трусы Людовика XIV, ему удалось за бесценок приобрести дюжину трусов Эйнштейна, была в его коллекции одна пара, принадлежавшая Ганди, и сильно поношенные кальсоны Бартока. Целых пятнадцать лет он охотился за трусами Гитлера. Сохранилось только две пары нижнего белья нацистского вождя — фланелевые и из бумазеи. Кейн выторговал их у Британского музея за семь миллионов долларов. Как же он был счастлив, когда наконец смог их примерить. Бумазейные датировались тридцать четвертым годом — в тот год Гитлер стал канцлером Третьего рейха. А фланелевые фюрер носил, когда после "ночи длинных ножей" строил планы аншлюса Австрии. Гитлер был намного ниже и полнее Кейна в талии, но Кейн ничего не позволил изменить. Надев трусы, он закрывал глаза и уверял, что ощущает дуновение ветра от развевающихся знамен с фашистской символикой, слышит истерические вопли, вырывающиеся из глоток собравшихся на мюнхенском съезде, и могучую музыку Вагнера.

Он хранил также коллекцию своих старых трусов. Ими были заполнены четыре бельевых шкафа. Кейн утверждал, что когда импульсивно, поддавшись внезапному порыву, какие-нибудь из них надевает, то дарит своим ягодицам ни с чем не сравнимую радость и необыкновенные сексуальные переживания. Старые подштанники ранних периодов магическим образом распахивали перед ним врата, ведущие в край его детства. Он вновь вдыхал прозрачный воздух вечеров на берегу озера Мичиган, ощущал на лице прикосновение утренних чикагских туманов. Вместе с этим возвращались забытые образы: матери, "Бара последней надежды", первого самостоятельно сшитого платья, катушки ниток, которую он прихватил с собой в замок отца. Это было обретением утраченного времени — времени первых свиданий, первых эрекций и первой любви.

В своей творческой деятельности Кейн вынужден был то и дело принимать неслыханно трудные, непосильные для обыкновенного человека решения. Он хотел достичь идеала. Совершенной красоты. Это был дьявольский труд, пожирающий нервы, здоровье, миллионы долларов и годы жизни. Ведь согласитесь, красота это нечто такое, до чего нужно дозреть. Кейн пребывал в неустанном поиске. Поиске модели трусов, которые многое говорят. Ведь трусы могут рассказать о своем владельце гораздо больше, чем его тело, куда больше, чем целая библиотека трудов доктора Фрейда. Тело может быть несовершенным. А трусы — это камуфляж, протест против несовершенства наших ягодиц и одновременно маскировка допущенных Богом огрехов. В том же случае, когда они плотно облегают ягодицы, это диктатура абсолютного совершенства.

Обыкновенно нормальный мужчина каждое утро проводит в раздумьях над выбором трусов как минимум час. Это очень хлопотное занятие, особенно для тех, кто добирается на работу в Нью-Йорк, скажем, из Нью-Джерси или Коннектикута. Продумывая десятки вариантов, Кейн

решил создать универсальные трусы. Трусы, которые не стыдно было бы надеть и на первое свидание, и на романтический ужин с женой, и на совещание корпоративного совета фирмы. Трусы должны были стать сублимацией похоти и одновременно олицетворением невинности и подавленной сексуальности. И демонстрировать амбиции своего владельца. Разумеется, пошиты они должны быть из материи экстра-класса, что, как известно, неотразимо действует на женщин. О господи, что говорить, даже гетеросексуалы выбирают себе трусы не только с мыслью о женщинах. Вне всякого сомнения, им куда важнее подать соответствующий сигнал другим мужчинам — скрыть слабость, робость, колебания, продемонстрировать силу, богатство, престижность, в конце концов, амбиции, направленные на успех в корпоративной карьере. Сказать легко, ну а как этого добиться, как соединить модерн с романтичностью, артистизм с корпоративностью? А ткань? Что это должно быть: шелк, кашемир или же тончайшей выделки, почти прозрачная кожа? А может, синтетика? Парча, шерсть или бархат? Как добиться того, чтоб трусы не вытягивались, не пузырились, не теряли формы? А какой выбрать цвет: холодный или теплый, например клубники со сливками, а может, желтовато-золотистый? Что сделать, дабы избежать ошибок на непроторенном пути создания самой простой и чистой формы как средства коммуникации? И вот наконец свершилось. Я как раз лежал, приходя в себя после операции по уменьшению носа и подтяжки кожи на шее, просматривая присланную мне на авторизацию статью с моей биографией, принадлежащую перу юного талантливого журналиста из Италии, Джузеппе Маринетти, когда затрещал телефон. На проводе был Кейн. В первый момент я его не узнал, настолько у него был изменившийся голос. Он потребовал, чтоб я немедленно к нему приехал. Без ошейника. И бросил трубку. Я понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Скоростной лифт, поднимавший меня на шестьдесят восьмой этаж, где жил Кейн, казалось, ползет, как черепаха. Дверь мне открыл шеф телохранителей Стивен. Я спросил его, что случилось. Но он только замотал головой. Стивен, эта примитивная машина для убийства, не мог выдавить из себя ни слова. Я последовал за ним. Первое, что я услышал, были звуки Девятой симфонии. Сердце у меня бешено колотилось. Я шел через анфилады комнат, лабиринты коридоров, мимо стоявших вдоль стен ломящихся от одежды шкафов. Потом Стивен распахнул передо мной тяжелую дубовую дверь гостиной. Музыка лавиной обрушилась на меня. Оглушенный Бетховеном, ослепленный ярким светом и одурманенный ароматом духов, я непроизвольно зажмурился, но лишь на какую-то секунду. Открыв глаза, я увидел Кейна. Он стоял на пьедестале из черного мрамора, его тело сплошь было покрыто позолотой. С четырех сторон от него на низеньких постаментах замерли без движения четверо великолепно сложенных совершенно нагих мужчин. Все как один светловолосые, и у каждого в вытянутой руке горящий факел. Их фигуры были подобны греческим мраморным статуям. А на Кейне были трусы. Те самые трусы. Что вам еще сказать? В тот момент на моих глазах рождалась легенда. Снежную белизну королевского хлопка красиво подчеркивала холодноватая серебристость резинки, символизирующей связь с космосом. Ниже — выдержанный в теплых оранжевых тонах гульфик. Синтез неба и земли. Шик, простота, сексуальность. Я плакал, не стыдясь слез. В углу негромко всхлипывал Стивен. А Кейн, сам Кейн, тоже был очень взволнован. Склонившись с пьедестала, он нежно взъе-

рошил мои волосы. "Да, мой мальчик, — сказал он, — да, дорогой мой Жан-Пьер, я подарил мужчинам то, чего они заслуживают. Из этих трусов, даже при ежедневной стирке, никогда не выпадет птенчик. — И пока я, глотая слезы, восторженно поддакивал, добавил: — Этот невероятный факт я подтверждаю своей личной подписью на купоне с пятилетней гарантией". Я мог бы еще очень долго рассказывать, но чувствую приближение оргазма. Так что, пожалуйста, на минуточку схватите меня за яйца.

## Рассказ Кубы

Пока он болтал, я все украдкой оглядывался на бассейн — как там моя свинья, чем он пытался воспользоваться и лез целоваться. Пришлось популярно объяснить, чтобы не фамильярничал, а то что ж это такое получается — ведь мы совсем незнакомы, и на́ тебе. Вроде бы воспитанный, а никакого понятия о правилах приличия. Мало что нагло мною попользовался, так еще прицепился как банный лист и ждет незнамо чего. Ведь сказал же, как порядочному, что я человек рабочей косточки, мне сегодня в законный брак вступать и дел невпроворот, а он давай заправлять арапа, будто бы влюбился и чтоб я не вздумал глупить, связываясь с какими-то там женщинами, а летел с ним в Нью-Йорк. Не зная, как отбояриться, я огорошил его вопросом, во сколько у него самолет. И тогда Жан-Пьер, взглянув на часы, схватился за голову, сунул мне листок с номером телефона и пожелал счастья в семейной жизни. Однако напоследок настоял, чтоб я проводил его до кустов и на прощание подарил один поцелуй. Ну что ты будешь делать — вижу, добром не отцепится. А он прослезился, поохал, крикнул что-то вроде "адью, мон амур" и был таков.

А момент был самый что ни на есть пиковый, потому что из воды показалось, как перископ подводной лодки, топорище, а следом — свинья во всей свой красе.

Насилу отплевался, утешаясь только тем, что поцелуй вырван у меня против воли и согласился я исключительно ради грядущего бракосочетания. И что добрый Бог простит мне это осквернение уст, которые даны для вкушения хлеба и молитвы, а не для такой мерзости, как, например, задница. Такие мысли вертелись в моей голове, пока я вылавливал из воды свинью, а затем обрубал ей копытца и подрезал горло, чтоб захлопнулись моргалы. И обвыкший уже на местности, едва держась на ногах, но довольный, потащился с ней к поезду. Теперь состав шел пустой даже в сторону аэропорта, видать все, кто хотел, в большинстве своем благополучно смылись. Собрав последние силы, я затолкал чемодан со свиньей на полку, чтоб не искушала. А сам плюхнулся напротив у окна, не спуская с чемодана глаз. На первой же остановке под ним сел мужчина в шляпе, какую носят американские ковбои в фильмах. Вроде бы жилистый и даже как бы плечистый, но в таком возрасте, когда самое время ехать с гробом на кладбище, а не со спортивной сумкой в аэропорт. Но я уже привык, что здесь преспокойно разъезжают и расхаживают вампиры и вампирши, которым в нормальных обстоятельствах вышел бы на то запрет. А этот субъект вдобавок после того, как я сообщил, что взят по контракту в замок ночным сторожем, с места в карьер понес что-то несусветное. Слушал я с пятого на десятое, потому что из его бол-

товни, во-первых, выходило, что он диссидент. А во-вторых, я немного струхнул: с чемодана, как я его ни вытирал травой и полой рубахи, прямо ему на шляпу закапало красненьким. За ту крамолу, которую он с самого начала понес, я бы не удивился, если б его громом поразило на месте. Никогда, мол, ну просто никогда ни он, ни Кейн не принимали мир таким, каким его сотворил Бог. Едва он только выпалил эти кощунственные слова, как поезд затормозил и от резкого толчка чемодан со свиньей рухнул ему на башку. И субъект грохнулся на пол ничком. Когда же я его поднял, чтоб посмотреть что и как, он дрыгнул пару раз ногами и замер без движения. Гляжу, с волос у него потекло что-то беловато-жирное, а по лицу поползла струйка крови. Свят, свят, свят, перекрестился я. На счастье, свинья из чемодана не вывалилась, но так или иначе непонятно, что делать. Мужской труп налицо. Хотя поезд вроде бы пустой, а ну как войдут контролеры и меня обвинят? Даже если я им объясню, что моей вины тут нет, свинью в качестве вещественного доказательства, как пить дать, отберут. Нужных бумаг для законного пребывания у меня нету — кто угодно может прицепиться. Все, через что я прошел, — коту под хвост, думал я, открывая окно и проталкивая в него труп. Потом захлопнул окно, закинул чемодан обратно на полку и уселся как ни в чем не бывало. Но не тут-то было. Тот тип снаружи стал биться в стекло. Я глаза протер — не исчезает и продолжает стучаться в окно, чтоб его впустили. У меня мороз продрал по коже: мне-то казалось, он прямо под колеса полетел. Но, как видно, современный призрак, так сказать, дух времени, на то и современный — ему только дай просочиться, потом ни за что не отвяжется.

И охватило меня общеизвестное уныние, какое часто нападает на польскую диаспору в Америке, хотя поляки экономны и трудолюбивы. Однако надо все-таки быть человеком, грех не впустить, не подать руку в беде. Открыл окно и впустил, а он вежливо поблагодарил и давай из своей сумки — черт, о ней-то я совсем забыл — чего-то выуживать: какие-то мази не мази, бинты да присыпки. Обтерся, рассмеялся, надел шляпу, впрочем, весьма кстати и вовремя, потому что из свиньи снова закапало. Спросил, не буду ли я против, если он скрасит мне дорогу рассказом о своей жизни. В сравнении с этим нахалом Жан-Пьером он производил впечатление человека высокой культуры, ну я и согласился — мол, будьте любезны.

## *Рассказ Майкла Гуса, он же Миша Гусев, он же Михал Гузка... настоящее имя неизвестно*

Предупреждаю, точно сказать, в какой местности родился, я не могу. К этому мы еще вернемся, а пока хочу кое-что вам объяснить, дабы не возникло недоразумения. Так вот, минуту назад, как помните, вы вытолкали меня в окно. Только, пожалуйста, не корите себя за это. Во-первых, мне это не в новинку. А кроме того, я ни капельки не рисковал. Прикинуться мертвым, полететь под колеса — это один из примитивнейших трюков, которые я не раз проделывал, работая на Кейна. Ну, вы понимаете: грим на скорую руку, разные там каучуковые прибамбасы, — в общем, никаких проблем. Честно признаться, симулируя смерть, я вас отчасти искушал.

Я, знаете ли, неплохой психолог. И с первой минуты почувствовал к вам искреннюю симпатию. Мне показалось, уж вы простите, что я знаю вас много лет. Разумеется, полной уверенности быть не могло, но своего рода предчувствие, что вы меня вышвырнете, имелось. Наверно, это была интуиция, а может, и голос свыше. Во всяком случае, сам факт выбрасывания из поезда послужил для меня своеобразным и, заметьте, романтическим возвращением в раннее детство. Поиск ответа на мучающий меня вопрос во мраке подсознания. Вы, возможно, не верите во все эти теории доктора Фрейда. Но вам должно быть понятно, о чем я говорю.

Итак, в первый раз меня выкинули из поезда, когда мне еще и года не было. Кажется, я уже упоминал, что где родился, точно сказать не могу. Зато знаю, в каком месте упал на землю. Это произошло в Восточной Европе, конкретно в государстве, именуемом Польшей, а еще конкретней — в городишке под названием Седльце. Понятия не имею, откуда тот поезд ехал и кто меня из него выкинул. Доподлинно известно только одно — вышвырнули, когда я был еще в пеленках. И при этом остался цел и невредим. Само собой, нельзя сбрасывать со счетов и такую вероятность, что поезд направлялся прямиком в какой-нибудь из гитлеровских лагерей смерти — тогда такие составы один за другим шли через Польшу. В общем, скорее всего, я был еврейским ребенком, и из поезда меня выкинула мать, чтоб спасти мне жизнь. Разумеется, нельзя исключать и того, что я был обыкновенным внебрачным ребенком, каких тысячи матерей на свете топят будто котят, душат или, как в моем случае, выбрасывают из поездов. Тут мотивы, по которым меня выкинули, были бы уже иные.

Первая версия все же представляется более вероятной. То есть меня выбросили ради спасения моей жизни. Об этом свидетельствует хотя бы то, что рядом со мной на рельсах, где меня нашли, лежало еще одно тело — застреленный мужчина с нашитой на пальто звездой Давида. Уж не был ли это случайно мой отец? Но докопаться до правды мне уже никогда не удастся. В общем, выкинули — а мне хоть бы что. Как и сегодня, кстати, но, естественно, по другим причинам. Просто я тогда весил всего ничего и приземлился на спину, а пеленки и одеяльце смягчили удар. Если поезд направлялся в Освенцим и если я был евреем, то мог быть родом скорее из Чехословакии, нежели из Франции, или из Венгрии скорее, чем из Италии. Но явно не из Польши, потому что подобравшая меня женщина, то есть моя приемная мать, рассказала мне спустя несколько лет, что в пеленках была записка, и похоже, на иностранном языке. Однако уверенности у меня и тут нету, потому что ни она, ни ее муж не умели читать, а записка потом куда-то запропастилась.

Звали их Ян и Мария Гузка. Мнения супругов на мой счет разделились. Ян Гузка считал, что меня следует немедленно сдать немцам, потому что я наверняка еврей, и дознайся об этом фашисты — их семье придет конец. Моя же приемная мать заявила, что, хотя один глаз у меня черный, зато второй — голубой, и что я необрезанный, носик у меня аккуратный и нужно подождать, пока не вырастут волосики. Кроме того, если они будут соблюдать осторожность, никто ничего не узнает, а за то, что меня отнесут немцам, так и так никакой награды не предусмотрено.

Кстати, жилось моим приемным родителям совсем неплохо. Незадолго до этого в местечке поблизости с большим размахом прошел погром, о котором Гузок загодя предупредили родственники. Супруги скоренько запрягли лошадь, поехали и привезли на телеге восемь перин,

четырнадцать подушек, двое напольных часов, почти неношеную шубу из рыжей лисы, мешок тарелок и золотые часы с цепочкой. Моя приемная мать сочла это божьим знамением и решила, что евреев нужно отблагодарить — спасти меня, если я действительно еврей, а если нет, то тем более.

Приемный отец так уж сильно в этом не был уверен, и они скандалили, но по-тихому, чтоб не услыхали соседи, потому что соседское мнение могло перевесить. В конце концов пани Гузка победила и однажды ночью втихаря отнесла меня к ксендзу, который тайно меня окрестил. В каком-то смысле это облегчило мое положение, а в каком-то — еще больше запутало. Так или иначе, я легально стал римским католиком — Михалом Гузкой. Обе дочери Гузок, десятилетняя Кася и двенадцатилетняя Зося, запуганные родителями, держались от меня подальше. Если кто заходил в дом, меня прятали; потом уж я сам научился прятаться. Чаще всего в собачьей конуре. На всем белом свете только собаки и питали ко мне симпатию. Это слегка подрывало убежденность моего отца в том, что я еврей, поскольку, по всем поверьям, собака чует плохого человека.

О привязанности ко мне собак я упомянул не без причины, как вы сами вскоре убедитесь. Во всяком случае, когда мне исполнилось два года, я научился в мгновение ока исчезать, переодеваться, прятаться и прикидываться неживым так искусно, что, когда однажды заполз в наволочку, Ян Гузка, подложив ее себе под голову, так и проспал всю ночь, ничего не заподозрив. Не буду больше утомлять вас рассказами о своем детстве. Наверняка вы слышали десятки подобных банальных историй. Короче, войну я пережил, как вы сами можете убедиться.

Спустя четыре года после окончания войны, когда я пошел в первый класс, моя приемная мать рассказала мне все, что знала сама. Попросила прощения за то, что не сберегла обнаруженную в пеленках записочку, развела руками — больше, мол, ничего для тебя не могу сделать — и умерла. Дети в школе, посоветовавшись, решили большинством голосов, что никакой я не Гузка, а приблудный еврей, и взялись за меня всерьез. Обе приемные сестры и приемный отец не возражали. Ждать было нечего. Проплакав всю ночь, я распрощался с псом Шариком и удрал из дома. К счастью, никто меня не преследовал. Я частенько задумываюсь, что бы со мной стало, не сбеги я тогда. Впрочем, бог с ними со всеми. Я сбежал. Получилось, будто меня снова на ходу выкинули из поезда.

Вы спросите, что было потом? Путешествовал зайцем, воровал еду, спал где придется и в один прекрасный день попал в цирк. Насколько помню, я рассказывал, как хорошо ко мне относятся собаки. Так вот, в Варшаве проездом ненадолго остановился советский цирк-шапито, разбивший свои шатры в Белянском лесу. Я крутился поблизости и, улучив момент, во время уборки украдкой проскользнул в клетку с цирковыми собаками. Там было семеро пуделей, четыре шпица, целая свора фокстерьеров, две афганские борзые и любимец директора цирка огромный черный как смоль и злой как дьявол питбуль Саша.

Саша, как только меня увидал, вздыбил шерсть и ощерил пасть. Это конец, подумал я и покрепче зажмурил глаза. С минуту он жарко дышал мне в лицо и как бы раздумывал. А потом вместо того, чтоб загрызть, лизнул шершавым языком в щеку. Я заплакал, и он тоже так расчувствовался, что вдруг заскулил как щенок и сам вырыл мне норку в сене. Знаете ли, я всегда волнуюсь, рассказывая эту историю, хоть и произошла она давным-давно.

В Западном Берлине, когда я выбрался из сена, мне бы тоже пришлось несладко, если бы не мой дорогой питбуль Саша. Слава богу, директор Иосиф Иванович Петров, видя, как Саша ко мне ластится, а на него рычит, махнул рукой и нелегально взял меня на работу — вычесывать шерсть собакам, завязывать им банты и помогать в дрессировке. А вскоре даже с помощью четверых кагэбэшников, официально якобы занимающихся кормлением животных, справил мне документы. Вот так я стал русским, сыном цирка, Мишей Гусевым. В цирке я мог бы вполне быть счастлив, если б не безумная и безответная страсть к Ларисе Кириленко, гуттаперчевой женщине с Украины, которой я неосторожно признался в своем двусмысленном происхождении. К счастью, она никому не разболтала, но мучила меня по ночам страшно. В конце концов с ней произошел несчастный случай, из-за перелома позвоночника она потеряла работу, а я смог сосредоточиться на своей карьере.

Я был честолюбив, но долгое время мне не везло. Удача улыбнулась только через шесть лет, в тот день, когда меня приставили к осветительным приборам. Я здорово направлял лучи света, так что казалось, будто акробаты крутят на одно сальто больше. Никто не мог этого объяснить, как и я, впрочем. Талант, да и только. Потом я увлекся шитьем костюмов. Кроил, сметывал, порол и снова сшивал. Мог так одеть карлика, что он выглядел великаном, мужчина — женщиной, а ребенок — старичком. В общем, превращал маленьких в больших, мужчин в женщин. Вы, наверно, подумали, что это как-то связано с моим детством. Не знаю, вполне возможно. Потом я начал наряжать одних зверей в других, а то и в людей. Таким образом я хотел их отблагодарить — мало ли что еще может приключиться.

Как-то заболел лев, и я пошил на питбуля Сашу костюм царя зверей, так что зрители не заметили подмены. А когда незабвенный — царство ему небесное — Саша по ошибке сожрал крысиный яд и сдох, переодел питбулем болтавшегося в цирке без применения алкаша-лилипута, благодаря чему тот встал на ноги. А теперь будьте внимательны: я подхожу к самому важному месту в своем рассказе. После гастролей в Лос-Анджелесе все наши циркачи, оглядевшись вокруг, дружно попросили политического убежища. Все, кроме директора, у которого в Москве осталась большая семья, четверых кагэбэшников, ну и, само собой разумеется, зверей. Это событие стало громкой сенсацией, телевидение без конца брало у нас интервью. В частности, я рассказал о своей технологии переодевания, и двумя днями позже некая быстро стареющая Звезда прислала за мной лимузин и предложила необычный заказ. Речь шла о создании шкуры молодой женщины, которую Звезда могла бы надевать, а вернее, влезать в нее, выходя из дома на приемы, церемонии присуждения Оскаров и т. д. Я согласился, поставив условие — натуральный материал должен быть отменного качества. Звезда заявила, что с этим проблем не будет. Целый месяц я трудился в ее сказочной резиденции в Малибу. Материал, который она мне предоставила, действительно был превосходен, ну и я постарался на славу. Безупречно белый цвет, кое-где несколько веснушек, темная родинка, лопнувший кровеносный сосудик, чуть просвечивающие голубоватые жилки на шее и руках. Нотабене: в этой шкуре в случае чего могла спрятаться парочка детишек. Подкладка, конечно же, тончайшего китайского шелка.

Из оставшегося материала я сделал еще одну экстра-класса шкуру с прикрепленным к ней любимым вечерним туалетом Звезды. Она была в

восторге. Заплатила мне очень щедро, а главное — взяла меня с собой на один из тех закрытых голливудских приемов, на которые не допускалась вся тамошняя шваль, где я и познакомился с Д. Д. К. Кто он такой, мне, разумеется, было известно, но я честно признался, что не знаю, кто я такой. Мы разговорились. Кейн в то время находился на вершине славы — уже после создания трусов, но еще до истории с Соней. Он спросил, в какой области я подвизаюсь, и я ответил, что в основном прячу, преображаю, маскирую и довожу до совершенства. И указал ему на Звезду, а он не раздумывая предложил мне сотрудничество. Кейн как раз скупал один за другим телеканалы и объединял их в мощную информационную сеть, поставив перед собой задачу создания новой концепции "Теленовостей Кейна". Ни делать, ни смотреть новости в традиционном формате он больше не желал.



Его выводили из себя неуклюжая жестикуляция политиков, дилетантское гримасничанье убийц, бессистемность экзекуций, неубедительность конвульсий жертв, безалаберное смешение стилей в прическах, бездарные сочетания цвета глаз, волос и усов. И наконец, самое огорчительное — низкопробное качество одежды, воцарившаяся на телеэкранах откровенная дешевка, надерганная чаще всего из случайных коллекций, а порой даже приобретаемая на распродажах; все это, по его мнению, было издевательством над канонами хорошего вкуса. Кейн рискнул — доверился мне и не ошибся. Потому что мой природный талант, подкрепленный идеями и миллионами Кейна, а также суперсовременными технологиями, с ходу начал приносить плоды.

Первым делом мы стали отправлять на места катастроф, сексуальных насилий и террористических атак самых лучших артдизайнеров, частенько задолго до начала событий. Супермодели обоего пола изображали убийц и их жертвы в специально пошитых для этих целей костюмах. Как правило, снимались короткие ролики, которые мигом расхватывались и продавались из-под прилавка. Приталенные узкобортные фланелевые костюмы цвета маренго из "Кровавой бойни на Пенсильванском вокзале ", стильные брюки Вампира из Мемориала Линкольна, долгополые плащи из грязноватого, с налетом дымной гари хлопка, свободного покроя, но подчеркивающие широкие плечи покидающих Грозный боевиков Басаева, — все это сразу же становилось классикой.

К шедеврам Кейна того периода относятся снятая с двенадцати вертолетов захватывающая стилизованная видеозапись затопления Флориды в 2010 году и сюжет об отравлении цианистым калием воды в нью-йоркском водопроводе в 2012-м. Много сил мы вложили в творческую переработку архивных материалов. Кейн был просто помешан на находках дизайнеров Третьего рейха. Правда, он сохранил на кинопленке как есть черные мундиры гестаповцев, зато благодаря нашим стараниям напрочь исчезла зелень вермахтовской формы, которую Кейн считал дизайнерским просчетом. И сегодня уже трудно представить себе армию Адольфа Гитлера без джинсов, психоделических темных очков и широкополых панам.

Пора, однако, заканчивать рассказ — вы, как я вижу, подъезжаете к своей станции. Весьма рад нашему знакомству. Признаюсь, когда вы меня выпихивали в окно, в какой-то момент у меня появилась надежда, что произойдет чудо, и я узнаю тайну своего происхождения, вспомню своих родителей и ко мне вернется память о прошлом. Но такое случается только в "Новостях Кейна", и то сказать: что может помнить о себе шестимесячный младенец?

# Рассказ Кубы

Должен признаться, что, слушая его воспоминания о прекрасных годах детства, я несколько раз умылся горькими слезами. Получалось, что он почти свой, земляк, пускай и еврей, но все же католик из наших краев. Мне хотелось поподробнее расспросить его о деревне, поболтать на родном языке — наверняка он ему научился — и попытать, не знает ли он о существовании в замке хоть чего-нибудь, связанного с Польшей, или, на худой конец, польской газеты. Но прервать его как-то все не выходило, а теперь было уже поздно, хотя бы потому, что поезд, прежде чем остановиться, снова дернулся, видать, заклинило что-то в механизме. А свинья только того и ждала — опять вместе с чемоданом свалилась ему на башку. И снова он сполз с лавки на пол и что-то липко-белое, смешанное с кровью, потекло у него по лицу. При таком раскладе я не стал ему мешать — вдруг что-нибудь ненароком о себе вспомнит. Не простившись, я сошел с поезда, только с перрона помахал ему, но он в ответ махать не стал.

Кухарка сперва на меня напустилась, чего я так долго канителился и что со мной стыда не оберешься — штаны насквозь мокрые, но, завидев свинью, сразу размякла, назвала меня "мой цыпленочек" и принялась за свинку, да так, что любо-дорого поглядеть. В огромных чанах нагрела воды, отмыла свинью дочиста. Подставила ковшик, чтоб стекла кровь, а потом начала тушу ловко разделывать и рубить на порции — я весь слюной изошел. Отдельно филей, отдельно розовехонькие легкие, потом бросила в миску желудочек, отложила отбивные на косточках, ошеек и лопатку на гуляш. Вскрыла свинье черепушку, выковыряла все изнутри, сдобрила перцем, нашинковала чесноку и какой-то здешней петрушечки, отложила ушки на холодец, пятачок вместе с глазками бросила пуделю, добавив кучку потрохов, и посетовала на недостаток времени, не то б она получше их промыла да понаделала охотничьих колбасок и наготовила рубцов, а если б я добыл немного говядины, она бы, смешав, навертела отменного сервелата, а будь еще у нее под рукой гречневая крупа, то заварила бы кровь и приготовила кашанку[1]. А так кровь пойдет только в суп. Потом, причитая и выговаривая мне, как это у баб водится, поставила запекать ветчину. Продолжая стонать и охать, что мало времени на засолку мяса, взялась за подготовку ножек и рульки для холодца. Видно было, что есть у нее склонность и талант к готовке и колбасному делу. Из чего я понял, что сделал правильный выбор, и махнул рукой на предупреждение тетки ни за что не жениться на первой встречной.

Вскоре в чанах уже булькало, ветчина запекалась, а кухарка, крутясь возле плиты, попыталась кликнуть детей. Да где там! А поскольку издалека доносились взрывы, я подумал, отмокая в горячей воде перед свадьбой, что ребятня наверняка вертится около самолетов. Вылезши из ванны, я сразу натянул чистые носки и трусы, ну эти, от Кейна. А накрахмаленная и наглаженная рубашка с галстуком уже ждали меня, разложенные на постели. Я влез в чуток еще влажные, но с безупречной стрелкой брюки и только было начал расчесывать мокрые волосы, вдыхая неземные запахи, как влетела кухарка с пылающим лицом, будто за ней кто гнался. Надо заметить, что пока я мылся, кухарка принаряди-

1. Кашанка — кровяная колбаса, начиненная гречневой кашей.

лась. Надела белую блузку — три верхних пуговички не застегнуты, так что виднелся розовый лифчик и буфера как на ладони. Ниже — мини-юбка из черной кожи, похоже, еще ни разу не надеванная, потому что в обтяжечку и блестит и скрипит при каждом шаге. Дальше — мои любимые ноги в черных полупрозрачных колготах со швом, и ко всему этому блескучие лакировки на высоком каблуке.

Только я даже еще не успел ею налюбоваться, как кухарка заорала благим матом, что с аэродрома позвонил Педро, и он не то что опаздывает, а вовсе не приедет. У него, видите ли, билет на последний самолет, который улетает не то что через пару часов, а просто с минуты на минуту.

— Так что ж теперь будет? — спросил я.

— А то и будет: немедля — одна нога здесь, другая там — в аэропорт, хватай его и вези сюда.

Я было спросил, это как же я схвачу, силу, что ль, применять? Но кухарка вместо ответа зашлась в крике, нельзя, мол, терять ни секунды. Чтоб я сию минуту дул в аэропорт, и без разговоров. А коли мне Педро перехватить не удастся, то на глаза ей лучше не показываться. Я возразил, что незачем меня обижать, разве я виноват, что Педро улетает? Я, как честный человек, искренно и по уши влюбленный, свинью ей в срок доставил, а она? В ответ кухарка начала разоряться, что, понятное дело, у нью-йоркцев это в обычае, но де не на ту напал. Не будет она со мной невенчанной, как проститутка, жить. И не даст загубить свою жизнь во второй раз, после чего велела мне сесть и выслушать ее рассказ о том, как она однажды уже загубила свою жизнь.

## *Рассказ кухарки*

Я родилась в Мексике в городишке Хуарес на реке Рио-Гранде. На другом берегу реки уже был город Эль-Пасо и Соединенные Штаты. Достаточно переехать или перейти через мост Санта-Фе, и ты уже в Техасе. С героином либо с кокаином, ясное дело, шли окольным путем.

Мы с родителями жили в самом грязном районе Хуареса, прозванном Выселками. Ворье, строившее его, а потом продававшее бедноте, не забивало себе голову такими пустяками, как водопровод и электричество. На четыре барака приходились одна колонка и два дощатых сортира. Готовили на чугунной плите, которую топили чем придется. С точки зрения жизненных перспектив у мужчины в Выселках на выбор было четыре пути: подыхать с голоду, податься в наркобизнес, разбойничать на Панамериканском шоссе, нападая на туристов, или же, как мой отец, переправлять нелегальных эмигрантов через границу. Что касается женщин, то можно было пойти либо в кухарки, либо в проститутки. И там и там царила страшная конкуренция. В школу, мы, конечно, ходили, но недолго, потому что в семье постоянно не хватало денег. Впрочем, учителя нас учили спустя рукава и боялись ставить плохие отметки, особенно после того случая, когда мой брат Антонио неизвестно почему изнасиловал учительницу по-английскому, с точки зрения ста́тей — совсем никудышную, и пристрелил преподавателя математики. Антонио, верзила ростом метр девяносто восемь, оставаясь после уроков, что ни день насиловал девчонок из класса. А когда уже всех перетрахал, подрядился работать на уважаемого не только в Хуаресе, но и во всей Мексике дона

Амадо Карильо Фуэнтеса, по прозвищу Король Неба, потому что этот Амадо Карильо переправлял кокаин из Колумбии в Штаты через Мексику самолетами. Мой младший брат Эмилио сразу же, как получил образование, начал делать карьеру в полиции: они там всем отделением и вместе с солдатами помогали загружать товар в самолеты Короля Неба. Зато мать была поварихой в самом знаменитом ресторане "Фиеста мексикана", расположенном почти в центре, на Хуарес-авенида. Двух мнений быть не может — у нее был великий талант к готовке, который я унаследовала, а то и ее переплюнула. Другой навык, который я приобрела и чем овладела в совершенстве, было перевязывание ран. Мои братья без конца являлись домой если не избитые, то порезанные ножом либо с огнестрельными ранениями. Я научилась накладывать швы и вытаскивать пули из ран не хуже заправского хирурга. Имелось наверняка и что-то третье, к чему я была приспособлена, потому как вообще-то люди рождаются с талантом к трем вещам. Но этого третьего пока во мне никто не расткрыл.

Отец, как я уже говорила, переправлял нелегальных эмигрантов на другой берег Рио-Гранде, чаще всего в хлипких лодчонках, а мой младший брат Педро ему помогал. Однажды Педро вернулся домой один. Отец так увлекся переброской на тот берег черномазой девчонки с ногами как спички, плоской задницей и почти без сисек (во всяком случае, грудь у нее была намного меньше моей), что всякий их след сгинул. Говорили, кто-то его видел на улице в Сан-Франциско. Глупый он был: так, как готовила мать, никто ему готовить не будет. Ну, может, никто, кроме меня, а я бы с удовольствием начинила ему буррито стрихнином за то, сколько мать через него натерпелась и настрадалась. Главным образом по причине уязвленной гордости, ведь она была лучшей поварихой во всем северо-западном округе Хуареса. После того как отец вышел из бизнеса, мой братишка Педро занялся этим делом на свой страх и риск. Однажды, переправляя людей более трудным, зато менее охраняемым путем, через пустыню, он разминулся с грузовиком, который должен был их забрать, и, хотя это в его обязанности не входило, решил вместе с ними заночевать, поджидая транспорт. Педро был хороший мальчик, но соображал туго. Вроде бы людей убивать каждый дурак может, а у него даже с этим вечно возникали проблемы. В ту ночь из-за боязни гремучих змей все улеглись прямо на шпалах. Только ведь рельсы не спасают ни от гремучих змей, ни от поезда. Они заснули, и их переехал экспресс "Юнион Пасифик".

Это окончательно добило мою мать. Она легла в постель и заявила, что умрет в то же день и час, что и ее мать, то есть третьего сентября ровно в одиннадцать утра. Но с горя и это у нее не вышло. Она умерла два дня спустя в пять часов вечера. Но прежде пристроила меня на место старшей поварихи, и не в какую-то там забегаловку, а в "Чихуахуа Чарлиз". А это не шутка получить место в лучшем ресторане города, в самом центре на Пласа-дель-лас-Американас. Туда стекались самые сливки общества и богатые туристы. Мы подавали не только сваренные в белом вине лобстеры, устрицы, креветки, омары, сбрызнутые лимонным соком, с гарниром из оливок и шпината с тертым чесноком, восемнадцать разновидностей буритто, одиннадцать — энчилады, утку с рисом, черной фасолью и маниокой, но и бифштексы, и свиные отбивные под тремя соусами и пяти различных вкусов. Благодаря этому, кстати, мне ничего не стоит закатить шикарный свадебный пир.

Однажды вечером мой брат Антонио, которому Король Неба доверял уже до такой степени, что назначил его главным киллером, привел своего шефа поужинать в "Чихуахуа Чарлиз". Амадо Карильо съел крабовый суп с зелеными оливками, морковкой и цукини, мраморное филе "миньон" с черной фасолью, желтым рисом и сметаной. Попробовал пасты "эль эстильо акапулько", а на десерт проглотил "сопайильяс" с ванильным мороженым, а также съел кусочек торта "Амаретто", политого коньяком. И что тут говорить, доволен был как ребенок. Велел позвать меня с кухни и публично похвалил.

Вскоре Король Неба выстроил пятизвездочный отель с кондиционированием, бассейном, полем для гольфа и рестораном в северной части города, неподалеку от своего Ранчо-де-ла-Кампанья, и именно мне поручил руководство кухней. Антонио ходил гордый как павлин, а я заказала десять служб на помин души матери. Кстати, ресторан я назвала в ее честь — "Мама мексикана". Сразу же переехала из лачуги в шикарную пятикомнатную виллу с водопроводом, электричеством, горничной, кондиционером, телефоном, факсом и Интернетом. Амадо Карильо публично заявил, чтоб я не забивала себе голову расходами, лишь бы еда была на уровне. Под моим началом работали двенадцать поварих, шесть поваров, тридцать шесть официантов и двадцать девять посудомоек. И "Мама мексикана" прославилась не только на весь Хуарес, но и на всю Мексику. Поэтому именно у меня, а не где-нибудь еще состоялся прием по случаю свадьбы старшей сестры Короля Неба: в ресторане собралось двести гостей из Мексики, Колумбии, Лос-Анджелеса, Далласа и Вашингтона, а снаружи дежурили четыреста пятнадцать охранников с собаками. Кстати, этот прием почтил своим присутствием сам шеф бригады по борьбе с наркотиками, генерал Хесус Гультиеррес Ребельо. Именно он, что ни говори завсегдатай светских приемов, признал, что никогда и нигде не едал лучшего "бурритос де тинга поблана". Благодаря дружбе с генералом Ребельо Король Неба всегда знал, кто в картеле внедренный тайный агент, и рано или поздно приглашал лазутчика ко мне на ужин — и тут появлялся мой брат Антонио.

А тайных агентов хватало, кроме того, на беду, не раз случалось, что безмозглые американские туристы лезли куда не надо, и чтоб избавиться от нежелательных свидетелей сделок, Антонио волей-неволей и ими вынужден был заниматься. Он работал ночи напролет, исхудал, глаза ввалились; мне плакать хотелось, когда я на него смотрела. Что же тут удивляться. Как большинство мексиканок, я очень сентиментальна. А тогда мне было двадцать лет, кровь бурлила в жилах, и двигалась я с грацией молодой лани. Вечерами ходила на берег реки, смотрела на лодки контрабандистов и трупы дохлых собак, которые крутило течением. Вдыхала болотные запахи гниющих водорослей и рыбьих потрохов, слушала, как шуршат и снуют в траве крысы, и меня охватывала необъяснимая тоска. Я чувствовала, что пришла пора выходить замуж. Сами видите, с цветом лица у меня и сейчас все в порядке, но тогда я была — ну чисто кофе с молоком. Мой старший брат Антонио как-то сказал, что от меня возбуждающе пахнет джунглями. К сожалению, в замке этот запах полностью улетучился.

Конечно же, вокруг меня увивались толпы мужчин возрастом от шестнадцати до шестидесяти, и давно бы мне быть, в лучшем случае, изнасилованной, если бы не всеобщий страх перед Антонио. Боялись его так, что ближе чем на три шага не подходили.

А тем временем мне приглянулся Дарио Винсенте Рамос. Он жил с матерью в развалюхе на самой окраине Выселок и не носил усов. Работал у меня помощником официанта и помогал закупать продукты. Ему было ровно девятнадцать, глаза блестящие, огромные; стоило ему глянуть, как меня мороз продирал по коже, ноги подкашивались и "там" становилась мокро, — одним словом, все те же признаки, которые появились, когда я увидела вас, мистер Куба. Но вернемся к Рамосу. Однажды — мы как раз закупали мясо на рынке, а надо сказать, я всегда лично следила, чтобы мясо было наисвежайшее и самого лучшего сорта, такая уж я уродилась, — он отодвинул в сторону четверть коровьей туши, подошел ко мне близко-близко, дрожащей рукой сунул красную розу и убежал.

С тех пор я потеряла аппетит, охладела к готовке и голова у меня то и дело кружилась. Рамос начал сниться мне по ночам. Не то чтобы он был высокий, но очень тонкий в талии, так и подмывало перекусить его, а потом схрумкать целиком. Одет был всегда опрятно и чисто, и никакая жара, ни солнце, ни мясо ему были нипочем. Никогда не потел, и пахло от него всегда свежестью.

Я решила, что это ОН. Все думала, как бы придать ему смелости, сломать преграды, возникшие между нами по причине моего высокого социального положения. Для начала я назначила его главным поставщиком мяса. Это не прошло для меня даром — видеть я его стала реже. В поисках хорошего товара он добирался даже до Тигуаны. Тосковала я по нему страшно, но с каждой поставкой он присылал мне какой-нибудь знак своей любви — спрятанную в туше коровы или завернутую в пачку накладных красную розочку. Мне ничего не оставалось, как только просить Бога, чтоб Рамос поскорей отважился со мной заговорить. У меня крепло предчувствие, что минута эта близка.

И вот однажды вечером Антонио сказал, что ему предстоит большая работа: на ужин приглашены двенадцать гостей — все засланные агенты. Как обычно, вручил мне список с фамилиями, чтобы я могла разложить карточки у приборов. Равнодушно пробегаю глазами список, и вдруг — меня как током ударило. Среди двенадцати фамилий черным по белому значилось и его имя — Дарио Винсенте Рамос. Ноги подо мной подкосились, но я поняла, что должна быть сильной и спасти нашу любовь. К счастью, брат ничего не заметил. А я, собравшись с духом, выбежала из кухни, поймала такси и помчалась в Выселки. Дарио с матерью ели какую-то жалкую энчиладу. Запыхавшись, я влетела в их хибару и, предав разом и брата, и картель, посоветовала ему как можно скорей раствориться в воздухе.

Рамоса сначала затрясло, потом он оцепенел, потом потерял дар речи, а когда речь к нему вернулась, вышел вслед за мной и признался, что работает на конкурентов — картель братьев Авеллано Феликс из Тигуаны, но делает это исключительно ради того, чтоб поскорее разбогатеть и попросить моей руки, так как любит меня до белой горячки. Рыдая, я тоже призналась, что люблю его. И тогда он меня поцеловал -- сначала в губы, потом в шею. Вам пока это неизвестно, мистер Куба, но я, как и большинство женщин с волосатыми ногами, страстная до потери пульса. И если бы не то, что он торопился, да и я тоже, кто знает, осталась ли бы я до сих пор девицей. Рамос сказал, что я для него все — небо и земля; должна заметить, что он всегда выражался изящно. Упав передо мной на колени, он умолял, чтобы я его ждала. Поклялся, что через ме-

сяц, самое большее через два, подаст мне тайную весточку, и испарился вместе с матерью.

Восемнадцать лет я его ждала. Носила черные платья, не втыкала в волосы цветов, оправила в рамку засушенную розочку, ту самую, которую Дарио подарил мне на рынке, и повесила ее под портретом матери, и со всей своей неизрасходованной женской страстью ждала, сознавая, что могу открыть перед ним врата рая.



В марте, когда подходил к концу девятнадцатый год ожидания, кто-то ненароком вскользь упомянул, что встретил Дарио в Сан-Франциско. Что в мексиканском районе он держит ресторан "Вива Мексика" и что у него жена и трое детей. Сперва я только рассмеялась, потому что не поверила, но когда человек поклялся мне гробом матери, надела новое платье из красного шелка, лакировки на шпильках, тонких как острие ножа. Взяла паспорт с искусно подделанной американской визой и, ни слова не сказав брату, отправилась в путь.

Эта его забегаловка снаружи выглядела еще более-менее прилично, но когда я прочитала вывешенное в окне меню и заглянула через стекло внутрь, сразу поняла — обыкновенная заплеванная столовка. В баре напротив я выпила два стаканчика текилы в ожидании, пока он выйдет. Ждала то ли четыре, то ли пять часов кряду, но что такое пять часов по сравнению с девятнадцатью годами!

Дарио вышел около шести. Увидев меня, побледнел как скатерть, глаза у него сделались квадратными, а рубаха стала мокрой от холодного пота. Волосы его слегка поседели, но талия по-прежнему была тонкой, как у куколки. Его так и затрясло, он что-то залепетал, потом, совсем как тогда, восемнадцать лет и девять месяцев назад, потерял дар речи, но я сказала, чтоб он так уж сильно не убивался, что я тут проездом и неофициально — брат не в курсе, — а у меня муж и трое детей. Он еще немного потрясся, но постепенно пришел в себя и стал уверять, что думал обо мне дни и ночи напролет все эти годы, но вернуться боялся. Клялся и божился, что написал мне по меньшей мере шестьдесят писем, но, видно, они затерялись. Известно, как работает почта; и прибавил, что один-одинешенек на свете, так и не женился, что все еще меня любит, и стал уговаривать пойти с ним выпить рюмочку. При этом он все время оглядывался по сторонам, наверно со страху, что в любую минуту могут появиться его жена и трое детей.

Сославшись на то, что у меня очень мало времени, я все же согласилась выпить с ним чашечку кофе. Я решила это еще раньше: поблизости был "Старбакс"[1], совершенно пустой, что входило в мои планы. Мы заказали кофе o'le[2], который оказался препоганейший, как это водится у американцев. Потом он взял меня за руку, и мы немножко повспоминали прежние времена, а когда у него начал заплетаться язык, слипаться глаза и голова падать на грудь, я отвела его в туалет. Туалеты в "Старбаксах" — единственное, что там на уровне. Почти всегда две кабинки, просторные и хорошо освещенные. Я не позволила ему упасть на пол, а усадила на толчок, удобно прислонив спиной к стенке. Он спал как младенец, пока я стягивала с него штаны и трусы. Представляете, мистер Куба, на нем были точно такие же трусы от Кейна, как те, что сегодня утром я вам постирала. Я вынула из сумочки все что требуется и, стараясь

1. Сеть американских кафе-закусочных.
2. С молоком (*искаж. франц.* au lait).

особо не глядеть, чтобы не оскорблять природную застенчивость, отрезала ему то, о чем мечтала все эти девятнадцать лет, ворочаясь в своей холодной постели.

Вытерев слезы, я наложила повязку. Проделала я все так аккуратно, что на пол не попало ни капельки крови. В соседней кабинке какой-то мужчина облегчался, распевая во весь голос, но Дарио даже не шелохнулся. Ничего удивительного, я всыпала ему в этот отвратительный кофе о'le столько снотворного, что оно могло бы усыпить целое стадо слонов. Потом я натянула на него эти самые трусы и брюки, застегнула молнию и, уходя, поцеловала на прощание в губы.

Да, каюсь, так все и было, мистер Куба, но вы не должны меня ревновать: Дарио — единственный мужчина, которого я поцеловала в губы. И всего только два раза. То, что отрезала, я положила в целлофановый пакетик и залила спиртом. Вон он, посмотрите, висит там на стене рядом с засушенной розочкой под портретом моей матери.

Так закончилась моя единственная большая любовь, то есть единственная до того момента, пока я не увидела вас в зале ожидания в аэропорту. Но вас наверняка интересует, как я попала в замок. Сейчас расскажу. Все последующие годы я искала забвения в готовке, выдумывала все новые и новые рецепты, соединяя несоединимое: бараньи ребрышки с крабами, омара со свининой, — и страдала. Самое интересное, Дарио никогда больше не дал о себе знать. Я была так несчастна, что почти не замечала, как в картеле Карильо Фуэнтеса одна беда стала догонять другую. Сперва провели чистку в полиции и арестовали не только моего среднего брата, но даже самого генерала Хесуса Ребельо. Сразу после этого Амадо Карильо Фуэнтес, меняя себе лицо, как он это делал каждый год, внезапно умер во время пластической операции. Вслед за этим киллеры братья Авеллано Феликс застрелили Антонио и показали новому шефу полиции тайник на Ранчо-де-ла-Кампанья, где была закопана добрая сотня гостей из моего ресторана. Это наделало много шуму, ресторан прикрыли, начались аресты. Мне удалось выпутаться только благодаря тому, что все свои сбережения, драгоценности и мебельный гарнитур я подарила жене нового начальника полиции.

И снова я, как много лет назад, вернулась в свою лачугу, распугав табуны крыс, нескольких змей, стайку летучих мышей и полчища пауков. А тут к нам приехал мистер Кейн с телевидением. В Хуаресе я была живой легендой, поэтому неудивительно, что он захотел взять у меня интервью для своих новостей. Я угостила его скромным обедом, подав всего лишь креветки в чесночном соусе с гарниром из шпината, буррито из цыпленка под сыром, завернутое в кукурузные тортильи и политое зеленым соусом, рис со свежими помидорами и зеленым салатом, а также рассказала ему, разумеется вкратце, то, что рассказала сейчас вам. Он пришел в такое восхищение от меня и моей лачуги, что, когда начал строить этот замок, велел перенести сюда целиком мою хибарку вместе со мной.

Но лучше не теряйте времени понапрасну, мистер Куба, а, как я вам велела, отправляйтесь без промедления на аэродром и отыщите там Педро. Каждая секунда дорога. Теперь, когда я снова нашла большую любовь, предупреждаю: во второй раз сломать себе жизнь я не позволю.

# Рассказ Кубы

Тронутый до глубины души рассказом кухарки о превратностях судьбы, так жестоко с ней обошедшейся, я помчался сломя голову, мечтая только об одном — поскорее сесть в поезд: погоня за свиньей вконец меня измотала. Но поезда уже не ходили, пришлось переть на своих двоих по шпалам. По дороге, столкнувшись с чумазыми, похожими на всех чертей сорванцами, я хорошенько их отругал, что, мол, кухарка ждет-беспокоится, и снова рванул. Не чуя ног, успел-таки в последний момент. А там — просто жуть: глядеть было тошно на то, что осталось от шикарного аэропорта. Сдвинутые со своих мест регистрационные стойки, валяющиеся повсюду консервные банки, пустые бутылки, брошенные чемоданы, расколотая в щепки мебель, зияющий дырами потолок и застрявшие там и сям стальные детали, наверняка обломки не сумевших далеко улететь самолетов. А на взлетной полосе стоял вроде как последний из них. Двигатели ревели, а возле наматывал круги один-единственный пассажир. Тощий, высокий, с бачками и усиками, черными как смоль. В отутюженном, с иголочки костюме и шикарной шляпе. На шее у него раскачивался католический крест, а из кармана торчал требник. Как заведенный он кружил на месте, заламывая руки, а стюардесса с трапа в который раз предупреждала, что дольше они ждать не могут. По описанию кухарки все сходилось, поэтому я подбежал к нему и спросил, не Педро ли он. Схватив меня за лацканы пиджака, да так, что я заболтал ногами в воздухе, он прорычал, перекрикивая гул реактивных двигателей, нет ли у меня от нее известий. И откуда только сила взялась в этих его худых, как палки, руках! Я без проволочек признался, что да, есть весточка от кухарки, и стал его умолять от своего и кухаркиного имени обвенчать нас, соблазняя дармовым угощением. Он опустил меня на землю и с досадой махнул рукой, и в этот самый момент миниатюрная стюардесса, блондинка в черно-золотой униформе с надписью "Caine's airlines", заорала, разозлившись уже не на шутку, что они сию минуту взлетают. Педро вырвался, хотя я держал его мертвой хваткой, и взбежал по ступенькам трапа. В голове у меня пронеслось: эх, не догадался я прихватить с собой пуделя, он бы вцепился ему в штанину, и вдвоем мы б его, возможно, удержали. Но песик обожрался свинячьими потрохами и, когда я уходил, лежал на брюхе и икал, так что пользы от него скорей всего никакой бы не было. Тем временем Педро влетел в салон, стюардесса захлопнула дверцу, и самоходный трап медленно отъехал. Однако не успели еще черные мысли целиком мною завладеть, как дверца вновь отворилась, и у меня на глазах Педро сцепился с бортпроводницей. Правда, схватка продолжалась недолго: куда ей с ним тягаться, когда я не сумел справиться. Затем, рискуя свернуть себе шею — трапа-то не было, — он спрыгнул и полетел вниз, размахивая руками, как ветряная мельница, причем издалека было видно, что бедолага не в себе, вконец отчаялся и не знает сам, чего хочет. Он побежал, что-то выкрикивая на ходу, но слова заглушал рев реактивного самолета. Я же бросился за ним вдогонку, с облегчением и в полной уверенности, что на твердой земле далеко он от меня не убежит. Однако когда я его уже почти настиг, он вдруг завертелся волчком и припустил обратно к самолету. А тот уже оторвался от земли, сбив воздушной волной с головы Педро его шикарную шляпу. Тогда он ни с того ни с сего, словно я был в чем виноват, бросился на меня с кулаками и принялся дубасить по голове. Но быстро очнулся и начал из-

виняться, чтобы я не обращал внимания, он вовсе не хотел меня обидеть, просто он очень несчастлив, и, мол, я не представляю, что он может вытворить в состоянии депрессии. Я вежливо ответил, что догадываюсь. Он учтиво меня поблагодарил, официально представился, назвавшись Педро Ланцини, и объяснил, откуда растут ноги такого его поведения. Дело в том, что он со своей возлюбленной договорился лететь этим последним самолетом. Тут у него слезы снова закипели в глазах, и он с ходу попросил меня засвидетельствовать, что ждал до последней минуты. А следом признался, что недалек от мысли покуситься и лишить себя жизни, поскольку его переполняют дурные предчувствия. Я как умел стал его утешать, что, мол, всякое могло приключиться, но закончится все хорошо и женщинам, что ни говори, иногда можно верить. Взять, к примеру, меня: я сам не далее как вчера лично повстречал добропорядочную женщину и при его посредничестве намерен соединиться с ней брачными узами; при этом я выразил готовность помогать ему в чем угодно, что только придет в его голову, и опять пригласил на свадебный обед. Педро поблагодарил, глянул вверх на самолет, который был уже высоко и казался маленькой точкой — и в этот самый момент воздушный лайнер на наших глазах вдруг разлетелся в воздухе на куски, и до нас донеслось эхо отдаленного грохота. В душе я пообещал надрать задницы маленьким сорванцам. Ну понятно, обидели их родители, но разве можно так себя вести?

А кстати, нам крупно повезло, что самолет уже отлетел на порядочное расстояние, иначе мы могли бы схлопотать по башке крылом, шасси или того хуже — кем-нибудь из пассажиров, которые, пристегнутые к креслам ремнями безопасности, с криками, как бомбы, неслись с неба на землю. Я перекрестился и мысленно помолился за них — в смысле отпущения грехов. А Педро бровью не повел, так был занят своим горем, и не то что не думал им сочувствовать, даже Бога не захотел поблагодарить за то, что шагает сейчас по земле, а не падает вверх тормашками с неба. Некоторое время мы шли молча, а потом он вежливо осведомился, не прогуляюсь ли я с ним по замку для полной уверенности: вдруг нам вдвоем повезет и мы наткнемся на какие-нибудь следы. Я деликатно намекнул, не лучше ли это сделать после того, как он нас обвенчает, да и невеста моя заждалась с обедом. Но получилось, что я вроде как наступил ему на больную мозоль: он снова замотал головой, замахал руками и, в какой-то момент снявши шляпу, которую однажды я ему уже поднимал, швырнул ее наземь. Потом мы побрели дальше, и я как мог старался его утешить. А вокруг на глаз было видно, насколько сильно пострадал замок за короткое время. Стены зданий пошли трещинами, везде если не стелется дым, так бушует пламя, из развороченных труб хлещет вода, а в главном куполе — дыра на дыре, и почти из каждой как попало торчат если не обломки самолетных крыльев либо хвостового оперения, так части рук или ног. Мы пересекли зал прилетов, который еще совсем недавно кипел жизнью и весельем, а теперь — никакого сравнения: крышу почти снесло, а от росписи на потолке остался только самый кончик седой бороды и указующий перст.

С полчаса мы так прошатались, и я совсем перестал ориентироваться, где нахожусь, но, на счастье, Педро знал местность как свои пять пальцев. Конечно, я тоже иногда узнавал знакомые памятники старины, которые теперь были полуразрушены или вконец разбиты, будто после бомбардировки. А кругом тишина словно в могиле, только Педро драл

горло, кричал, нарушая спокойствие, осипшим голосом: "Соня!" Причем после часа такого ора он уже скорее хрипел, чем кричал, так что даже если бы она была поблизости, и то не услышала бы. Тем временем ноги подо мной начали подкашиваться, а кишки играть марш. Я затосковал по обеду и по кухарке, которая, должно быть, на стенку лезла. А Педро хоть бы что — прет себе вперед, как торпеда.



Вдруг ни с того ни с сего я получил шипастым стеблем по морде — ба, давешние розы, и верно: мы продрались через их заросли к тому самому бассейну, где я уже однажды побывал. Только вместо свиньи покачивалось на воде самолетное кресло. А в нем, пристегнутые одним общим ремнем, два мертвых тела. Одно при ближайшем рассмотрении показалось мне знакомым. Это был не кто иной, как тот нахальный субъект, Жан-Пьер, на коленях у которого сидел похоже что сам пилот самолета, правда без штанов, но в форменном кителе, вцепившись закостеневшими руками в полумесяц руля — видать, штурвал управления. Я встрепенулся, что, мол, знаю его, но Педро в ту сторону даже не взглянул.

Я снова попытался до него достучаться, убеждая прерваться и продолжить поиски завтра спозаранку — утром, известное дело, видимость лучше. Но Педро еще битый час таскал меня за собой, пока наконец не поднял с земли обломок статуи, не иначе как римской эпохи, и не запустил им в окно нарядного здания с красовавшейся на нем вывеской "Цезарь-палас". Нырнув внутрь, он стал подавать мне через окно сперва бутылки, а потом и целые ящики с алкогольными напитками. Бутылки я, сколько мог, распихал по карманам. Он сделал то же самое, а парочку "Абсолюта" мы распили не сходя с места, примостившись на ящике с "Джонни Уокером". Вылакали, что называется, до самого донышка, поскольку обоим нам было не до смеха: ему, понятное дело, из-за потери любимой, ну а мне потому, что моя будущность, вроде бы и не такая уж плохая, пока представлялась туманной. Зашвырнув подальше пустые бутылки, мы взвалили на плечи по ящику с выпивкой и побрели к кухарке, подпирая друг дружку, совсем как земляки, — недаром говорится, что горе сближает.

Еще издали в ноздрях у нас защекотало от запахов. Но только подойдя поближе, я увидел, что значит, когда женщина и вправду мастерица готовить. Короче, накрытый стол, заставленный блюдами, дословно ломился от неземной роскоши — ну прямо пир Нерона, как его описывают в художественной фантастике. Чего там только не было! Ломтики ветчины с поджаристой корочкой под хреном, радужно переливающийся, благоухающий памятными с детства запахами зельц. Затейливо нарезанная шейка, украшенная пирамидкой из малосольных огурчиков, и обжаренные до золотистого цвета ребрышки; ножки, выглядывающие из холодца прозрачнее родниковой воды, и сбрызнутые уксусом румяные рульки; рядом баночки шпрот — хочешь в томате, хочешь в масле, на выбор, — узорно выдавленный из тюбика лососевый паштет с дольками лимона по бокам, а по соседству — селедочка залом из бочки. Да все с пылу с жару, дымящееся ароматным парком, аппетитное, свежайшее. Мало того, шесть английских кастрюлек под крышками нежно дребезжали на малом огне горящих под ними спиртовок, обещая дальнейшие наслаждения нёбу, а во главе самая большая — с чили. Посередине стола, прижавшись друг к другу, как родные братья, стояли две литровые бутылки — запотевший голубой "Шопен" и красный "Смирнофф", тоже покрытый изморозью. Среди этих яств, положив голову на стол, спала кухар-

ка, а тут и там торчали головенки сладко посапывающих ребятишек, отмытых до неузнаваемости и принаряженных.

Мы ввалились торжественно, громко топая и с шумом скидывая с плеч ящики, кухарка же вмиг подскочила и, не теряя ни секунды, налила три стакана, нам троим полнехонько, а деткам — по половинке. Выпили мы друг за друга. А Педро, будто забыв на время о своей беде, раз-раз и связал нас брачными узами, а затем благословил и прочитал молитву по требнику: да не отвратит Господь Бог лика своего от нас, изгнанных из рая детей Евы, а напротив, пусть будет беречь и помогать в испытаниях. Аминь. Что касается обряда, то у меня лично были сомнения насчет его законности. Но поскольку совершен он был перед святым образом, да и кухарка признала его законным, я махнул рукой, ведь недаром же говорят: что край — то обычай.

Кухарка без проволочек принесла с кухни кровяной суп, раскидала по тарелкам селедочку с луком и с извинениями, что берет руками, красиво положила перед каждым нарезанный ломтями хлеб. Я наполнил рюмки, и завертелось веселье. Мальцы лопали так, что за ушами трещало, а наевшись, начали клевать носом. Мы с кухаркой, не пропуская ни одной, не спеша закусывали, временами только отдуваясь и прищелкивая языком, потому что все так и таяло во рту. Зато Педро жрал в три горла, будто от этого зависела его жизнь. Сроду не видел ни в Грин-Пойнте, ни в родимой сторонке, чтобы кто-нибудь набрасывался на еду прямо как на врага. Педро глотал ветчину, почти не жуя, давился, но продолжал запихивать в себя кусок за куском, с хрустом разгрызал кости, с шумом высасывал мозг и, плюясь во все стороны холодцом, тараторил без передышки.

## Рассказ Педро

Мое полное имя — Педро Мария Амандо Хесус Ланцини, и должен признаться, что возложенная на меня обязанность венчать в замке вступающих в брак — не главное мое занятие. Основная моя профессия — дрессура. И не каких-то там дурацких собачек, кошек или медведей. Я — лучший в мире дрессировщик пауков. Вернее, был им когда-то. Родился я в Эквадоре, в Мачалиле, недалеко от Хипихапа и Санта-Елены, в трех часах езды на грузовике от Кито. Мачалила — бедный маленький городишко, куда, кроме ураганов, никто не заглядывает. Вы не поверите — я ютился вместе с матерью, отцом, братом и двумя сестрами в сбитой из досок конуре. Спали вповалку на циновках; ни электричества, ни водопровода у нас не было — зато в лачуге жили несколько змей, парочка скорпионов, а главным образом пауки. Кормились тем, что росло на деревьях, поскольку в Мачалиле джунгли подходят к самому океану, но по большей части тем, что вылавливали из воды. Бедны были как церковные мыши, однако считались не самыми бедными — другим жилось еще хуже. В нашей семье хотя бы имелся служитель культа. Звали его Мигель Мария Сантьяго, он приходился матери двоюродным братом и еще маленьким взял меня к себе в обучение. Я носил хоругви в процессиях, прислуживал на мессах. Дядя хотел, чтобы я стал священником, а меня тянуло к природе. Из-за этого я так и не был посвящен в духовный сан, но Мигель Мария Сантьяго передал мне ряд полномочий, в том числе я получил официальное разрешение совершать обряд венчания. Так что

вам нечего беспокоиться. Отец был хороший рыбак, но у него было слабое сердце и одышка, и нам приходилось ему помогать. Мой брат навострился отлавливать крабов, которых подманивал, кидая в воду дохлых собак. А собак в Мачалиле было больше, чем людей, и все на одну колодку — песочного цвета, тощие и голодные. Я же пристрастился к охоте на небольших осьминогов. Они прятались на дне возле коралловых рифов, поджидая добычу. Я хватал их голой рукой и прилеплял к телу. Вернее, достаточно было приложить осьминога к телу, и он сам присасывался. На поверхность я всплывал, только когда присасывалось штук пять или шесть. Под водой мог спокойно продержаться добрых десять минут. То есть мог бы и дольше, но тогда у меня начинала сочиться кровь из ушей, из носа и горла. Крабов мы распродавали не сходя с места. А осьминогов чаще всего возили с братом на пикапчике в Кито и продавали в дорогие рестораны. Но, правду говоря, моей страстью были пауки. Я любил гладить их нежные шелковистые тельца, напоминающие благородные музыкальные инструменты типа скрипок, виолончелей, арф или вовсе даже черную блестящую пулю. Мне нравилось щекочущее прикосновение их длинных лапок и радовало, когда сперва подозрительный взгляд одной, двух или трех пар глаз постепенно становился доверчивым. Бытует масса несправедливых суждений о пауках. На самом же деле это на редкость впечатлительные и робкие существа. Спору нет, питаться им тоже чем-то надо, но на человека они нападают, только если почувствуют с его стороны враждебные намерения. Правда и то, что яд тарантула, "бронзового отшельника" или "черной вдовы" в пятнадцать раз сильнее яда гремучей змеи. Но гремучая змея впрыскивает его гораздо больше, и от ее яда умирает двадцать пять процентов укушенных, а от "черной вдовы", особенно если под рукой вовремя окажутся гормоны и кортизон, — только пять, самое большее десять. Как-то раз "бронзовый отшельник", поселившийся в старом, давно не ношенном деревянном башмаке, укусил отца. Впрочем, не со зла, а с перепугу, потому что тот без предупреждения сунул в башмак ногу. Но уже спустя восемь недель симптомы исчезли. Чувствительность в ноге понемногу восстановилась, и у папы прекратились проблемы с дыханием.

Вы уж извините, что я столько наговорил на эту тему, но мне просто больно, когда обижают пауков. Люди почему-то забывают, что это наши восьминогие друзья, что они пожирают москитов, тараканов, сверчков, древесных клопов, термитов, защищая наши сады, дома и огороды. Мне, например, пауки принесли славу, успех и деньги.

Дрессировать пауков не так-то легко — эта работа требует страсти, самопожертвования, полной отдачи, огромного терпения, ну и, разумеется, времени: порой нужно не меньше десяти месяцев, чтобы завоевать их расположение и дружбу. Мне пришлось даже бросить курить — пауки не выносят дыма. Конечно, не все одинаково талантливы и горят желанием сотрудничать. Лучше всего мне работалось со скачущими, тонконогими, садовыми, домашними и с теми из водных, что охотятся на мальков. Неплохо складывались отношения с пауками-волками, с виду грозными, а в сущности вполне дружелюбными. Хуже всего — с "бронзовыми отшельниками", необычайно смышлеными, но по натуре скрытными и несмелыми. Тарантулы и "черные вдовы" гораздо охотнее шли со мной на контакт. Однако это касалось только особей мужского пола. Самки — те значительно крупнее и красивее самцов, но, к сожалению, гораздо недоверчивее. Не стану перечислять все этапы моей долгой ка-

рьеры. Скажу только, что началась она в тот день, когда, распродав шестнадцать осьминогов, я показывал на главной площади в Хипихапе самые простенькие штучки со скачущими пауками, и судьба, а может, случай привели туда директора самого большого цирка в Кито. Нам сразу же предложили ангажемент. Потом был Рио-де-Жанейро. Я выступал там во время карнавала со своей дрессированной труппой. Спектакль засняли на пленку и показали на Си-би-эс, позже обо мне и моих пауках сделали документальный фильм, который был номинирован на "Оскара", а вскоре после этого пришло предложение из Лас-Вегаса. Через год я купил родителям дом в Кито. С бассейном. Мой брат стал профессиональным игроком в гольф и женился на фотомодели. А сестры удачно вышли замуж. Только я все никак не мог найти настоящую любовь. После одного из выступлений, когда я отдыхал в гримерной, скармливая паукам тараканов, ко мне вбежал наш менеджер, страшно взволнованный, и, хватаясь за сердце, с трудом выдавил, что Кейн, сам Джон Джефферсон Кейн, хочет со мной поговорить. Конечно, давление у меня слегка подскочило, не без этого, но годы, проведенные среди пауков, не прошли даром. Не спеша заканчивая ужин, я промычал в ответ, чтоб тот передал Кейну: я устал и смогу с ним увидеться не раньше чем через полчаса.

Менеджер подумал, что ослышался, но у меня было свое на уме. И действительно, Кейн ждал. Теперь я совсем успокоился — значит, Кейну на самом деле что-то от меня нужно, и, значит, ему придется за это дорого заплатить. Я и предположить тогда не мог, что цена, которую я заплачу, будет куда выше.

В тот же вечер Д. Д. К. пригласил меня в свой отель. Всю дорогу он молчал, а я тоже не рвался чесать языком. Я выжидал. Только когда мы в окружении плотной толпы телохранителей поднялись на самый верхний этаж, Кейн наконец раскрыл рот. Он сказал, что дело весьма деликатного свойства. Догадываюсь, ответил я. Помню, хотел еще что-нибудь добавить, ну, пошутить, что ли, но на ум как назло ничего не приходило. Кейн кивнул, этот его, то ли баба, то ли мужик, Жан-Пьер взмахнул рукой, шеф телохранителей Стивен распахнул дверь, и в гостиную вбежала Соня.

Вот тогда я увидел ее впервые. Говорят, что большое чувство рождается внезапно. Ну не знаю. Любовь пришла позже, когда я узнал Соню поближе и понял, какая это тонкая натура, как она одинока и несчастлива.

Но об этом потом. В тот раз она просто вбежала в гостиную и, сощурив глаза, стала пристально меня разглядывать.

Разумеется, я слышал о романе Кейна с Соней. И знал, что скандал поломал его политическую карьеру. Сегодня в такое трудно поверить, но нужно помнить, что дело происходило в первые годы XXI века. В пору дикого пуританизма, когда любовь со свиньями еще не получила безоговорочного общественного одобрения. Откровенно говоря, я считал, что со стороны Д. Д. К. это было всего лишь мимолетное увлечение, причуда, погоня за сильными ощущениями, нечто в стиле оставшихся в прошлом авантюр шекспировского короля Генриха. И не подозревал, что дело зашло так далеко. А между тем оказалось, что Кейн и на сей раз остался верен себе и решил бороться за свое право на любовь. Короче говоря, невзирая на разницу в возрасте задумал жениться на Соне и тем

самым доказать всему миру, что свиньи ничем не отличаются от женщин.

Отчасти проблема заключалась в том, что Соня происходила из бедной многодетной семьи и не получила приличного воспитания. Кейн, при всей своей толерантности, опасался, что разница в образе жизни, несходство политических и эстетических взглядов могут омрачить их с Соней совместную жизнь.



В тот вечер он признался, что хочет поручить мне трудную, но благородную миссию. Хочет доверить мне образование Сони.

Предложение звучало заманчиво, и дело было даже не в деньгах, хотя сумму Кейн назвал просто астрономическую. Не каждому судьба бросает такой вызов. Вы только на минуточку представьте себе: распахнуть перед молодой свиньей окно в мир, созданный руками и разумом вдохновленного Богом человека, разбудить в ней воображение, познакомить с великими произведениями литературы и искусства.

Но задача показалось мне дьявольски трудной, гораздо труднее моей работы с пауками. Если по-честному, я не был уверен, что хорошо подготовлен для ее выполнения. Образование я, конечно, получил, и неплохое, но только начальное. Правда, был силен в теологии. Не пропускал ни одной серьезной выставки, ни одной премьеры. А что будет, если я подсуну Соне не ту книжку? Не сумею заразить ее любовью к "Улиссу" Джойса? Я колебался.

Проходили минута за минутой. Кейн беспокойно заерзал в кресле и признался, что я — его последний шанс; в глазах у него даже блеснули слезы. Я согласился, и тогда он крепко, по-мужски пожал мне руку.

На первый взгляд Соня производила впечатление обычной свиньи, но оно было ошибочным и быстро рассеялось. Оказалось, что у нее незаурядные способности к плаванию и танцам. А также несомненный дизайнерский талант: она прекрасно чувствовала цвет, обладала отменным вкусом, умела подобрать соответствующий материал и запросто придумывала самые неожиданные композиции. Соня с интересом разглядывала шедевры Микеланджело, Рубенса и Раушенберга[1]. Несколько хуже, если не сказать безнадежно, обстояло дело с ее английским. Конечно, не случалось такого, чтоб я не сумел с ней договориться, но и не скажу, что это было делом легким или приятным. Я решил разузнать о Соне побольше.

И, чтобы добраться до самых корней, отправился в Айову на ферму Джека Джонсона. Туда, где она родилась и где прошло ее детство. Джонсон, раздутый от пива здоровяк, очень удивился, что Соня наделала столько шума. Он рассказал, что у нее было шестеро братьев и сестер, которые все уже пошли под нож, а посему увидеть их мне не удастся, сама же она ничем особенным не выделялась. Правда, обычно первой оказывалась у корыта и визжала громче всех. Но все-таки Джонсон признал: что-то в ней было, недаром однажды ночью она прогрызла двойную металлическую сетку и сбежала.

Позже, когда я уже начал лучше понимать Соню, я спросил ее об этом побеге. Она не сумела толком объяснить, что ей тогда взбрело в голову. Сказала, что просто должна была так поступить. Что-то ее подсте-

1. Роберт Раушенберг (р. 1925) — американский художник, кинематографист, скульптор и фотограф. Широко известна его "Белая картина с цифрами" (1959) и "Набросок" (1964), где объединены репродукция с полотна Рубенса "Туалет Венеры" с изображением орла, вертолета, рабочих и геометрических фигур.

гивало, какая-то не поддающаяся объяснению тоска. Впрочем, если честно, я не на все сто процентов ее понимал, поскольку у Сони был жуткий акцент. Из того, что я понял, следовало: приняв однажды даже ей самой непонятное решение прогрызть сетку, она просто кинулась бежать куда глаза глядят. На восток ее гнало, похоже, само провидение — она безошибочно отыскивала дорогу. Ела все подряд, что только росло вокруг, пила воду из озер, рек и даже из луж. Целый месяц паслась на полях, засеянных коноплей, что, кстати, привело к сильнейшей зависимости. Пару раз застревала на каких-то фермах, но долго на одном месте усидеть не могла. В Пенсильвании попала в отвратительную компанию крупного котяры и двух бездомных дворняг, которые ее попросту использовали. Наконец добралась до Нью-Йорка и там оказалась на самом дне. Соня не хотела вспоминать об этом периоде своей жизни. Думаю, она пыталась вычеркнуть его из памяти. Как бы то ни было, однажды вечером, когда, измученная и голодная, она трусила по Бродвею, на нее наехал лимузин Кейна. Она была в шоке. Помнила только, что над ней склонялись какие-то тени. Какие-то люди взяли ее за ноги и швырнули в багажник. Она подумала, что это конец, и потеряла сознание.

Очнулась она в постели оттого, что кто-то нежно целовал ее в рыло. Как выяснилось позже, Кейн после происшествия приказал отвезти Соню не в больницу и не к ветеринару, а в маленький элегантный мотельчик в Нью-Джерси, который, само собой, тоже принадлежал ему. Именно там, над Гудзоном, неподалеку от Энглвуда, начался их роман. Кажется, я уже упоминал, что Сонин английский сильно хромал. Но кто знает, не этот ли изъян стал причиной ее небывалого успеха в качестве эстрадной попсовой звезды. Уже через неделю после появления на рынке ее первого сингла "Доктор Визг" стало ясно, что Кейн победил, а американская молодежь обрела нового кумира.

И критики, и простые меломаны были едины в своем мнении. Магнетизм личности Сони, ее необыкновенный, хватающий за душу голос, неотразимая экспрессия позволили миллионам молодых и многообещающих американцев разорвать ненавистный корсет пуританского хип-хопа и в ритме тяжелого визга в десятках концертных залов и на тысячах дискотек дать выход своим наиболее интимным естественным потребностям.

Гений Кейна и благородный артистизм Сони нашли самое полное воплощение в изысканном, поэтичном видеоряде "Пигмалион II", где были запечатлены восемьсот эротических позиций. Представленный на осенней экспозиции в Метрополитен-музее, этот шедевр стал путеводной звездой в искусстве нового миллениума. Признаюсь, даже сейчас, когда я об этом говорю, мне трудно сдержать волнение. Бог мой, что это был за хит! Без ложной скромности могу сказать, что я очень много сделал для Сониного успеха. Она частенько называла меня своей музой. Мы почти ни на минуту не расставались. Ведь даже на сцене я всегда находился при ней, держа в кулаке конец цепочки, а в карманах сахарок, который она обожала. Мы оба были молоды, ночи были жаркими — стоит ли удивляться, что в таких обстоятельствах между нами начало зарождаться чувство?

Преградой на пути к нашему счастью стал стареющий и все больше озлобляющийся Кейн. Соня никогда не была с ним счастлива. Очень скоро она поняла, что Кейн ее не любит. Он просто нуждался в Сонином успехе для удовлетворения своих ненасытных амбиций. Ему не терпелось отыграться за поражение на выборах. Он хотел доказать всему миру свою правоту. В постели был груб и эгоистичен. Уже через полгода

после свадьбы Соня оказалась на грани нервного срыва. Начала пачками глотать антидепрессанты, но вскоре вынуждена была бросить, поскольку прибавила в весе восемнадцать кило. Впрочем, не так уж они и помогали.



Светом в конце тоннеля стал для нее Интернет. Каждый день Соня заходила в "чат-рум" и благодаря этому узнала, что не одна она такая, что на свете много других свиней, оказавшихся в точно такой же или схожей ситуации. Через Интернет она подружилась с сибирской свиньей Таней, которая вылетела из полуфинала объявленного Fox-TV конкурса на претендентку в жены мультимиллионера. У Сони было доброе сердце: сама находясь в глубокой депрессии, она пыталась всячески поддерживать Таню. Все напрасно. Таня бросилась с моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Тела ее не нашли. Соня тяжело это пережила. Я делал что мог, чтобы ее приободрить. Но с тех пор как она перестала выступать и Кейн перебрался в замок, мы не могли уделять друг другу много времени. Кейн счел образование Сони законченным, поблагодарил меня и перестал платить, но согласился на мое присутствие в замке в качестве консультанта. Тайком встречаться с Соней я мог, только когда Кейн смотрел свои фильмы, постоянно одни и те же. Он запирался в огромном кинозале и часами просиживал там в одиночестве. Когда крутили "Унесенных ветром", в нашем распоряжении было четыре бесценных часа.

Что мне еще вам сказать? Знаете ли вы, что такое любовь эквадорца? Я завидовал ошейнику, который мог постоянно к ней прикасаться. К счастью, моя квартира была неподалеку от резиденции Кейна. Задолго до прихода Сони я не находил себе места. Как безумный кружил по спальне. Бросался на постель и вскакивал, стаканами глушил текилу и не пьянел. Кровь закипала у меня в жилах. Я представлял себе, что она делает в эту минуту, как смотрит на часы, принимает душ, распахивает дверцы шкафа и, слегка наморщив лобик, раздумывает, что бы такое надеть. За час до назначенного срока я уже ждал у окна. Увидев наконец, как она бежит через развалины Колизея, прикрывая шалью лицо, чтобы никто ее не узнал, я бросался к двери. Я уже издалека чуял запах ее духов, доводивший меня до безумия. Набрасывался на нее молча, со страстью сродни ненависти или отчаянию. Обнявшись, мы падали на постель. Предварительные ласки я сводил к минимуму. А потом... потом мир переставал для меня существовать. Кровь ударяла мне в голову, я кричал и плакал, она кричала и плакала, вторя мне, и наконец мы вместе тонули в судороге наслаждения. Потом долго лежали, тесно прижавшись друг к другу. Иногда случалось, что оба проваливались в сон, но лишь на минуту-другую. Мы не хотели терять ни одного мгновения. Строили планы на будущее. Мечтали всегда быть вместе, болтали о самых будничных вещах: где станем жить, как устроим наше гнездышко. Я рассказывал ей об Эквадоре. Мы знали, что не можем иметь детей, но ведь можно взять ребенка на воспитание. На свете столько бедных несчастных сироток, которым не грех подарить капельку любви. А потом... потом пора было расставаться. Когда я провожал ее до двери, мы оба рыдали. Я умолял Соню бежать со мной. Но, господи мой боже, что я мог дать ей кроме любви? Я был беден. Все полученные от Кейна деньги я вложил в акции, которые со дня на день падали в цене. Соня привыкла к роскоши. Носила одну из знаменитейших фамилий на земном шаре. Была Соней Кейн. Имел ли я право требовать, чтоб она отреклась

от своего богатства? Я жутко исхудал, потеряв в весе что-то около тридцати фунтов, костюмы на мне висели как на вешалке. Соня, разрываемая двумя противоположными чувствами — любовью и супружеским долгом, исполнения которого Кейн требовал неукоснительно, тоже была в ужасном состоянии — все чаще, не в силах сдержаться, разражалась рыданиями.

Как-то в очередном припадке истерики она рассказала мне, чего от нее требует Кейн в постели. Этот человек был мерзким извращенцем. Я хотел убить его, но Соня не позволила. Я переживал адские муки ревности, а Соня начала пить — я ее понимал. Она не в состоянии была, да и не хотела отказаться от великой любви, но в то же время боялась упустить причитающуюся ей долю богатства Кейна и в особенности часть его легендарной коллекции бриллиантов. Соня страшилась мести старого деспота. Она прекрасно помнила свое детство. Грязное корыто и вкус разваренных картофельных очисток. Время шло. Я не знал, что предпринять. В голову то и дело приходила мысль о самоубийстве. И тогда само небо послало нам выход.

Замок подвергся сущему нашествию крыс. Кейн приказал с ними покончить. В неимоверных количествах был закуплен стрихнин. И тогда я сказал Соне: это наш последний шанс. Соня долго сопротивлялась, твердя, что я сам учил ее десяти заповедям. Не хотела брать грех на душу, у нее были дурные предчувствия. Я горячо убеждал ее, что поступок, совершенный во имя большой любви, никакое не преступление, что мы исповедуемся, покаемся, и милостивый Господь наверняка нас простит. В конце концов она признала мою правоту. Неделей позже она возвращалась от меня, неся под шалью полную баночку отравы.

Спустя день после оглашения результатов лотереи Соня приготовила мужу его любимое блюдо — венгерский гуляш с клецками. Сама спряталась под кроватью и стала ждать. Когда начались конвульсии, она проглотила целиком всю коллекцию алмазов, четырнадцать черных жемчужин и полкило бриллиантов.

Тиран умер, но самое худшее нас еще ждало впереди. Врачи, правда, ничего не заподозрили, но береженого бог бережет. Мы решили несколько дней не встречаться. Во время погребальной церемонии я мог только издалека смотреть на Соню, бледно-зеленую от недосыпа и несварения желудка. Для меня это был ад кромешный. Вас, возможно, удивляет, зачем я признаюсь в соучастии в убийстве. Сейчас это не имеет уже никакого значения. Доказать ничего не удастся. Кейна кремировали, а прах его развеяли над пустыней. Я не испытываю угрызений совести. Ни о чем не жалею. Кейн был человеком без совести. Я его ненавидел. Но теперь я не держу на него обиды. Сейчас он предстал перед судом Божьим. Когда вскрыли завещание, оказалось, что все свое баснословное богатство Кейн отписал институтам, фондам и университетам, занимающимся проблемами моды, главным образом Гарвардскому университету, первым представившему пятилетний проект по изучению истории, эволюции и психологии моды. Остатки пошли на стипендии наиболее талантливым манекенщицам и дизайнерам, которые поведут за собой мир в XXII век. А замок он распорядился отдать под музей его памяти. Соне этот подлец назначил только скромное ежемесячное содержание. Но наше будущее было обеспечено, во всяком случае мне тогда так казалось. Исчезновения коллекции в тогдашнем балагане никто не заметил.

И это почти уже все. Мы с Соней договорились встретиться на аэродроме: не случайно ее любимейшим фильмом был "Касабланка". Я взял два билета на последний самолет. Ей — в первом классе, себе в целях конспирации — в экономическом. Кто-то мне сказал, что видел ее в аэропорту задолго до отлета, кто-то утверждал, что она давным-давно улетела, и только потом мне сообщили: ничего она не улетела, а, вспомнив о чем-то важном, вернулась домой. Однако в этом жутком хаосе никто ничего не знал наверняка.

Остальное вам известно. Я долго не мог допустить даже тени этой мысли, но настал час взглянуть правде в глаза. Эта шлюха меня надула. Наверняка она улетела на предыдущем самолете. И с драгоценностями в брюхе теперь отплясывает самбу на карнавале в Рио. Но я ее из-под земли достану!

## Рассказ Кубы

О святая Дева Мария, как я в душе благодарил Бога, что кухарка не подала, как намеревалась, для украшения стола свинячье рыло. Если бы Педро узнал его, мне бы несдобровать. В конце концов, что ни говори, это был эквадорец, способный на все! А так Педро встал из-за стола, ничего не заподозрив, да как заорет — кухарка с детворой, которые уже видели десятый сон, приоткрыли глаза, правда ненадолго.

А Педро как ни в чем не бывало сорвал с себя и швырнул на пол пиджак, разодрал на груди черную рубашку, чуть ли, кажется, не из шелка, и тут обнаружилось, что все это время он был обмотан железной цепью. Одним махом размотав ее (размазав попутно остатки холодца), он треснул кулаком по столу. А потом повторил еще раз, только совсем тихо да так страшно, что меня мороз продрал по коже:

— Ну, погоди, — я тебя из-под земли достану. Найду, хоть всю жизнь придется искать. — И не попрощавшись и не поблагодарив за ужин, двинул, пошатываясь, похоже, снова в сторону бывшего аэропорта. Я даже пожалел его — ну как он мог ее найти? Однако какой смысл что-то объяснять молодому да вдобавок влюбленному мужчине, у которого каша в голове и ни одной реальной идеи. Еще раз издалека донесся звон цепи, хриплый возглас "Соня!", и только я его и видел.

Отогнав грустные мысли, я попытался растолкать спящую кухарку, чтобы по случаю бракосочетания исполнить свои супружеские обязанности. Но куда там, она храпела как убитая. Я было примерился, чтоб взвалить ее на плечи и доставить на супружеское ложе. Но она оказалась тяжеловата, и я махнул рукой — ладно уж, впереди целая прекрасная совместная жизнь, еще натаскаюсь. Неуютно, правда, было лежать одному, но особо долго я не горевал: глядя, как все сладко спят, почувствовал, что меня самого разбирает, и вскоре провалился в глубокий сон.

Сколько я спал, точно сказать не могу, но разбудил меня такой силы грохот, будто весь мир разлетался на куски. Лачугу мало что трясло — она еще скрипела и визжала как резаная. В одних трусах я кинулся к двери и вступил с ней в борьбу, потому что снаружи напирал ветер. Наконец открыл, и, о боже, — нам крупно повезло, что домик стоял на пригорке, иначе пиши пропало. На дворе бушевала буря, какой я отродясь не видывал, а поскольку вихрем снесло и так во многих местах продырявленный купол замка, то дождь лил сверху как из ведра, а в двух шагах

от меня несся, растекаясь и смывая все вокруг, бурный поток, в котором кружились диваны, сталкивались шкафы, бились друг о дружку чемоданы, напольные часы и разные другие вещи. Гремел гром, сверкали молнии, ветер свистел и неистовствовал, не давая вздохнуть. В том месте, где вчера был забор, на ящике из-под водки сидел, а точнее, плавал пудель с проволокой на шее, изо всех сил стараясь держать голову над поверхностью. По колено в воде я шагнул к нему и схватил в охапку, увернувшись в последний момент от врезавшихся в ящик стола с рулеткой и вывески "Макдоналдса". Ну, замку конец, подумал я, глядя, как вода бушует между античными колоннами, пенясь и вскипая. И вытаращил глаза: в самом центре бурлящего водоворота плясало, то погружаясь, то всплывая, самолетное кресло с Жан-Пьером и бесштанным пилотом. Ага, значит, бассейн тоже залило, и он вышел из берегов. Одним словом, чистый катаклизм, а мою должность черти взяли. Одно утешение — чек, но кто знает, не фальшивый ли он.

Из-за того, что ветер раз за разом хлопал дверью домика, я бросился обратно, подпер дверь стулом, порасставлял в тех местах, где капало с потолка, подвернувшиеся под руку посудины и подумал, что ничего не остается, кроме как сдаться на божескую милость. Может, как в Египте, праведники спасутся. Духу мне придало то, что кухарка и вся ребятня, положа голову на стол, словно овечки, доверчиво и крепко спали сном, который дает только и исключительно чистая совесть. Я тоже влез под перину, ну и что с того, что на дворе свищет и гудит, когда вокруг меня разливается благословенное тепло. Раз-другой зевнув, я рассмеялся: теперь у меня есть собственная жена, согнал пуделька, который, весь мокрый, норовил залезть на кровать, и, забив на все, заснул.

Кухарка не дала мне отоспаться, растолкала и принялась накладывать на тарелку, одетая в модную блузку — в такой только позировать. Я недолго думая попытался вместо завтрака затащить ее под перину, но она дала мне по рукам — мол, двенадцать на часах, белый день, не время для баловства. Надо как следует подкрепиться и подумать о будущем. А я ей на то: чего там думать? Будущее так и так никуда не денется — и опять тяну ее в постель. Но она отбилась, тогда я влез в свадебный костюм, снова аккуратно отутюженный — вот что значит женщина в доме. Закусил ветчинкой с прожилочками сала, заел свиным рулетом, припрятанным от Педро, запил "Абсолютом" и, жмуря глазенапы, выполз на двор.

А было от чего зажмуриться. На лазурном, аж сердце заходилось от радости, небе светило яркое солнышко, издалека доносилось что-то вроде а-ля птичий гомон. В том месте, где курсировал по насыпи поезд, текла прозрачная речка, а на бережку шустрые сорванцы в надежде наловить рыбки повтыкали самодельные удочки, смастерив их из прутиков и веревок с крючками. Я бросил взгляд вдаль, но долго и смотреть не хотелось. О самом замке лучше не говорить. Из земли торчала занесенная илом остроконечная верхушка вроде бы пирамиды, а дальше куда хватало глаз то здесь, то там из ила или из тины чего только не выглядывало. Как, например, мраморный лев без передней лапы, стоявший у казино, банковская вывеска или ресторанный столик, кстати сильно обгоревшие — из-за аварий в электросети ночью, должно быть, полыхнул огонь, пока его не притушило водой. В общем, тяжко было глядеть на эту разруху, ниспосланную самим Провидением, и тут меня словно толкнуло. В метрах двадцати сразу за львом в илистой грязи торчало что-то знакомое. Я скинул ботинки, стянул носки, подвернул штанины, воору-

жился лопатой и, босиком прошлепав по чавкающей грязи, принялся откапывать. Вскоре никаких сомнений не осталось. Из-под завалов болотной грязи на божий свет появился железный плуг во всей своей красе. Водоворотом взбесившейся реки, ночью, наверно, пронесшейся по музею старинной техники, его прибило сюда, к самому дому. Вот вы, уважаемый, что бы подумали на моем месте, как не то, что это перст божий? Ясно как день: Провидение, покарав здешние Содом и Гоморру, появлением этого плуга как бы подавало мне знак, чтобы я начинал все от начала. У меня прямо гора с плеч свалилась, потому что, честно говоря, в голове не было ни одного готового ответа на вопрос, что и как делать дальше. Выходило, что я в этом месте в качестве ночного сторожа ни богу свечка, ни черту кочерга. А коли так, то перед глазами у меня как зачарованные встали родные поля со жнивьем и уроки катехизиса.

Подготовив плуг для работы, я, как сумел, смастерил из кожаных ремешков упряжь. Кухарка поначалу крутила носом, но потом дала себя запрячь. Запустив лемех поглубже в паркет, я присвистнул, и кухарка потянула. Пахал я пока без семян, только чтобы на чужой стороне добраться до земли-матушки, взрыхлить все наново. А пахал я, отдаваясь этому делу и телом и душой. Отвалил первый пласт паркета, потом второй. И знаете что? Пуделек вдруг как прыгнет в борозду — задрал хвост, напружинился, начал тужиться так, что больно было смотреть, и тявкнул каким-то не своим, не собачьим голосом. Я было подумал, подыхает, но нет. Пуделек начал облегчаться прямо в борозду, совсем как лошади в родимой сторонке. А теперь внимание: из задницы у него поперло что-то блестящее.

***

Некоторое время мы сидели молча. С океана налетел ветер. Покружил возле Линкольн-центра, раскачал тяжелую железную урну, из какого-то окна даже брызнуло осколками стекол. И унесся в Верхний Манхэттен, а из "Фьорелло" высыпали пятеро официантов и давай поспешно складывать двенадцать огромных зонтов. Чернявый официант, прилизанный, с сережкой в ухе, подскочил к нам и стал уговаривать пройти внутрь, но ни я, ни Куба и не подумали сдвинуться с места. Официант, пожав плечами, вытащил из ведерка пустую бутылку "Шопена", деловито оглядел и, не спрашивая, поменял на новую.

— То есть пудель облегчился коллекцией Кейна, так получается?

Куба кивнул.

— Потому что сожрал потроха. Бог не дал в обиду католика. Чек-то, сами понимаете, мне пока не удалось обналичить.

Куба наполнил стаканы, и мы выпили, у него пошло гладко, а мне не повезло. Перестав кашлять, я перевел дух и вытер навернувшиеся слезы. Куба сказал:

— Кухарка хотела раскроить собачку пополам, но мне подумалось: времена смутные, лучше держать драгоценности в пуделе, а он понемногу будет их выдавать.

— Так что же вы намерены делать дальше?

Он задумался.

— Ну, после того как я вспахал и засеял, сперва подумывал, не открыть ли винный магазинчик в Грин-Пойнте или, может, поехать в

Польшу и выставить свою кандидатуру в президенты. Но на кухаркин "лэптоп" пришел e-mail с предложением поработать ночным сторожем в Нью-Йорке. Так я, это, привел в порядок "роллс-ройс", приспособил к нему прицеп, загрузил плуг, кухарку, ребятишек и вот только что прикатил.

— А кем предложение подписано? — недоверчиво спросил я.

— А я знаю... вроде бы мэром.

— Бумага у вас с собой?

— Кухарка хранит в лифчике, я ее с детьми на парковке оставил, а сам загнал один камушек знакомому еврею с Тридцать четвертой улицы. Я у него как-то ремонт делал. Заплатил он мне по-божески. А еще один камушек я с ходу оправил, только тесноват перстенек, впивается. — Он покрутил перстень на толстом пальце — бриллиант радужно засверкал.

— Пан Куба, — сказал я, помолчав, — я тоже хочу рассказать вам свою историю.

Куба кивнул, я набрал в легкие воздуху, но тут началось. Ураганный ветер обрушился на нас со страшным гулом. Огромный зонт сорвало с подставки, закружило над Бродвеем, и он рухнул в самую гущу машин. Пустые столики и стулья заплясали по земле, сбились в беспорядочную кучу, и их подняло на воздух, а земля под ногами задрожала. Прямо на нас неслись четверо мотоциклистов в блестящих защитных шлемах.

Уцепившись за пожарный кран, я подумал, что это, наверно, то самое землетрясение, которым нас уже давно пугали, а потом — что так или иначе все это плохо кончится, поскольку ветер отрывал меня от крана и руки вряд ли долго бы выдержали. Тут надо мной пронеслись в воздухе два железных мусорных контейнера, овчарка в намордник и шикарно одетая пара — похоже, представление в Метрополитен уже закончилось.

Откуда-то, видно там, где оборвало электросеть, бухнуло пламя. Краем глаза я увидел, как огромная стеклянная стена Метрополитен, в которую угодило контейнером, обрушилась, и парящие персонажи Шагала смешались с летящими в сторону Верхнего Манхэттена живыми людьми. Это конец, подумал я и закрыл глаза, но тут меня подхватили крепкие руки, и я почувствовал здоровый запах пота.

— Ничего не бойсь! — проорал мне в ухо Куба, перекрикивая ураган. — Со мной не пропадешь!

Боже мой, неужто это и есть последний праведник, пронеслось у меня в голове, и я покрепче за него ухватился.

# Луиджи Малерба

# *Гранада–клуб*

**Роман**

*Перевод с итальянского* **Ф. Двин**

**“СОЛЬ земли” – так говорят, имея в виду нечто ценное, некий дар Небес во благо и во славу человека. Какое ложное определение, сколько обмана в этих коротких словах! В конце осады, совсем уничтожив город, победитель в знак проклятья посыпал его руины солью, чтобы он никогда больше не возродился. Нет более сомнительного выражения – особенно здесь, на этой иссохшей и каменистой земле с безлюдными холмами и невысокими горными цепями, которые протянулись между Мурсией и благородной Гранадой – двумя городами, и по сей день, спустя столько веков, сохраняющими множество следов арабского присутствия.**

**Так и кажется, что красноватая земля и скалистые породы, из которых сложены холмы к западу от Мурсии, порожденные яростным возмущением морского дна и вынесенные на поверхность от начала веков, до сих пор пропитаны солью и потому лишены какого бы то ни было растительного покрова. Вот почему выражение “соль земли” здесь равнозначно словам “про́клятая земля”.**

**Гранадская Альгамбра – самый крупный арабский комплекс во всей Испании (в путеводителях ее называют даже самым крупным в мире) и лучше всего сохранившийся до наших времен. Мы до сих пор еще можем восхищаться ажурными, пропускающими свет и воздух куполами и помещениями, которые хорошо вентилируются благодаря окнам и**

© 2002 Arnoldo Mondadori Editore S. p. A., Milano
© Ф. Двин. Перевод, 2003

оконцам, глядящим на все четыре стороны света. И еще арабы расположили центральные улицы Мурсии зигзагами, чтобы пешеходы, куда бы они ни направлялись, могли хоть на время спрятаться в тени. А сколько еще всяких ухищрений придумали они, чтобы укрыться от жары. В Мурсии знойным летом (а лето в этом городе всегда знойное) между высокими окнами от одного дома к другому протягиваются toldos — широкие конопляные полотнища, затеняющие улицу и не дающие солнцу раскалять белоснежные известняковые плиты мостовой.

Несмотря на соль, которая иссушает холмистую местность на протяжении всей сотни километров, отделяющих Мурсию от Гранады, отдельным чахлым дубкам и изредка встречающимся кустам боярышника и дикого можжевельника (возможно, выросшим из семян, оброненных птицами) за долгие годы все же удалось пробиться на свет. В декабре 1875 года после бурных республиканских перипетий была восстановлена монархия. Трон занял Альфонс XII. Считалось, что у него дурной глаз, и потому злые языки утверждали, что именно новый монарх виноват в страшнейшей засухе: за четыре года во всей этой области не выпало ни единой капли дождя. За четыре года на холмах, прозванных с тех пор Солеными Землями, не выросло ни травинки, подохли или уползли оттуда даже змеи, ящерицы и тараканы, а тараканы, самые древние и выносливые существа во всем животном мире, появились на свете гораздо раньше человека, быть может даже до сотворения мира, ибо трудно представить себе, чтобы Господь стал тратить время на размножение столь мерзких и бесполезных насекомых. Так вот, и они покинули Соленые Земли, сожженные засухой и обезвоженные.

На широкой полосе земли вдоль реки Гуадалентин когда-то выращивали оливы, а поближе к воде там росли фасоль, капуста, пшеница, овес, вика и люпин. Из вики и люпина выпекали черный и твердый, как камень здешних холмов, хлеб: в неурожайные годы, прибиваемые сухим и пыльным африканским ветром солано овес и пшеница осыпались и погибали, а вика и люпин выстаивали и спасали людей от голода.

После четырех лет библейской засухи на этой земле уже не выращивали ни овес, ни горошек, а капусту и фасоль тем более. Оливковые деревья были еще живы, но на них росли лишь мелкие сморщенные плоды, из которых выжимали ничтожно малое количество кисловатого масла. Глинистая почва покрылась глубокими трещинами, а травы, росшей по берегам реки, не хватало на прокорм овцам и козам, дававшим шерсть и молоко голодным людям. Местные крестьяне сначала влезли в долги к гранадским ростовщикам, слетевшимся сюда как стервятники, и в конце концов покинули свои дома и поля и перебрались в поисках работы в город.

Большинство брошенных домов захватили бандиты: было удобно нападать из этих укрытий на путников и грабить их на дороге, тянувшейся по долине вдоль реки и связывавшей Мурсию с Гранадой. Когда-то по этой дороге двигались фуры и телеги с плодами земли, но за четыре года засухи ею перестали пользоваться почти все, кроме бродячих торговцев шелковыми тканями, кожаными изделиями, коврами и керамикой, которые развозили свой товар между Гранадой и Мурсией. Благодаря близкому картахенскому порту оттуда можно было поддерживать связь и торговлю со всеми портами Средиземноморья.

Но, опасаясь бандитов, некоторые торговцы, направлявшиеся в Мурсию, предпочитали избегать долины реки, а передвигались по ста-

рой объездной дороге, пересекавшей холмистую и пустынную зону Соленых Земель. Это было очень трудное путешествие: по пути там не встречалось не единого дававшего тень дерева, ни единого источника, где можно было испить глоток воды или ополоснуть лицо. Там негде было укрыться от солнца и налетавших внезапно порывов раскаленного африканского ветра, гонявшего тучи красной пыли. Зато верхняя часть Соленых Земель не кишела бандитами, которым здесь негде было укрыться, чтобы совершать свои внезапные набеги. Иногда такие набеги позволяли себе лишь бандиты, имевшие лошадей, но обычно они дожидались окончания ярмарки Сан-Исидро, когда продавшие товар торговцы или скотоводы возвращались из Мурсии с деньгами.



Верховых бандитов было мало, но они отличались страшной жестокостью и никогда не оставляли своих жертв живыми. Убитых торговцев раздевали догола, а чтобы их труднее было опознать, всю одежду ограбленных сжигали. Обнаженные трупы иссушало солнце или расклевывало издалека чуявшее дух мертвечины воронье.

***

В июле 1876 года буквально на протяжении нескольких дней сначала в Гранаде, а затем в холмах на дороге неподалеку от Мурсии произошло два убийства, имевших отношение к одному и тому же ограблению. В газетах были широко освещены оба эти события с описанием мельчайших подробностей. По правде говоря, описания эти в известной мере были плодом слишком живой фантазии некоторых репортеров, не очень заботившихся о том, чтобы отличить правду от правдоподобия.

Примечательно, что таким политическим событиям, как провозглашение Республики и последовавшее вскорости восстановление монархии с возведением на престол Альфонса XII, в гранадских газетах не было уделено так много места, сколько заняли на первых страницах эти два страшных события. Надо заметить, что главное — отводилось похищению сокровищ Гранада-клуба, и не столько из-за убийства ночного сторожа, сколько из-за самого́ небывалого факта ограбления.

Членами этого клуба были гражданские и военные тузы Гранады, богатые лица свободных профессий — в большинстве своем масоны — и, конечно же, предприниматели и землевладельцы. На протяжении многих лет самые зажиточные семьи города вкладывали свои доходы и сбережения не в Бискайский банк, который в результате этого переживал кризис и намеревался даже закрыть свое местное отделение, а в кассу Гранада-клуба, гарантировавшего выгодные капиталовложения. Если заманчивых финансовых сделок не было, доверенное лицо клуба ежемесячно отправлялось в Лондон, чтобы обменять лежавшие в кассе Гранада-клуба хилые песеты на блестящие и звонкие фунты стерлингов.

Все знали, что самым выгодным делом были не инвестиции в городское хозяйство, а главным образом секретные займы под грабительский процент попавшим в трудное положение предприятиям, пострадавшим от засухи земледельцам, оказавшимся на пороге разорения мелким коммерсантам, частным лицам, спустившим деньги за игорным столом или потратившим их на женщин и лошадей. Хранение большого количества золотых монет в сейфах клуба могло бы свидетельствовать о легкомыс-

лии и неосторожности, но кому пришло бы в голову, что кто-то осмелится посягнуть на святая святых Гранады.

Как раз накануне ночного ограбления финансовый комитет клуба собрался на одно из своих совещаний в Альгамбре. Финансирование реставрационных работ грандиозного арабского комплекса давало право финансовому комитету клуба, состоявшему из восьми пожилых его членов, закрыть доступ посетителям в сады Хенералифе, откуда открывался чудесный вид на окрестности и где они собирались каждую вторую пятницу месяца, чтобы решать вопрос об инвестициях.

Вот и в эту пятницу восемь пожилых членов финансового комитета, именовавшихся в городе старейшинами, медленно прошествовали по древней Аламеде — широкой ведущей в гору аллее, обсаженной тенистыми кипарисами. Добравшись до вершины холма Альгамбры, они сняли башмаки и чулки, закатали штанины и расселись на бортике бассейна Хенералифе, погрузив ноги в прохладную проточную воду, покрытую рябью фонтанчиков там, откуда она вливалась и выливалась. Здесь они принимали важные решения относительно городских дел, которые после ночного ограбления конечно же теряли всякий смысл.

На этот раз планам восьми членов финансового совета Гранада-клуба (речь шла о строительстве детского сада и крытого рынка, о мощении одной из городских площадей и установке новых газовых фонарей для освещения центра) суждено было остаться пустыми словами. На собрании, естественно, совершенно не упоминались самые доходные вложения хранящихся в клубе денег, то есть займы под грабительский процент. Для осуществления сделок такого сорта комитет пользовался услугами внешних агентов, которые тоже оперировали деньгами клуба, но скромно держались в тени.

***

Омеро Луис Молина был торговцем, вернее говоря — бродячим коробейником, который ходил по домам, предлагая женщинам разноцветные ленты, нитки, пуговицы, английские булавки, иголки всех размеров, а мужчинам — пакетики бумаги для самокруток из крепкого крошеного табака, продававшегося в лавках. В июле 1876 года Омеро Луис Молина решил отправиться на ярмарку в Мурсию, чтобы продать оставшиеся у него мелочи и запастись новым галантерейным товаром, который потом можно было бы сбыть в окрестностях Гранады, в переживших засуху деревнях. Решение это он принял с задумкой, которая могла бы совершенно изменить цель его путешествия, но которую он до поры до времени предпочитал отгонять даже от самого себя.

Устраивая стоянки у крестьянских домов, Омеро Луис всякий раз старался совращать молодых одиноких — красивых или некрасивых — женщин и, похоже, накладывал лапу не только на них, но и на кой-какие вещицы из золота — металла, который на Омеро Луиса действовал не менее притягательно, чем женщины. Поговаривали, что прикосновение к золоту доводило его чуть ли не до оргазма.

Тем же летом 1876 года Мариана Лопес направлялась в Мурсию, где жила ее сестра, чтобы начать, как она говорила, новую жизнь. Мариана не выносила одиночества ни днем, ни ночью и путалась с мужчинами

разного возраста и разного общественного положения – в общем, с кем придется. Этот horror solitudinis[1], как считал дон Элпидио, ее священник и духовник, стяжал девушке дурную славу в Гранаде и ее окрестностях. Несмотря на то что она была еще молода и хороша собой, вряд ли ей удалось бы теперь найти себе мужа в здешних краях, вот почему сестра согласилась прийти ей на помощь при условии, что она переедет в Мурсию с твердым решением изменить свой образ жизни.



Первый отрезок пути в Мурсию Мариана Лопес проделала в компании ломового извозчика, перевозившего древесину, и два дня и одну ночь провела с ним на ложе из кипарисовых досок, издававших сильный и возбуждающий смолистый запах. Добравшись до трактира "Стеллетта" в Велес Рубио – деревеньке на самой границе Соленых Земель, ей пришлось расстаться со спутником и идти дальше пешком, так как возчик закончил свою поездку и разгрузил доски в заказавшей их плотницкой мастерской.

Трактирщица из "Стеллетты", здоровенная баба, отдававшая свои ночи и постель в распоряжение клиентов, сразу же проявила качества сводни, сказав девушке, что ей было бы неплохо проделать остальную часть пути с пригожим бродячим торговцем, направлявшимся в Мурсию на ярмарку Сан-Исидро. Этот торговец, по словам трактирщицы, пришел накануне вечером из Гранады со своим ослом (оба они так запыхались, словно всю дорогу бежали), а здесь рухнул на постель, не выпуская из рук два ящика – таких тяжелых, что под ними едва не треснули старые изъеденные жучком доски кровати. Он проспал всю ночь, а потом и утро – до самого полудня.

На следующий день, едва торговец показался на пороге комнаты, Мариана Лопес по совету трактирщицы подошла к нему и спросила, не может ли он взять ее в попутчицы. Омеро Луису Молине просьба молоденькой Марианы пришлась по душе, но он тотчас предупредил ее, что предпочитает передвигаться ночью, так как избегает дневной жары. К счастью, добавил он, сейчас полнолуние и дорога освещена как днем.

Поначалу Мариана насторожилась, потому что для нее ночь была временем, которое она проводила с мужчиной, когда они, оба голые, занимались на кровати тем, что подсказывали им желания. Ей же они подсказывали единственное, чему она научилась с шестнадцати лет – со всеми вариациями, которыми одарили ее опыт и фантазия. Обычно Мариана имела дело с солидными мужчинами, ей не нравились малоопытные мальчишки, которых приходилось всему обучать, и еще она не любила тех, кто требовал совсем уж невозможного. Мариане нравилось забавляться в разных позах, но так, чтобы это не шло против природы, наделившей ее необыкновенным орудием получения удовольствия. Больше всего она ненавидела насилие, связывание, избиение хлыстом, царапанье, укусы и наркотики.

Мариана была религиозная девушка и неизменно ходила в церковь исповедоваться в своем грехе, но ей приходилось обращаться к трем духовникам из трех разных церквей, поскольку дон Элпидио предупредил, что если она будет продолжать в том же духе, то он больше не станет отпускать ей грехи и наложит на нее такую епитимью, что ей придется все ночи напролет не развратничать, а молиться.

1. Страх одиночества (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Встретившись по подсказке трактирщицы с торговцем, Мариана хорошенько оглядела его и подумала, что его возможные намерения позабавиться с ней вполне могли бы удовлетворить ее ненасытные ночные желания. Она даже не подумала спросить, попадется ли им по дороге на Мурсию какой-нибудь трактир с парой чистых простыней, но знала, что в любом случае жажда любви не ведает преград.

Они пустились в путь перед самым закатом: Омеро Луис Молина, его тяжело навьюченный осел и Мариана Лопес, прихватившая с собой лишь узелок с легким платьицем и смену белья, которое ей будет нужно, когда она устроится у сестры. Мариана не взяла с собой ничего ни попить, ни поесть, и когда Омеро Луис сказал ей, что на пути в Мурсию не будет ни трактира, ни даже крестьянской лачуги, где можно попросить глоток воды, она хотела вернуться обратно, чтобы запастись чем-нибудь в кладовке "Стеллетты".

Омеро Луис сказал ей, что охотно поделится с ней своим хлебом, колбасой и вином, но, если она вернется назад, ждать ее он не будет, так как хочет добраться до Мурсии по холодку: по возможности еще до рассвета или с первыми лучами солнца. Так они и тронулись в путь — он впереди, она — отставая от него на шаг.

***

Они шли по пустынной местности в Соленых Землях уже несколько часов, как вдруг Омеро Луис Молина стал озираться по сторонам, обнаруживая явные признаки беспокойства. Он часто моргал и хлопал себя по ушам, словно хотел отогнать несуществующих мух. Мариана смотрела на него, ничего не понимая, но не хотела задавать вопросов, чтобы не надоедать спутнику. Она тоже огляделась вокруг, пытаясь понять причину беспокойства Омеро Луиса, но не заметила ничего необычного. Местность была пустынная, без единого дерева или куста, а при холодном свете полной луны казалась еще более унылой. Но даже такая вот, почти мертвенная, иссохшая и голая земля обладала каким-то своим, странным очарованием. Спроси кто-нибудь Мариану, как она находит этот пейзаж, девушка безусловно и вопреки всякому здравому смыслу ответила бы, что он красив. Может быть, даже очень красив.

Но что видел или слышал Омеро Луис? Торговец вдруг остановил осла, на спине у которого высилась тяжелая кладь, и встал как вкопанный под полной луной, отбрасывавшей на дорожную пыль его тень, трепетавшую, как призрак на ветру. Знаком Омеро Луис велел Мариане тоже остановиться и прислушался.

Нет, он не ошибся, издалека до него доносился лай собаки, которому с противоположной стороны, как далекое эхо, вторил лай другой собаки.

— Говорят, что ночью звуки разносятся в воздухе быстрее и слышны явственнее, чем днем, — сказал Омеро Луис, — а если у тебя хороший слух, то можно даже подсчитать, сколько миль отделяет тебя от этих далеких собак. Да только лай ли это? Собаки? Собаки в здешних местах? Просто невозможно.

— Если ты их слышишь, значит, возможно, — сказала Мариана. — Или ты хочешь сказать, что не веришь своим ушам? Это ты хочешь сказать? Что не веришь собственным ушам?

Омеро Луис поворачивался во все стороны, склонял голову то к одному, то к другому плечу и никак не мог поверить.

— Эта история с собаками — самая нелепая из всех, какие только случались с ушами Омеро Луиса. Не знаю, что это — наваждение или чудо, посланное небесами?

— По правде говоря, лающие собаки, по-моему, не наваждение и никакое не чудо, — сказала Мариана Лопес, — просто все собаки лают.

— Что делать собакам в этой пустыне? Когда я что-то не могу объяснить, я голову ломаю, чтобы отыскать причину. Я очень уважаю Господа Бога, но если это его работа, то не пойму, зачем он тратит свое время на то, чтобы устраивать такие шутки с нашими ушами.

— Какие шутки?

— Я о собаках. Ты не слышишь, как они лают?

— Ну и что? Может, это мой недостаток, но я их не слышу. Да только всем известно: на то они и собаки, чтобы лаять. Что ж тут странного?

— Странно то, что здесь, в Соленых Землях, нет ни единого дома на расстоянии пятидесяти миль, значит, и собак здесь быть не может. Собаки бывают там, где есть люди, их друзья, даже поговорка такая есть, что человек верный друг собаки. Друзья там или враги, но собак в этой пустыне быть не может.

— А если это бродячие собаки? — сказала Мариана. — Бродячим собакам тоже ночью лучше, как и нам, ночью они лают на луну. Смотри, какая луна.

— Ну если так, то я тоже бродячая собака, но у меня свои причины идти ночью по этой дороге под этой луной. Нет, бродячие собаки ничем не отличаются от других собак. Только вместо того чтобы держаться одного дома и одного хозяина, который заботится о ней и кормит ее, бродячая шатается от дома к дому, выпрашивая куски совсем как милостыню. Но здесь нет домов, а значит, нет людей, так что нет и собак. В этом-то все и дело.

Какое такое дело? — подумала Мариана. Ей, конечно, не понравилось, что Омеро Луис назвал себя бродячей собакой. Что он имел в виду? Что хватает все, что ни подвернется под руку? У бродячих торговцев дурная слава, потому что где бы они ни проходили, всегда жди от них какого-нибудь вреда. Они совращают женщин, если те одни дома, а если и не совращают, то во всяком случае пытаются совратить. Но вот ей, подумала Мариана, Омеро Луис не сделал никакого предложения, хотя она ожидала его, а в глубине души и желала. Правда, и мужчинам бывает иногда не до того, но такое полное равнодушие ее как-то даже обидело.

— Вот интересно, — спросила Мариана, — почему ты придаешь такое значение этим собакам? Ну лают они, и пусть себе лают.

— В здешних местах не сыщешь даже ящерицы, что же тогда едят эти собаки?

Омеро Луис опять остановился.

— Слышишь, как лают, проклятые? Это ночное наваждение, прямо как к заднице прицепилось. Черт возьми! Метафизика какая-то!

— Как ты сказал? Это еще что за слово?

— Я сказал, что история с собаками — какая-то чертова метафизика.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать этим чудны́м словом. Никогда в жизни его не слышала.

Омеро Луис улыбнулся с довольным видом. Он ждал, что Мариана удивится, и был готов объяснить ей, что к чему.

— Да это же просто: слова, если взять их отдельно одно от другого, ничего не значат. Мы сами придаем им смысл. Я сказал "метафизика"? А ты возьми и придай ему какой хочешь смысл.

— По-моему, это просто ерунда. Глупостью больше, глупостью меньше, ничего что-то не понимаю. Может, объяснишь получше, пока мы тут шагаем?

Значит, по мнению Марианы, это ерунда. Омеро Луис на мгновение закрыл глаза, чтобы получше сосредоточиться на этом слове.

— Если я говорю "лошадь", ты знаешь, что означает это слово, но когда его придумали впервые, оно не означало ровным счетом ничего. Тогда было решено окрестить им животное, которое теперь мы все так и называем.

Мариана с трудом сдержала смешок.

— Почему ты смеешься?

— А что, если бы ее назвали "кошкой"?

— При чем здесь это? Сейчас кошка — это кошка, а лошадь — это лошадь. Но если мы поедем в Германию, то увидим, что лошадь там называется совсем по-другому. По-другому ее назвали и во Франции, и в Италии, и в Китае, хотя животное везде одно и то же.

— Кто тебе втемяшил это в голову?

— Знаешь что? Бродячие торговцы ходят пешком в одиночку, и у них хватает времени подумать о многом. Одна мысль тянет за собой другую, и в конце концов в голову приходят соображения вроде того, что я сказал про "лошадь". В общем, да будет тебе известно, что, постоянно думая, Омеро Луис стал немного философом.

— Мне кажется, кто-то все же помог тебе подумать, например, о том, что лошадь в Китае называют по-другому. Ну что ты знаешь о Китае?

— Одни люди думают о вещах, другие — о словах. Вещи я покупаю и продаю, а слова обдумываю. Слово "Китай", например, тоже. Для меня, да и для тебя Китай — это всего лишь слово.

— Только не говори, что такие трудные слова, как "метафизика", ты сам придумал, шагая по деревенским дорогам.

— Кое-каким словам меня научил один гранадский профессор, у которого я работал садовником еще до засухи. Но про Китай я придумал сам. Профессор жил в красивом особняке неподалеку от Гранады, а в саду у него росли тысячи разных кустов и цветов, которые он выписывал из Африки и даже из Китая и Японии. Каждое утро он обходил свой сад и разговаривал с цветами; но он не был сумасшедшим. Когда наступила засуха, у него постепенно стал гибнуть весь сад — цветы, деревья, кусты. И тогда он с отчаяния отравился, поев цветов дурмана. Однажды утром я нашел его на кровати: он был твердый и холодный, как гвоздь. Вся его мудрость улетучилась. Ну разве это не самый глупый способ умереть?

— Умереть, по-моему, всегда глупо, но умереть от цветов, пожалуй, не так уж и глупо, — сказала Мариана.

— После этого я и стал ходить по деревням и продавать всякий галантерейный товар женщинам. От этого профессора я научился немногим вещам, но многим словам. Я записал их в тетрадку, но самые красивые держу в голове. Например, слово "метафизика". Оно мне нравится, звучит хорошо и придает вес тому, что говоришь.

— И потому ты суешь его куда надо и куда не надо.

— Некоторые слова соответствуют предметам или животным, ну вот, например, "лошадь", и ими пользуешься по назначению. Но бывают

также отдельные слова, которыми можно пользоваться более свободно, ну как вот этой "метафизикой". Такие слова подходят для разных случаев. Особой необходимости в них нет, но они придают немного больше смысла тому, что ты говоришь.

Мариану увлекли эти странные рассуждения Омеро Луиса; она даже поверила ему, что некоторые слова можно использовать свободно, без всякого ущерба, именно так, как говорит торговец. Куда труднее выносить эти его странные фантазии насчет собак, лающих на луну, этих далеких собак, засевших в сознании торговца под воздействием полнолуния.



История с собаками с самого начала не понравилась Мариане, она считала, что тут Омеро Луис преувеличивает. Хоть бы он перестал цепляться к этим далеким собакам, которых, может, и вовсе не существует. Просто обидно, что такой стройный и решительный мужчина предается всяким бессмысленным фантазиям вместо того, чтобы заняться ею. Девушка пыталась обгонять его, так как знала, что, если посмотреть на нее сзади, ее походка может навести на кой-какие мысли. Тем более что ночь в этом деле помощница, думала Мариана.

Но Омеро Луис напряженно ловил все новые сигналы, которые, как он полагал, доносят до него невидимые потоки ночного воздуха. Это были завывания, доносившиеся издалека с одной стороны и как бы отвечающие им завывания — с другой, и еще завывания более близкие и грозные, накладывающиеся на те далекие.

Загипнотизированный этим концертом собачьих голосов, на глазах удивленной Марианы, которая ничего не слышала, Омеро Луис внезапно расслабился, протянул дрожащие руки вперед, словно хотел схватить ими воздух, постоял так неподвижно несколько мгновений и вдруг издал долгий воющий звук, подняв глаза к полной луне, лившей холодный свет с неба. В гулком ночном воздухе казалось, будто завывание Омеро Луиса уносится вдаль, а затем завивается звуковой спиралью, которая постепенно удаляется и угасает, как далекое эхо.

Мариана испуганно смотрела на него. С чего это ее попутчику пришло в голову так завывать? Может, он пошутил, чтобы напугать ее? Но нет, это была не шутка: его напряженный и отсутствующий вид показывал, что он не владеет собой. Она слышала о лунатиках, которые бродят ночью по крышам, протянув руки вперед, совсем как Омеро Луис. Он что, лунатик? Да нет, лунатики не воют, как собаки, скорее даже как волки.

— Прекрати, пожалуйста! — крикнула Мариана Лопес.

Торговец даже не обернулся, словно вовсе ее не слышал.

— Да перестанешь ты?

Но и на этот раз Омеро Луис не обратил на нее внимания. Он набрал полные легкие воздуха, снова уставился на луну и издал вой, разнесшийся далеко окрест и замерший где-то вдали.

На этот раз Мариана испугалась по-настоящему. Она подошла к Омеро Луису и изо всех сил дернула его за руку.

— Ну хватит уже!

Но не успела она даже окончить фразу, как Омеро Луис обернулся к ней, рыча и оскалив зубы, как бешеная собака. Мариана в страхе отскочила, а торговец вновь принялся выть. Это был протяжный, нечеловеческий вой. Причем Омеро Луис все время поворачивался то в одну, то в другую сторону, словно отвечал на завывания других, далеких собак.

Мариану всю трясло, она хотела снова крикнуть Омеро Луису, чтобы он прекратил эти ужасные завывания, но от испуга у нее даже голос пропал, как бывает в кошмарных снах. Она нашла в себе силы лишь отступить на несколько шагов в сторону, потом бросилась вперед, чтобы ухватить за уздечку осла, который от испуга свернул с тропы на острые камни, где он мог упасть и покалечиться. Ей удалось затащить животное вновь на дорогу, а торговец между тем все продолжал издавать зловещий вой.

Мариана, дрожа от страха, опять попыталась воззвать к разуму торговца, не отрывавшего взгляда от луны и совершенно поглощенного своими завываниями.

— Пожалуйста, ну пожалуйста!

Омеро Луис издал еще два долгих, душераздирающих завывания, потом обернулся к Мариане, все так же рыча и скаля зубы. Девушка в испуге отступила.

— Ну хватит! Если не перестанешь, я тебе башмаком в лоб залеплю, — сказала Мариана, взяв себя в руки и пытаясь вразумить своего странного попутчика.

Внезапно Омеро Луис обмяк, его одеревенелые и вытянутые вперед руки упали вдоль тела. Тыльной стороной ладони он отер со лба пот и посмотрел на Мариану удивленным взором только что разбуженного человека. Еще пару минут он приходил в себя, затем заговорил устало, заплетающимся языком:

— Я должен был ответить этим проклятым псам.

— Да каким еще псам? По-моему, ты, с твоими философскими мыслями, сам придумал каких-то лающих собак. А я ничего не слышала, совсем ничего.

— Зато я слышал. Мои уши со всех сторон ловили завывания псов, и я должен был ответить, чтобы заставить их замолчать, не то они продолжали бы лаять и выть всю ночь.

— Нет, я больше не могу, — сказала Мариана. — Как хочешь, но я возвращаюсь назад, в трактир "Стеллетта", там хорошенько высплюсь, а потом опять тронусь в путь с кем-нибудь другим или вообще одна.

— По этой дороге одной тебе идти нельзя. Оглядись вокруг и скажи, может ли женщина, одна, куда-то идти по этой проклятой земле.

— Ну так я подожду кого-нибудь, не такого сумасшедшего, как ты. С тобой покончено, с меня хватит.

— Ты что, не поняла, что я должен был ответить этим собакам, чтобы напугать их и отогнать? Слышишь? Они уже больше не лают.

Мариана между тем пустилась в обратный путь, быстро удаляясь в сторону Велес Рубио и трактира "Стеллетта". Там уж она найдет другого торговца или кого еще, направляющегося в Мурсию.

— Не хочу больше идти с тобой. Я возвращаюсь назад в трактир. А ты можешь лаять сколько угодно.

Омеро Луис попытался вернуть ее, громко и сердито крича. Но девушка даже не оглянулась. Омеро Луис бегом догнал ее и схватил за руку.

— Это была очень глупая шутка, я перегнул палку. Просто шутка, понимаешь?

— Шутка? Нет-нет, это не шутка. У тебя было страшное лицо, ты скалил зубы и был готов укусить меня. Как бешеный пес. А изо рта у тебя воняло серой, как у волка.

— Обещаю тебе, что такого больше не будет, поверь мне. Посмотри на меня и скажи: похож я на волка?

Мариана попыталась вырвать руку, освободиться от железной хватки торговца и продолжить свой путь в Велес Рубио.

— Я хочу вернуться к трактирщице; она тоже считает тебя каким-то ненормальным и подыщет мне какого-нибудь более спокойного попутчика.

— Да забудь о ней. Разве не ясно, что ее трактир — самый настоящий бордель?

— Бордель или не бордель, а в "Стеллетте" можно и поесть, и потрахаться, и поспать. Ну и что? По-моему, ты зря к ней цепляешься, — сказала Мариана.

Омеро Луис дернул девушку за руку, чтобы она повернула в сторону Мурсии.

— Да оставь ты меня в покое. Нельзя же меня силком тянуть, как осла.

Наконец Мариана высвободила руку, но осталась стоять на месте, не двигаясь ни вперед, ни назад.

— Пойдем со мной; вот увидишь, в Мурсии Омеро Луис сделает тебе подарок. Я слов на ветер не бросаю.

— Ну так скажи, что ты мне подаришь, а то я тебе не верю.

— Решай сама.

Мариана не стала настаивать: не такая она наивная, чтобы верить его обещаниям. Бродячие торговцы славятся тем, что обещают золотые горы. Такая уж у них работа — задуривать голову бабенкам. А Омеро Луис хуже их всех.

— Ты напугал меня. Зубы оскаленные, глаза красные, как уголья, пена на губах. Шутка, говоришь? Ты ж меня чуть не укусил.

— Да ты что? Я только хотел отпугнуть собак, а получилось, что напугал тебя. Все вышло наоборот, такие вот шутки с нами ночь играет.

Омеро Луис понял, что его выходка обидела гордую Мариану. Взяв девушку за руку, он как маленькую, спокойно вывел ее на дорогу, повернул в сторону Мурсии и потянул за собой. С ней он начал свое путешествие, с ней хотел и продолжить его. Уж не понравилась ли ему эта девчонка — такая вздорная и упрямая? Вопрос, конечно, праздный, так как ему нравились все девушки, но не каждый день и даже не каждую ночь. В общем, ему надо было поразмыслить.

— Своими завываниями ты даже осла испугал: он забился в камни, — сказала Мариана. — Я снова вывела его на дорогу, не то он переломал бы ноги с такой-то тяжелой кладью. Может даже все четыре ноги, если бы я его не втащила опять сюда.

— Да, грунт здесь — одни камни и пыль, но чтобы не нарваться на бандитов на дороге вдоль реки, мне пришлось выбрать этот трудный путь по Соленым Землям, где если кто сломает себе ногу, то умрет от голода, жажды и одиночества.

— Не знаю, почему это надо ломать себе ноги именно здесь. Осла, например, ты сам напугал своим волчьим воем, иначе он не сошел бы с дороги и не застрял в этих камнях.

— Ты права, нельзя ломать себе ноги здесь — самое неподходящее на свете место. Но собаки? Ты можешь мне сказать, почему они явились лаять на луну именно сюда?

Мариане Лопес было совершенно наплевать на собак — бродячих или нет, настоящих или придуманных, ее беспокоил попутчик, который чуть умом не тронулся под этой луной.

— Я слышала, что собаки бесятся от полной луны, а оказывается, люди тоже сходят с ума и начинают лаять. К сожалению, ты один из них.

— Мне вдруг захотелось лаять: вообще-то в шутку, но и из-за собак, и из-за этой луны. Вот я и не удержался, но такое со мной случилось впервые, могу поклясться. И клянусь.

— Я тоже немного не в себе из-за этой луны, — сказала Мариана Лопес, — но не приходит же мне в голову лаять, вот в чем разница. Если б я даже захотела, у меня ничего б не получилось. Это был уже не твой голос, ты стал собакой, воющей на луну. Не понимаю, как это у тебя выходит.

— Ну знаешь, Омеро Луис умеет еще ржать как лошадь и реветь как осел.

Омеро Луис коротко заржал, негромко взревел ослом, а потом стал жевать воздух. Он совсем обессилел от жары и был весь покрыт тонкой пылью, поднимавшейся от его шагов.

— Ты что жуешь? — спросила Мариана.

— Просто так жую.

— Но что ты жуешь?

— Если я скажу, не поверишь.

— Все равно скажи. Если мне понравится, я тоже стану жевать.

Омеро Луис немного помолчал.

— Знаешь, бродячий торговец шагает один днем и ночью. И ему приходит в голову куча слов — хороших и плохих.

— Ну и что?

— Хорошие слова я держу в уме. А плохие жую.

Мариана помолчала, заинтригованная странным признанием Омеро Луиса. Что это еще за новости со словами, которые можно жевать?

— Что-то я не совсем поняла.

— Это очень просто: я жую слова, которые меня раздражают или тревожат.

— Например?

— Например, собаки, голод, жажда, усталость, бедность, бандиты.

— А когда прожуешь?

— Тогда глотаю.

— А потом?

— Потом они становятся дерьмом.

— Ага. И тебе от этого лучше?

— Ну да.

— Я тоже хочу попробовать. У меня столько плохих слов накопилось. Если поставить их в ряд, то они до Парижа дотянутся.

— Попробуй пожевать их. Ничего ж не стоит.

***

Царившая вокруг тишина, эта яркая луна, освещавшая мертвую, иссохшую землю, вызывали у Марианы Лопес ощущение пустоты в голове, легкое головокружение, чувство безотчетного страха, но и страха конкретного из-за находившегося рядом такого странного человека, как Омеро Луис. Кто он в действительности, этот Омеро Луис Молина?

Больной, псих, маньяк или просто хитрожопый? Хотелось бы знать, что скрывает он за этой личиной бродячего торговца и этими россказнями, которые кажутся лишенными всякого смысла?

С момента, когда он среди ночи стал лаять, в душу Марианы Лопес закралось гнетущее чувство. Как и всякие неспокойные люди, она не выносила долгого молчания, а поскольку Омеро Луис замолк, Мариана решила заговорить сама.



— Хочешь знать, зачем я иду в Мурсию?

— Омеро Луис тебя слушает.

— Прежде всего, я хочу убраться из Гранады. Все одно и то же, каждый день с утра до вечера. Я иду в Мурсию к сестре, она решила подыскать мне мужа. Говорят, в Мурсии много богатых иностранцев, которые хотят жениться на испанках. Это сестра моя говорит. Больше всего там торговцев, богатых торговцев. Из иностранцев мне больше нравятся итальянцы, потому что они похожи на испанцев, но греки и французы тоже сойдут.

— Богатых людей можно найти и в Гранаде.

— В Гранаде богачи водятся с богачами. Богатые люди встречаются в оперном театре или в Гранада-клубе, хотя женщинам туда хода нет. А вот в Мурсии торговцы — иностранцы, и с ними мне, конечно, легче будет сойтись. Говорят, жизнь там бьет ключом и красивые девушки, да хоть и не очень красивые, идут нарасхват. А в Гранаде живешь как на похоронах: старики там гужуются в клубе, а молодежь живет в трудах и заботах.

Омеро Луис внимательно, раздевающим взглядом оглядел Лопес с ног до головы, не проронив при этом ни слова. В ночной тишине слышен был лишь стук копыт осла на каменистой дороге и легкие шаги двух путников, бредущих под луной. Вокруг царила полная тишина.

— А теперь расскажи мне что-нибудь ты. Я боюсь ходить одна ночью: еще с детства боюсь темноты, хотя лунный свет меня тоже пугает, но хуже всего, что теперь я боюсь и тебя.

— Да ничего. Уже все прошло.

Что ж, если Мариана боится темноты, тем хуже для нее. Омеро Луис погрузился в свои тяжелые раздумья о собаках, которые довели его до настоящего бреда. В такой форме это с ним случилось впервые, и теперь ему было стыдно. Раньше тоже бывало, когда он оказывался в полнолуние под открытым небом: желание залаять подкатывало к горлу, и его вдруг начинало лихорадить. Но тогда ему удавалось сдержаться. Теперь, поразмыслив, он решил, что это дикое желание всего лишь шутка природы; случается ведь, что и природа хочет пошутить. Да только на этот раз ему не удалось взять себя в руки, вот незадача. Так оно как-то вышло. Беда.

— Ты говоришь, что не слышала собак?

— Могу повторить: я ничего не слышала. Никаких собак, ничего. И хватит об этом, — откликнулась Мариана.

— Знаешь что? Раз в этих местах никаких собак быть не может, мне кажется, что это просто лай, разлитый в воздухе: он и забивает уши.

— Ну что ты такое несешь? Лай, разлитый в воздухе! Кому ты рассказываешь такую чушь?

— По ночам в пустынных местах вроде этого случаются вещи, которых и представить себе невозможно. Иногда слышишь слабые и одинокие голоса, которые носятся в воздухе; или звон цепей там, где никаких

цепей нет и в помине. Или собаки, подохшие с голоду и жажды бог знает когда, по ночам в полнолуние жалуются путнику.

Интересно, что хотел внушить ей Омеро Луис?

— Что ж это, собачьи привидения? — сказала Мариана. — Да я не верю и в человечьи призраки, что уж говорить о собачьих? Такой ночью, как эта, и в таком странном месте может случиться всякое, согласна, но никак не могут оказаться здесь призраки собак, подохших невесть когда. Да еще чтоб они скулили под луной. Со мной это не пройдет.

Омеро Луис заговорил о лае, носящемся в воздухе, надеясь унять страхи Марианы, а выходит, он ее лишь растревожил.

Он подошел к девушке, улыбнулся и погладил ее по волосам.

— Ну что, может, о чем другом поговорим?

— Оставь в покое собак, — сказала Мариана, — у меня и так уже все кишки перевернулись.

— Тогда мне интересно узнать о тебе один пустяк. Это пришло мне на ум просто случайно. Такие пустяки приходят в голову как бы ниоткуда, когда все твои мысли о том, как передвигать ноги по дороге на ярмарку. Ну вот хотя бы такая простенькая мысль: какой ты была в детстве?

— Красивой. Я была красивая. Красивые ноги, попка, сиськи. Но с ранних лет меня тянуло быть проституткой. Я постоянно чувствовала эту штуковину между ног, и она не давала мне покоя.

— Я не понял: это что, было твоей профессией?

— Это судьба, а не профессия. Я не из тех, кто занимается такими делами ради денег, значит, я не из тех проституток, о которых думаешь ты. И потом, проститутки спят с кем придется, а я выбираю мужчин с удовольствием, пока могу себе это позволить, и каждый раз, когда я с кем-то ложусь, я немножко в него влюбляюсь. Такая уж я. Но в Мурсии я должна быть начеку, так говорит моя сестра, а то черта с два она найдет мне мужа.

Омеро Луис, немного сбитый с толку простодушием Марианы, что-то тихо проговорил, словно разговаривал сам с собой; при этом он прищурил глаза, стараясь пропускать через узенькие щелки столько лунного света, чтоб нельзя было споткнуться.

— Мне пришла в голову одна мысль — из тех, что появляются по ночам, когда рядом такая симпатичная болтушка, — в общем, приятная мысль.

— Какая же?

Омеро Луис изобразил раздумье, покачал головой, поскреб подбородок, кашлянул, как бы пытаясь уловить эту мимолетную мысль.

— Да ладно, она сразу улетучилась, и теперь Омеро Луис идет себе с пустой как тыква головой. Мысли приходят и уходят.

— Какая ж все-таки мысль у тебя была? Почему не хочешь сказать? В Мурсии у меня будет другая жизнь, но сейчас мы не в Мурсии, еще не дошли туда. Не знаю, ясно ли я говорю.

— Ты говорила, что это у тебя не профессия, а судьба. С судьбой мне как-то неохота трахаться.

Мариана не ожидала такого грубого отказа. Она бы разревелась, но подавила в себе обиду, горечь унижения, растерянность, мобилизовав все то чувство собственного достоинства, какое ей удалось наскрести.

— Ну что ж, жаль. Что я еще могу сказать? В конце концов, счастье не в том, чтобы трахнуться лишний раз.

— Вот ты какая. Все женщины вечно толкуют о счастье, — отозвался Омеро Луис. — Слов о счастье у них полон рот, но никто не знает, где оно обретается. По правде говоря, мне это счастье кажется просто хреновиной.



***

Омеро Луис шел еще некоторое время молча с опущенной головой. Лопес пристроилась сбоку и то и дело искоса поглядывала на него. Она была обижена его отказом, но не хотела, чтобы Омеро Луис придал этой истории слишком большое значение, и потому сохраняла на лице некое подобие печальной улыбки, которая в данном случае казалась ей уместной.

Ландшафт был все таким же застывшим и пустынным, земля — сухой и пыльной, без единой травинки. То там, то здесь жалкие деревца вдоль дороги выставляли напоказ в лунном свете свои ободранные и побелевшие от солнца скелеты. Конечно, судя по их остовам, они представляли собой не бог весть что даже до великой засухи. Чуть поодаль виднелось несколько развалившихся хижин, некогда сложенных из камней сухим способом; в прежние времена они служили прибежищем для пастухов и укрывали от солнца коз — единственных животных, которые могли выжить в этой местности, щипля жалкую растительность и слизывая соль с камней. Эти осколки и без того жалкого прошлого ныне являли собой унылый образ запустения, казавшийся еще более унылым в холодном лунном свете.

Омеро Луис продолжал медленно шагать, глядя себе под ноги. Потом полуобернулся к Мариане, которая шла рядом с рассеянным и обиженным видом.

— Ты тощая. Почему ты такая тощая?

— Сам угадай.

— Потому что мало ешь.

— Молодец, угадал. Даже не знаю, ем я мало, потому что не в настроении — так ведь тоже бывает — или потому я в плохом настроении, что ем мало. Решай сам.

Омеро Луис не ответил, а еще раз оглядел ее с ног до головы и выдавил из себя некое суждение:

— Тоща, конечно, а все ж таки аппетитная.

Услышав такой комплимент, Лопес сдержала горькую усмешку. Она погладила себя по бокам и подумала, что не так-то уж она и тоща. Это в глазах Омеро Луиса она слишком худая.

— Все ясно, худые тебе не нравятся. Ну что ж, из-за этого я не выброшусь из окна.

— Никаких окон тут нет, значит, и опасности никакой.

Омеро Луис подошел к ней и еще раз погладил ее по запылившимся волосам.

— Жалко.

— Я первая сказала, и хватит об этом.

Довольно долго они шли молча, насупившись. У Марианы Лопес вид был усталый и огорченный. Она предложила себя торговцу — молодому и крепкому, как ствол дерева, но нарвалась на отказ. Нечего скрывать от себя — это действительно был отказ, этакая звонкая пощечина. Неожи-

данно вспыхнувшее в ней и так обманутое желание делало отказ торговца еще более неприятным и обидным.

— Ну и ладно, — сказала Мариана.

За этими ее словами не было мысли, и они растворились в ночном воздухе. Да и сказала она их просто так, чтобы нарушить молчание. На этой дороге, на этой иссохшей земле и при этом лунном свете молчание ложилось на душу как тяжелый камень. Нет, не стоило ей пускаться в путь ночью вместе с этим странным, строптивым и так отвергшим ее торговцем.



— Ты обиделась?

— Немного.

— Не надо торопить время.

— Ничего себе предложение.

Омеро Луис опять впал в уныние, от которого перехватывало дух — совсем как тогда, когда он лаял на луну. Он подумал, что в таком состоянии ему не следует идти на риск неудачи с этой худышкой Марианой. Такая неудача его уже постигала — к счастью, только два раза, — но он помнил, как ему было стыдно. Тогда он решил переменить тему, заговорив о том, что, по его мнению, нравится женщинам. Омеро Луис рассчитывал задобрить девушку и поддержать ее запал до того момента, когда его наконец посетит нужное состояние.

И он попробовал вернуться к прежнему разговору.

— Даже самой распоследней женщине нравится вспоминать, какой она была в детстве.

— Ты у меня это уже спрашивал, а я тебе ответила. Думаешь, я так и зальюсь слезами от этого вопроса?

— Я просто хотел, чтоб ты заговорила. Все женщины любят рассказывать о своем детстве.

— А я нет.

Мариана Лопес уже устала: ноги едва отрывались от земли, колени подгибались, но она не хотела, чтобы торговец это заметил, так как боялась, что этот сумасшедший оставит ее одну на дороге. Он такой, на все способен. Да, парень что надо, но способен на все. И тогда она перевела разговор на осла, который тоже едва плелся и раскачивался из стороны в сторону, почти касаясь животом земли.

— Жалко эту бедную скотину, она едва держится на ногах. Спина у нее совсем прогнулась, а пузо чуть не до земли провисло.

— О моем осле можешь не беспокоиться. У него прогнутая спина, я знаю, но она у всех ослов одинаковая из-за тяжестей, которые они таскают. Такая уж у них судьба, как у меня — ходить пешком по ночам на дальние ярмарки; взять, к примеру, хоть Мурсию.

— Осел проходит тот же путь, что и ты, но какая у него ноша. А на ярмарке ничего не достанется, даже клочка соломы. Ты говоришь, что ходишь пешком, жалуешься, а как, по-твоему, ходит осел? Может, у него крылья есть, чтоб летать?

— Он тоже ходит пешком, согласен, но у осла четыре ноги, а у нас только две. Значит, он вдвое выносливей.

— Верно, четыре. Но мы же не тащим груза, — сказала Мариана.

— Что ж, по-твоему, у человека нет никаких преимуществ перед ослами?

— Не в том дело. А вот что ты такое напихал в эти тяжеленные ящики? Не от катушек же и не от шелковых лент так просела спина у этой бедной скотины.

Омеро Луис нетерпеливо отмахнулся.

— Ну вот, теперь ты пристаешь ко мне, как инквизиция. Если хочешь знать, я везу продавать оловянные блюда и сковороды. Они очень тяжелые, но можешь успокоиться: осла этого я купил у одного крестьянина, который заставлял его таскать на себе по пятьдесят кило дров.

— Похоже, твои пятьдесят кило тяжелее, чем пятьдесят кило того крестьянина.

Омеро Луис чувствовал, что Мариана обхитрила его, и он раздраженным тоном выдал ей историю насчет оловянной посуды. Больно много хочет знать эта девчонка. Но известно же, что все женщины любопытны и приставучи как репей. Трактирщица из "Стеллетты" тоже все приставала к нему с вопросом, что там, в этих тяжелых ящиках, и почему он взял их с собой на кровать, словно ее трактир — воровской притон, и почему он такой измочаленный, и куда идет. Она задала еще сотню других вопросов, один каверзнее другого. А теперь еще и Мариана сверлит как бурав.

— Что еще тебя интересует? — процедил сквозь зубы Омеро Луис.

— Да просто хотелось узнать, что это такое ты везешь, — сказала Мариана. — Да и языком немного пошевелить. Когда болтаешь, время проходит быстрее и ноги не так устают.

— Ну так расскажи мне хотя бы о Гранаде, о богачах из Гранада-клуба, — сказал Омеро Луис. — Ты, наверно, за свою жизнь немало их повидала. Или спала только с бедняками? Я уже не один год слышу рассказы о всякой чертовщине, которая там происходит.

Мариана Лопес перебрала в памяти кое-какие подробности. Разве упомнишь всех мужчин, которые ее трахали? И богатых, и бедных. Но когда она пыталась выстроить их в памяти в цепочку, то и дело образовывались провалы: ни имени, ни лица — темнота. Многие из них прокатились над ней освежающей волной и исчезли бесследно.

— Ты хочешь, чтоб я тебе рассказала о гадостях, которые вытворяют члены Гранада-клуба? Я была там только один раз, и в памяти как-то все спуталось. А из-за пыли, которой я наелась на этой дороге, язык у меня стал как наждак.

— Обещаю, что еще до полуночи мы устроим привал и съедим по паре ломтей колбасы с белым хлебом. Но можно говорить даже когда язык пересох. Мне не требуются всякие тонкости. Даже лучше, если ты будешь говорить как получится. Всем известно, что правда так или иначе всегда себя окажет.

— От одного слова "колбаса" хочется пить, а язык у меня и так уже как терка.

— Ты мне уже говорила, что язык у тебя пересох. Но у нас к колбасе будет еще глоток вина. Только ты должна рассказать мне про тот раз, когда ты была в Гранада-клубе. Омеро Луис знает, что женщинам в клуб вход запрещен. А как попала туда ты?

— Туда не пускают жен и дочерей членов клуба; этих — нет. Но есть там такая потайная дверца с черного хода, через которую проводят девушек для удовольствия мужчин. Вот я через нее и прошла.

Мариана с трудом шевелила губами. Воспоминание о клубе давило как камень, и для начала ей надо было глубоко вдохнуть и набрать воздуха в легкие. Наконец она начала свой рассказ.

— Так вышло, что одна незнакомая женщина высмотрела меня, а потом, остановив на улице, начала меня без удержу расхваливать, чтобы уговорить сходить с ней в Гранада-клуб, где я познакомлюсь со всякими богачами. И еще она обещала мне много денег, не помню уже сколько, но много. Я прекрасно понимала, чего от меня хотят: от такой хорошенькой девчонки, какой была я, всегда хотят одного.

Когда стемнело, я пришла туда, как мы и условились с той сводней. Когда я подошла к дверям, из них вышла другая женщина и отвела меня наверх, в комнату с большой кроватью и зеркальными стенами, от которых у меня в глазах помутилось. Там меня уже ждали двое мужчин. Они раздели меня догола и сами тоже разделись, потом пихнули меня на кровать и стали вертеть по-всякому. Они навалились на меня оба сразу, им любая дыра годилась. Эти козлы швыряли меня вверх и вниз, так и сяк, как тряпку какую. И ни слова не говорили, только хрюкали, как кабаны.

После тех двоих зашли еще двое, и все началось по новой, вертели меня, как шлепанец. По правде говоря, сначала мне это показалось даже забавным, но потом, когда они швырнули меня на кровать, раздвинули мне ноги и стали трахать и сверху и снизу, я испугалась. Мне было больно, я стала плакать и стонать. Но они с меня не слезали. А после этих двоих пришли еще двое, противные рожи, один страшнее другого, и тоже без единого слова.

Когда меня наконец отпустили — дело было уже на рассвете, — я не могла даже идти. Обещали мне заплатить, а сунули в руку горсть монет, мелочь какую-то. А теперь я очень даже рада, что у них сейф обчистили.

— О ворах что-нибудь известно? — спросил Омеро Луис.

— Известно, что это были не воры, а только один вор. Один.

— Значит, кто-то его видел?

— Вот не знаю. А что знаешь ты?

— Я только слышал про эту историю, и все, — ответил Омеро Луис. — Говорят, что украдено золото и убит сторож.

— Похоже, что вор еще днем под каким-то предлогом зашел в клуб и где-то там спрятался. А ночью выскочил, заставил сторожа открыть сейфы и утащил все деньги членов клуба до последнего фунта стерлингов. Они там держали свои деньги, так как думали, что это самое надежное место на свете. Громадные деньги были спрятаны в этом особняке, что на Калье де лос Рейес Католикос, напротив Оперного театра. Можно подумать, крепость какая.

— Крепость из глины, если один-единственный вор сумел ее обчистить, — сказал Омеро Луис.

— Хотела бы я знать, что будет делать грабитель со всеми этими деньгами.

— Ничего не будет делать, чтоб его не обнаружили.

— Значит, будет жить по-прежнему, как какой-нибудь бедняк. Это ж какая обида — иметь столько денег и жить в бедности.

— Знать, что ты такой богатый, само по себе очень здорово и приносит радость, даже если ты будешь жить, как раньше. Я все равно ему завидую, вот счастливчик, счастливчик этот вор.

— За вора я тоже рада, плохо только, что он перерезал ножом горло сторожу. Бедняга, он-то ведь совсем ни в чем не виноват. Думаю, вору это отравит радость.

— Может, сторож был вооружен и пытался защитить сейф.

— Какое там вооружен! Это был старик, который спал внутри просто чтоб поднять тревогу, если что случится. Думают, что он видел вора в лицо и мог бы признать его в суде. Потому тот его и убил.

— Думаешь, вор действовал в одиночку?

— Он был один, но здоровенный, потому что выломал дверь в комнате, куда спрятался сторож. Потом он заставил его отдать ключ от ящика, где хранился шифр сейфа, и наложил лапы на сокровища клуба. Там он взвалил на плечи мешок с двадцатью или тридцатью килограммами золотых монет. Та еще добыча ему досталась: пол-Гранады на нее можно купить.

— Странно, что ему удалось сбежать с такой ношей на плечах. Золото тяжелое, как свинец, — сказал Омеро Луис.

— Ясно, что вор был молодой и сильный, парень что надо. Хотелось бы знать, далеко ли улетела пташка.

— А по-моему, он еще скрывается в Гранаде. Не мог он уйти далеко со всем этим золотишком, — сказал Омеро Луис. — Я б, например, так и сделал — спрятался бы в Гранаде.

— И смог бы перерезать горло этому несчастному?

— Не знаю, может, и смог. Зависит от ситуации. В конце концов, одним человеком больше, одним меньше, какая разница? Ведь когда-нибудь и мы будем там же, где все.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Ну возьмем нас, к примеру. Идем ночью, пешком, в пыли, среди камней, а в конце всей этой философии где будем?

— В Мурсии.

Омеро Луис даже плюнул. Стоит ли говорить о философии с такой тупой девчонкой.

— Мог бы не тратить слюну. Сохранил бы ее до другого случая, — сказала Мариана.

Омеро Луис нетерпеливо махнул рукой.

— Оставим этот разговор.

— Если у тебя есть какая идея насчет слюны, поделись со мной.

— Я наплевал прежде всего на членов Гранада-клуба. Так что можешь успокоиться.

— Это не клуб, а свинарник. Чего они там только не вытворяют, и никто ничего им не скажет.

— Получили по заслугам.

— Плохо, что в Гранаде всем все известно, но все молчат. Иногда сами подлые матери из Альбайсина сговариваются со сводней из клуба и продают своих четырнадцатилетних или пятнадцатилетних дочек, как скот на рынке. Отмывают их, наряжают в чистые, глаженые платья, причесывают, опрыскивают одеколоном и сами приводят к задней дверце, где сводня встречает их и отводит в комнаты. Соседям даже через закрытые окна слышно, как кричат эти бедняжки. А утром они выходят оттуда разодранные и все в крови. Я слышала даже и про тринадцатилетних.

Все в городе знают об этом ужасе, и никто не жалуется; сокрушаются только о бедном старике, которого убил вор. Мне кажется, я помню

того сторожа. Когда я вышла тогда на рассвете, до того замученная, что на ногах не держалась, он взял меня за руку, проводил до выхода и сказал какие-то слова в утешение. Думаю, это был именно он. Горло надо было резать тем, тех надо было покарать.



— Если перерезать им горло, они помучаются всего несколько минут, — сказал Омеро Луис, — а из-за своего украденного золота будут переживать всю жизнь. Кража денег была для них самым страшным наказанием на свете.

— Теперь остается только надеяться, чтобы вора не поймали и чтоб он мог воспользоваться всеми этими деньгами. Только мне кажется, он не спрятался в Гранаде, а во весь дух умчался из нее подальше, бог весть куда.

— Омеро Луис уверен, что он остался в Гранаде и где-то там скрывается.

— А вот трактирщица из Велес Рубио тоже считает, что он сбежал, — сказала Мариана.

— А ей-то кто об этом сообщил?

***

Омеро Луис и Мариана почувствовали, что все их аргументы уже исчерпаны, и теперь они шли молча, медленно и, казалось, невесть сколько времени — полчаса, час, сто лет.

— Мы уже так долго идем не разговаривая, — сказала Мариана.

— Значит, говорить нам не о чем.

— Но это страшно. Идем, словно две мумии.

— Две мумии с языками во рту, — сказал Омеро Луис.

— Отнявшимися, — добавила Мариана.

Омеро Луису хотелось, чтобы Мариана говорила — не важно о чем — просто чтобы нарушить пустоту и тишину ночи, которые пугали его тоже.

— Попробуй что-нибудь сказать.

— Сам же считаешь, что нам не о чем говорить.

— Нужно покончить с этим молчанием, нужно найти любую тему и заполнить ею тишину, — сказал Омеро Луис.

— У меня никаких тем нет, — ответила Мариана.

— Мы уже дошли до какой-то мертвой точки, — сказал Омеро Луис.

— Не поминай смерть, пожалуйста.

Омеро Луис коротко засмеялся.

— Мы же идем, значит, мы живы.

— Слава богу, — сказала Мариана.

— Передвигаем ноги, делаем шаг за шагом, а впереди у нас еще почти целая ночь. Мы не можем все время молчать, а то забудем, что мы живые, — сказал Омеро Луис.

— Как две мумии.

— Наверно, мы просто не можем нести всякую бредятину, как это делает большинство людей.

— Да, даже ее. У меня в голове пустота, — сказала Мариана.

— Молодец. Значит, мы уже доходим до абсолютной пустоты.

— Хочется верить, что мы до нее не дойдем, — сказала Мариана, — не то мы останемся ни с чем, с носом.

— Ну не скажи. Сто лет тому назад, например, когда тебя еще на свете не было, ты находилась в абсолютной пустоте — без жизни, без истории, без памяти, совсем без всего, тебя кто-то оставил тогда с носом?

— По правде говоря, нет. Тогда меня еще не было, значит, меня не могли надуть. А теперь — да. Как подумаю об этом, мне становится очень неприятно представлять тишину, которая стояла тогда, сто лет назад. Где я была, когда в мире происходило столько всякого? И двести лет назад, и тысячу лет назад столько всякого происходило в Испании и в мире, а меня не было — ни в живых, ни в мертвых. Вот это хуже всего, что только могло со мной случиться.

— А теперь, хоть нам и нечего сказать, давай двигай вперед. Сто лет назад ты не могла этого сделать.

— Ты думаешь, нам довольно того, что мы можем двигать ногами?

— Нет, нет. Поэтому я и прошу тебя что-нибудь рассказать. Например, о свинстве, которое вытворяют с девчушками члены клуба.

— А сам представить себе не можешь?

— Я слышал, что их напичкивают наркотиками и подпаивают, чтобы они совсем потеряли голову.

— И я тоже слышала, да только все это пустая болтовня. О таких делах люди говорят редко, да и то шепотом.

— Интересно, как действуют эти самые наркотики, — сказал Омеро Луис.

— Говорят, они вызывают желание, беспрерывное, до потери сознания. А потом тебя выворачивает, ты выкашливаешь легкие. Да, так говорят. Ничего больше сказать не могу, меня наркотиками не пичкали. И даже не подпаивали.

— Еще я слышал, что в клубе занимаются каким-то свальным грехом с шестью или семью женщинами сразу.

— Самое удивительное — это кража золота, — сказала Мариана, — а не свальный грех, которым занимаются всюду, и не только в клубе. Вот и трактирщица из "Стеллетты" все об этом ограблении и твердила. Я видела у нее газету, где крупными буквами было написано об ограблении, а рядом — статья о монархии. Так заголовок статьи об ограблении был крупнее, чем заголовок статьи о монархии.

— Эти типы круглые сутки друг друга жрут из-за трона.

— Из-за какого-то там кресла.

— Трон это тебе не просто кресло, — сказал Омеро Луис, — это такое все позолоченное креслище, что, если кому-то удастся сесть на него задом, он может командовать всей Испанией. Разные вещи должны называться разными словами. В общем, трон это не конь и даже не кресло, хотя все-таки он больше похож на кресло, чем на коня.

Омеро Луис сам заметил, что вконец зарапортовался с этой своей философией. Когда слова путаются, человек теряет нить рассуждения.

— Вообще-то, не так уж меня интересуют король и монархия, — сказал он.

— Не понимаю, почему мы не оставили у себя республику и не послали к такой матери всех этих королей и королев. Тебе не нравилась республика?

— Как это не нравилась? — сказал Омеро Луис. — Я сразу стал республиканцем.

— Но теперь у нас опять монархия.

— Ну так и я теперь монархист.

— Монархисты мне не очень нравятся.

— А я еще немного анархист.

— Не знаю, что это такое, но по-моему, это лучше, чем быть монархистом.



***

Омеро Луис предпочел бы хоть на протяжении всего пути говорить о Гранада-клубе, а не о республике и монархии. Но такое настойчивое любопытство в конце концов надоело Мариане Лопес; она умолкла и шагала, опустив глаза и вглядываясь в белую пыль, покрывавшую дорогу. Ей хотелось заплакать — так иногда хочется дождя.

— Раз тебе неинтересно об этом говорить, тогда ладно, — сказал заскучавший Омеро Луис. — Просто не хотелось молчать, чтобы не провалиться в абсолютную пустоту, про которую я тебе уже объяснил.

— Теперь поговори-ка лучше ты. Расскажи мне что-нибудь, просто так, что хочешь, мне все равно.

— Опять начинается. Жаль, но мне не о чем тебе рассказать.

— Ты ж прожил целую жизнь, про которую можно поговорить, как это делают все добрые люди на свете.

— По-твоему, я примусь рассказывать о своей жизни вот так, посреди пыльной дороги, ночью, под этой полной луной, от которой мозги закипают?

— Ненормальный. Не о всей же жизни, — сказала Мариана. — Хоть что-нибудь, наобум, лишь бы не молчать и, как ты сам сказал, не провалиться в абсолютную пустоту, как в колодец.

— Что-нибудь хорошее или плохое?

Выбор затруднил Мариану Лопес. Хорошее в жизни этого незнакомого бродячего торговца могло оказаться очень скучным. Когда мужчины рассказывают о своих любовных похождениях, можно умереть со скуки. Уж лучше о плохом, о какой-нибудь жульнической проделке, подумала Мариана, у такого нахального типа, как этот, их, наверно, было немало.

— Расскажи мне что-нибудь плохое, только не про смерть своей матери, потому что все матери умирают одинаково.

Омеро Луис не останавливаясь уставился в небо, словно оно могло ему что-то подсказать. Наконец, покопавшись в памяти, он набрел на одну плохую историю, которую можно было рассказать девушке.

— Ты заметила, что у Омеро Луиса один глаз косит? — сказал он.

В этом вопросе таится какой-то подвох, подумала Мариана, давно заметившая, что у торговца действительно есть небольшое косоглазие. Минуточку. Она не дурочка и хорошо знает, как тщеславны мужчины.

— Ничего такого я не заметила, — сказала она, — мы тронулись в путь, когда было уже почти темно. Как я могла увидеть, что у тебя один глаз косит?

Омеро Луис старался вести себя непринужденно, так, будто косоглазие было для него совершенно естественным. И все-таки он старался не смотреть на Мариану.

— Я не знаю, один глаз у меня косит или оба. Я косоглазый, и мне на это наплевать. Но когда я был мальчишкой, из-за моих косых глаз мне не раз приходилось терпеть неприятности. Однажды мы метали кольца на дороге, и мое деревянное кольцо все время вылетало на обочину. Я ме-

тил в одном направлении, а оно летело в другом. Приятели насмехались надо мной и говорили, что косоглазому лучше не заниматься этим, и показывали мне два скрещенных пальца, намекая на мои глаза. Я позеленел от злости, но молчал, чтобы не поддаться их подковыркам.



Самый осатанелый из всех был мальчишка, которого звали Мануэлем, — такой дьяволенок с арабской физиономией: острый и крючковатый нос, черные и длинные, как у женщины, волосы. Он прыгал вокруг меня и махал руками у меня перед носом, чтобы помешать мне, и я каждый раз промахивался еще и из-за него, а не только из-за своих косых глаз. Он не заметил, что я не только косоглазый, но еще и левша.

Потом он стал говорить, что я промахнусь, когда буду иметь дело с женщинами, и мне никогда не удастся воткнуть куда надо. А остальные как обезьяны подхватывали его издевки. Ему удалось всех восстановить против меня, и я совсем разъярился. Когда он опять завел свою песенку, я схватил Мануэля за шею, а он извернулся и дал мне кулаком по лицу, да так, что у меня потекла кровь из носа. Остальные опять стали надо мной насмехаться. Когда Мануэль снова подступил ко мне с кулаками, я изо всех сил толкнул его, и он покатился вниз по откосу.

Тут Омеро Луис замолчал, словно его рассказ на том и закончился. Но после короткой паузы он снова заговорил:

— Сама понимаешь: я не мог стерпеть такую обиду. Тем более что я уже научился хорошо прицеливаться и не раз забивал свой гвоздь девушке куда нужно, так что она была очень довольна.

— Не вижу ничего плохого в этой истории. Удар кулаком в нос — это пустяк.

Казалось, Мариана разочарована рассказом Омеро Луиса, который опять немного помолчал, хотя чувствовалось, что рассказ еще не окончен, просто ему не хочется его заканчивать.

Наконец он решился и заговорил, отвернувшись от Марианы, чтобы не смотреть ей в лицо и чтобы она тоже не смотрела на него.

— Дело в том, что парень, которого я сбросил с откоса, — произнес он наконец растерянным тоном, — ударился головой о камень да так и остался лежать на земле. Он больше не говорил, кровь стекала у него с волос на лицо и на шею, а через несколько минут у него остекленели глаза. Мы сразу все разбежались, а когда за ним приехала карета "скорой помощи", которую вызвали соседи, он уже не дышал. Такой вот конец рассказа.

— Бедный Мануэль, бедняжечка, — сказала Мариана взволнованно и растерянно.

— Это было лет двадцать тому назад или даже больше. И нечего тут нюни распускать, ты ж его не знала.

— Ну и что? Все равно жалко Мануэля, хотя я его и не знала.

— К сожалению, эта история, случившаяся целых двадцать лет назад, изменила всю философию моей жизни. Если бы меня засудили и отправили в тюрьму, было б лучше, потому что приговор и наказание помогли бы мне искупить свою вину. А так мне, ненаказанному, эта история легла на душу камнем, и деваться от нее некуда. Каждую минуту, в солнечный день или в дождь, летом или зимой, даже когда я об этом не думаю, я знаю, что погубил человека, в общем, стал убийцей. Ничего не поделаешь: когда переступишь черту, назад тебе хода нет. Ты убийца, и все. На всю оставшуюся жизнь.

Мариану очень растревожили его слова.

— Убийца — это другое. Убийца тот, кто убивает, потому что хочет убить.

— Но в ту минуту я этого Мануэля так ненавидел, что наверно хотел убить. Знаешь, как бывает в минуты ярости: само по себе получается, хочешь убить кого-то и становишься убийцей. Таким убийцей был Омеро Луис, который собственной персоной стоит сейчас перед тобой.

Мариана смотрела на своего попутчика и была не в состоянии выдавить из себя ни слова. Из-за истории, происшедшей много лет тому назад, у нее помутилось в голове и язык отнялся. Какие уж тут могли быть разговоры между нею и Омеро Луисом, который сам назвал себя убийцей?

— Ты хотела услышать плохую историю? Хуже, чем эта, не сыщешь.

— История плохая, но ты не виноват. Никакой вины твоей нет, это несчастный случай. За него отвечает только Старик.

— Какой старик?

— Бородатый Старик, Господь Бог.

— Вот и нет. Да простит меня Господь, я стал настоящим убийцей, и не только ненаказанным, но еще и рецидивистом.

— Что значит — рецидивистом?

— Не знаю. Так говорят о ворах и убийцах.

— Омеро Луис, ты должен забыть эту историю. Не думай больше о ней.

— Вряд ли это у меня получится. Я же сказал тебе: она у меня как камень на душе, или скажу иначе: ты знаешь, что перешел какую-то границу, а по другую ее сторону может случиться что угодно. Если ты убил одного человека, можешь убить и еще кого-то, потому что руки у тебя в крови. В общем, если ты убил один раз, ты остаешься убийцей до конца своих дней.

— Это как? Значит, ты можешь убить еще? — спросила девушка в надежде, что неверно его поняла. Мариана не хотела верить, что у нее такой опасный попутчик. Вот глупая идея. Откуда это дурацкое желание попросить Омеро Луиса рассказать что-нибудь плохое?

— Именно это я и хотел тебе сказать. Я куда хуже, чем кажусь на первый взгляд.

— Подумать только, — промолвила Мариана, — а ведь совсем незаметно, что ты косоглазый. Я, во всяком случае, на это не обратила внимания. А ты из-за какого-то одного чуть косящего глаза, хотя это даже и незаметно, несешь такое, что у меня даже мурашки по коже пошли от страха.

Омеро Луис внезапно вздрогнул.

— Да, я косоглазый, это верно, но когда на меня находит желание, я могу всадить *его* женщине прямо как гвоздь. И при свете, и в темноте. И если кто-то посмеет посмеяться надо мной, клянусь, что я отделаю его как следует.

От этой угрозы Мариана похолодела. Неладно идти рядом с человеком, давно чувствующим себя безнаказанным преступником и рецидивистом. А как насчет желания? Когда этому типу придет охота всадить ей свой гвоздь?

— Успокойся, никто не сомневается, что *он* у тебя такой, как надо. Но теперь ты должен рассказать мне что-нибудь другое, и ты забудешь о той истории, от которой у меня все кишки перевернулись.

— Эта история с Мануэлем засела у меня в голове или, как говоришь ты, в кишках, и забыть я ее не могу. Проклятая память преследует меня днем и ночью.

Мариана не хотела идти у него на поводу.

— Хочешь меня испугать? Ничего общего я не имела и не хочу иметь с этой твоей историей.

— Да нет, ты же знаешь, что я иногда говорю только для того, чтобы наполнить словами ночной воздух. Но дела обстоят так, как я тебе сказал. Ничего тут не изменишь.

У Марианы по спине пробежал холодок. Упорное нежелание Омеро Луиса забыть о том убийстве ее беспокоило. Нет, лучше уж не сердить этого торговца. К сожалению, думала она, трудно понять, в какую сторону повернуты мозги у Омеро Луиса.

— Я имела в виду, — сказала Мариана миролюбиво, — что тебе лучше позабыть о Мануэле. Сделай над собой маленькое усилие и почувствуешь себя лучше, вот увидишь.

— Проклятая память. Ну не дает покоя: когда я совсем не жду, она подсовывает мне окровавленное лицо Мануэля и его стеклянные глаза, вперившиеся в пустоту.

— Когда ты вспоминаешь про Мануэля, попробуй выматериться.

— Бесполезно. Память уже сама по себе грязная штука.

— Этого я что-то не понимаю, но нюхом чую: здесь, кажется, еще какая-то хренотень, — сказала Мариана.

Омеро Луис промолчал. У него не было других тем, которые могли бы стать предметом разговора, да и вообще ему больше не хотелось говорить. Мариана пыталась как-нибудь заставить его позабыть эту проклятую историю с Мануэлем. И рассказ был противным, и вообще сама история ее очень встревожила: торговец ведь объяснил ей, что это воспоминание служило для него своего рода оправданием любого другого преступления.

История с Мануэлем изменила жизнь Омеро Луиса, разделила ее на две части: до и после Мануэля. Первая половина жизни Омеро Луиса была похожа — так, во всяком случае, ему представлялось — на сад с яркими красками, о котором почему-то вспомнилось именно теперь, когда он шел по этой сухой, корявой и пыльной земле. Но что заставило его, словно какого-нибудь бедняка, идти по ней ночью пешком? "Неправильно меня мать родила", — говорил себе Омеро Луис в оправдание своей убогой и недостойной жизни. Да, произошла ошибка, и не по его вине, поэтому он решил сам все исправить. В этой своей решимости он был готов на что угодно и способен на все. Нужно иметь побольше смелости и поменьше мягкотелости, чтобы поправить свою судьбу.

***

Открывшаяся перед Омеро Луисом после случая с Мануэлем перспектива стать убийцей перекликалась с рассказанной Марианой историей о том, как в шестнадцать лет она впервые легла с парнем и потеряла невинность. В то время она сама стала отыскивать парней, которые раньше пытались это сделать и которым она сначала отказывала, а теперь давала им всем, чтобы сравнять счет. Быстро наверстав упущенное и, как она говорила, перетрахавшись с ними, она уже не уклонялась от других представлявшихся ей случаев и отдавалась всем желающим, красивым и

не очень, так как она убедилась, что часто именно менее привлекательные умеют довести ее до исступления и заставляют испытывать не один, а три или четыре оргазма подряд, один за другим.

А теперь Мариана пустилась в путь одна, на свой страх и риск, с Омеро Луисом. Когда торговец стал лаять на луну, она даже сказала себе: Мариана, лучше тебе вернуться назад, в трактир "Стеллетта". Но теперь было слишком поздно, они проделали уже основательную часть пути, и ей следовало смириться с его присутствием.

— Я видела у твоего осла на спине фляжку. Если дашь глоток вина, голос у меня прочистится и я, может, тоже что-нибудь тебе расскажу.

От предложения Марианы Омеро Луис словно бы проснулся и протянул ей фляжку. Девушка сделала глоток вина, теплого, но душистого, и посмотрела на Омеро Луиса в надежде, что он знаком позволит ей отпить еще. Но Омеро Луис протянул руку за фляжкой и снова пристроил ее поверх груза.

— Этот грабитель все испортил, перерезав горло сторожу, — сказала Мариана. — Никакой жалости у него не было. А может, он испугался, что сторож его узнает. Тогда, значит, он не пришлый, а наверняка гранадец, раз побоялся, что его узнают. Может, кто-нибудь и видел, как он выходил из клуба со всем этим золотом.

— Вот и все, что ты можешь сказать? Ты только об этом думаешь?

— Иногда у меня бывают собственные мысли. Тебе не нравится?

— А ты поосторожнее, потому что иногда думать бывает вредно: мысли сбивают с толку.

— Я говорю о том, что слышала на улицах Гранады. Пока я не пустилась в путь с тем возчиком, а потом не встретила тебя в трактире "Стеллетта" в Велес Рубио. Дальше мы пошли уже с тобой.

— А я ушел из Гранады на следующее утро, так что успел услышать новость, и больше ничего.

— Назавтра только об этом и говорили и в Гранаде и в округе, — сказала Мариана. — Все только и прикидывали, сколько кило золота унес этот тип — двадцать, тридцать, сорок... с ума сойти.

— Значит, вор стал таким богатым, что может купить себе сто домов, — произнес Омеро Луис со странной улыбкой, — а я вот, бедный Омеро Луис, которого ты видишь перед собой, кое-как перебиваюсь от одной ярмарки до другой, чтобы продать несколько цветных лент или катушек. Такой уж товар у бродячего торговца.

Мариана молчала, а в голове у нее в это время множество мыслей выстраивалось в некую цепочку. Наконец она решилась заговорить:

— Если хочешь знать, я не очень-то верю, что ты тащишься из Гранады в Мурсию, чтобы продать там, как ты говоришь, несколько цветных лент и катушек.

Омеро Луис натянуто улыбнулся. Подозрения Марианы явно попали в точку.

— Мы говорим о грабителе, а не обо мне.

— Я ж только подумала, вот и все. А ты что скажешь?

Да, вопрос Марианы был не в бровь, а в глаз. Омеро Луис уже не мог переменить тему разговора.

— Знаешь, что я тебе скажу? Ты наполовину права, а наполовину ошибаешься.

— Это как же?

— А так, что я иду на ярмарку в Мурсию и попытаюсь продать свой товар. Но есть у меня мыслишка продать там и осла со всем грузом, собрать немного деньжат и сесть на пароход в Картахене. Если не удастся продать осла за приличную цену, я накуплю полотна и снова примусь ходить по гранадским деревням. Худо только, что и там от этой засухи крестьяне обеднели и стали скупердяями.

— А если ты продашь осла и сядешь на пароход, то куда поплывешь? Можно узнать или это тоже секрет?

— В Неаполь. Если Омеро Луис продаст осла, он надеется поплыть в Неаполь.

— Я слыхала, Неаполь очень красивый город.

— Говорят же: увидеть Неаполь и умереть.

— Ты-то поедешь туда жить, а не умирать.

— Это такая поговорка, все равно что сказать: увидишь Неаполь и больше тебе ничего не захочется.

— С половиной половины украденных денег вор может жить сколько угодно и где ему захочется: в Неаполе, в Париже, в Америке, — сказала Мариана, которая не бывала вообще нигде, даже в Барселоне.

— С половиной половины? Мне хватило бы за глаза и десятой части, — сказал Омеро Луис. — Ты только и бредишь этим золотом. А двадцать там килограмм или тридцать — все равно; счастливчик он, этот вор, счастливчик, раз у него столько денег.

— Но если его поймают, он же прямым ходом пойдет на виселицу. Своей шкурой рискует из-за этого несчастного сторожа.

— Дался тебе этот несчастный. Все равно он уже мертвый, и никакие мысли, никакое сострадание, никакая память о нем не изменят его судьбу, то есть то, что он уже умер. Ты сама сказала, что вор, наверно, испугался, как бы его не узнали, и ему пришлось убить человека по необходимости.

Мариана все никак не могла успокоиться, думая о несчастном сторože, которому перерезали глотку в ночь ограбления. Жалко бедняков, вечно им достается больше несчастий, чем другим.

— А не мог этот вор надеть маску или прикрыть лицо платком?

— Верно, тогда ему не надо было бы убивать сторожа, — сказал Омеро Луис. — По сути дела, вор пошел туда красть, а не убивать.

— Но в кармане он держал нож.

Омеро Луис немного поколебался.

— Я тоже ношу нож. Нож всегда носят при себе, для защиты.

Мариана и Омеро Луис замедлили шаг, потому что дорога шла теперь слегка в гору. Мелкий щебень скрипел у них под ногами и под копытами осла на каждом шагу.

— Ничего б не пожалела, чтобы глянуть в лицо грабителю, укравшему столько золота, увидеть, как он доволен.

— Если бы кто-нибудь нас послушал, — сказал Омеро Луис, — то сразу бы понял, что мы на стороне вора. Не очень красиво. Обычно все бывают против него.

Мариана издала короткий смешок. Она не считала, что так уж непринято держать сторону вора.

— Я думаю, какие физиономии были у тех бандитов из клуба, когда им сказали, что сейф выпотрошен и все их золотишко ушло к другому хозяину. Паршивая карта им выпала. Гребли под себя все, на чем можно нажиться. Спекулянты и ростовщики. Как теперь они будут давать день-

ги в рост? Похоже, к ним со всей Испании съезжались за ссудами. Время от времени, чтоб показать свою щедрость городу, они что-нибудь отваливали богадельне или сиротскому приюту или оплачивали кое-какие реставрационные работы в Альгамбре. Они же держат в своих руках торговлю и промышленность, строительство и газ для освещения улиц, дороги, пошлины, больницы. И все им кланялись, потому что их спекуляции приносили хоть какую-то работу ремесленникам, рабочим, плотникам, врачам, архитекторам. Интересно, останутся всемогущими эти тузы теперь, когда в их сейфе пусто?

— Представляешь, сколько смеху будет на улицах и дома у гранадцев? От такой новости все прямо лопнут от смеха.

— Не думаю, что бедняки будут смеяться, — сказала Мариана. — Пойми, бедные всегда преклоняются перед богатыми и готовы простить им любое свинство. Вот увидишь, в Гранаде подумают, что это ограбление — беда для города, потому что наши тузы благодаря своим спекуляциям давали немного подзаработать беднякам. Темные люди рады и крохам. Я уже говорила, что бедные преклоняются перед богатыми, но я не сказала, что они их еще и боятся.

— Только так и можно объяснить, почему за все время никто никогда не пытался ограбить кассу клуба. А кража была совсем не таким уж трудным делом в этом старом здании и при одном только ночном сторже. Тут, как ты говоришь, сыграло роль преклонение перед богатством и какой-то страх перед богатыми.

— Паршивые типы. Думаешь, я донесла на них, когда меня имели и спереди и сзади по два козла сразу? Ты когда-нибудь слышал, чтобы семьи девчонок, нанятых в квартале Альбайсин и возвратившихся домой разодранными и в крови, осмелились протестовать против насильников, гужующихся в клубе? Да, верно, матери почти всегда дают свое согласие, но одно дело трахнуть девчонку, а другое — изнасиловать ее так, что потом след останется на всю жизнь. В Гранаде не осмеливаются даже имена назвать. Они злобные и мстительные, похуже Святой инквизиции, да простит мне Господь мое богохульство.

— Можешь не волноваться, Господь тебя не слышал, он не часто бывает в этих краях, а если и появляется здесь мимоходом, ему не до наших разговоров.

— Твоя правда, — сказала Мариана. — Кто знает, сколько забот у бедного Старика. Говорят же про какое-нибудь место, что оно забыто и Богом и людьми. Но такого забытого, как это, не сыщешь во всей Испании.

Осел вдруг остановился, словно увидел или услышал что-то — какой-то шум или посторонний голос. Омеро Луис взял его под уздцы и потянул вперед, но осел не сдвинулся ни на шаг, словно сам решил, что пора сделать привал. Омеро Луис знал, что в таких случаях не стоит настаивать и лучше дать ему короткую передышку. Он тоже остановился и прислушался, потом обернулся к Мариане:

— Мне кажется, я опять слышу лай. Ты тоже слышишь?

— Я не слышу и раньше не слышала, — сказала Мариана Лопес.

— Может, у тебя от страха уши заложило?

— Да нет. Ты ж сам сказал, что это призраки собак, подохших бог весть когда, а их лай растворился в воздухе. Так оно, наверно, и есть. Одни их видят, другие слышат, но я ни разу в жизни не видела ни одного призрака, а этого собачьего лая не слышу, даже если настропалю уши, как осел. Не слышу и все.

Омеро Луис опять прислушался. Этот доносящийся издали лай и полная луна... подумал он. Нужно ж ей что-то ответить. Но он вдруг совершенно отчетливо почувствовал, что это чревато ошибкой. Омеро Луис тряхнул головой, словно хотел отогнать приставучую осу, сделал над собой усилие и, сжав зубы, выдохнул весь воздух, скопившийся в легких.

Мариана Лопес стояла неподвижно и молча смотрела на него. Повертела головой то в одну сторону, то в другую — мало ли что. Левым ухом она слышала хуже, чем правым, но Омеро Луису об этом не сказала. Она вообще стеснялась признаться в своем физическом недостатке. Опасайся рыжих и меченных Богом, говорила ей мать, пока не узнала, что она туговата на одно ухо. Рыжей она не была, но Бог пометил ее, наградив одним полуглухим ухом и постоянным в нем звоном, так ее раздражающим. Но разве этот недостаток хуже, чем собачий или даже волчий вой Омеро Луиса, так испугавший ее? О том, что он косоглазый, лучше забыть: любое слово может вывести его из равновесия, так что лучше прикинуться, что ты ничего не замечаешь, и даже забыть, как он лаял на луну. Нет совершенства в этом мире, сказала она себе, у каждого свои недостатки. Только бы Господь не допустил, чтобы Омеро Луис снова стал издавать этот ужасный воющий лай.

— Я ничего не слышу, — повторила Мариана. — А если ты слышишь что-то у себя в голове, то, пожалуйста, не начинай опять лаять.

— Да нет, какое мне дело до этих собак — живые они или мертвые, далеко они или близко. У Омеро Луиса и так полна коробочка.

— Вот и я говорю, кончай эту историю с собаками, — сказала Мариана.

— Одна собака лаяла вчера, другая лает сегодня, третья залает завтра. Залают раньше или позже — в этом вся разница, — сказал Омеро Луис.

— И что это значит?

— К счастью, время все разделяет: вчера, сегодня, завтра. Представляешь, какая получилась бы чертовня, если бы все происходило в одно и то же время? И собаки бы лаяли все вместе.

Мариана на мгновение растерялась, а потом сказала:

— Да. Ну слава Богу, что время все разделяет.

Я опять, уже второй раз оказался на грани, подумал Омеро Луис, гордясь тем, что сумел побороть в себе искушение снова залаять на луну.

***

После целого часа подъема они добрались до склона холма. Внизу простирался все тот же пейзаж — иссохшая земля с торчащими то здесь, то там черными скалами, словно острова посреди моря. Вокруг стояла пугающая тишина, тишина неестественная, как во сне.

— Если бы я курил, — сказал Омеро Луис, — мне бы сейчас захотелось выкурить сигарету. Но я не курю, так что придется обойтись.

— Я слышала, что даже некоторые женщины курят, — отозвалась Мариана. — Я — нет.

— Женщины — и курят. Смешно даже представить себе, — сказал Омеро Луис.

Но есть, думала Мариана, что-то полезное для здоровья и усмиряющее даже самую непокорную душу — как у мужчины, так и у женщины. И это не сигарета.

Омеро Луис протяжно зевнул — то ли оттого, что хотелось есть и спать, то ли оттого, что на него наводили тоску мысли Марианы.

— Пожалуй, теперь мы могли бы сделать привал, если все, конечно, согласны.

Мариана состроила гримасу, показывающую, что она устала и согласна. Омеро Луис подошел к ослу, который сразу же остановился и повернул морду к хозяину, словно хотел убедиться, что, остановившись, поступил правильно. Торговец потрепал его за ухо, потом открыл один из двух ящиков, составлявших поклажу, и вытащил оттуда завернутый в большой платок кусок белого хлеба и сухую колбасу. Потом вынул из кармана куртки нож и отрезал ломоть хлеба и два тонких кружка колбасы для Марианы. Для себя он приготовил двойную порцию — два ломтя хлеба и четыре кружка колбасы.

Оба сели на большой камень у края дороги.

— От этого камня у меня зад сплющится, — сказала Мариана Лопес.

— Когда встанешь, я тебе его разомну.

Мариана была еще немного обижена на Омеро Луиса и сидела с надутым видом.

— Посмотрим еще, соглашусь ли я. Зад-то мой.

Омеро Луис протянул Мариане ломоть хлеба и два кружочка сухой колбасы.

— Теперь давай жуй.

— А осел есть не будет? — спросила Мариана.

— Он ел на закате и теперь будет есть на рассвете. Так полагается.

— Хуже, чем у монахов в монастыре.

Залитые белым лунным светом, они начали молча жевать. Но даже при таком неверном освещении Мариана заметила темно-красный след на срезе хлеба. Она присмотрелась внимательнее, держа свой ломоть под лунным светом: прямо по краю бледной корки, по которой прошел разрез, виднелась неровная красная полоска, оставшаяся от лезвия. Мариане пришла в голову безумная идея, что след этот, возможно, от ножа Омеро Луиса. Надо ж придумать такое, сказала она себе, но на минутку перестала есть и поднесла кусок хлеба с красным следом к самым глазам. Что за бред — думать, будто это кровь, но чем же еще могло быть это красное пятно? Мариана Лопес попробовала сковырнуть с корки ногтем этот красный натек, стараясь, чтобы Омеро Луис ничего не заметил; она все-таки намеревалась хлеб съесть. Потом передумала, сунула в рот оба кружка колбасы и незаметно для Омеро Луиса бросила испачканный красным кусок хлеба назад, через плечо и принялась жевать как ни в чем не бывало. Потом она отпила из фляжки глоток разбавленного вина, чтобы соленая колбаса не так жгла язык.

— Там, где нет деревьев, плохо дышится даже ночью, — сказал Омеро Луис, — но днем еще хуже: идешь по этой дороге высунув язык и умираешь от жары. Я попробовал как-то пересечь Соленые Земли днем и больше никогда, да, никогда так не сделаю.

Слова "Соленые Земли" напомнили Мариане о соленой колбасе и красном пятне на хлебе. В голове промелькнула неприятная мысль, которую она сразу же отогнала ради сохранения мира. Мариана окинула быстрым взглядом унылый пейзаж, залитый молочно-белым лунным светом, но какой бы впечатляющей ни была эта картина, она не стерла из памяти проклятую красную полоску на хлебе, которая так и стояла у нее перед глазами.

— Я хожу на ярмарку в Мурсию, чтобы обновить ассортимент, — продолжал Омеро Луис, — и пересекаю эту пустыню всегда только ночью, и если удается — в полнолуние, когда лучше видно, куда ступаешь. Но не всегда полнолуние совпадает с днями ярмарки Сан-Исидро: тогда я бреду в темноте, как кот.

— Странный свет идет от этой луны, — сказала Мариана. — Не скажу, что он противный, но в голову лезет все самое нехорошее, что только есть на свете: пауки, скорпионы, змеюки, жабы — как в страшном сне.

— А ты давай жуй, — сказал Омеро Луис. — Здесь нет ни скорпионов, ни змеюк. Тут только мы с тобой.

Когда они кончили есть, Омеро Луис Молина и Мариана Лопес вновь тронулись в путь, медленно шагая за ослом. Но красное пятно на хлебе засело в памяти Марианы да так и стояло перед глазами помимо ее воли. Выходит, нож торговца был испачкан кровью. Нет, это невозможно. Это безумные мысли, навеянные ночью, и их надо выбросить из головы, отогнать, как заразных и назойливых мух.

То ли рассказ о Мануэле, то ли завывания Омеро Луиса до того разбередили ей душу, что Мариане стало мерещиться что-то дикое. Но эта красная полоска на хлебе именно там, где прошлось лезвие ножа Омеро Луиса, не плод ее воображения. Хоть она и была голодная, как она могла есть этот хлеб, испачканный кровью? И еще она подумала о том, что эта кровь наверняка несчастного сторожа Гранада-клуба. Да нет, ну как можно думать, будто Омеро Луис способен на такое преступление? Мариана заставила себя выбросить из головы эти ужасные мысли. Но следы крови — вот они, так и стоят перед глазами, и ей никак не удается стереть их в памяти. Она попробовала закрыть глаза, но этот красный след на хлебе никуда не девался.

Омеро Луис хлопнул по крупу осла, и тот с трудом сдвинулся с места.

— Вот бедная скотина, — сказала Мариана, — тащит кладь с вечера до утра, ест, когда хозяин дает ей что-нибудь пожевать, останавливается и снова идет, когда хозяин прикажет — такая покорная, никогда не жалуется.

— Не зря же она зовется ослом, — сказал Омеро Луис.

— Ничего себе объяснение. Ты республиканец при республике, монархист при монархии, а осел — всегда только осел.

— Тебе что-то не нравится?

— Нет, ничего. Я об осле говорю.

Омеро Луис заговорил небрежным тоном, как человек, не желающий придавать большое значение словам, а Мариана слишком уж много слов потратила в пользу осла. Слишком много и притом не без двусмысленных намеков. Мир, думал Омеро Луис, состоит из вещей и людей, а люди цепляют слова ко всему, даже к вещам, которых не возьмешь в руки, ну, например, как злость, дружба, усталость или подозрение, то самое, что зародилось у Марианы. Сначала вещи, потом слова. Даже Господь сначала создал животных, а потом дал им название; так говорится в Библии — она же гласит, что Бог дал имена всем живым существам. В том числе и ослу.

— Когда-то у меня была лошадь, и я мог ездить на ней по деревням, — сказал Омеро Луис.

— А почему теперь у тебя осел?

— Она сломала ногу, лошадь-то. Сошла с дороги и сломала ногу. Я тебе уже сказал, что передвигаюсь по ночам, и если возможно — в полно-

луние. Ну так вот, лошадь испугалась собственной тени — луна же светила. Пока луна светила спереди, тень ложилась позади нас, и все было в порядке. А когда дорога свернула в сторону, лошадь, увидев свою тень, двигавшуюся сбоку, стала брыкаться, чтобы избавиться от нее, и влетела в камни. Упала и сломала ногу. Бедная скотина, мне пришлось пригнать телегу, чтобы отвезти ее на бойню, потому что она больше не двигалась, а только стонала от боли. Сама подумай: днем она ходила при солнце и тень ее нисколько не пугала, а тень из-за луны вывела ее из себя. Полная луна странно действует на животных.

— Иногда и на людей тоже, — сказала Мариана.

— В общем, я решил купить осла и на базар ходить с ним. Ослу наплевать на свою тень что днем, что ночью.

— Он умнее лошади, или по крайней мере хитрее. Осел — как мы, нам тоже наплевать на свою тень.

— Днем — да, но ночью, при луне, не очень-то и наплевать, — сказал Омеро Луис. — Все время чувствуешь, что тебе приходится идти за своей тенью, что это она тебя ведет и выбирает дорогу. В общем, тебе кажется, что командует она, и ты боишься наступить на нее. Противное чувство, мурашки от него бегают по спине, но так бывает только ночью. А в конце концов привыкаешь ко всему, даже к самым страшным ночным теням.

У Марианы Лопес проблем с тенью не было.

— Ну во-первых, — сказала Мариана, — я по ночам не брожу по деревенским дорогам и не топчу никаких теней. Я в кровати лежу. И потом, я, как твой осел, плевать хотела на свою тень, что днем, что ночью.

— Эта лошадь, так испугавшаяся собственной тени, открыла мне глаза: я понял, что у лошадей что-то не в порядке с головой. У меня у самого проблемы с полной луной, в общем, ты ж понимаешь: очень нужно мне было терпеть еще проблемы моей лошади. Учти, что лошадь уставала от клади больше, чем осел. На таких дорогах осел в тысячу раз лучше, он таскает на себе любой груз и не жалуется.

— Не зря же он зовется ослом.

— Передразниваешь?

— Да нет. Это я просто так сказала.

— Может, осел даже доволен, что он осел. Кто его знает.

— Ты говоришь — не жалуется. А я говорю, что если бы он мог что-то сказать, то ты услышал бы, как к небу возносятся жалобы этого бедного животного.

— Ну что ты понимаешь в ослах? Ты когда-нибудь залезала в ослиную голову? Тебе понятна его философия? Смотри, как спокойно он шагает.

— Спокойно, пока не переломится от тяжести. И тогда твою поклажу тебе придется тащить на собственном горбу, если не хочешь послать к такой матери свою метафизику.

— Ты что ко мне цепляешься? И далась тебе эта метафизика.

— Я имею в виду то, что находится внутри в этом вьюке. Цену метафизики знаешь ты, а какая она тяжелая, знает это бедное животное.

Намек на тяжесть и на то, что спрятано в поклаже, сразу вывел Омеро Луиса из себя. Снова здорово, подумал торговец. Вот и у нее те же подозрения, что у трактирщицы из Велес Рубио, да еще пострашней. Вьюк и вьюк, будто больше говорить не о чем. И зачем только он согласился взять с собой эту тощую девку, которая все время его в чем-то подозревает? Сколько лет он ходил один и разговаривал сам с собой. Когда голова

начинала работать, в ней рождались такие замечательные мысли и красивые слова, что он откладывал их про запас, как дорогие монеты. Как золотые монеты.

— Кто знает, что такое тень, — сказала Мариана.

— Это одна видимость, — ответил Омеро Луис.

— Мне это ни о чем не говорит. Тень — вот она, я вижу ее, она всюду движется за мной. Если я ее вижу, значит, из чего-то она состоит. Твоя лошадь тоже ее увидела и испугалась. Вот и попала на бойню из-за тени, которая не состоит из ничего.

— Тогда возьмем, к примеру, осла, которому на тень наплевать.

— Ослу наплевать на тень, потому что все его мысли занимает вьюк, от которого у него вот-вот спина переломится. И после такой каторжной жизни ему даже рай не светит.

— Да будет тебе, — сказал Омеро Луис. — Лучше подумай: я отнесся к тебе по-дружески, взял тебя просто ради компании, а ты относишься ко мне как к проходимцу, истязающему эту несчастную вьючную скотину.

— Послушай, ты вовсе не подобрал меня, как ты говоришь, я по собственной воле к тебе присоединилась. Мне нужен был попутчик, точно так же, как и тебе, не больше и не меньше. А теперь за то, что ты мне дал кусок окровавленного хлеба, я еще должна всю жизнь тебя благодарить?

Омеро Луис онемел. О чем говорит эта свинья Мариана? Чтобы скрыть свою растерянность и ярость, которые вызвало у него это чудовищное подозрение, он грубо рассмеялся, и смех его разнесся эхом в ночном воздухе. И все же он должен был как-то все объяснить.

— Сначала я отрезал два кружка колбасы, а потом хлеб. По-твоему, мне надо было прежде, чем резать хлеб, помыть нож водой с песком и мылом? Этого ты хотела?

Мариану обеспокоили не столько сами слова, сколько злобный тон Омеро Луиса. Но ведь он сначала отрезал хлеб, а потом колбасу, только не хотелось ему сейчас об этом напоминать. Лучше не стоять на своем.

— Мне показалось, что это кровь, хотя я могла и ошибиться.

— Ты ошиблась, — сказал торговец, окидывая ее тяжелым, почти угрожающим взглядом.

— Да, наверно ошиблась. Пусть так, я ошиблась, — сказала Мариана, жалея, что проговорилась.

И зачем только она упомянула про кровь? Лучше б язык себе откусила. Но теперь уже было слишком поздно, сказанного не воротишь. Какая ужасная привычка — произносить вслух все, что придет в голову.

— Омеро Луис разоткровенничался с тобой как никогда и ни с кем в Испании, а как ты отплатила? Всякими подозрениями. Так вот, могу я узнать, что у тебя на уме?

— Глупости.

— Какие?

— Да пустяк. Просто ночная мысль. Знаешь, одна из тех мыслей, которые приходят и уходят ночью, когда человека одолевает сон.

— По ночам приходят почти всегда глупые мысли, но иногда они бывают еще и опасными. Мы с тобой тут одни и можем высказать друг другу все, даже плохие мысли. Так какая у тебя была мысль?

Мариана Лопес встревожилась. Ясно, что Омеро Луису не понравилось упоминание об окровавленном ноже. Она сказала просто так, не задумываясь, но и представить себе не могла, что Омеро Луиса это так заденет. Легкомысленное замечание девушки в глазах торговца было

оскорбительно, как серьезное подозрение. А может, он так разволновался потому, что подозрение это было не безосновательным?

Если теперь Омеро Луис захочет отомстить и причинит ей зло, как же она сумеет защититься? Сильному и прямому как оглобля Омеро Луису достаточно ударить ее разок кулаком, чтобы она без сознания рухнула на землю. А если он возьмется за нож? Мариана уже видела себя распростертой в пыли с перерезанным горлом и открытыми глазами, глядящими на луну, которая блестела там, в небе. Потом она сказала себе, что Омеро Луис прав: мысли, приходящие ночью, почти всегда нехорошие, и лучше отдать их сну, а не выражать словами, как это неосторожно сделала она. Когда она встретила Омеро Луиса в трактире "Стеллетта" в Велес Рубио, он показался ей таким спокойным. А теперь он внушал ей страх. А как напугал он ее своей странной историей с призраками собак и лаем. И все-таки она не могла не задуматься об этой красной полоске на хлебе, не могла сделать вид, будто все в порядке. И почему Омеро Луис так вскинулся, когда она упомянула о крови?

Наконец она сказала себе, что ни к чему были все эти подозрения насчет бедного торговца, взявшего ее с собой в этот долгий ночной путь через безлюдные Соленые Земли. И подумала, что многие не выносят вида крови и зажмуривают глаза или пускаются наутек при одном упоминании о ней. Может, Омеро Луис — один из них.

— Интересно, что ты имеешь в виду под нехорошими мыслями? — опять спросил Омеро Луис, и в его голосе чувствовалось настойчивое ожидание ответа.

Ну вот, Омеро Луис опять бьет в одну и ту же точку. И теперь Мариану объял настоящий страх. Да, Омеро Луис способен превратить ее в отбивную. В этом проклятом безлюдном месте она может исчезнуть навсегда и никто этого даже не заметит. Да, конечно, трактирщица из Велес Рубио видела, как они пустились в путь вместе, но это ни о чем не скажет полиции или суду. Достаточно оттащить ее труп за какую-нибудь скалу, чтобы скрыть его от взгляда случайных путников. И опять Мариана уже видела себя на земле с перерезанным горлом и Омеро Луиса, который волочет ее за ноги в сторону от дороги, потом раздевает, чтобы никто не смог узнать ее по одежде, и оставляет голое тело на земле, где солнце высушит его, как всякую падаль. Потом он сожжет ее одежду в этих пустынных Соленых Землях. Точно так, как это делают бандиты.

— О нехороших мыслях говорил ты, а не я. Ты сказал, что по ночам к тебе приходят плохие мысли. А ко мне не приходят ни хорошие, ни плохие. Я имела в виду только глупые мысли.

Мариана Лопес старалась говорить твердым голосом, чтобы продемонстрировать уверенность, которой у нее вовсе не было, а главное, чтобы не выдать рисовавшиеся в ее мозгу страшные картины. Она совершенно перестала понимать этого странного торговца — такого обидчивого и в то же время такого наглого и грозного.

— Я рассказал тебе про Мануэля, чтобы ты поняла, что Омеро Луиса вокруг пальца не обведешь. Не знаю, ты просто не хочешь понять или прикидываешься дурочкой.

"Черт побери, разве это не угроза?" — подумала Мариана, решившая защищаться до последнего.

— Я ж говорю: по ночам мне не приходят в голову ни хорошие, ни плохие мысли. Вообще никакие мысли, даже глупые, вроде той, о которой я тебе сказала. Иногда, правда, мысли у меня появляются днем, ког-

да их ветер приносит, но здесь никакого, даже самого легкого ветерка нет и дышать-то почти нечем. А ты, пожалуйста, не взвешивай каждое слово на весах. И не нужно мне угрожать.

Омеро Луис в ответ только пробурчал что-то нечленораздельное, и Мариана успокоилась. Вернее, почти успокоилась.



***

Омеро Луис Молина и Мариана Лопес довольно долго шли молча, трамбуя дорожную пыль. Мариана вспоминала свою маму, называвшую бродячих торговцев, ходивших пешком по окрестным дорогам, "пыльными ногами". Она глянула на запыленные башмаки Омеро Луиса, которые вполне можно было назвать башмаками бродячего торговца, хотя и ее туфли были теперь покрыты слоем пыли. Ну и что? У обоих ноги в пыли. Тут мысли Марианы и застопорились.

Высоко поднявшаяся, сияющая луна отбрасывала на дорогу их короткие тени, которые колыхались на неровностях дороги, приобретая странную и даже страшноватую форму. Мариана с опаской смотрела на свою тень, с каждым шагом менявшую очертания. В какой-то момент, наблюдая за тенью Омеро Луиса, она увидела фигуру мужчины, поднявшего руку с зажатым в кулаке ножом, которым он хотел поразить ее тень. Две тени, дерущиеся на ножах. Как странно. Она взглянула на своего попутчика, но никакого ножа в руке у него не было. Ночные фантазии, подумала она, и незачем путать их с мыслями.

— Ты рассказал мне историю про Мануэля, и она камнем легла мне на душу. Теперь расскажи что-нибудь веселое, потому что мне нужно посмеяться или даже захохотать. Вот посмеюсь и до рассвета буду чувствовать себя хорошо.

— Значит, тебе нужна какая-нибудь чепуха?

— Да мне хватит простенькой истории, пусть даже совсем короткой.

Омеро Луис закрыл глаза, чтобы сосредоточиться.

— Нет, пока мне ничего не приходит в голову.

Но через несколько минут в его памяти что-то всплыло, а на лице появилась улыбка.

— Вот тебе история про двух блох.

— Послушаем. И что с ними случилось?

— Они были на какой-то вечеринке и припозднились. Подошли к двери, но на улице шел проливной дождь. Тогда одна из них и говорит: "Ну что, наймем кота или пойдем пешком?"

— А дальше?

— А дальше ничего: наймем кота или пойдем пешком.

Мариана была разочарована и даже не улыбнулась. А Омеро Луис обижен тем, что его смешную историю не оценили.

— И все? — спросила Мариана.

— Ну да. А что еще?

— Хотелось бы знать, — сказала Мариана, — эти блохи — муж и жена, брат и сестра, два брата или две сестры. Или только две подружки. И с какой вечеринки они возвращались. С дня рождения, свадьбы или крестин. И сколько времени было, когда они подошли к дверям. Может, они еще и выпивши были? И почему они пришли без зонтика.

— Некоторые смеются, когда я это рассказываю. Просто так, без зонтика.

— А я нет.

— Жаль.

— Блохи меня не смешат, — снова сказала Мариана. — И даже собаки не смешат — они еще хуже блох. Нет, блохи все-таки хуже собак.

***

Внезапно Омеро Луис остановился, устремив взгляд на обочину. Потом наклонился и подобрал из небольшого углубления в земле несколько сухих листьев. Он удивленно стал разглядывать их, как человек, не верящий собственным глазам. Потом с потрясенным видом показал их Мариане.

— Сначала собаки, теперь эти сухие листья, — сказал Омеро Луис, растирая их в руке.

— Ну и что? Ну и сухие листья. Чего у тебя такое лицо?

— Ты не понимаешь? В местах, где нет ни единого дерева на сто миль вокруг... Откуда взялись эти листья? Откуда они, по-твоему? Это какое-то колдовство, но я не понимаю, что оно означает. Предзнаменование? Кто подсовывает эти знаки на нашем пути?

Омеро Луис был явно встревожен и все еще мял в руках горсть поднятых с земли сухих листьев. Мариана пыталась дать какое-то разумное объяснение этому малозначительному факту.

— Их не могло занести сюда ветром?

— Нет. Ты же сама понимаешь, что такого быть не может: кучка листьев прямо у нас на дороге и ни единого листочка на всем пути от Велес Рубио до этого вот места. Будь это ветер, нам бы попадались листочки то здесь, то там. А они — вот, все вместе, чтоб было заметнее. Конечно же тут какой-то знак. Может, предупреждение об опасности. Но я не предсказатель и не умею истолковывать такие знаки. Если он говорит об опасности, Омеро Луис хотел бы знать, что это за опасность такая, чтоб поостеречься. Ну, что ты скажешь?

— Но почему именно сухие листья? Что еще за знак такой?

— Тогда дай мне другое объяснение. Если можешь. Листья в этом месте — самая метафизическая вещь на свете, как и собачий лай. К сожалению, знаки судьбы — странные, не поймешь, как в них разобраться. И вот начинаешь думать, ломать голову, но ничего не понимаешь; совершенно ничего не понять, ни за какие коврижки на свете.

— И ты думаешь, что судьба оказывает себя через какую-то горсточку сухих листьев? Ты считаешь, что это нормально?

— Предначертания судьбы никогда не бывают прозрачными.

— А тогда зачем они нужны?

— Они тебя настораживают. Это предупреждения, но темные, как сама ночь.

— Такие темные, что мы не можем ничего понять. Тогда сделаем вид, будто мы их не видели, или постараемся забыть о них. Вот и все, — сказала Мариана.

— Слишком удобно. Сначала собачий вой в ушах, потом эти дерьмовые листья, подсунутые нам под нос. Я совершенно уверен, что это знаки судьбы, словно кто-то хочет мне сказать: подумай о том, что ты делаешь, и о том, что может с тобой случиться. И этого достаточно, чтоб я поостерегся; но нет ни намека на то, где она, эта опасность.

— Тогда откуда, по-твоему, берутся эти знаки? Наверно, ты догадываешься, откуда они. Или нет?

— Кто знает? С неба? С земли? Признаюсь, мне в общем-то все равно, откуда они приходят. Это знаки судьбы, значит, человек самое малое должен быть начеку и идти вперед со всей осторожностью, словно ноги у него бронзовые.

— Свинцовые, — поправила его Мариана.

Омеро Луис наморщил лицо.

— По мне так лучше бронзовые. Я ж предупреждал, что использую слова как мне вздумается. Так что с твоего позволения пусть будут бронзовые.

Мариана Лопес хотела спросить его, что он подразумевал под словами "быть начеку". Держать наготове нож? Идти другой дорогой? Наддать шагу, чтобы поскорее добраться до Мурсии?

— Как знать, с какого дерева эти листья, — сказала она вслух. Просто так, чтобы нарушить молчание.

Омеро Луис плюнул под ноги.

— Не знаю и даже знать не хочу. Ясно одно: здесь нигде нет деревьев. И собак тоже нет. Мы слышали собачий вой, а теперь вот нашли кучку сухих листьев, хотя ни то, ни другое невозможно.

— Я лично собак не слышала. Да в общем все равно.

— Но листья-то ты видела.

Омеро Луис взял фляжку с вином и, отпив из нее, протянул Мариане.

— Мы уже недалеко от Мурсии, так что можем выпить, что осталось.

Мариана тоже сделала глоток. Ноги у нее устали, ступни и колени болели, но момент был неподходящий, чтобы сказать об этом Омеро Луису, который шел вперед, все больше хмурясь и глядя в землю. Мариана не понимала, почему кучка листьев на обочине дороги так его встревожила. Странный народ мужчины, думала она, но совсем уже странными становятся они ночью, когда над головой висит полная луна.

— Теперь, когда я промочила горло, то могла бы тебе что-нибудь рассказать, только в голову ничего не приходит, — сказала Мариана. — Впрочем, нельзя же всю дорогу только и делать, что разговаривать.

После того как Омеро Луис нашел эти сухие листья, он помрачнел, как безлунная ночь. Искоса взглянув на девушку, он хлопнул по крупу осла, который замедлил шаг, поскольку дорога пошла в гору. И просто так, безразличным тоном спросил у Марианы, чтобы заставить ее говорить и отвлечься от мыслей о листьях:

— А что у тебя за сестра?

— Такая простушка — ничего не знает, кроме дома, церкви и мужа. До замужества она гуляла, но теперь изменилась и вбила себе в голову, что я тоже должна измениться, или, как говорят, взяться за ум, выйти замуж, завести свой очаг и начать кухарничать. Так считает моя сестра, которая после замужества стала толстая как бочка.

— А ты согласна подыскать себе мужа?

— Если б я была не согласна, думаешь, стала бы я ломать себе ноги по дороге в Мурсию? А почему бы и нет, сказала я себе, здоровяк муж, двое детей, немного деньжат — и живи себе спокойно. Говорят, не в деньгах счастье, а в чем же — в бедности?

— Давай лучше не будем говорить о плохом, — сказал Омеро Луис. — Если я начну составлять свой список, то он протянется аж до Северного полюса.

— А почему бы тебе не составить список всего хорошего, а не плохого?

— Твоя правда. Если я начну считать баб, которых я поимел за всю свою жизнь, то у списка конца не будет. Уж этого у меня никто не отнимет, так что лучше не жаловаться и постараться забыть обо всех бедах, которые меня вечно преследовали.

Омеро Луис посмотрел на Мариану и улыбнулся ей, чтобы вызвать ее на откровенность.

— А ты? Наверно, и счет потеряла.

— По мне так это пустяк, но в Гранаде это считают прямо светопреставлением; а есть сеньориты, которые на такую тему никогда не говорят, а посмотри на них, так у каждой на лбу отпечатки тысячи хренов. Я про себя ничего не скрываю, но не всегда занималась этим только по любви или ради развлечения; иногда на это идешь от одиночества, когда чувствуешь себя никому не нужной, или из-за плохого настроения, которое всегда приходит с одиночеством. В таких случаях я ложусь с первым встречным мужчиной, и все.

Омеро Луис слушал рассеянно, занятый другими мыслями.

— Ну ты подумай! Мы вот говорим, говорим, а у меня перед глазами все время эти дерьмовые сухие листья.

— А может, ты все-таки забудешь про эти дерьмовые сухие листья?

— Вот ты говоришь "забудешь", а возьмем историю с Мануэлем. Как же, забыл я ее! Знаешь, я пытался, но память крутится туда-сюда, а потом раз — и подсовывает мне под нос его окровавленную башку там, у деревенской дороги, как в дурном сне. И тогда хочется дать хорошего пинка под зад всей своей жизни.

***

Окружавшая их местность была такой пустынной и монотонной, что Омеро Луис и Мариана шли расстроенные и делали шаг за шагом, глядя только под ноги и даже ни о чем не думая. В сознании Омеро Луиса беспорядочно вырисовывались буквы алфавита, пока еще не складывающиеся в слова. Такое с ним уже случалось. Для Омеро Луиса это было признаком растерянности и замешательства.

У Марианы набрякли веки, ей очень хотелось спать.

— Меня вдруг в сон потянуло.

— А ты держись за хвост осла и иди с закрытыми глазами.

— Не могу я заставить это несчастное животное тащить еще и меня. А ты и вправду думаешь, что я смогла бы спать на ходу?

— Лошади, например, спят стоя.

— Но я же не лошадь.

— Могу признаться, я тоже хочу спать. И знаешь, что я делаю? Тру глаза и иду дальше. А бывает, кладу в рот стручок горького перца: он не дает заснуть.

Вдруг Омеро Луис поднял глаза и резко остановился. Он стоял не двигаясь и сделал знак Мариане тоже остановиться. На вершине небольшого холмика он увидел какую-то черную фигуру, свернувшуюся клубком

на большом камне. Этот черный тюк не был частью пейзажа; на такое странное явление нельзя было не обратить внимания.

Омеро Луис сунул руку в карман куртки и схватился за нож.

— Это что еще за черная штуковина? — тихо спросил он у Марианы не столько для того, чтобы услышать ее ответ, сколько для того, чтобы насторожить ее.



Мариана тоже резко остановилась, немного испуганная этим странным видением, но главным образом — жестом Омеро Луиса, явно схватившегося за нож, лежавший у него в кармане.

— Похоже на какие-то тряпки. Хоть бы в них никого не было.

— Посмотрим, двигается оно или нет, — сказал Омеро Луис.

Оба, затаив дыхание, уставились на черный тюк. Мариана мысленно досчитала до тридцати.

— Не двигается, — сказала она, вздохнув.

— По-моему, под этими тряпками кто-то есть, не знаю только — живой или мертвый.

— Тогда, наверно, мертвый, потому что не двигается, — сказала Мариана все так же тихо.

— Мертвый в сто раз лучше, чем живой.

— Да-да, будем надеяться, что он мертвый.

Мариана заметила, что Омеро Луис вынул из кармана левую руку с зажатым в ней ножом. И опять у его тени на дороге появился в руке нож. Ну да, подумала Мариана, теперь тень правильно показывает.

— Лучше тебе оставить нож в покое. Надо постараться понять, что это.

Омеро Луис остановил осла, ушедшего на несколько шагов вперед, потом все еще вполголоса сказал Мариане:

— Все эти дурные знаки, которые мы получили на дороге, подсказывают мне, что дело плохо. Я уверен, там человек. То ли бандит, поджидающий жертву, то ли несчастный, приконченный бандитом.

— Или просто путник, устроившийся там, чтобы дать отдых ногам и вздремнуть.

— Хорошо бы.

— Что будем делать? Подождем немного, посмотрим, вдруг он пошевелится, — сказала Мариана.

— Мы не можем торчать тут всю ночь. У меня нет времени, и уж точно я не задержусь из-за этого тюка.

— Тогда давай подойди на цыпочках и попробуй понять, что там внутри.

Омеро Луис не испытывал никакого желания связываться с этим черным тюком. Возможно, это была просто куча тряпья. А может, кто-то затаился у обочины.

— Не исключено, что это бандит, который забился под какой-то хламидой, и когда я подойду, он прыгнет на меня и пырнет ножом в живот.

— В общем, ты боишься.

— Я? Боюсь? Это просто осторожность человека, который привык путешествовать ночью и кожей чует опасность за километр.

"Если Омеро Луис испугался после наших странных разговоров, — сказала себе Мариана, — значит, и впрямь можно испугаться; наверно, перед нами какая-то настоящая опасность". От одной этой мысли у девушки побежали мурашки по спине и появилась слабость в коленях. У нее недостало бы даже сил бежать в случае, если на Омеро Луиса напа-

дут и он бросится наутек. Да нет, Омеро Луис не мог убежать, бросив осла со всей его поклажей. А если начнется настоящая схватка на ножах, что ей, бедняге, останется делать в такой заварухе?

— Попробуй швырнуть в него камень, — сказала Мариана, — и мы увидим, живой он или мертвый.



— Тогда он взбеленится и продырявит животы нам обоим. Не надо доводить его до этого, если там под тряпками кто-то живой. Хочется верить, что нет.

— Так что же нам делать?

Омеро Луис сосредоточенно думал и покрепче сжимал рукоятку ножа.

— Ладно, сейчас Омеро Луис попробует подойти к этой куче тряпья с ножом в руке. Посмотрим, задвигается она или нет.

Омеро Луис шагнул раз и другой, потом остановился, сделал Мариане рукой какой-то непонятный знак, затем наклонился, поднял с земли камень и сделал вид, будто бросает его в сторону черного тюка, но глядя при этом на Мариану так, словно ждал ее одобрения.

Мариана одобрительно закивала.

Омеро Луис швырнул камень, но он перелетел через тюк. Ничего, никаких признаков жизни. Торговец бросил второй камень; этот упал в основание странной кучи тряпья, которая все еще оставалась неподвижной.

Омеро Луис никак не мог понять, почему этот странный, похожий на человека тюк не подает признаков жизни. Неужели перед ними действительно покойник? Он сделал несколько шагов вперед, напрягшись и держа нож в руке. Мариана пошла следом за Омеро Луисом. Осел остался стоять посреди дороги, несколько смущенный манипуляциями хозяина.

Наконец тот, кто был в куче тряпья, услышав приближающиеся шаги, зашевелился и высунул наружу крупную голову, блеснувшую под лунным светом седыми лохмами.

— Вы кто? — спросил Омеро Луис, остановившись в нескольких шагах от незнакомца.

Перед ним выросла массивная фигура монаха, закутанного в черный плащ. Он широко зевнул.

— Вы разбудили меня, я спал, или, вернее сказать, грезил наяву.

— Кто вы?

— Как видите по сутане, я бедный усталый монах, задремавший по пути в Мурсию.

— Покажите руки, — приказал ему Омеро Луис.

Монах выпростал из одеяния худые белые руки, совсем не соответствовавшие его массивной фигуре, размял пальцы и осенил себя крестным знамением.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

После чего снова уселся на камень.

— Если вы действительно монах, прочитайте молитву на латыни. Скорее всего вы бандит.

Монах зашевелился в своем одеянии.

— Я похож на бандита? А вы кто такие?

Омеро Луис не ответил.

Монах молитвенно сложил ладони и начал:

— Ave Maria gratia plena, Dominus tecum...

Когда молитва на латыни дошла до половины, Омеро Луис сделал монаху знак остановиться, потом тоже торопливо перекрестился.

— Да восславится наш Господь, — произнес торговец, — и да сгорят в геенне огненной Магомет и все его присные.

— Мы, монахи, никого не проклинаем, даже неверных, воров и убийц, потому что наш Господь милостив и велит нам прощать.



Омеро Луис не очень разбирался в церковных делах, и потому его поразили слова монаха о милости Господней и прощении. Он минутку подумал, потом поделился с монахом своими сомнениями.

— Не знаю, правильно ли я вас понял. По-вашему выходит, что и убийца может получить прощение Господа нашего, а после смерти попасть в рай?

— После исповеди и покаяния все могут попасть в рай, но только пройдя через чистилище. Чистилище — это необходимый этап для совершивших тяжкие грехи.

Омеро Луис подмигнул Мариане и наконец даже улыбнулся ей. Выходит, жалостную историю с Мануэлем можно вычеркнуть из жизни благодаря такой удачной ночной встрече с монахом по пути в Мурсию.

— Много лет назад я отправил на тот свет одного парня, но никогда не исповедовался. И сейчас впервые говорю об этом со святым отцом.

Торговец вкратце рассказал монаху о том дне, когда они метали кольца, о насмешках приятелей над его косыми глазами и о смерти Мануэля.

— Позабудь об этом, — сказал монах, — потому что ты не виноват. Забыв ту историю, ты можешь освободить место для добрых мыслей.

Похоже, Омеро Луис одолел свое мрачное настроение и завел с монахом разговор на тему, бередившую его душу больше, чем та давняя история со смертью Мануэля.

— Выходит, что и грабитель, который перерезал горло несчастному сторожу из Гранада-клуба, тоже может оказаться рядышком с нами в раю?

— Похоже, что вы не только уверовали в то, что попадете в рай, но решили подобрать себе еще и соседей, — сказал монах. — Блажен, кто верует. К тому же, как я вижу, вы называете человека, перерезавшего горло сторожу, грабителем. Лично я назвал бы его убийцей. Хоть я и не знаю всех подробностей, но так, на глазок, назвал бы его убийцей.

— Правильно, вот уж правильно, — сказала Мариана Лопес.

Омеро Луис от комментариев воздержался. Монах встал с камня, на котором угнездился.

— Можно мне пойти с вами?

— Ну конечно, — сказал Омеро Луис. — Теперь у нас вместе с ослом получится маленький караван.

Монах двинулся следом за Омеро Луисом и Марианой, которые снова пустились в путь; дорога шла теперь чуть под уклон. Пара быстрых шажков, и монах присоединился к своим попутчикам.

— Позвольте спросить, — сказала Мариана, — что вам снилось, когда мы вас разбудили?

— Мне снилось, что я летаю.

— У вас были крылья, как у птицы?

— Во сне крылья не нужны. Я не раз летал во сне.

— Вам казалось, что вы ангел?

— Нет-нет, я не такого высокого мнения о себе даже во сне. Но мне было приятно глядеть с высоты на деревни, поля, крыши домов, белые дороги, реки. Там, внизу, я видел и людей — маленьких-маленьких, как муравьи.

— Я хотела вас спросить... — сказала Мариана.

— Ну что ж, спрашивайте.

— Мне как-то неловко, но я все равно спрошу. Мне уже не раз снилось, что на меня наваливается лев, и мне очень нравилось быть с ним.

— Наваливался, говорите? Значит, у вас были половые отношения со львом?

— Вот именно. А когда я просыпалась, то у меня от удовольствия даже подтекало. Я хочу спросить у вас, считается ли свинство, которое происходит с тобой во сне, грехом. В общем, мне надо пойти к исповеди и рассказать, что мы, простите за грубое слово, трахались со львом?

— Если бы сны принимались в расчет как грехи, то исповедникам пришлось бы работать по двадцать четыре часа в сутки. Нет, детка моя, сны приходят к нам не по заказу, и потому ваш сон про льва грехом не считается. Но поскольку, как гласят некоторые древние учения, в снах отражаются желания, каждый должен заглянуть к себе в душу и посмотреть, нет ли там греховных желаний, потому что вот это уже грех.

— Тогда я спокойна, ведь днем я хочу трахаться, простите за это слово, только с мужчинами. А со львами — никогда.

— Мне почему-то не снилось, что я сплю с львицей, хотя, если вдуматься, я бы от этого не отказался, — сказал Омеро Луис.

— Тебя спрашивают? — сказала Мариана, недовольная таким вмешательством в ее диалог с монахом.

А тот нашел рассказ Марианы о снившемся ей льве исчерпанным. Его больше интересовали сведения об ограблении Гранада-клуба, о котором упомянула эта пара.

— Я ничего не знаю о грабителе, который перерезал горло сторожу Гранада-клуба, — сказал монах, — но хотелось бы узнать об этом случае побольше. Знаете, туда, наверх, в наш монастырь, слухов доходит очень мало, за исключением тех, что мы изредка узнаем от руководства нашего ордена.

— Мы тоже мало чего знаем, да и незачем вам вникать в эту историю, — сказала Мариана Лопес, — тем более что грабитель сейчас уже неизвестно где, и сама история-то теперь ничего не стоит, так как у нее нет конца. Одно только ясно, что вор не попадет в рай, даже если вы отпустите ему грехи.

— Это вы так решили? — спросил монах.

— Не обращайте на нее внимания, — сказал Омеро Луис, — она хорошая девчонка, но сует нос во все на свете, даже в потусторонние дела.

— Верно, — сказала Мариана, — я действительно во все лезу, но больше в посюсторонние, а не в потусторонние дела. Омеро Луис это уже понял.

И опять Омеро Луис не ответил на провокацию. Ну никак он не мог заставить молчать эту проклятую Мариану Лопес и обратился к монаху, намереваясь перевести разговор в другое русло.

— Вы тоже на ярмарку идете?

— Я, кажется, понял, что вы идете продавать, а я иду покупать всякую мелочь для нашего монастыря Святой Аны, который находится в горах. Я хожу на рынок и легкую кладь ношу в сумке: семена для огорода,

нитки, пуговицы, иголки и прочую ерунду. А вот более тяжелые вещи нам привозят на телеге, и расплачиваемся мы за товар уже в монастыре. Так что мне не приходится носить деньги при себе. А из-за этой засухи мы, увы, вынуждены покупать все: и белую муку, и темную, апельсины и лимоны, сухие фрукты, ветчину, колбасу и несколько бочонков вина — для стола и для мессы.



— А я как раз и торгую всякой такой мелочью — иголками, нитками и пуговицами.

— Мне надо еще сделать заказ на съестные припасы, так что все равно надо идти на ярмарку в Мурсию. К тому же я не знаю, есть ли у вас подходящие белые пуговицы и достаточно ли белых ниток, которые нужны для починки сутан братьев.

— Но у вас сутана черная, — сказал Омеро Луис, — хотя доминиканцы из Святой Аны носят белые сутаны, если не ошибаюсь.

— Мой случай — исключение из правила, дозволенное руководством нашего ордена. Я много времени провожу в дороге, хожу по монастырским делам и ночью надеваю черную сутану, чтобы не бросаться в глаза в темноте.

— А зачем вам надо сливаться с темнотой? — спросила Мариана.

— Я боюсь бандитов. Денег со мной мало, но говорят, что бандиты могут перерезать горло даже из-за горсти монет.

— Я что-то не слыхал, чтобы бандиты резали монахов, — сказал Омеро Луис.

— Я единственный монах, бывающий на рынке в Мурсии. Как видите, до сих пор мое горло цело.

— Тогда почему вы боитесь бандитов и надеваете черную сутану? — спросил Омеро Луис.

— Наш путь по этой безлюдной местности можно считать не очень опасным, но слыхал я, что и здесь иногда кое-что случается.

— Как это — кое-что? — встревоженно спросила Мариана.

— Бандиты — настоящая чума этих мест. Они налетают внезапно, грабят вас, а потом перерезают вам горло или втыкают нож в живот, так как хотят быть уверены, что вы на них не донесете. Так случилось чуть больше месяца назад с мужчиной и женщиной, направлявшимися на рынок в Мурсию.

— Их убили? — спросила Мариана.

— Бандиты не щадят никого на свете.

Поинтересоваться еще чем-нибудь Мариана не осмелилась.

— Но вы, кажется, — заметил монах, — упомянули о каком-то преступлении в Гранада-клубе. Как я уже сказал, известие об этом преступлении до монастыря еще не дошло. Да будет вам известно, что после каждого такого похода я кроме семян для огорода и ниток для починки одежды монахов приношу всякие новости. И хорошие, и плохие. Братья собираются вокруг меня, чтобы послушать мои рассказы. Иногда я бываю вынужден придумывать кое-что, чтобы не разочаровывать братьев, и случается, иногда и сам начинаю в это верить. У меня крепкая память, поэтому именно меня всегда посылают в дорогу, а по возвращении в монастырь я рассказываю все, что видел и слышал, хорошее и плохое, правду и вымысел, все без утайки — это в поучение братьям, которые не бывают в миру.

Омеро Луис никак не мог постичь эту странную теорию монаха.

— Вы сказали — правду и вымысел. Ничего себе разница.

— Дело в том, что о некоторых вещах, — продолжил монах, — мне рассказывают как об истинных, тогда как они явно ложные. Молодые братья должны научиться отличать правду от лжи или, во всяком случае, высказывать свои сомнения. Это очень полезное упражнение. К тому же и забавное. Как вы уже, наверное, поняли, мы там, в монастыре, довольствуемся малым.

— Вы говорите, что вниз посылают только вас? — спросила Мариана.

— Мы подали прошение главе нашего ордена, он передаст его Папе Римскому, чтобы тот дал нашим братьям-проповедникам разрешение на сбор пожертвований вне стен нашей церкви, поскольку к нам в горы приходит мало верующих. Тогда даже самые молодые наши братья получат возможность путешествовать. Но не думаю, что нам дадут такое разрешение, ибо считается, что контакт с мирянами может подорвать духовное здоровье монахов, которые столкнутся с тысячей искушений, как это случилось с братьями-францисканцами, поголовно ставшими грешниками. Так что я буду очень вам благодарен, если вы во благо наших монахов передадите мне простыми словами все, что вам известно об этом преступлении в Гранада-клубе. Кровавые истории вызывают у монахов очистительную реакцию, совсем как катарсис в греческих трагедиях.

— От знающих людей всегда можно научиться новым словам. Вот слова "катарсис" я никогда не слышал.

Омеро Луис отложил в памяти еще одно красивое слово. Потом обратился к Мариане Лопес.

— Расскажи про ограбление и убийство в Гранада-клубе. Ты лучше меня знаешь подробности.

— Скажи уж, что тебе не хочется говорить про эту страшную историю, и для этого у тебя наверняка свои причины. Я могу рассказать только то, что слышала от других. Может, правду, а может, неправду.

— С меня и того будет довольно, — сказал монах.

— Ты сама однажды побывала в клубе, — заметил Омеро Луис.

— Но я не была там, когда убили сторожа и обчистили кассу. Ты уверен, что я больше, чем ты, подхожу, чтобы говорить про это?

И опять Омеро Луис встревожился. Что это еще за разговоры? Что кроется за словами Марианы? Ее там не было, когда убили сторожа, пусть так, но почему он должен знать про это больше, чем она?

— Монах, например, — сказал Омеро Луис, — мог бы пересказать главы из Библии, хотя его не было там, где все эти истории происходили.

— Тогда не обращайте внимания на слова, которые могут вылететь у меня изо рта, монсеньор, потому что иногда рассказ идет сам по себе, а я только следую за ним. Но сейчас мне нужно сделать глоток вина, чтобы смочить язык.

Омеро Луис вытащил флягу из поклажи и протянул ее Мариане, и та сделала затяжной глоток. "Хоть бы она опьянела, — подумал Омеро Луис, — может, перестанет совать нос в мои дела".

— Вино здорово придумали, — сказала Мариана и повернулась к монаху. — По мне так лучше начать издалека, чтобы не сразу перейти к краже. Если вы, конечно, согласны.

— Меня интересует все, что вам известно о Гранада-клубе, и как там было еще до ограбления. Я послушаю вас и постараюсь запомнить слово в слово. Можете говорить медленно, прежде всего потому, что у вас кра-

сивый голос, а также потому, что эта пыльная дорога еще не скоро кончится.

— Не знаю, как подойдут мои слова к вашей монашеской сутане.

— Там наверху, в монастыре, брат, который занимается стиркой, говорит, что черная сутана выдерживает любую грязь; увидите, она выдержит и ваш рассказ.



Монах сделал успокаивающий жест, и Мариана стала рассказывать о том, как какая-то сводня позвала ее в Гранада-клуб, как она пришла туда ночью, как ее раздели догола и имели спереди и сзади до рассвета эти гнусные свиньи. Она рассказывала с подробностями, которые в откровенном изложении доминиканца потрясли бы монахов Святой Аны. Мариана так и представляла себе их, с жадным интересом и удивлением слушающих рассказ старого монаха, передающего все подробности, от которых могли бы содрогнуться стены монастыря.

— Если бы они делали все как полагается, я бы, пожалуй, тоже могла позабавиться, — сказала Мариана, — хотя они были не такие уж молодые и, чтобы распалиться, ставили меня на четвереньки и заставляли стоять так, опустив голову, как козу. Вы видели когда-нибудь коз, когда их дерет козел? Вот и я стояла так, только один козел был сверху, а второй снизу.

— Как, как? — спросил монах. — Один сверху, а второй снизу? Не понимаю. Должен признаться, что коз и козлов в таком положении, как говорите вы, я никогда не видел.

— Тот, что был внизу, работал языком, — сказала Мариана.

— Теперь я понимаю еще меньше, — отозвался охваченный ужасом монах.

— Значит, постарайтесь вообразить себе то, чего не понимаете.

— Вам следует знать, что все мои знания основываются на исповедях прихожан, которые рассказывают мне о своих прегрешениях, но как правило исповеди эти однообразны, носят общий характер и скучны. Обычно каются женщины, изменившие мужьям, конечно же не вдаваясь во все подробности, да они и не нужны на исповеди. Но если судить по вашему рассказу, мне начинает казаться, что у членов Гранада-клуба довольно своеобразная сексуальная фантазия.

— Если вы про язык, так не такая уж это фантазия. Я хочу сказать, что и сама позволяю лизать себя в том месте, которое есть только у женщин, и беру в рот штуковину, которая есть только у мужчин. Все нормально. Теперь, думаю, вам понятно, — сказала Мариана.

Монах ненадолго замолк, чтобы осознать объяснение Марианы.

— Да, кажется, действительно мне кое-что ясно.

— Вы объясните это братьям в монастыре?

— Конечно. Думаю, они будут очень удивлены, узнав про такие акробатические приемы. Рассказы о грехах, связанных с развратом, пользуются большим успехом в обители. Не знаю, найду ли я верные слова, чтобы пересказать им все это, но попытаюсь прибегнуть к вашим же выражениям.

— Интересно, как отнесутся к этому ваши монахи. Вы же понимаете, что слова рисуют в головах вещи, о которых идет речь.

— Какие еще вещи, о Господи?

— Ну, например, желание того, что вы называете развратом.

— Как правило, желание вещей, которые известны всем, и разврат не имеют ничего общего с опытом монахов.

— Бедняжки! — воскликнула Мариана. — Однако и я оказалась в тяжелом положении. Подумайте, ведь ночь для того и ночь, чтобы встречались мужчина и женщина, но я, к сожалению, всю ночь остаюсь ни с чем, то есть несолоно хлебавши.

Омеро Луис понял, что эти слова Марианы адресованы ему.

— Здесь двое мужчин и одна женщина, — сказала еще Мариана. — Но один из двоих не считается, потому что он монах, а второму на бедную Мариану Лопес наплевать. Нет на свете другой такой неудачницы, как я.

— Ты что имеешь в виду? — спросил Омеро Луис, прекрасно понявший, на что намекает Мариана.

— Ничего. Просто, как только приду в Мурсию, меня ждет монастырь, но сейчас я свободна, как бабочка, а впереди у нас еще долгая ночь.

— Я, кажется, понял, — вмешался монах, — монастырь, о котором вы говорите, — всего лишь метафора.

— Вы меня простите, но я не знаю, что такое метафора. Наверно, одно из тех пустых слов, которые можно использовать когда и как угодно.

— Монастырь, о котором говорите вы, — это метафора, то есть монастырь на словах, тогда как монастырь Святой Аны, к которому принадлежу я, — это монастырь, сложенный из камня. Есть разница, не так ли?

Бывает, что слова затуманивают смысл высказываний, но на этот раз Мариана отлично поняла объяснение монаха и различие между двумя монастырями — словесным и каменным.

— Действительно, я просто хотела сказать, что в Мурсии мне придется жить в покаянии и лишениях, как в монастыре, иначе я никакому мужу и на хрен, простите за выражение, буду не нужна. В общем, сейчас, пока я не изменила свою жизнь, у меня есть последняя возможность хорошенько потрахаться.

Мариана перевела многозначительный взгляд на Омеро Луиса, а тот ответил ей согласной улыбкой.

— Так ты не хочешь закончить свой рассказ о преступлении в Гранада-клубе и о похищении золота? — спросил монах, переходя с "вы" на "ты".

— Потом, потом, после... — сказала Мариана.

— После чего? — спросил монах.

Мариана не ответила. Все внимание девушки было обращено на Омеро Луиса, намекавшего ей на некоторые трудности.

— К сожалению, здесь с нами монах, и Омеро Луис не хотел бы оскорбить его сутану.

— Мы можем попросить его отвернуться, — сказала Мариана, — вообще-то пусть смотрит, а потом расскажет в монастыре про все, что мы ему покажем. Представляешь, как обрадуются монахи из Святой Аны, когда он расскажет им, как здорово мы забавлялись под луной. Короче, я не считаю, что монах для нас помеха.

Монах слушал, о чем говорит эта парочка, но предпочитал не выступать с комментариями.

— У меня здесь внутри что-то сопротивляется, — сказал Омеро Луис, притрагиваясь ко лбу.

— Это как?

— Мне нравится брать все с бою, как делали древние рыцари. За свою жизнь Омеро Луис понял, что женщин надо завоевывать: ну, цветы

там, подарки, уговоры, а иногда и оплеухи. Цветов здесь нет, а слова до сих пор доставляли одни неприятности.

— Попробуй начать с подарков.

Омеро Луис на минутку призадумался.

— Пусть это будет не подарок, а всего лишь приятный сувенирчик, как букет цветов. Четыре пяди красной бархатной или шелковой ленты и катушка ниток.



— И у тебя не найдется для меня пары золотых монеток?

Омеро Луис раздраженно засопел из-за постоянных провокаций Марианы. Потом он обратился к монаху:

— Сами видите, какая это выжига и ломака.

Монах, внимательно следивший за диалогом этой пары, а теперь призванный в свидетели, в смущении опустил глаза.

— У меня нет права вмешиваться или даже просто высказывать свое мнение, так как в любом случае оно, как вы сами понимаете, будет негативным.

— А почему лента красная? — спросила Мариана, давая все же понять, что принимает дар "древнего рыцаря".

— У меня имеются еще зеленые, синие, розовые и черные.

Торговец открыл один из ящиков и показал Мариане разноцветные ленты.

— Тогда пусть будут четыре пяди синей. Я бы согласилась и задаром, а если б могла, то еще и приплатила тебе, потому что ты мне понравился, но лента мне нужна, и я охотно ее возьму.

Омеро Луис отрезал ножом четыре пяди синей ленты, аккуратно скатал ее и вместе с катушкой ниток вручил Мариане, которая торопливо убрала подарок в свою полотняную сумку. Торговец положил на место в ящик моток синих лент и обвил рукой талию Марианы Лопес, чтобы сократить ожидание. Девушка расстегнула две пуговицы рубахи Омеро Луиса и прижалась к нему своими грудями, отчетливо выступавшими под ее легким платьем.

Монах потрясенно смотрел на них, сам себе не веря.

— Вы что, собрались грешить прямо у меня на глазах?

— Можете отвернуться, — сказала Мариана Лопес, — мир большой, в нем для всех места хватит.

— А по мне так можете наслаждаться таким бесплатным зрелищем, — сказал Омеро Луис. — Некоторые заплатили бы за то, чтоб посмотреть.

— Я, конечно, не могу воспрепятствовать вашим греховным делам. Не стану даже отговаривать вас, так как ясно, что мои доводы падут в пыль. Так что грешите себе спокойно и да пребудет с вами Господь.

— И вы благословляете двух грешников в минуту, когда они творят грех? — спросила Мариана Лопес.

— Я не благословил вас, а только сказал: "да пребудет с вами Господь". Так говорят даже приговоренным к повешению, прежде чем надеть им на шею петлю.

— Зря вы упомянули про виселицу, святой отец, — сказал Омеро Луис и скорчил гримасу.

— Я сказал: "да пребудет Господь с вами". Чего же вам еще надобно?

Омеро Луис огляделся по сторонам.

— Где мы устроимся? — спросил он у Марианы.

Оба они уже испытывали нетерпение: то ли потому, что присутствие монаха будоражило их, а может, и потому, что соитие откладывалось и задержка лишь подстегивала их желание.

— Здесь только камни и сухая земля. Мне не нравится лежать спиной на камнях, — сказала Мариана.

Омеро Луис огляделся вокруг, но глаза его тоже увидели лишь камни, ссохшуюся землю и пыль. Худшего места для любовных дел было не найти.

— Может, тебе лучше стать на четвереньки, по-козьи?

— Тебе так нравится? Тогда подложи мне что-нибудь под колени. Правда, мне хотелось бы смотреть на луну. Глянь, какая луна.

— Разве ты не говорила, что эта луна тебя пугает?

— Потому-то я и хочу смотреть ей в лицо.

— Придется тебе отказаться от луны из-за камней под спиной, и я тебя понимаю, — сказал Омеро Луис.

— По-моему, тебе так больше нравится. Не ты первый предпочитаешь заниматься этим по-козьи. А мне подойдет по-всякому, главное, чтоб ты попал в нужное место. Пожалуйста, давай без шуток.

Омеро Луис снял куртку, предварительно вытащив из кармана нож. Сначала он хотел было доверить его монаху, но потом предпочел собственноручно сунуть его в ящик.

Луна смотрела на Соленые Земли, белеющие под ее холодным светом. Вокруг ни признака жизни: только камни и, насколько хватало глаз, иссохшая земля. И не было там ни змеи, ни даже ящерки или жука. Омеро Луис огляделся по сторонам и прислушался: в его ушах отдавался далекий собачий лай.

— Я все еще слышу собак, — сказал он.

Мариана опять забеспокоилась: вот проклятье, не хватало еще собак, они же могут помешать делу, о котором она так мечтала и которого так ждала.

— Давай без собак, пожалуйста.

— Да я пошутил, — сказал Омеро Луис, хотя он вовсе даже не шутил.

Монах уселся на большой придорожный камень и наблюдал за действиями этой пары, как в театре. Он мог бы прочесть молитву — такая мысль даже мелькнула, но не оформилась в намерение.

И опять Омеро Луис повертел головой, словно прислушиваясь к далекому собачьему лаю.

— Похоже, им чего-то от нас надо. И как всегда, в самый неподходящий момент. А может, они шлют нам какой-то сигнал. Говорят, что собаки и лошади предчувствуют близкое землетрясение, извержение вулкана и эпидемии лучше, чем люди.

— Вся эта брехня от страха, — сказала Лопес: ее раздражали эти призраки собак, которые то и дело отвлекали торговца. Мариану тревожило, как бы Омеро Луис не поддался опять каким-нибудь новым ночным бредовым фантазиям.

Омеро Луис вовсе не собирался спорить с ней насчет всех этих страхов, хотя бы ради того, чтобы потрахаться на дороге, ночью, по-козьи, а если они подходят друг другу и их сближает какое-то чувство, тем лучше. Любовь — это же такая роскошь, ее не купишь за деньги, тем более за отрезок ленты, какая бы она там ни была, красная или синяя. Омеро Луис легонько погладил девушку по волосам, потом положил ей руку на затылок, притянул к себе и поцеловал, хорошенько пустив в ход язык.

Монах одобрил поцелуй.

— Молодцы. Это мне нравится, вы же люди и не должны вести себя по-скотски.

Слова монаха сначала вызвали у Марианы неуверенность, но потом она решительно задрала платье, под которым у нее ничего не было, наклонилась вперед, встала на колени на куртке Омеро Луиса, расстеленной на земле, а ладони погрузила в дорожную пыль.



Омеро Луис крепко обхватил ее бока обеими руками и медленно и глубоко проник в нее сзади. И Мариана и Омеро Луис приглушенным восклицанием отметили волшебное живое тепло первого контакта. Но сразу же Омеро Луис стал неистовствовать. Мариана Лопес коротко вскрикнула и начала вилять всем телом в такт толчкам Омеро Луиса. Потом она громко задышала, завсхлипывала и наконец перешла на крик. Перед глазами у нее, быстро сменяя друг друга, пронеслись картины огненного заката и радуги, какая бывает после дождя, а в ушах раздалась музыка: торжественные звуки труб и скрипок заполнили все небо.

Монах смотрел на них, обосновавшись на своем камне, неподвижный, как статуя; лицо его покрылось каплями пота. В голове у монаха не было ни единой мысли, он чувствовал только великое смятение и жар, а глаза его потрясенно следили за тем, что творили эти грешники.

Омеро Луис сделал небольшую паузу, двигая корпусом очень медленно, затем вновь стал "забивать" изо всех сил; в ответ раздались более глубокие, с модуляциями, стоны Лопес, уже близкой к оргазму. Омеро Луис решил растянуть удовольствие, словно хотел до конца восполнить отсрочку и ожидание этой близости, и снова притормозил. Мариана издала долгий стон-жалобу на навязанный Омеро Луисом замедленный ритм и вновь впала в бредовое состояние: громкие и торжественные звуки музыки наполнили для нее все небо.

Похоже, что и монах услышал небесную музыку.

Наконец Омеро Луис перешел, как и прежде, к медленным и глубоким проникновениям, вышел и сразу же снова вошел с такой неудержимостью, что ему пришлось поддержать Мариану, едва не рухнувшую на землю. Внезапно в финальном порыве он вновь стал с силой "забивать", и тут ему пришлось еще крепче держать Мариану, уже готовую выскользнуть у него из рук. Они еще немного постарались продлить удовольствие и наконец со стоном одновременно рухнули наземь, не отделяясь друг от друга и с трудом дыша от пережитого напряжения. Какой чудесной была эта судорога, перед тем как они вновь окунулись в холодный свет луны.

Монах внимательно следил за всеми фазами соития и теперь продолжал смотреть на этих одержимых, неподвижно и молча восседая на своем камне.

Мариана и Омеро Луис остались лежать на земле, прижавшись друг к другу, и продолжали обниматься, целоваться, ласкать друг друга прямо там, в пыли. Мариана закрыла глаза, и торжественная музыка вновь наполнила весь неподвижный ночной воздух.

— Мариана, Мариана, — бормотал Омеро Луис мягким, каким-то бархатным голосом, а Мариана в ответ покрывала быстрыми поцелуями его шею, уши, щеки.

Монах смотрел на них удивленно и недоверчиво. А наша парочка продолжала целоваться и прижиматься друг к другу, да, прижиматься

еще сильнее. Вот это, наверное, и есть любовь, подумал монах; что для него, вероятно, было открытием. Любовь, а не просто слова.

— Да, здорово получилось, — сказал Омеро Луис, встав наконец на ноги и сделав глубокий вдох.



Мариана тоже поднялась, еще не вполне придя в себя. Омеро Луис держал ее за руку, а она стала отряхивать платье — спереди и сзади.

— Ну как? И чего ты столько времени привередничал?

Она быстро чмокнула его в щеку.

— Иногда бывает так, что Омеро Луис робеет, как муха, накрытая стаканом, — сказал Омеро Луис. — В небе над нами не только луна, там миллионы и миллионы звезд, целая вселенная, которая все время очень быстро вращается, а мы здесь как две мухи, накрытые стаканом. Когда я чувствую себя мухой, мне хочется кататься по земле да так и остаться на ней, оплакивая свою жизнь. А ты никогда не чувствовала себя мухой?

— Я? Нет.

— Понимаешь, в чем дело? Когда человек остается совсем один и думает о вселенной со всеми этими звездами, то даже такой бедный торговец, как Омеро Луис, становится немного философом и ему делается страшно. Кто усеял небо всеми этими звездами? Ты можешь мне сказать? Кто?

— Наверно, бородатый Старик.

— Нет, Омеро Луис все равно боится и чувствует себя мухой в стакане.

— Да оставь ты в покое звезды, оставь в покое мух и вселенную. Все знают, что небо больше земли, что земля находится в центре вселенной, вот и все. Мы хорошо потрахались, и теперь стало легче дышать.

Омеро Луис удивленно посмотрел на нее.

— Никогда бы не подумал, что ты такая материалистка, — сказал он.

— Ну и не думай, но иногда, бывает, и мне приходят в голову мысли о вселенной, только потом у меня болит голова и я начинаю думать о еде или о мужчине, который мне нравится, а иногда и вовсе ни о чем не думаю. По-моему, дать голове время от времени отдохнуть полезно для здоровья. Слишком много думать вредно, а то можно и с ума сойти от всяких мыслей о вселенной.

— Вообще-то ты права, я тоже считаю, что лучше хорошенько трахнуться, чтобы прочистить мозги, освежить мысли и не чувствовать себя мухой под стаканом, — сказал Омеро Луис, — но над головой у нас все равно вселенная, что днем, что ночью. Как ни крути, ты все равно как муха в стакане.

— Ты говоришь, что чувствуешь себя мухой? А я тебе скажу, что мухи тоже спариваются и не думают ни о какой вселенной. Небось сам видел, как они летают, сцепившись парами. Трахаются себе прямо на лету, и это, наверно, так здорово. Вот и нашему монашку снилось, что он летает, когда мы его разбудили.

— То был безгрешный полет, — уточнил монах.

Омеро Луис не мог понять, как это можно трахаться на лету. Даже если иногда ему доводилось чувствовать себя мухой, то обязательно мухой в стакане, и ни разу ему не удалось свободно пожужжать в воздухе.

— Чувствовать себя мухой и не летать — это ж самое настоящее безобразие, — сказал Омеро Луис.

— Знаешь что? Мне казалось, что я летала именно тогда, когда стояла на коленках, а ты навалился на меня, среди этой пылищи и камней, — сказала Мариана, — и я даже музыку слышала — прямо в ушах гудело.

Монах молча внимательно следил за рассуждениями Омеро Луиса и Марианы. Вот здесь, ночью, на этой пустынной безлюдной земле, на этой пыльной дороге, под этой луной он на мгновение мысленно сбросил сутану и почувствовал себя свободным от каких бы то ни было монашеских правил. Монах решил, что наступил наконец момент высказать торговцу свое мнение, поговорить с ним как мужчина с мужчиной.

— Должно быть, ты получил полное удовлетворение, я имею в виду физическое удовлетворение. Это была здоровая разрядка, природа одержала верх над духом.

— Природа, понятное дело, требует своего, но когда трахаешься, простите, монсеньор, никак не найду другого слова, то происходит разрядка скорее метафизическая, — сказала Мариана Лопес.

Монах ошарашенно поглядел на нее.

— Как, как? Как ты сказала?

— Бывает, я говорю слова невпопад. Извините за откровенность, но этому я научилась у Омеро Луиса, который выдает такие чепуховые слова целыми сотнями в минуту.

— Нет, давай не будем засорять речь метафизикой, — сказал монах. — Лучше попросту сказать, что это была физическая разрядка, предписанная самой природой. Ведь у природы тоже есть свои требования. Как ты говоришь, она тоже берет свое.

— По-моему, тут есть что-то еще, — сказала Мариана. — Это так прекрасно, словно ты взбираешься на вершину горы, а там, на вершине, у тебя начинает кружиться голова, когда внизу видишь всю эту картину — долины, холмы, реку, текущую вдаль на много-много километров.

— Что за херня, — сказал Омеро Луис. — Уж скорее все так, будто ты идешь по пустыне, умираешь от жажды среди раскаленных песков и вдруг видишь — навстречу тебе идет девушка с кружкой холодной воды.

— И ты сравниваешь то, что у нас было, с холодной водой? Знай я это, — сказала Мариана, — фиг бы я с тобой легла.

— Все лучше, чем любоваться пейзажем.

— А музыку ты слышал?

Омеро Луис почувствовал себя униженным и сконфузился. Музыки-то он не слышал.

— Нет, музыку нет.

— Ты только собак слышишь, — сказала Мариана. — Ну что ты будешь делать с той девушкой на раскаленном песке?

— При чем здесь это? Ничего не буду делать. Это просто сравнение, а со сравнениями я не трахаюсь.

— Если уж сравнивать, — сказала Мариана Лопес, — то, пожалуй, это дело похоже скорее на жареного курчонка с картошкой и маслинами, когда человек умирает с голоду. А не на какую-то холодную воду.

Омеро Луису хотелось найти что-нибудь более убедительное, чем жареный курчонок. И тут ему в голову пришло сравнение, которое положит конец спору.

— Или как торт с кремом для тех, кому нравится сладкое. Я-то вообще больше люблю соленое, но некоторые за сладости готовы на что угодно.

Мариана ограничилась покачиванием головы, потому что ей не приходило на память ничего прекраснее торта с кремом, а представив себе взбитые сливки, она даже облизнулась. Этот чертов торговец нашел-таки сравнение, которое положило конец спору.

Монах захотел вмешаться в перепалку Омеро Луиса и Марианы Лопес.

— Простите, что я решил высказаться о предмете, о котором у меня нет никакого конкретного представления. Однако я помню, как одна монахиня впала в экстаз, после того как провела долгие часы в медитации и молитве. Она потеряла сознание и рухнула на пол своей кельи. Сестры позвали меня, как специалиста по изгнанию дьявола, так как решили, что она оказалась в лапах нечистого. А в действительности это был просто мистический экстаз, дар Божий, редкостный и драгоценный. Чем-то экстаз той монахини сродни вашему оргазму, с той разницей, что оргазм — это всего лишь физическое явление, тогда как экстаз — явление духовного порядка, пожалуй самое высокое и прекрасное из всех проявлений духа.

— Совсем даже неправильно говорить, будто оргазм — это только физическое явление, — сказала Мариана, — в этот момент участвуют все твои чувства, а я так даже музыку слышу.

— На этот раз я согласен с тем, что говорит Мариана, — сказал Омеро Луис, — хотя музыки я не слышал.

— Ну что ж, я рад, — сказал монах. — Однако когда я смотрел, как вы барахтались в пыли друг на дружке, точно два диких животных, мне казалось, что свои чувства вы растоптали ногами.

Мариана держалась за свою любовную версию. Она была уверена, что любви у нее неиссякаемый запас.

— Вы плохо смотрели, монсеньор, потому что мы склеились друг с другом, как две улитки. Барахтались на земле? Это да. Но тогда, значит, и святые монашки ничем не лучше нас. Вы ж сами сказали, что они теряют сознание и, когда у них оргазм, тоже катаются по земле.

— Экстаз, а не оргазм, — уточнил монах.

— Согласен, — сказал Омеро Луис, — но я не вижу большой разницы между монашками, которые в экстазе катаются по земле, и нами, когда у нас оргазм.

— Сравнить любовный оргазм и духовный экстаз предложил я, — сказал монах. — Действительно, существует некоторое сходство между обеими пертурбациями, но нужно принимать во внимание различие между spiritualibus и temporalibus — духовным и преходящим, плотским.

— Как только начинается путаница, вы тут же вспоминаете про свою латынь, — сказала Мариана. — Когда я произношу что-нибудь просто так, наобум, вы вытаращиваете глаза и начинаете меня критиковать. А что должна делать я, когда вы пытаетесь сбить меня с толку своей латынью?

— Это не одно и то же, дочь моя. До прихода в Мурсию у нас есть еще время выяснить и этот вопрос, не прибегая к латыни.

— Но такие экстазы, — спросил Омеро Луис, — случаются только с монахинями или иногда и с монахами?

— Я рассказал о монахине, потому что видел ее собственными глазами, но духовные испытания не знают различия пола.

— Значит, и монахи, впадая в экстаз, теряют сознание и катаются по земле. Мне, например, хотелось бы узнать, — сказал Омеро Луис, — в вашем монастыре какой-нибудь монах впадал в экстаз или нет?

— Если память мне не изменяет, я сказал бы, что нет. Экстаз, как я уже заметил, это очень редкая благодать, даруемая Богом в исключительных случаях.

Омеро Луис не смог удержаться от ехидного замечания. После соития с Марианой у него произошло умственное раскрепощение и появилась физическая решимость.

— Возможно, какой-нибудь монах и впадет в экстаз, когда вы, вернувшись в монастырь, подробно отчитаетесь о том, что видели только что.

Монах спокойно отразил провокацию.

— То, что кто-нибудь переживет после этого экстаз, мне кажется маловероятным, а вот оргазм — возможно, да. Монахи тоже мужчины со всеми мужскими причиндалами.

— Да здравствует откровенность, — воскликнула Мариана.

Омеро Луиса не обескуражил непринужденный и остроумный ответ монаха.

— Теперь, когда мы немного передохнули, — сказал он, — можно снова пуститься в путь, не то мы не доберемся до Мурсии и к утру.

Омеро Луис хлопнул осла по крупу, а Мариану по заду: это был сигнал к возобновлению похода.

Монах соскочил с камня, на котором сидел скорчившись, и зашагал вместе с обоими грешниками, придерживая рукой сутану, чтобы она не мела дорожную пыль. Мариана пошла рядом с монахом и задала ему наконец вопрос, который вынашивала давно, но на который и сама уже знала ответ:

— По-вашему, я совершила грех?

— Ты еще спрашиваешь? Конечно, да, — ответил монах. — Вы совершили соитие, поддавшись похоти, вне брачных уз, совершенно презрев то, что предписывает святая мать-Церковь.

Мариана, призадумавшись, сделала еще несколько шагов. Девушка знала, что она великая грешница, но обязательно исповедовалась в церкви в своих сексуальных похождениях и всегда получала отпущение грехов и наказ в знак покаяния прочитать много раз "Отче наш" и "Аве Мария". А здесь монах, можно сказать, под рукой, почему бы не воспользоваться?

— Я бы хотела исповедаться.

— Почему бы тебе не исповедаться в Мурсии? — сказал Омеро Луис, которому не хотелось еще раз задерживаться в пути.

— Нет, я хочу исповедаться сейчас. В дороге человека всегда может поджидать опасность, и успокоиться он сможет, только до прибытия на место. Если я вдруг умру, то хочу умереть очистив душу.

Омеро Луису слова Марианы не понравились.

— Что за бодягу ты несешь? Кто тут собирается умирать?

Мариана и сама не думала о смерти, но хотела навести порядок в своей душе так же, как она наводила порядок у себя дома, стирая пыль с мебели и надраивая полы. И снова Мариана обратилась к монаху:

— Мне нужно исповедаться, монсеньор.

— Тогда я вам скажу, и это касается вас обоих, что я впервые в жизни присутствовал при преступлении, совершенном у меня на глазах. И сразу же после него меня просят отпустить грех.

— Преступление? — спросила Мариана. — По-моему, это уж слишком. Подумать только, теперь мы стали преступниками.

— Разврат — это смертный грех, иными словами — преступление против Божьего завета, соблюдаемого и поддерживаемого святой матерью-Церковью. Но я не скуплюсь на отпущения грехов, а следую примеру Иисуса Христа, который к таким грешникам, как воры или проститутки, относился терпимо.

— Не думаю, что он относился терпимо к убийцам, — сказала Мариана Лопес с напускным безразличием.

— Но он терпимо относился к проституткам. Это твой случай, — сказал Омеро Луис.

— Все люди такие, монсеньор. Сначала тебя трахают, а потом обзывают проституткой, потому что ты дала себя, простите за выражение, трахнуть.

— Однажды я отпустил грехи убийце, человеку, который зарезал жену ножом. Он убил ее в минуту ярости, застав с любовником. Но когда он пришел на исповедь, то искренне раскаивался. Если бы его судили, судья не был бы таким снисходительным и тотчас бы отправил его в тюрьму. Но я отпустил ему грех.

— И не донесли на него в суд? — спросила Мариана.

— Тайна исповеди для нас, служителей культа, нерушима.

— Вот вы терпимы и отпустили грех даже убийце. Тогда спрошу вас, просто так, ради интереса, вы отпустили бы грех тому грабителю, который обчистил Гранада-клуб и перерезал горло его сторожу?

Задав этот вопрос, Мариана искоса взглянула на Омеро Луиса.

— Нужно разобраться, как все происходило там на месте. Может, грабитель потерял голову и убил сторожа потому, что его охватила паника, — сказал Омеро Луис. — Я не оправдываю его, но ясно, что такое жестокое преступление можно объяснить паникой.

— Откуда вы можете знать, — сказал монах, — убивал ли грабитель в состоянии аффекта или он сделал это хладнокровно, например с целью убрать свидетеля?

Мариана вмешалась в разговор, не преминув подлить масла в огонь:

— Странно, но Омеро Луис говорит так, будто знает, как все было в ту ночь.

— Я представил себе эту картину по-своему. Это что, запрещено?

— Мне неизвестны подробности этой истории, — сказал монах, — но может быть, я и отпустил бы грехи вору, совершившему ограбление. Конечно, при первейшем условии, что он возвратит украденное.

— Святые слова, — сказала Мариана Лопес, — только мне не хотелось бы, чтобы все эти деньги снова оказались в карманах ростовщиков из клуба.

— Труднее отпустить грех убийства сторожа, — добавил монах, — так как я не могу поверить, что он взялся за нож в порыве гнева, как тот муж, который застал жену в постели с любовником.

— А если вор убивает в порядке законной самозащиты? — снова спросил Омеро Луис.

— По-моему, сама защита вора не так законна, как защита жертвы, выполнявшей свои функции сторожа, но чтобы иметь возможность судить о преступлении, надо было бы при нем присутствовать. Или шаг за шагом восстановить всю картину, что конечно же сделает суд, если отыщется виновник.

— То, что вы говорите, справедливо от начала до конца. Но в моем случае сравнение хромает, потому что у нас речь идет не об убийстве, а

о небольшом грехе. Я ж уже сказала, что раз вы здесь, мне хотелось бы исповедаться.

— Ваш грех мне известен, — сказал монах, — так что меня исповедь не интересует, тебя интересует отпущение греха. Поэтому я должен убедиться, что грешник испытывает безусловное раскаяние.

— Я раскаиваюсь, — горячо сказала Мариана Лопес, — я вела себя так, как вы видели, только потому, что Омеро Луис своим равнодушием подстрекнул меня и ввел во грех. Но обещаю, что такого, как вы говорите, разврата больше не будет.

Омеро Луис вышел из себя.

— Подумать только: всю дорогу она только и делала, что искушала меня, пока мне не пришлось уступить. В точности как Адам не устоял перед Евой, тоже хорошей шлюхой. Ничего не поделаешь против похотливости женского сословия.

— От одного слова "похотливость" меня тошнит, — сказала Мариана. — Не слушайте его, монсеньор. Некоторые мужчины считают, что все женщины шлюхи. Послушать их, так Ад должен быть забит только женщинами.

Монаха уже начала беспокоить перепалка, которая тормозила продвижение вперед всей группы. Мало им усталости, жажды, камней и пыли на дороге, так теперь еще эта постоянная грызня. И он сурово пресек ее.

— Прекратите эти взаимные обвинения. Я видел все: вы оба грешили с одинаковым неистовством. Вы оба во грехе. Теперь она говорит, что раскаивается, и это побуждает меня отпустить ей грех.

Монах подошел к Мариане, поднял руку и осенил ее крестным знамением.

— Ну, если так, то я тоже раскаиваюсь, — сказал Омеро Луис, — и отпущение греха мне тоже не помешает.

— Тогда ты должен пообещать, что не впадешь больше в этот грех.

— Минуточку, монсеньор, обещать-то я обещаю, но не могу дать стопроцентной гарантии, что выполню это обещание. Признаюсь честно, такое обещание мужчине дать трудно.

— Ты обещаешь с чистой совестью? Если с чистой совестью, я отпущу тебе грех. Но если ты опять впадешь в него, то тебе снова придется исповедаться и покаяться. Милосердие нашей святой матери-Церкви безгранично.

— Вот красота, — сказала Мариана, — можно совершать какие угодно грехи на свете, а потом исповедаться и очистить свою совесть. Исповедь — как щелок, который все отбеливает.

— Это относится к грехам, достойным снисхождения, а не к смертным грехам.

— Смертные это такие грехи, когда, например, убивают кого-нибудь или перерезают горло бедному сторожу?

— Это, конечно, упрощение; дело обстоит не совсем так. Адюльтер, например, смертный грех, даже если муж не убивает изменившую ему жену. В общем, если мы начнем так все упрощать и упрощать, то прежде чем доберемся до Мурсии, язык себе стешем.

— Но вы же монах-проповедник? Значит, ваш язык и так уже стесан, — сказал Омеро Луис.

— Конечно же мы, доминиканцы, придерживаемся правила проповедовать, но нигде не сказано, что мы должны проповедовать с рассвета до заката, а потом еще и ночью.

— Так значит, вы отпустите грех мне тоже?

Монах подошел к Омеро Луису и снова начертал в воздухе крестное знамение.

Мариана обернулась к Омеро Луису:

— А оно удобное, это безграничное милосердие святой матери-Церкви!

***

— Кто знает, такая ли уж надежная эта дорога, как говорят, — сказал Омеро Луис, обращаясь к монаху и обнаруживая сомнение, которое по временам точило ему душу.

— Бандиты хорошо знают, что здесь, в долине, теперь попадается только мелкая сошка, — сказал монах. — Однако иногда они появляются и здесь, зная, что по этой дороге ходят торговцы в Мурсию и обратно. Правда, говорят, что в основном они предпочитают нападать на тех, кто возвращается с ярмарки с деньгами за проданный товар. Мы, из монастыря Святой Аны, всегда ходим здесь, и пока на нас никто еще не нападал. Надо, однако, признать, что монаха от торговца отличить нетрудно.

Похоже, что настроение у Омеро Луиса поднялось, когда он услышал, что бандиты предпочитают торговцев, возвращающихся из Мурсии. У него не было причин беспокоиться, так как в Гранаду возвращаться он не намеревался. Мурсия находится неподалеку от порта Картахена, откуда он мог отправиться морем в Италию. Высадится в Неаполе, купит жилье и женится на итальянке. Таковы были его планы, которых Омеро Луис не держал в секрете: он поделился ими даже с Марианой.

— Для меня это не проблема, — сказала девушка, — я же не возвращусь в Гранаду, а останусь в Мурсии у своей сестры.

— Со множеством добрых намерений, — сыронизировал Омеро Луис.

— Да, моя программа — жить своим домом и нарожать детей. А в том, что было недавно, я покаялась и получила отпущение грехов.

— Вы воистину покаялись или только сказали, что покаялись, чтобы получить отпущение грехов? — спросил монах.

— Ну как еще я могла объяснить вам, что покаялась? На словах. Разве не так? Извините, монсеньор, но для того у нас язык и есть, чтобы говорить.

— Иногда бывает, однако, что язык мелет сам по себе и то, что он произносит, не соответствует тому, что у человека на душе. Так со многими бывает. Вот почему я и засомневался в твоем покаянии.

— Хотите я поклянусь?

— Мне достаточно твоего подтверждения.

Спины троих путников коснулось горячее дыхание африканского ветра солано. Мариана тряхнула головой, чтобы он продул ее длинные, до плеч, волосы.

— Наконец-то немного воздуха.

— Он такой раскаленный, что похож на дыхание дьявола, — сказал Омеро Луис.

В разговор вмешался священник, так как счел, что дьявол — его прерогатива.

— Лучше не поминать его. Едва заслышав, что говорят о нем, он, тщеславный, не упускает случая затесаться среди людей, чтобы совратить их и создать немного беспорядка под небесами. А если ему удается совратить кого-то из духовенства, так он прямо прыгает от радости. Святые монахи-пустынники изгоняли его постом и молитвами, а он каждую ночь возвращался — всегда в разном виде. Но монахам были известны его трюки, и они не позволяли себя обдурить.

— А чем тут нас дурить, — опять заговорила Мариана, — мы три бедняка, бредущие по камням и пыли. Если дьявол ищет, кого бы ему обдурить, он может найти кого-нибудь получше.

Помолчав, она продолжала:

— Я сказала "три бедняка", но только о торговце мы ничего толком не знаем. Может, он и бедняк, такой как мы, а может, богатый, даже очень богатый, богатющий.

— На что ты тут намекаешь? Куда метят эти твои загадочные разговоры? — сказал торговец угрожающим тоном, который, однако, не испугал Мариану Лопес.

— Я имела в виду, что никогда не знаешь, очень богат торговец или нет. Думаешь, что он корячится с утра до вечера, чтобы продать несколько мотков цветных лент, а потом узнаешь, что у него свой большущий дом или ящики, набитые метафизикой.

— Что ты имеешь в виду под словом "метафизика"?

— Ты ж сам мне сказал, что некоторым словам можно придать какой угодно смысл. Если я говорю, что твой осел тащит на себе много метафизики и что эта метафизика у тебя очень тяжелая, можешь сам придать смысл моим словам.

— Понятно, — сказал Омеро Луис, — я тут сбиваю ноги, чтобы попасть на ярмарку Сан-Исидро и продать там цветные ленты и несколько оловянных блюд, а в действительности я хозяин дворца и весь мой дом набит золотом.

— А может, золотыми монетами, кто знает, — сказала Мариана.

Омеро Луис окинул свою попутчицу недовольным взглядом. Он прекрасно понимал подозрения Марианы и намеки на сокровища, похищенные в Гранада-клубе. Но он не знал, что сказать, потому что каждое его слово лишь усиливало ее подозрительность и ухудшало их и без того натянутые отношения. Омеро Луис предпочел рассмеяться просто так, без причины, и сменить тему разговора.

— Если хотите, мы можем наддать шагу.

— Я устал, — ответил монах. — Вы можете идти, а я потихоньку побреду за вами.

— Я тоже уже без сил, — сказала Мариана, — а осел устал еще больше, чем мы. Ты хочешь идти поскорее, но ты уверен, что это бедное животное дотянет до Мурсии со всей навьюченной на него кладью?

— Об осле можешь не беспокоиться, позаботься лучше о своих ногах.

— А я вот беспокоюсь об этой несчастной скотине. Сколько весят твои оловянные блюда? Черт побери, до чего же они тяжелые, — сказала Мариана, подчеркивая ехидство своего вопроса.

И опять Омеро Луис сделал нетерпеливый жест — помахал руками в воздухе, словно хотел стряхнуть воображаемых муравьев.

— Чего тебе от меня надо?

— Ничего, я просто сказала, что эти твои оловянные блюда очень тяжелые. И только.

— Если у тебя завелись еще какие-то мысли, можешь свободно высказать их вслух, без всяких оговорок.

— А вдруг они тебе не понравятся?

— После того, что произошло, мне казалось, что между Марианой и Омеро Луисом восстановились мир и согласие. Так давай поговорим открыто, тем более что скрывать мне нечего, — сказал Омеро Луис с обиженной миной.

— О каком согласии идет речь? — спросил монах, обеспокоенный этими постоянными перепалками между торговцем и девушкой.

— Ничего, ничего, — сказал Омеро Луис, — мы переругиваемся, чтобы убить время. Ночь такая долгая.

— У Омеро Луиса есть тайна, — сказала Мариана.

Монах посмотрел на них с удивлением. Он ничего не понимал и не мог представить себе, что может скрывать торговец. Но любопытство его все же разбирало.

— Я исповедник и привык выслушивать секретные признания людей. Если и у вас есть секреты, можете довериться мне.

Омеро Луис тяжело задышал, но его поведение лишь подогрело любопытство и усилило подозрения Марианы, которая стала теперь более настойчивой. В присутствии монаха она чувствовала себя уверенней и вызывающе посмотрела на торговца.

— Ты сказал, что везешь на рынок оловянные блюда. А почему ты их нам не показываешь?

Монах счел, что он вправе вмешаться.

— Почему вы не хотите удовлетворить любопытство этой девушки и не показываете ей оловянные блюда, которые ложатся таким тяжким грузом на нашего славного четвероногого? Тогда мы сможем наконец прекратить эти препирательства.

— По-вашему, я должен распаковать вьюки, чтобы удовлетворить любопытство этой ненормальной? Я и так уже опаздываю, зачем же мне еще терять время? Мне надо добраться до Мурсии до рассвета, чтобы найти место на ярмарке. И выставить на продажу осла.

Монах, все еще ничего не понимая, обратился к Мариане:

— Так в чем все-таки busillis?

— Если вы будете говорить по-латыни, — сказала Мариана, — я, к сожалению, ответить не смогу.

— Так в чем суть дела?

— Да Омеро Луис готов яйца себе отрезать, простите за выражение, а товар, спрятанный в поклаже, не вытащит. Больше мне сказать нечего.

Омеро Луиса прошиб пот. Он вытер лоб тыльной стороной ладони.

Монах уже вовсе ничего не понимал.

— Сколько загадок, дети мои.

Омеро Луис обратился к Мариане вроде бы в шутку:

— Могу я высказать свое мнение?

— Конечно.

— Ну ты и зануда траханая.

Мариана проглотила оскорбление и обернулась к монаху:

— Хуже всего, что по его вине на нас могут напасть бандиты. Бандиты чуют запах золота за много-много километров.

Омеро Луис спрашивал себя, почему Мариана все время провоцирует его. То, что Мариана подозревает его в ограблении Гранада-клуба, она давала ему всячески понять и раньше, но какова цель этих постоянных провокаций? Дело в золоте, подумал Омеро Луис. Мариана убеждена, что в клади спрятано огромное количество золотых монет, и она хочет заполучить свою часть. Вот в чем дело. Но до чего изменилась Мариана после того, как они барахтались в пыли, склеившись друг с другом, как две улитки.

— У нас и так уже были дурные предзнаменования, а теперь еще ты накаркиваешь беду. Хотел бы я знать, чего тебе надо от Омеро Луиса?

— Сам не догадываешься?

— Ты о каких дурных предзнаменованиях говоришь? — спросил обеспокоенный монах.

— Так вот знайте, — сказал Омеро Луис, радуясь тому, что монах дает ему повод сменить тему. — Знайте, что мы слышали собачий лай в местности, совершенно пустынной и километров на пятьдесят удаленной от жилых домов. Никаких собак там быть не могло. А потом мы нашли кучку сухих листьев, где нет и не может быть никаких деревьев. Это что вам — не знаки?

— Знаки чего? — спросил монах, совсем сбитый с толку.

— Знаки опасности, а в этих местах самая страшная опасность — бандиты. Или, может, предупреждение о таких бедствиях, как пожар или землетрясение, — сказал Омеро Луис. — Очень уж долго тянется эта ночь дурных предзнаменований, и когда наступит новый день, нам покажется, что прошел целый век.

— Нечего бояться огня или землетрясения, потому что мы на открытом месте и крыша на голову нам не упадет, — сказала Мариана Лопес, — а от бандитов нас защитят Господь Бог и Пресвятая Дева Мария, потому что сами мы защититься не сможем, хотя у Омеро Луиса есть толедский нож — длинный и острый.

— У меня такое впечатление, что вы бредите, — сказал монах.

— Не так чтобы очень, — сказала девушка.

— Короче, огонь исключается, поскольку здесь кругом я не вижу ничего, что может гореть. Мне даже кажется, что все уже сгорело и покрыто пеплом, — сказал монах. — Землетрясение тоже исключаем: оно здесь почти совсем невозможно, и, как ты сама сказала, здесь нет крыши, которая могла бы упасть нам на голову. Остаются бандиты. Обычно они хорошо информированы и вряд ли захотят мотаться по этой каменистой и бугристой земле, чтобы напасть на бедного торговца, на девушку, у которой нет и гроша, и на монаха. В кармане у него бренчат монетки, на которые он должен купить всякую мелочь на базаре. Жалкая добыча.

Мариана отрицательно помотала головой.

— Вы сказали "бедный торговец". А вы уверены, что он бедный? Вы же тоже видите, что осел от тяжести пузом чуть земли не касается. Что, по-вашему, прячет в этом вьюке наш торговец Омеро Луис?

Омеро Луису удалось удержать подкативший к горлу ком ярости, от которой у него сводило желудок. Он хорошо знал, что вбила себе в голову эта зловредная девчонка, однако понимал также, что ни в коем случае нельзя поддаваться на ее постоянные провокации.

— Вряд ли бандиты нападут на нас, чтобы завладеть моими оловянными блюдами, если именно этого опасается Мариана. Кое-чего стоят и оловянные блюда, а как же, но бандиты гоняются за монетами — серебряными или золотыми, сколько бы их ни было — много или мало. Ясное дело, с оловянными блюдами бандитам делать нечего. Разве что им взбредет в голову продать их на рынке в Мурсии. Но тогда они стали бы торговцами, как Омеро Луис, Господи, прости и помилуй.

Монах слушал этот разговор, не понимая, в чем все-таки суть дела. Что-то не укладывалось у него в голове, была тут какая-то закавыка, какая-то загадка, которая имела отношение к золоту и олову и из-за которой была так напряжена эта пара злополучных грешников.

— Тогда давай сделаем так, — сказала Мариана Лопес, — ты мне продашь одно из твоих блюд, чтобы я могла сделать подарок своей сестре. Она пригласила меня к себе в Мурсию, и мне неудобно идти туда с пустыми руками. Оловянное блюдо — хороший подарок. Что скажете?

Монах, которого так откровенно побуждали ввязаться в распрю, хотя смысл ее был ему не очень ясен, предпочел не занимать чью-либо сторону.

— Что ж, это неплохой подарок, но лично я считаю, что будет хорошо любое ваше решение.

— Чтобы продать тебе одно оловянное блюдо, — сказал Омеро Луис, — мне придется разобрать весь вьюк, потому что блюда лежат на дне двух ящиков. К тому же я продаю блюда не в розницу, а парами.

— Тогда я куплю пару. Сколько ты просишь за пару?

— Я еще не назначил цену. А назвать ее я смогу, только когда откроется рынок в Мурсии.

— Ну так хотя бы покажи. Цена наверняка не будет такой уж высокой и меня не испугает.

— Я покажу тебе блюда, если ты покажешь мне свои деньги.

— Нет, сначала покажи товар.

Монах начал фыркать и топать ногами от нетерпения.

— Вы все время препираетесь, как маленькие дети.

— А вы когда-нибудь слышали, что товар можно покупать вслепую, даже не поглядев на него? — Мариана обернулась к монаху: — Права я или нет?

— Обычно товар показывают покупателю. Но в данном случае почему бы вам не подождать с вашей сделкой до ярмарки Сан-Исидро? Это более подходящее место для купли-продажи.

— Вы ничего не поняли? — сказала Мариана, выходя из себя. — Вы не понимаете, что никаких оловянных блюд там нет?

— А что же там может быть? — спросил монах.

— В том-то и дело. Что там такое?

Омеро Луис попытался развеять все подозрения, сославшись на любопытство женщин вообще и Марианы в частности.

— Мариана вбила себе в голову, что я перевожу сокровища. Но главное — ей нравится совать нос в дела ближнего своего, то есть в данном случае в дела Омеро Луиса. Ничего удивительного. Этим пороком страдают многие потаскухи вроде нее.

— Плохой из вас рыцарь. Совсем недавно вы творили грех с этой девушкой, а теперь отрицаете близость, которая у вас с ней была, и называете ее потаскухой. Вы вели себя как два диких животных, совокупляю-

щихся в лесу. Но животные, по крайней мере, совокупляются ради продолжения рода, вы же делали это только из-за похоти.

— Какое тут может быть рыцарство, монсеньор? — сказала Мариана, нагнетая обстановку. — Дело в том, что если в этой клади есть что-то ценное, ну, скажем, много метафизики, которая куда дороже, чем оловянные блюда, то мы для бандитов очень даже подходящая добыча. Все трое, не только Омеро Луис. Вот она, проблема-то.



— Минуточку, — сказал монах, — перестаньте же говорить загадками. Что вы подразумеваете под метафизикой? Может быть, золото? Но откуда бандиты могут знать, какие блюда в этой поклаже — оловянные или золотые?

— Тут вы ошибаетесь, монсеньор.

— Ты симпатичная девушка, хотя и немного распутная. Вот и объясни мне, как бандиты, находящиеся далеко отсюда, могут знать, золото в этом вьюке или олово. Они что, чуют золото?

— Дорогой монсеньор, — вмешался Омеро Луис, — вы зря тратите время на разговоры с этой трепачкой.

Мариана даже остановилась, чтобы привлечь внимание монаха, и сказала:

— Вы должны знать, что мы встретились с этим торговцем в трактире "Стеллетта" в Велес Рубио, куда меня подвезли на телеге с досками. Вечером, перед тем как мы легли спать, трактирщица рассказала мне об одном странном торговце, который явился из Гранады и, похоже, шел всю дорогу не останавливаясь, словно бежал от преследователей, и в постель лег в обнимку со своей поклажей. А поклажа была такая тяжелая, что едва не проломила доски кровати.

— И что? — монаху не терпелось добраться до сути вопроса.

Тут в разговор вмешался Омеро Луис. Голос у него звучал грубо, почти угрожающе:

— Ну и что из того? Что Мариана провела прошлую ночь с каким-то возницей? Что тут особенного? Вы сами уже поняли, что Мариана охотно спит с кем угодно. И ничего тут не скажешь: она сама себе хозяйка и может давать кому захочет. И еще она говорит, что я спал в трактире "Стеллетта", прижимая к себе свой товар. Что в этом плохого? Ведь всем известно: в трактирах полно ворья.

Мариана с горячностью продолжила свой рассказ, решив коснуться самой щекотливой темы:

— Я еще не все сказала. Я не сказала, что трактирщицу очень удивила тяжесть поклажи. Обычно торговцы, идущие на ярмарку, тем более такую далекую, как ярмарка Сан-Исидро в Мурсии, несут не очень тяжелый товар: ленты, например, нитки, тесьму, чулки, иголки и всякое такое. Попробуйте догадаться, что за тяжесть тащит осел этого торговца, сказала мне трактирщица, у которой появились нехорошие подозрения насчет Омеро Луиса. Вот этот вопрос я и задала ему, но ответ меня не убедил. Оловянные блюда, говорит он, но не хочет их показать. Отказался даже когда я захотела купить пару блюд, чтобы сделать подарок своей сестре.

— Эта безмозглая девка сует нос в мои личные дела. Она считает, что я соглашусь переворошить весь свой товар, чтобы удовлетворить ее любопытство.

— По-моему, вы затеяли спор из-за пустяка, — сказал монах.

— Из-за пустяка? — возмутилась Мариана. — А что, если этот пустяк дороже вашего монастыря со всеми его монахами?

— И все же я не понимаю, о чем вы толкуете, друзья мои.

— Вам лучше и не понимать, — сказала Мариана.

— Вы по-прежнему напускаете туману и говорите загадками. Хотите меня напугать? Да кто вы вообще такие? Что происходит в ваших больных мозгах?

— Кто такая я, понять нетрудно, вы сами видели, что под платьем у меня ничего нет, и уже одно это говорит обо мне яснее ясного. Но я человек не злой и каждый раз, сотворив грех, каюсь. А вот кто такой он, мы не знаем, и лучше нам не знать.

Монах начал тревожиться. Он смотрел на Омеро Луиса, и тот уже не казался ему хорошим человеком. Но он знал, что видимость и в добрых и в дурных делах обманчива. И тогда он подумал, что лучше ему больше ничего не знать и ни о чем не спрашивать, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Но Мариана Лопес не могла угомониться, и подозрения ее становились все более серьезными.

— А что ты можешь сказать о ноже, который у тебя в кармане? Почему это на хлебе, который ты мне отрезал, оказалось красное пятно, как будто нож был испачкан кровью?

Омеро Луис зло рассмеялся, но потом все же попытался оправдаться:

— Сколько шуму из ничего. Я резал колбасу и тебе тоже дал два кружка, потому что ты устала и проголодалась, — сказал Омеро Луис. — Вот на хлебе и осталась красная полоска от колбасы.

— По-твоему, сухая как кость колбаса могла оставить красный след на ноже, а потом и на хлебе?

Омеро Луис саркастически хохотнул, с трудом сдерживая бешенство, от которого у него даже лицо вспыхнуло.

— Тогда, значит, я перерезал горло сторожу Гранада-клуба и на ноже до сих пор осталась его кровь. Ты это хочешь от меня услышать?

— Да что ты, я и не думала об этом, но если ты сам так говоришь, я тебе верю на слово. А почему бы тебе не рассказать нам что-нибудь про метафизику?

Мариана кивнула в сторону осла.

Омеро Луис изобразил на лице скуку, но было заметно, что он в затруднительном положении. Он даже покашлял, чтобы скрыть растерянность, не отвечать Мариане и замять разговор о крови и золоте. Монах смотрел то на него, то на нее растерянно и даже немного испуганно.

— И что мне прикажете думать о вас? Вы — два грешника, согласен. Однако грех ваш очень распространен на земле. Но постепенно передо мной вырисовывается ужасная картина. Теперь мне остается лишь надеяться, что за вашими словами кроются одни только гнусные фантазии и ничего больше.

Сделав несколько шагов, Омеро Луис вдруг обратился к Мариане:

— Ну и сукина же ты дочь. И сама хорошая сука.

— Может, я и сука, а ты, пожалуй, и того хуже.

— Будь я действительно тем, за кого ты меня принимаешь, — вором и убийцей, тебе следовало бы испугаться и бежать от меня как можно дальше.

— Как видишь, я заговорила открыто только тогда, когда к нам присоединился монах, а говорить об этом с тобой с глазу на глаз у меня бы

смелости не хватило. И еще я не хочу убегать потому, что метафизика, от которой прогибается спина у осла, меня тоже интересует.

— Хочешь сделать подарок сестре?

— Нет, хочу сделать подарок себе самой, чтобы положить конец своей нищенской и голодной жизни.



***

Все трое долго шли молча. Омеро Луис вел под уздцы осла, который замедлил шаг и иногда, казалось, терял равновесие. Земля была все такой же сухой, пейзаж — унылым, но то здесь, то там стали попадаться развалины заброшенных домов. Чуть выше, в скалистом склоне, словно черные разинутые рты, виднелись входы в пещеры, некогда служившие убежищем для людей и коз.

Вскоре они подошли к полуразрушенному дому без крыши, с окнами, превратившимися в четыре скособоченные рамы и с сорванной с петель входной дверью. В призрачном лунном свете эта заброшенная развалина выглядела и вовсе зловещей.

— Вы чувствуете какой-то странный запах? — спросила Мариана.

— Похоже, он идет из дома. Противный запах, — сказал Омеро Луис.

— Давайте зайдем, посмотрим.

— Нет-нет, пошли отсюда, — сказал Омеро Луис.

— А я все же посмотрю.

— Может, лучше не надо? — сказал монах.

— Не ходи, Мариана.

Мариана сделала несколько осторожных шагов и подошла к распахнутой двери. Несколько мгновений она, словно окаменев, стояла молча. Потом бросилась назад, прикрывая рукой глаза и с трудом сдерживая позывы к рвоте. В таком виде она и упала в объятия Омеро Луиса.

— Господи, какой страх, ты и представить себе не можешь. Я не могу даже слов найти и описать, что я там увидела. Пошли отсюда.

— Достаточно этой вонищи, чтобы понять, что ты там увидала. Тут и слов не нужно, — сказал монах.

Торговец сразу понял, что произошло на этом участке дороги несколькими днями раньше. Осторожно: то же самое теперь могло произойти и с ними. Выходит, бандиты совершали свои налеты и здесь. Плохая новость. Омеро Луиса охватила паника, от страха он еле выговаривал слова.

— Бандиты. Я так и знал, что они появятся после всех этих знаков. Надо ждать худшего, потому что мы уже недалеко от Мурсии и под прицелом бандитов, которые запросто могут примчаться сюда, а потом спрятаться в каком-нибудь укрытии или в этих пещерах и готовиться к новым вылазкам. Видите эти пещеры? Возможно, там и сидят бандиты, которые нападут на нас. Кто знает, что наплела им наводчица-трактирщица из Велес Рубио.

— То, что они напали на какого-то путника, еще не означает, что они нападут и на нас, — сказал монах.

— Не на одного, а на двоих путников, — поправила его Мариана. — Непонятно даже, мужчины это были или женщины.

— Такие же путники, как и мы, — сказал Омеро Луис, которому становилось все страшнее.

— Голые и истерзанные, не могу даже описать как, — снова сказала Мариана. — А рядом — кучка пепла и остатки одежды, которую сожгли бандиты.

— Ну да, бандиты сжигают одежду тех, кого грабят в такой пустынной местности, как эта, где они могут творить что угодно, — сказал Омеро Луис.

— Какой ужас и какая страшная вонища, — сказала Мариана; она еще не пришла в себя, шагала с опущенной головой и была не в состоянии перебороть страх и тошноту. — Я впервые в жизни вижу трупы, да еще в таком виде.

— Да упокоятся они в мире, — сказал монах.

— К сожалению, я понял, что это место очень опасное, с тех пор как некоторые торговцы сменили дорогу вдоль реки и стали ходить по Соленым Землям. А бандиты, которые являются сюда верхом на лошадях, самые страшные: они никого не оставляют в живых, — сказал Омеро Луис, ускоряя шаг, словно рассчитывал таким образом уйти от опасности.

Какое-то время все трое шли молча, насупившись и низко опустив голову. Сделав еще несколько шагов, торговец вдруг остановился и стал прислушиваться. Остановились и Мариана с монахом.

— Вы тоже слышите?

— Опять собаки? Я ничего не слышу, — сказала Мариана.

— А что мы должны слышать? — спросил монах.

— Стук копыт. Он приближается.

— Да нет, — вместе сказали Мариана и монах.

Омеро Луис остановил осла, сошел с дороги, припал к земле и приложил ухо к широкому, выступавшему на поверхность камню. Послушал немного, потом наконец встал, но так и остался стоять и прислушиваться с искаженным от страха лицом.

— И все-таки я слышу копыта одного, а может, и двух коней.

— Ты просто очень напуган, и всюду тебе мерещатся сигналы опасности. Почему ты так испугался? — спросила Мариана. — Из-за метафизики, которую прячешь в поклаже? А если нет, то почему?

— Я боюсь за свою жизнь. Слишком уж много сигналов я получил, идя по этой дороге. Сначала лай мертвых собак. Потом листья в том месте, где деревьями и не пахнет. А теперь еще стук копыт приближающихся коней. Тебе мало? Приложи, пожалуйста, ухо к земле и скажи, тебе слышно или нет.

Мариана легла на землю и прижалась ухом к камню, как ей велел Омеро Луис. Послушав несколько минут, она встала и начала охлопывать руками сильно запылившееся платье.

— Вроде бы я что-то слышала, но не уверена. Земля издает кучу звуков, будто здесь под нами вулкан. Я не уверена, что это конские копыта. Будем надеяться, что нет.

— А что делать мне? — спросил монах. — Я тоже должен послушать?

Не дожидаясь ответа, он растянулся на земле, приложил ухо к камню и так долго оставался в этом положении, что Омеро Луис попросил его встать, чтобы можно было двигаться дальше.

— Теперь пошли, монсеньор.

— Я ничего не слышал, — сказал монах.

Они прошли еще часть дороги, но теперь — не раскрывая рта, потому что копыта осла и их собственные шаги поднимали тончайшую красноватую пыль, от которой сохли губы и жгло глаза.

И снова Омеро Луис замер на месте.

— Вы все еще ничего не слышите?

Мариана и монах не ответили ему. Они тоже остановились и стали прислушиваться. Ничего. Ничего они не слышали. Или нет? Их мозг, подогретый страхом, улавливал то ли вздох налетавшего издалека ветра, то ли воображаемый шелест воображаемых же листьев, то ли другие далекие шумы.

— Кто-то кричит и зовет на помощь. Какой отчаянный крик. И еще женщина стонет. Ну как же? Вы ничего не слышите? Это невозможно, — сказал Омеро Луис.

Мариана и монах опять стали прислушиваться, но никаких голосов не услышали. Им было как-то неловко, но они отдавали себе отчет, что в этой ночной тишине, под этой луной и вздох одного человеческого существа, пусть даже на расстоянии нескольких миль, нельзя не услышать. Омеро Луис дергался, оглядывался вокруг, тер тыльной стороной ладоней глаза, словно хотел что-то увидеть.

— Мы должны помочь ей, — сказал Омеро Луис, — ее насилуют или перерезают ей горло. Происходит какое-то ужасное преступление.

Мариана и монах растерянно переглядывались. Вокруг ведь никого не было. Все тот же мертвенно-бледный пейзаж, еще какие-то развалившиеся дома и глубокая тишина. Внезапно обоим вроде бы послышались какие-то голоса, и их охватил ужас. Мариана побледнела, у нее подкосились ноги, и, чтобы не упасть, она прислонилась к монаху.

— Слышны чьи-то предсмертные хрипы, — сказала Мариана, — и приглушенные крики женщины; она пытается вырваться из рук насильника, который зажимает ей рот рукой.

— Я тоже слышу сдавленный женский голос, похоже, это голос молодой женщины, — сказал монах.

Голос, услышанный монахом, был похож, просто поразительно похож на голос Марианы. Сказать ей об этом или лучше не говорить о таком удивительном сходстве?

— Отчаянный голос этой несчастной женщины похож на твой голос. Я не хотел тебе говорить, так как сходство это чисто случайное и на него не стоит обращать внимания, но потом я подумал, что лучше все-таки сказать. Иногда слова скрывают или запутывают факты, но бывает, что они и проясняют их.

— И вы думаете, что таким прекрасным сообщением вы что-то прояснили? — раздраженно спросила Мариана, напуганная столь необъяснимым сходством.

— Главное, чтобы даже самые неприятные вещи говорились искренне и честно, — ответил монах.

Омеро Луис после того, как они наткнулись на те два трупа, никак не мог подавить в себе страх и смятение.

— Искренность и честность ни шиша не стоят, монсеньор. До нас доносятся сейчас голоса и стоны людей, которые умирают под ножами бандитов, а мы тут стоим и рассуждаем об искренности, как три идиота.

— Давайте успокоимся, прошу вас, — сказал монах. — Не надо поддаваться панике.

Он взял Омеро Луиса за руку, но тот резко выдернул ее.

— Кто-то погибает и молит о помощи, дорогой монсеньор, — с яростью прошипел торговец, испуганно оглядываясь по сторонам, словно

он боялся увидеть что-то ужасное. Но вокруг простиралась все та же пустынная, безлюдная местность.

— Мы ничем не можем им помочь, — сказала Мариана, — потому что это только стоны, долетающие неизвестно откуда, как тот собачий лай. Никак не поймешь, откуда, черт возьми, они доносятся. Простите меня за выражение, просто так говорят, монсеньор.

— Тогда уж собаки лучше, да не будут они помянуты, — сказал Омеро Луис.

— А почему?

— Они такой же зловещий знак, как и эти ужасные стоны. Не нужно добавлять одну дурную примету к другой, а мы только и делаем, что прислушиваемся к голосам и к лаю, растворенному в воздухе. Я первый, например. Так мы собственными руками напяливаем на себя шкуру жертв.

— А тогда как же быть мне, если монах слышал мой голос? Такой отчаянный крик, словно я умираю?

— Это тоже от страха. Именно от страха нам чудятся бандиты, которые нападают на нас с ножами. Не надо терять голову, — сказал Омеро Луис. — Посмотрите вокруг: есть тут кто-нибудь, кто хочет на нас напасть? Нет. Так хватит ныть.

— И я того же мнения, — сказал монах. — Пожалуйста, давайте успокоимся.

— А я уже больше ничего не слышу, — сказала Мариана, — может, только вдалеке какие-то хриплые вздохи.

— Очевидно, они умирают или уже умерли, — сказал монах.

— Я уверена, что они уже умерли, — сказала Мариана, — потому мы ничего и не слышим.

— Вот проклятые кликуши, — закричал отчаявшийся Омеро Луис. — Вы их уже и прикончили, и даже похоронили. Но с меня достаточно.

— Так ведь ты же первый услыхал голоса.

Мариана неожиданно расплакалась и стала причитать, схватившись за голову и прикрыв ладонями уши. Потом зло посмотрела на Омеро Луиса.

— Я так и чувствовала, что не надо мне пускаться в путь с таким ненормальным, как ты. Да, я сделала ошибку, но не могла же я знать, что мы влипнем в эту историю, и все из-за тебя.

— Что несет эта проститутка? Не обращайте на нее внимания, монсеньор.

— Ты сам называл себя убийцей. Называл или нет? Ну скажи, да или нет?! Ты убил Мануэля и стал убийцей, сам так сказал. Попробуй, откажись от своих слов.

Монах смотрел на этих сумасшедших с безграничным удивлением. По их возбужденным репликам можно было догадаться о каких-то темных и тревожных делах. Да еще черная сутана — ему говорили в монастыре, что она похожа на траурное одеяние. Да простит меня Господь, сказал себе монах, но я не придал значения этим предрассудкам.

— Надо было найти другого попутчика, — продолжала Мариана, — трактирщица из Велес Рубио меня же предупредила.

— Будь я убийцей, как считаешь ты, я бы уже давно тебя прикончил. А я не только выношу твои выходки, но поделился с тобой хлебом, колбасой, вином и кое-чем еще.

Мариана вытерла слезы ладонью, но продолжала тихо всхлипывать. Монах, чтобы успокоить девушку, положил ей руку на плечо.

— Ничего же не случилось, — сказал он. — Мы вообразили, что слышим какие-то голоса, но это результат усталости и полнолуния. Луна оказывает странное воздействие на человека. Так что не плачь, а попробуй прочитать молитву, дочь моя. Прочитать молча, про себя. Господь услышит, даже если слова не слетят с твоих губ.

Мариана немного помолчала. Потом они снова тронулись в путь; дорога теперь понемногу шла вниз, пролегая широкими петлями между нависающими скалами и древними пещерами. Трое путников все еще были под впечатлением отчаянных криков и стонов.

— Может, это были голоса тех мертвецов, брошенных в развалюхе. Голоса, застывшие в воздухе, — сказал Омеро Луис. — Это проклятое место, тут происходили ужасные случаи, оставившие в воздухе ночные тревоги.

— Он верит в призраков, — сказала Мариана, обращаясь к монаху.

— Но сейчас-то мы все трое слышали голоса, — сказал Омеро Луис.

— Я не очень уверена.

Монах предпочел отмолчаться. После чего они проделали достаточно большой отрезок пути в молчании, выдававшем их напряженность и страхи. Те два трупа и отчаянные крики, витавшие в воздухе словно звуковые призраки, были столь убедительными, что делали реальной угрозу нападения бандитов и на этой дороге, которую вначале они считали довольно надежной.

— Главное, — сказала Мариана, внезапно нарушив молчание, — это вопрос — есть ли золото в клади, навьюченной на осла. Если золото есть, можете быть уверены, что бандиты явятся, потому что трактирщица их наверняка предупредила. Возница, подбросивший меня до Велес Рубио, говорил мне, что эта женщина — наводчица и сообщает бандитам о тех, кто пускается в путь по дороге на Мурсию. Бандиты, надеясь на хорошую поживу, бросаются вскачь за путниками, а потом делятся добычей и с ней, со шпионкой такой.

— И ты говоришь об этом только сейчас? — взорвался Омеро Луис, вновь охваченный приступом жестокого отчаяния, и закрыл лицо ладонями. — Я тоже понял, что у трактирщицы что-то на уме, но откуда мне было знать, что она наводчица у бандитов? Теперь у нас, у всех троих, петля на шее. Все из-за тебя.

— Из-за трактирщицы, — сказала Мариана.

Монах схватился за голову.

— А я какое отношение имею к вашему золоту и к вашей трактирщице? Это мне приходится сожалеть о том, что я встретился с вами, — сказал он. — Не знаю, что теперь делать. Ноги у меня устали, и обогнать вас я не смогу, а отстать от вас еще опаснее. Да, ну и беду вы на меня накликали.

— Никто не заставлял вас идти вместе с нами, а бандитам, если они тут есть, все равно — двое нас или трое, — сказала Мариана.

— Да-да, я оплошал. Надо было мне идти одному, как я делал уже сто раз. Еще никто не слышал, чтобы бандиты нападали на бедного одинокого монаха.

— Одинокого и в черной сутане, которая сливается с темнотой, — сказал Омеро Луис. — Бандитам на эту вашу уловку наплевать.

— Скажу честно, я был рад, что нашел попутчиков, но потом убедился, что вы жертвы разврата, запросто говорите о всяких страшных пре-

ступлениях и о похищенном золоте. В общем, я, кажется, понял, что вам есть что скрывать.

— Я совершенно ничего не скрываю, — сказала Мариана, решительным жестом задирая платье. — Это ему кое-что приходится скрывать.

— Золото? — спросил монах.

— Наконец-то вы поняли, чего от нас надо бандитам.

— Пожалуйста, давайте больше не говорить о них, — сказал Омеро Луис. — Они еще хуже дьявола, который является, как только о нем заговорят.

— Мы все так напуганы потому, что устали, — пробормотал монах, пытаясь как-то успокоить своих попутчиков. Но голос его выдавал скорее страх, чем усталость.

— Да хранит нас Господь от бандитов, потому что когда они грабят, то свидетелей не оставляют, — сказал Омеро Луис. — Бандиты, которые нападают на дороге вдоль реки, это просто воры: они отнимают у тебя все, даже обувку, ну а те, что действуют в этих местах, — убийцы; мы уже видели этих двух несчастных, которых бросили гнить в развалинах. Если бы я знал, что трактирщица — наводчица у бандитов, я бы пошел по дороге, что тянется вдоль реки. Почему ты сразу мне не сказала, что трактирщица из Велес Рубио — бандитская шпионка? Таким образом ты поставила под угрозу нашу жизнь. И свою тоже. И все из-за подозрения, которое пришло в голову этой трактирщице-наводчице.

Монах достал из-под сутаны маленькое посеребренное распятие и показал его своим попутчикам.

— Я еще надеюсь, что мы избежим этой нехорошей встречи, но если бандиты появятся, как знать, может, они не посмеют осквернить распятие, которое я выставлю против их ножей.

Омеро Луис рассмеялся, показывая тем самым, что не верит ни в монаха, ни в его распятие.

— Вы, конечно, можете выставлять свое распятие, но когда на нас нападут бандиты, то с распятием или без него, дорогой монсеньор, всю нашу троицу ждет плохой конец.

— И все из-за метафизики, — сказала Мариана.

Омеро Луис сердито покосился на нее.

— Опять снова-здорово?

— Сначала я думала, — сказала Мариана, — что ты просто бродячий торговец, а всякому ясно, что бандитам ни к чему какие-то там шелковые ленты и нитки. А из-за золота они готовы горы одолеть или долго скакать по такой вот каменистой пустыне.

Мариана перевела дух.

— Я тебе уже сказала, что ни чуточки не верю, будто ты бродячий торговец.

Омеро Луис насмешливо хмыкнул.

— Ну конечно, я не торговец, а вор и беглый убийца.

— Настоящий торговец не скажет, что эти ленты из шелкового бархата. Они хлопчатобумажные. Сразу же видно, что они не шелковые. Ни одна женщина не поверит, что они шелковые, а тот кусок синей ленты, который ты мне дал, можешь хоть сейчас забрать обратно, потому что мне он не нужен. Меня интересует кое-что другое.

— Давай оставим в покое мои ленты. Каждый старается расхваливать свой товар. Вот проклятье, — сказал Омеро Луис, — все эта трактирщица из "Стеллетты". Я сразу, как только пришел в трактир в Велес Ру-

био, понял, что она подозревает меня невесть в каких преступлениях, но я и представить себе не мог, что она бандитская наводчица. Теперь уже поздно менять дорогу.

— Почему? Лучше идти по камням, чем попасться в лапы бандитам, — сказала Мариана.

Омеро Луис окинул взглядом окружающую их местность.

— Посмотри вокруг. Разве можно сойти с дороги и двигаться по этим камням? Наверно, тут есть тропинки, но их же никто не знает.

— Спорим, бандиты их знают.

— Говорят, одно из их укрытий находится в Лас-Торрес-де-Котильяс, что на полпути от реки до Соленых Земель. У них лошади, и сюда они могут доскакать минут за десять.

— Самое паршивое, совсем паршивое, — сказала Мариана, — это то, что трактирщица почуяла правду. Не то ты показал бы мне оловянные блюда и я бы успокоилась. Всего делов-то.

— Есть и другой способ узнать правду, — сказал монах, внимательно следивший за перепалкой между Марианой и Омеро Луисом.

— Я говорила, чтобы ты показал мне, что там у тебя в поклаже, которую тащит этот осел. От усталости у него даже уши обвисли и спотыкается он на каждом шагу.

Тут в разговор вмешался монах; он, сделав строгое лицо и будучи уверен, что предложение его неотразимо, сказал:

— Нет-нет, я утверждаю, что правду можно установить с помощью клятвы, как в суде. Омеро Луис, ты готов поклясться, что в поклаже не золото, а только оловянные предметы? Ты готов поклясться на Евангелии?

— Пожалуйста, монсеньор, — сказала Мариана, — не заставляйте его клясться. Он способен на клятвопреступление и навлечет на нашу голову не только бандитов, но и кару Господню.

— Ну нет, дочь моя, в случае чего проклятье падет на его голову, а не на наши. — Так как? — спросил монах, обращаясь к Омеро Луису.

— Я согласен.

Монах вытащил из своей сумы маленькую потрепанную книжицу, переплетенную в пергамент.

— Это Евангелие. Остановимся на минутку, на одну только минутку, нельзя приносить клятву на ходу. Осла тоже остановите.

Омеро Луис взял осла под уздцы, и тот даже ушами похлопал, радуясь остановке.

— Золото или олово — вот в чем вопрос, — сказала Мариана, не сводя глаз с Омеро Луиса.

— В общем, все сводится к вопросу о металлах, — сказал монах.

— Вот именно. Если там олово, мы еще можем спастись. Но если трактирщица предупредила бандитов, что у нас золото, тогда нам крышка, — сказала Мариана Лопес.

Монах поднес Евангелие Омеро Луису.

— Положите руку на Евангелие.

— Я левша. Это все равно?

Монах взял правую руку Омеро Луиса и положил ее на Евангелие.

— Теперь вы готовы поклясться на Евангелии, что в клади на спине присутствующего здесь осла оловянные предметы и совсем нет золота в форме предметов или монет?

Омеро Луис утвердительно кивнул головой.

— И помните, — продолжал монах, — что ложная клятва — это клятвопреступление и серьезное нарушение заповедей святой матери нашей Церкви. Теперь перекреститесь и скажите: "клянусь".

Омеро Луис торопливо перекрестился, потом повернулся к монаху, чтобы произнести клятву.

— Клянусь, — сказал он голосом человека, которому все это уже надоело.

Мариане чуть дурно не сделалось. В дороге она постепенно убедила себя, что Омеро Луис вор, ограбивший кассу Гранада-клуба и перерезавший горло сторожу. Чрезмерная тяжесть груза, нож, почти наверняка обагренный кровью, нежелание торговца открыть вьюк, чтобы показать его содержимое, — все это свидетельствовало о том, что именно он причина опасности, так как бандиты по наводке трактирщицы наверняка связали ночной поход Омеро Луиса с кражей золота в Гранада-клубе.

А теперь эта клятва, а вернее ложная клятва — будь неладен монах — заткнула ей рот. Впрочем, если Омеро Луис зарезал сторожа Гранада-клуба, что ему стоит дать ложную клятву насчет золота? Теперь все кончено, и если раньше она могла рассчитывать на монаха как на союзника, то теперь у нее оставался единственный выход — выбрать другую дорогу. Но куда она могла еще идти, как не в Мурсию? Можно, конечно, сославшись на усталость, отстать вместе с монахом; ну а вдруг бандиты появятся со стороны Гранады, тогда они нападут на них раньше, чем на Омеро Луиса.

После той ужасной картины, которую она увидела в развалившемся доме, Мариана была уверена, что бандиты нападут на них еще прежде, чем они доберутся до Мурсии. Она осенила себя крестным знамением и стала бормотать слова молитвы, продолжая идти вперед с низко опущенной головой.

***

Пройдя еще немного по дороге, Мариана подошла к Омеро Луису и взяла его за руку.

— Ты дал ложную клятву.

Омеро Луис неопределенно ухмыльнулся. В действительности Мариане было совершенно наплевать — так это или нет. Больше всего ее интересовало, что кроется за его ложной клятвой. Огромное количество золота? Такое, от которого может закружиться голова или наступить оргазм, судя по тому, что трактирщица говорила ей о действии золота на Омеро Луиса. Впрочем, правда в глазах Марианы была так важна — она имела в виду не столько убийство сторожа, сколько похищение золота, — что как-то даже оправдывала ее попутчика, который предпочел скорее дать ложную клятву, чем признать свое преступление. Потому что Мариана была совершенно уверена: он и грабитель, и убийца.

— Сейчас главное понять, появятся бандиты или нет, — процедил Омеро Луис сквозь зубы.

Ну вот, подумала Мариана, и подтверждение того, что Омеро Луис дал ложную клятву. Иначе зачем бы он говорил, что все остальное, в том числе и клятва, ровным счетом ничего не стоят?

— Если нам удастся выйти живыми из этой дерьмовой истории, — а какая-то надежда все-таки остается, — ты будешь богатющим, а я оста-

нусь жалкой блохой. Но клянусь, что я не оставлю тебя в покое даже на краю света.

— Хорошо. Тогда у нас будет возможность потрахаться еще не раз. Может, даже голышом в большой красивой кровати, а не среди камней и дорожной пыли. Я был бы совсем не против. У тебя паршивый характер, но хорошая задница.

— Прежде всего я хочу получить часть твоей добычи, то есть немного золота. Зря корчишь рожу, я ведь уже давно все поняла. А о траханье в будущем и речи быть не может. Сказала я или нет, что иду в Мурсию, чтобы найти себе мужа и зажить другой жизнью? Так что немного золота мне не помешает, раз уж я хочу изменить эту свою жизнь.

Монах попытался положить конец спору о золоте, который вновь начал разгораться.

— А о клятве вы уже забыли? Я надеялся, что спор о золоте или олове после клятвы будет окончен.

— Спор окончится, только когда на нас нападут бандиты, монсеньор. Придет конец спору и конец нашей жизни, — сказала Мариана. — Сейчас это только планы на будущее, конечно если бандиты оставят нас в живых.

— Планируете новые грехи, — сказал монах с горечью.

Омеро Луис решил несколько расширить перспективу, нарисованную монахом.

— Нет, нет. Я же предлагаю Мариане выйти за меня замуж, а она делает вид, будто не понимает. Я иногда говорю не очень ясно, кто понял — тот понял, а если нет, пусть считает, что я ничего не сказал.

Мариана недобро рассмеялась. Насмехаться над браком — вот это действительно грех, еще похуже, чем ложная клятва. Она взглянула на Омеро Луиса, чтобы понять, есть ли в его словах хоть толика правды или это всего лишь гнусная шутка.

— Ну так выскажись яснее насчет твоего предложения. Но поосторожнее, а то ведь я могу и согласиться. А поскольку мы уже заговорили об этом, признаюсь тебе, что я соглашусь, даже если ты не ограбил кассу Гранада-клуба, соглашусь, так как ты парень что надо.

Немного помолчав, она продолжала:

— Хотя, если подумать, когда ты увидел монаха, скорчившегося на камне, то здорово сдрейфил.

Омеро Луис почувствовал себя задетым.

— Что еще ты придумаешь? Я подошел к нему с ножом в руке. Да или нет?

Мариана не хотела обидеть Омеро Луиса, но как всегда слова у нее выскочили сами собой и теперь ей надо было быстро исправить положение.

— Да, верно, ты пошел на него с ножом в руке. Твоя правда. Знаешь, ночью все бывает так смутно, да и память может подвести.

Омеро Луис ничего не сказал, но вроде был удовлетворен поправкой Марианы, которая, осмелев, пусть даже просто в шутку возобновила разговор о замужестве. Глупая игра, но от нее в ушах девушки звучала такая приятная музыка, что она просто таяла, как бывало с приближением оргазма: мягкие волны поднимались по ногам все выше и выше и наконец достигали живота.

— И что, это предложение пожениться ты можешь сделать как полагается? Или ты берешь свои слова обратно?

Монах, судя по всему, был обеспокоен неожиданным поворотом в отношениях между попутчиками.

— Ну-ка, дети мои, — сказал он, обращаясь к обоим, — давайте мы как следует оформим бракосочетание и таким образом искупим также грех, которому вы предались недавно у меня на глазах.

Мариана нашла в монахе союзника и опору в своем невероятном плане и тотчас воспряла духом.

— А что, вы можете окрутить нас прямо здесь, на дороге, ночью, под открытым небом? — спросила она.

— Конечно, — ответил монах, — любой священник в чрезвычайных обстоятельствах может свершить акт бракосочетания, крещения или соборования.

— Давайте не будем о соборовании, — сказал Омеро Луис, прикасаясь к ширинке — от сглаза.

Мариана не могла сдержать волнения. Казалось даже, что сумасбродная идея импровизированного прямо на дороге ночного бракосочетания как будто оттеснила на задний план ужасное зрелище двух трупов и страх перед бандитами.

— Ну что ж, пойдем на это безумие.

Омеро Луис остановился, так как обдумывать что-то на ходу трудно. Для этого нужно постоять или даже присесть: сидя думается лучше, чем стоя. Омеро Луис огляделся по сторонам и решил сесть на большой камень — довольно удобный и не очень возвышающийся над дорогой. Чтобы мысли лучше работали, он обхватил голову руками. Надо было принять решение — брать в жены или не брать такую тощую девчонку без кола без двора, как Мариана. А сам он что, не такой же? Не бродяга? Мариана стояла перед ним и, открыв рот, с тревогой смотрела на него, ожидая ответа.

— Ну надо же — женитьба. Не хотелось бы вляпываться еще в одну глупость. Я уже столько натворил их в своей жизни.

— Одной больше, одной меньше, какая разница?

— Омеро Луис не может принимать решения так сразу. Он должен еще немного подумать, — сказал Омеро Луис.

Мариана даже улыбнулась. Ей не верилось, что Омеро Луис решил подумать всерьез или почти всерьез о женитьбе.

— Так и вижу, какое лицо будет у моей сестры, когда я явлюсь к ней и скажу, что уже вышла замуж по дороге. От одной этой мысли становится весело, прямо умора.

Мариана уже представляла себе эту сцену. Она явится к сестре с улыбкой до ушей и скажет: "Вот я и мужняя жена. По дороге в Мурсию вышла замуж за Омеро Луиса; парень что надо, и метафизика при нем".

— Кстати, как твоя фамилия?

— Молина, Омеро Луис Молина.

— Молина мне нравится, красиво. А я по фамилии Лопес — Мариана Лопес.

Так, думала Мариана, Омеро Луис назвал свою фамилию, а это хороший знак: наверно, он уже привыкает к мысли о женитьбе. Но пока он все еще сидит на камне, обхватив голову руками и погрузившись в свою тяжкую думу.

— Не хочу вас торопить, — сказал монах, — но если вы примете решение — я готов.

— Я уже решила, — сказала Мариана, обращаясь к монаху. — Теперь дело за ним.

— Скажу вам больше, — снова заговорил монах, — идея импровизированного бракосочетания на дороге, ночью мне нравится. Для меня это тоже приятная неожиданность.

Омеро Луис поднял глаза на Мариану и оглядел ее так, словно видел впервые. А она и впрямь красивая, городская штучка, высокая и худая, пожалуй слишком худая. В ее глазах красиво отражался лунный свет. Губы были странно надуты, словно у девочки, вот-вот готовой заплакать.

— Нет, не могу, — сказал Омеро Луис, тряхнув головой. — Не могу я решить вот так сразу, с ходу.

— Ты что? Упускаешь такой случай? В Мурсии мы заведем свой дом и каждую ночь будем спать вместе на одной кровати. А если захочешь, сможем трахаться стоя, на полу, на крыше, в море. Вот увидишь, здорово будет.

— Не могу, — повторил Омеро Луис, словно какое-то неведомое препятствие мешало ему согласиться. — Ну никак не могу.

Мариана расплакалась навзрыд.

— Я люблю тебя, паршивый сукин сын.

Не зная даже зачем, может для того, чтобы уравновесить косоглазие Омеро Луиса, она уже едва не призналась, что глуховата на левое ухо и поэтому не слышала собак, но потом все же передумала. Этот сукин сын сказал "нет", и ее маленькое признание ничего бы не дало. Она не могла понять, в чем дело, что ему мешает. Идея бракосочетания ей казалась прекрасной, забавной и выгодной для обоих, даже если и не было никаких золотых монет, спрятанных в клади. Ей уже было совершенно наплевать на золото, она хотела выйти замуж за Омеро Луиса, и все. А если монеты все же есть, тем лучше и для него и для нее.

— Надо подумать. Сейчас это невозможно, — сказал Омеро Луис, продолжая сидеть на камне.

Мариана тыльной стороной ладони вытерла слезы, все еще катившиеся по ее лицу.

— Ну послушай меня. Почему невозможно? Должна же быть какая-то причина, — проговорила она сквозь всхлипывания.

— Не знаю. У меня тоже мысли путаются. Сейчас мы тронемся в путь, и увидишь, еще не доходя Мурсии, я скажу тебе "да".

— Обещаешь?

— Омеро Луис сказал: не доходя Мурсии. Омеро Луис свои обещания выполняет.

Мариана вроде бы немного успокоилась.

— Я был бы счастлив освятить этот брак, — сказал монах. — Вы прямо созданы друг для друга. Отличная пара.

— Слыхал? Даже монах согласен. Говорит, что мы подходим друг другу.

— Дай мне подумать еще немного. Вот увидишь, еще до прихода в Мурсию мы поженимся.

Омеро Луис встал со своего камня и пошел вперед рядом с ослом. Следом за ним двинулись и Мариана с монахом.

И почему только, думала Мариана, он тянет с таким простым делом, как наша женитьба?

***

Осел и трое путников снова шли по дороге уже больше получаса. Мариана рта не раскрывала, чтобы не потревожить размышления Омеро Луиса, а монах старательно поддерживал молчание обоих героев. Идея бракосочетания, теперь уже близкого, судя по задумчивому, но спокойному виду Омеро Луиса, заставила всех троих забыть об угрозе нападения бандитов.

Внезапно, еще до того как послышался стук копыт, вдали в неверных бликах рассвета, вроде бы со стороны Мурсии, во всяком случае откуда-то оттуда, появились контуры двух всадников, приближавшихся рысью в клубах пыли. Если смотреть издали, в этих двух всадниках не было ничего страшного — просто движущиеся фигуры на пустынном фоне, но при виде их у наших путников кровь застыла в жилах. Они знали, что перед ними живой образ смерти.

— Так я и знал, — пробормотал Омеро Луис, останавливаясь вместе с ослом у обочины, словно надеялся, что таким образом можно освободить дорогу всадникам и те проскачут мимо, не причинив им никакого вреда. Но он хорошо знал, что добром все это не кончится, и, сунув руку в карман, ухватился за нож, не вытаскивая его, чтобы быть готовым к обороне и захватить бандитов врасплох.

В нескольких метрах от путников всадники спешились. Оба были невысокого роста, с противными, но не страшными, хотя и бородатыми лицами. Одеты они были как пастухи — в бумазейные штаны и полотняные рубахи с шейными платками и красными подпоясками вместо кушаков. На ногах у них были подбитые гвоздями крестьянские башмаки. Первым делом они обратили внимание на осла.

— Что там у него во вьюках? — спросил тот, что был попротивнее с виду.

Этих нескольких слов было достаточно, чтобы Омеро Луису стало ясно то, что он знал и раньше: бандитам нужно золото. Мариана едва дышала приоткрытым ртом, застыв рядом с монахом. Оба онемели от страха.

Омеро Луис на вопрос не ответил. Задавший вопрос бандит, раздраженный его молчанием, сверлил торговца взглядом.

— Ты что, немой?

Омеро Луис молчал, не поддаваясь на провокацию.

Между тем второй бандит подошел к ослу и взял его под уздцы.

Омеро Луис, воспользовавшись этим отвлекшим общее внимание жестом, в один прыжок подлетел к первому бандиту, не ожидавшему такой молниеносной реакции, и ножом распорол ему живот снизу доверху. Бандит не успел даже приготовиться к защите и со стоном рухнул на землю, пытаясь руками удержать вываливающиеся внутренности. Он стонал нечеловеческим голосом, корчась в пыли и вращая глазами от боли.

Омеро Луис отскочил назад, чтобы уберечься от выпада второго бандита, который, бросив осла, выхватил узкий, как кинжал, мясницкий нож. Не имея возможности поразить Омеро Луиса, принявшего оборонительную позу, он ударил ножом в грудь монаха: тот не ждал нападения и не успел даже отклониться. Со стоном повалился он на колени в дорожную пыль, зажимая рану рукой.

Разделавшись с монахом, второй бандит опять подошел к ослу, но кладью овладеть он не мог, так как в нескольких шагах от него стоял

Омеро Луис, следивший за каждым его движением. Мариана опустилась на колени, сомлев от страха. У нее не было даже сил приподняться. Она стонала и плакала, зажимая глаза ладонями.

Оставшийся на ногах бандит, поднимая пыль, топтал землю, как разъяренный бык.



Омеро Луис не ответил на вызов разбойника, а внезапно сделал еще один выпад и ударом ножа распорол брюхо одному из коней, который бросился в камни, волоча за собой выпавшие из брюха внутренности. Никакого плана у Омеро Луиса не было, просто он старался наносить удары куда и как только можно. Короче говоря, он импровизировал и благодаря первым выпадам закрепил свое положение.

Второй бандит понял намерения Омеро Луиса и приблизился к своему коню, чтобы защитить его от возможного нападения. Осел, ошарашенный этой сумятицей, потрусил в сторону Мурсии и постепенно удалялся со своей ношей с места событий. Бандит же был вынужден не спускать глаз с Омеро Луиса, описывавшего вокруг него круги с ножом в руке, и потому не мог заняться ослом, все удалявшимся и удалявшимся. На его бородатом лице были написаны ярость и удивление, вызванные прытью торговца.

Мариана между тем подползла к монаху, который лежал ничком в пыли. Чем-то помочь ему она, конечно, была не в состоянии и потому поднялась на ноги и сделала два шага в сторону Омеро Луиса. Беззащитная и испуганная Мариана оказалась для бандита легкой мишенью. Сделав прыжок, он вонзил ей нож в бок так, что Омеро Луис не успел парировать удар. Мариана прижала рану рукой, чтобы удержать кровь, и упала на землю рядом с монахом, стеная от боли. При этом она едва слышно и с полными слез глазами шептала:

— Убей его, Омеро Луис, убей этого разбойника. Как страшно. Я умираю именно теперь, когда мы решили пожениться.

Монаху удалось приподнять лицо, и он, глотая клокочущую в горле кровь, с трудом вымолвил:

— Бедный монах и беззащитная девушка. Вы злые люди, убиваете бедняков, не сделавших никому на свете зла. Во имя Господа и всех святых, скажите, за что мне этот ужасный конец: лицо в пыли и кровь, вытекающая из меня вместе с моей душой?

Монах пытался сплюнуть набившуюся ему в рот пыль, потом снова, уже без слов, опустил голову на землю.

Мариана продолжала плакать, причитать и слабеющим голосом невнятно убеждать Омеро Луиса:

— Убей его, Омеро Луис, убей. Я хотела выйти за тебя замуж еще до того, как приду к сестре. Я хотела иметь много детей и чтоб мы вместе старели и седели. И ничего на свете мне больше не нужно было. Ну еще золото, чтобы поехать в Неаполь, купить там большой дом и зажить в нем спокойно. Ничего больше.

На ногах оставались Омеро Луис и второй бандит; они стояли друг против друга, зажав в руках ножи, но ни тот, ни другой не хотел делать выпад первым. Они не спускали друг с друга глаз, следя за малейшими движениями противника, как на арене.

И все же первым неожиданно нанес удар Омеро Луис, когда оставшийся в живых конь бандита двинулся с места и приблизился к нему. Молниеносным движением он всадил нож коню в брюхо и отскочил назад. Оставшийся без коня бандит понял, что грабеж не удался. Он оска-

лил зубы от бешенства и удивления, что этот проклятый торговец умел действовать ножом даже лучше, чем он сам. Ему хотелось сейчас же отомстить, он был охвачен слепой яростью от поражения, но стоило бандиту взглянуть на Омеро Луиса, в страшном напряжении ждавшего какой-нибудь его оплошности, как он решил, что разумнее не двигаться и ждать, когда сделает первое движение противник.

В такой ситуации Омеро Луис тоже решил оставить инициативу за бандитом. Так двое мужчин стояли лицом к лицу с ножами в руках, неподвижные, как два изваяния, не давая друг другу возможности даже пошевелиться, а Мариана и монах продолжали стонать.

Они стояли и выжидали невесть сколько времени. Вдруг их опахнуло двумя порывами какого-то кислого ветра. Второй бандит продолжал неподвижно стоять перед Омеро Луисом, первый же, тот, что лежал на земле, после предсмертных конвульсий больше не подавал признаков жизни. Да, так они и стояли, кажется, целую вечность с зажатыми в руках ножами, неподвижные, утратившие способность думать, а луна тем временем плыла по небу — тихая, ясная, холодная и далекая.

Вновь подул ветер солано, и тут второй бандит, сощурив веки, чтобы уберечь глаза от тонкой африканской пыли, внезапно бросился на Омеро Луиса, который, однако, оказался проворнее и вонзил нож ему в грудь. Однако у истекающего кровью бандита все же хватило сил всадить свой нож в бок Омеро Луиса. Но вытащить его он уже не смог и рухнул на землю.

Омеро Луис сразу понял, что вытаскивать нож из раны нельзя; если она начнет кровоточить, жить ему останется несколько часов. А с ножом в боку он, может быть, и сумеет добраться до какого-нибудь трактира на окраине Мурсии, где ему окажут помощь. В ногах он еще чувствовал легкость и, к своему великому удивлению, не испытывал боли в боку, хотя лезвие ножа вошло между ребрами по самую ручку.

Он чувствовал, что силы еще не покинули его, и потому решил, не теряя времени, идти в Мурсию. Но прежде Омеро Луис подошел к Мариане, продолжавшей зажимать руками кровоточащую рану.

— Я доберусь до какого-нибудь трактира на окраине Мурсии. Ты не двигайся, держи руку на ране и прижимай ее крепче, не то кровь из нее может вся вытечь. И прошу тебя, не засыпай. Я пришлю кого-нибудь за тобой, если найду доктора, пришлю доктора, а нет — кто-нибудь приедет на телеге и возьмет тебя и этого несчастного монаха: он уже потерял сознание.

— Я не потерял сознание, — сказал монах, с трудом выталкивая слова из гортани.

— Ты не забудешь прислать кого-нибудь за мной? Или оставишь меня умирать в пыли? — спросила Мариана Лопес.

— Конечно не забуду, ты ж почти что моя жена. Я решил жениться на тебе и уже хотел тебе это сказать, так тут прискакали эти подонки.

— Ты вправду решил жениться на мне? Или говоришь просто так, чтобы утешить меня?

— Клянусь тебе, Мариана. И если нам удастся спасти свою шкуру, я тебе это докажу. Устроим такую свадьбу! Пригласим сто или даже двести человек, а вина будет сколько! Заливайтесь с утра до ночи!

— Я хочу тебе сказать, что согласна, даже если у тебя нет того золота. Но я, кажется, об этом уже говорила.

— Ты не двигайся, — снова сказал Омеро Луис, — старайся лежать совсем неподвижно, но только глаза не закрывай. Пожалуйста, не спи.

Торговец погладил ее по волосам, потом повернулся и медленно побрел в сторону Мурсии.

— Теперь я тоже слышу собак, — сказала Мариана, просто чтоб сделать ему приятное. Но голос у нее был такой слабый, что Омеро Луис, уже двинувшийся в направлении Мурсии, слов ее не услышал.



***

Бедная Мариана, думал торговец, бредя по пыльной дороге, вряд ли она сможет выпутаться из этой истории: рана плохая, сильно кровоточит. Проклятье! Я научил ее, как себя вести, но по колотой ране мы получили все — я, Мариана и этот злополучный монах, который увязался за нами. Да, ему будет что порассказать у себя в монастыре. О чем это ты, Омеро Луис? Он уже одной ногой на том свете и ничегошеньки никому не расскажет. Разве что случится чудо Господне.

С сознанием Омеро Луиса дело обстояло хуже, чем с ногами, и оно заводило его в лабиринт путаных мыслей: они клубились, как красная пыль, которая закручивалась воронками от неожиданных порывов африканского ветра. Ветер солано принесет добрые мысли и поможет мне дышать, думал Омеро Луис, но в действительности этот насыщенный пылью ветер лишь забивал ему дыхание, запорашивал глаза и рот.

Мне нельзя терять сознание, а главное — нельзя останавливаться. Если Омеро Луис остановится, то дальше он уже идти не сможет. У обочины виднеется плоский камень, словно созданный для того, чтобы на нем сидели, но если я сяду на него, то уж никогда не встану. Первые дома Мурсии должны быть уже поблизости. Ноги пока еще держат меня, как будто им нипочем нож, торчащий между ребрами. К счастью, небо начинает светлеть, а когда я дойду до места, люди там наверняка проснутся. Давай, Омеро Луис, держись и не очень утомляй ноги. Проклятье, если я не буду переставлять ноги, мне ж никуда не добраться.

А осел? Омеро Луис вспомнил о своем осле, груженном золотом. Если я его найду и останусь в живых, клянусь, что возьму в жены эту ненормальную и бесстыжую тощую девку, тоже уже почти мертвую. Да, конечно, она терзала меня все время, зато показала, что она хитрая и умная, а умные женщины не валяются на дороге.

Теперь только нужно осла найти. Я видел, как он двинулся в сторону Мурсии, так что мне нужно нагнать его, потому что я, если не ошибаюсь, плетусь именно в Мурсию. Но его что-то не видать, а это очень странно, ведь он из-за тяжелой поклажи шагает медленно, как караван. Может, он свернул на другую дорогу? Или пошел прямиком по камням? Не думаю. Он не любитель приключений и обычно предпочитает знакомую утрамбованную дорогу незнакомым и каменистым. Ну а если он идет по этой дороге, хотелось бы знать, почему Омеро Луис его не видит.

Никаких следов осла не было и в помине, но вдали, в конце пути, несмотря на то что глаза Омеро Луиса были запорошены пылью, уже виднелись крыши каких-то домов, и в некоторых окнах горел свет. До них-то я доберусь, сказал он себе, дорога теперь пошла под уклон, а ноги у меня такие легкие. Да, они двигаются медленно, но мне кажется, будто

я лечу; какое странное чувство легкости. Это дорога ведет вниз или голову мою куда-то уносит?

Омеро Луис продолжал шагать, но крыши домов все еще оставались на прежнем месте, даже казалось, что они отдалились. Он отер пот со лба и стал слегка помогать себе, помахивая руками. Когда помогаешь ногам руками, идти становится легче.

Ну вот, шаг, еще шаг, и дома наконец стали приближаться. Первый дом был весь белый, а в белой стене виднелась стеклянная дверь, а над стеклянной дверью — железная вывеска: проржавевшая голубка и какая-то надпись. Омеро Луис продолжал шагать, стеклянная же дверь, казалось ему, то приближается, то удаляется. За дверью горел свет — в этом он был уверен. Теперь главным делом было дойти до этой двери, пока свет за ней не погас.

***

Омеро Луис добрался до трактира "Белая голубка", когда ноги его уже почти не держали. Двое рабочих — плотники в синих комбинезонах — сидели за столом: перед ними был литр вина, которым они запивали хлеб и яичницу, прежде чем отправиться на работу. Увидев появившегося в дверях Омеро Луиса, они сразу поняли, что он нуждается в помощи. Оба вскочили, подхватили его под руки и усадили за свой стол.

— Господи! — воскликнул тот, что был постарше. — У него же нож в боку!

— Нужно сразу его вытащить, — подсказал тот, что помоложе.

— Если вытащить нож, я умру, — пробормотал Омеро Луис слабеющим голосом.

— Ты, наверно, все равно умрешь, — сказал пожилой рабочий, — но нож надо оставить в ране. Ты прав.

— Почему это? Я считаю, что нож нужно вынуть, и поскорее.

— Нет-нет, если мы вынем нож, этот несчастный через пять минут умрет от потери крови.

— Может, вы позовете доктора? — сказал Омеро Луис без всякой надежды на то, что его просьба будет выполнена.

— Да, сейчас, — сказал пожилой, поднимаясь из-за стола, чтобы позвать трактирщика.

Трактирщик Фернандо Баэна не мог поверить, что человек с ножом между ребрами мог дойти откуда-то своими ногами, как ему сказал рабочий. Он выглянул в зал, чтобы увидеть все самому, прежде чем звонить в больницу. Подойдя к столу, он спросил:

— Да кто же пырнул тебя так?

— Бандиты, — ответил Омеро Луис.

— Звони скорее в больницу, — сказал пожилой рабочий, — иначе этот несчастный откинет копыта прямо у нас на глазах.

Трактирщик поспешил к телефону, который был в глубине уставленного столами зала.

— Ты сказал "бандиты"? — спросил пожилой рабочий.

— Два бандита на конях. Похоже, они спустились из своих укрытий, что в Лас-Торрес-де-Котильяс, — сказал Омеро Луис. — Они грабят, убивают, а потом скрываются.

Рабочие недоуменно переглянулись.

— Бредит, бедняга, — сказал молодой.

— Мне плохо, но я не брежу, — отозвался Омеро Луис.

— Уже много лет здесь нет никаких бандитов на конях, да, уже лет сто как здесь нет бандитов на конях.

— А кто, по-вашему, воткнул мне этот нож в бок?

— Плохой удар ты получил, что верно, то верно. Но при чем здесь бандиты?

— Никому нет спасения от этих разбойников, — сказал Омеро Луис. — Мне еще повезло, что я смог добраться сюда на своих ногах.

— Где это случилось? — спросил пожилой рабочий.

— На окольной дороге, которая тянется от Велес Рубио, что в нескольких километрах отсюда.

— Окольная дорога? Через Велес Рубио проходит асфальтированное шоссе, соединяющее Мурсию с Гранадой.

Омеро Луис, ничего не понимая, смотрел на рабочих. А они все больше убеждались в том, что этот бедняга с торчащим между ребрами ножом бредит. Тот, что постарше, потрогал ему лоб: нет ли у него жара.

— Жара вроде бы нет.

— А доктор придет? — спросил Омеро Луис.

— Трактирщик сказал, что скоро приедет "скорая помощь".

— Мне бы попить.

Молодой рабочий поднес к его губам стакан с каплей вина.

— Со мной была моя девушка, Мариана Лопес. Мы собирались на днях пожениться. И еще был монах, он шел на рынок из монастыря Святой Аны.

— Монахи приезжают в Мурсию на рынок на джипах. Так значит, вы были на монастырском джипе?

— А что это такое — джип?

Рабочие снова переглянулись.

— Интересно, откуда он взялся.

— Из Гранады, — сказал Омеро Луис усталым голосом.

Рабочие снова взялись за еду и вино. Скоро им надо было идти на стройку.

— Мы должны поесть, так как нам пора на работу.

— А доктора вы позвали?

— Трактирщик позвонил в больницу, и ему сказали, что сразу же вышлют "скорую помощь".

— Так значит, с тобой была девушка и еще монах из Святой Аны?

— Пошлите за ними: они тоже ранены. Пошлите кого-нибудь поскорее, пожалуйста. Это недалеко отсюда, по дороге на Гранаду.

Тот, что постарше, поднялся и пошел к трактирщику, чтобы он поторопил медиков. Нужно было оказать неотложную помощь этому несчастному, добравшемуся до трактира с ножом в боку. А еще девушке и монаху из Святой Аны, на которых напали с ножами два бандита на конях и которые остались на дороге.

— Ты сказал "девушка и монах из монастыря Святой Аны"? — спросил трактирщик, подойдя к столу.

— Да, нужно послать кого-нибудь и за ними, они тоже ранены.

Трактирщик пошел снова звонить в больницу и еще в жандармерию. Он боялся, что те запоздают. Кому охота оставаться с глазу на глаз с уголовниками: эта рана явно свидетельствовала о поножовщине и сведении счетов между шпаной, торговцами наркотиками или кем-то из типов этого сорта. А может, речь шла о контрабанде сигаретами? Но он

никак не мог понять, почему они решили устроить поножовщину прямо на проезжей дороге.

Трактирщик подошел к столу Омеро Луиса, который с трудом поднял глаза; он сидел на стуле бледный как полотно, с ножом в боку. Хозяин боялся, что он умрет у него в трактире. Говорят, у людей вообще есть дурная привычка умирать, но сюда приходят есть, а не умирать.



— Вы уверены, что нож надо оставить в ране?

— Если вы его вынете, Омеро Луис умрет от потери крови через пять минут, — снова заговорил торговец. — Вы звонили в больницу?

— Они сказали, что вышлют "скорую помощь", — ответил трактирщик, — но езды сюда от больницы добрых полчаса.

— Ты сказал, что с тобой были еще монах и девушка? — спросил немолодой рабочий.

— Да, монах и девушка. Их тоже подкололи ножом. И потом, был еще осел с грузом золота.

Тут оба рабочих посмотрели на Омеро Луиса с жалостью. Трактирщик недоверчиво вытаращил глаза. Все было похоже на сказку, да еще с этим завершающим штрихом — ослом, груженным золотом. Но такую сказку трактирщик уже где-то слышал. Вот только нож, торчащий в боку пришельца, был настоящим и настоящей была кровь, широким пятном расплывшаяся на куртке бедняги, все еще продолжавшего бредить.

Омеро Луис был совершенно обессилен, но чувствовал, что ему необходимо говорить, рассказать о своем злосчастном приключении. Это тоже ведь способ чувствовать себя еще живым.

— Кто-то зарезал ночного сторожа, ограбил кассу Гранада-клуба и погрузил золото на осла. Я взялся перегнать осла с золотом в Мурсию.

Трактирщик, все еще стоявший у стола Омеро Луиса и слушавший его рассказ, не поверил своим ушам.

— Гранада-клуб закрылся ровно сто лет назад, после того как украли золото членов клуба, хранившееся в сейфе этого заведения, — сказал он. — И куда подевалось огромное количество золота, так никто и не узнал. На протяжении долгих лет велось расследование по искам членов клуба к тем, кто отвечал за вклады, но никаких следов золота так и не нашли.

— Вы что, Гранада-клуб был открыт еще три дня назад, когда его обчистили, — сказал Омеро Луис. — Я уверен. Почему вы говорите, что он закрылся сто лет назад?

— А где же осел с золотом? — спросил один из рабочих.

— Пропал. Ушел по дороге сам, только его и видели, — сказал Омеро Луис.

— Об этой истории много писалось в тогдашних газетах, — сказал трактирщик, — но как все было на самом деле, понять невозможно. Зарезали ножами не только двоих бандитов, но даже их коней. В общем, похоже, что те два преступника нарвались на человека, умевшего орудовать ножом лучше, чем они. До сих пор говорят об этой истории, случившейся сто лет назад из-за золота, из-за бесследно исчезнувшего несметного количества золотых фунтов стерлингов.

У Омеро Луиса, и так едва не терявшего сознание от раны, в голове все перемешалось. Почему они все говорят про то, что было сто лет назад? Погодите, сто лет — это же век. Он ничего не понимал, никак не мог понять. Иногда он считал себя немножко философом, но его филосо-

фия совсем не помогала ему понять эту странную историю, длящуюся ровно сто лет, целый век.

— Я тоже слышал, что все это золото было погружено на осла и неизвестно куда подевалось, — сказал пожилой рабочий, — может, оно до сих пор где-то спрятано и даже спустя сто лет кто-то рассчитывает его найти. Вот почему об этом столько говорили раньше, да и теперь судачат.

— Точно, — сказал трактирщик. — У меня есть даже олеография с текстом, из тех, что раздавали шарманщики. На ней вся эта история. Вон она, в рамке, на стене висит.

Трактирщик снял с гвоздя небольшую рамку с картинкой на сиреневой бумаге, на которой под грубыми иллюстрациями, изображавшими двух мужчин, замахнувшихся друг на друга ножами, были написаны неуклюже срифмованные стишки, посвященные резне, происшедшей сто лет назад.

— Вот видите, заголовок: "Кровь, пролитая в Соленых Землях". А тут внизу — текст, который сказители распевали по городам и деревням под аккомпанемент тамбурина и шарманки. Они пели слушателям о двух бандитах — всадниках, которые напали на троих путешественников: монаха-доминиканца из монастыря Святой Аны, бродячего торговца и девушку, которая шла в Мурсию навестить свою сестру.

— Моя девушка тоже шла в Мурсию к своей сестре, — еле слышно проговорил Омеро Луис, подавшись вперед, чтобы его услышали.

— Вы не двигайтесь, — сказал трактирщик, — а то кровь потечет из раны.

— Я не двигаюсь, — ответил ему Омеро Луис, — я жду доктора.

— Здесь все написано, — сказал трактирщик. — Сто лет тому назад Соленые Земли, то есть почти все холмы до самой Гранады, представляли собой сплошные скалы, камни и пыль, и не было там ни единой травинки из-за страшной засухи, длившейся более четырех лет. Места эти не такие уж плодородные и сейчас, но вдоль объездной дороги выросли, как говорится, средиземноморские заросли — дрок, земляничное дерево, розмарин, можжевельник. В общем, Соленые Земли — это уже не голая пустыня, как тогда, когда произошла страшная резня, всколыхнувшая всю Испанию.

Теряющий силы Омеро Луис предпочел не вмешиваться в рассказ трактирщика, хотя все больше чувствовал себя главным действующим лицом в истории, описанной на картинке. От этих совпадений у него кругом пошла голова.

— Судя по тому, что здесь написано, — продолжал трактирщик, — торговец ожесточенно дрался с бандитами не только за свою жизнь и за жизнь обоих своих попутчиков, но и за золотые монеты, украденные в Гранада-клубе. То, что торговец перерезал горло кассиру клуба, рассматривается здесь как бессмысленный и жестокий поступок. Так говорится в этой версии. Но как в действительности было дело, никто не знает.

— На картинке написано, что торговец был вором и убийцей, это факт, — произнес пожилой рабочий, не вдаваясь в дальнейшие комментарии.

Слова "вор" и "убийца" зловещим эхом отдались в ушах Омеро Луиса. Какую хреновину несут эти трое? И снова волна кислого воздуха ударила ему в лицо и у него потемнело в глазах.

— Никто так никогда и не понял, — сказал трактирщик, — почему в сейфе Гранада-клуба было такое богатство, какому любой банк мог поза-

видовать. Кое-кто считает, что клуб был гнездом ростовщиков, но зачем они перевели все эти деньги в золотые фунты стерлингов?

— Да, странно, — отозвался пожилой рабочий.

— То были годы политических потрясений и девальвации песеты, — сказал трактирщик, — наверно, ростовщики хотели держать свои деньги в надежной валюте. Это единственное подходящее объяснение.

Трактирщик обернулся к Омеро Луису, делавшему какие-то нетерпеливые знаки.

— Вы не беспокойтесь, "скорая помощь" вот-вот приедет. Меня заверили, что она отправится немедленно.

Пожилой рабочий снова завел разговор о золоте.

— Такое количество золота спрятать было нелегко, но кто-то — а кто именно, никогда и не узнали — сумел все так проделать, что никакого следа не осталось. Многие считают, что тот, кто его спрятал, умер, так что сокровища остались в тайнике, о котором знал только он. Возможно. Так что охота за кладом еще продолжается, вот почему память об ограблении, совершенном сто лет назад, крепко засела в головах у людей.

— Похоже, что торговец спрятал его во вьюке осла, который тащил его товар на ярмарку Сан-Исидро, — сказал трактирщик, — во всяком случае, так писали тогдашние газеты и так говорится на этой картинке. Но осел исчез, словно у него были крылья, и никто ничего больше не узнал. Так рассказывали наши старики, главное — их интересовало несметное количество золотых фунтов стерлингов. В Гранаде на самых крупных вкладах и на более или менее законных перемещениях денег — на всем лежала тень клуба. Дело дошло до того, что местное отделение Бискайского банка оказалось банкротом и только после ограбления и закрытия клуба оно снова заработало.

В голове Омеро Луиса и так все мутилось от слабости, но от этой истории столетней давности все закружилось перед его глазами: зал трактира, сам трактирщик с картинкой в рамочке, двое рабочих, сидящих за одним столом с ним. Омеро Луис на мгновение закрыл глаза, а когда открыл их, все медленно заняли свои места, но уже были бесплотными: люди и вещи казались легкими и почти прозрачными. Омеро Луис провел рукой перед глазами, чтобы прогнать это неожиданное мельтешение теней.

— Я тоже слышал эту историю, — сказал пожилой рабочий, — но по-моему, ясно, что золото захватили бандиты.

— Да нет, — возразил трактирщик, — обоих бандитов нашли мертвыми, обескровленными и с выпущенными кишками. Прежде чем ранили торговца, он успел вспороть ножом животы обоих бандитов и выпустить кишки даже их лошадям. В точности так, как говорится в этих стишках.

И снова Омеро Луис почувствовал, как голова у него куда-то несется. Слова трактирщика его просто гипнотизировали. Так что же случилось сто лет тому назад? С чего это трактирщик стал говорить о каком-то асфальтированном шоссе, пересекающем Соленые Земли, а он видел там только пыльную окольную дорогу? Трактирщик считает, что Гранада-клуб закрыли сто лет тому назад, но он-то хорошо знает, что это не так. Они хотят испугать его? Или, может быть, он видит сон? Омеро Луис опустил взгляд и увидел ручку ножа, торчащего у него между ребрами, и все больше расползающееся кровавое пятно на куртке. Нет, к сожалению, это не сон.

Трактирщик в это время, поглядывая на картинку, вновь пересказывал со всеми подробностями то, что у торговца произошло с двумя верховыми бандитами, с Марианой и монахом, но так, будто это случилось сто лет назад. А главное — там со всеми подробностями описывались участники ужасного приключения: бродячий торговец, девушка, монах и два бандита на конях. Это не просто совпадение. Трактирщик рассказывал именно о нем, о Мариане и о монахе. Тогда кто же перерезал горло сторожу Гранада-клуба, чтобы завладеть золотом? Кто? По спине Омеро Луиса снова пробежали мурашки.

— После этого ограбления, — продолжал рассказывать трактирщик, — финансовый комитет был вынужден продать всю недвижимость клуба, чтобы как-то заткнуть дыру в бюджете. Вот это похоже на правду.

В тот момент Омеро Луису с ножом в боку было не до золотых фунтов стерлингов, исчезнувших вместе с его ослом, но все-таки мысль о золоте мелькнула у него в мозгу: с таким богатством он мог бы жить как важный сеньор вместе с Марианой Лопес. Он так и видел себя в Картахене вместе с этой ненормальной, видел, как, стоя на носу судна, овеваемые ветром, они плывут в Италию. Неаполь был его центром притяжения, и эта мысль еще несколько мгновений грела его картинкой утраченного счастья. Да нет, он же всегда знал, что счастье — это просто хренотень и что теперь доктора из здешней больницы не успеют вовремя помочь ему и его девушке.

— Когда же явится этот доктор? — снова спросил он у трактирщика едва слышным голосом.

Омеро Луис не ощущал боли в ране, и это казалось ему странным. Никакой боли. Может, он теряет сознание? Он понимал, что должен сидеть неподвижно и ни в коем случае не прикасаться к ножу, чтобы не вызвать внутреннее кровоизлияние. Он потрогал куртку рядом с ножом. Ему показалось, что кровь больше не течет, и это было хорошо. А может, она уже вся вытекла?

— Нужно еще немного потерпеть, я уверен, что они уже скоро приедут, — сказал трактирщик и снова бросил взгляд на старую, выцветшую от времени картинку, едва державшуюся в расшатанной рамке.

— Наши старики, — сказал трактирщик, — поместили здесь еще и гороскоп, соединив балладу о любви с балладой о кровавом убийстве.

— Любовь и смерть, — сказал пожилой рабочий, — вот две канальи, разгуливающие рука об руку.

— Твоя правда, — сказал трактирщик, держа в руке рамочку. — Любовь и смерть — две сволочные канальи. Во время перехода по Соленым Землям убийца-торговец влюбился в Мариану, красотку из Гранады, и они захотели, чтобы тот монах окрутил их прямо на дороге. А кончилось все поножовщиной. Так здесь говорится, но ясно же, что женитьбу притянули сюда для большего впечатления.

— Как вы сказали? Как звали ту девушку? — спросил Омеро Луис.

Трактирщик надел очки.

— Тут говорится, что ее звали Марианой.

Омеро Луис не осмелился прокомментировать эти слова. Голова у него опять закружилась. А ему так хотелось бы узнать, чем объясняется это страшное совпадение, ведь там говорилось о нем, о Мариане Лопес и монахе-доминиканце, собиравшемся их поженить, о двух верховых бандитах и обо всей этой яростной схватке на ножах. Выходит, с тех пор, как на него напали бандиты, прошло сто лет, а он ничего не знал.

Никто ему не сказал. Какая ерунда. Даже смеяться захотелось от такой мысли, но тут по всему его телу пробежала ледяная дрожь. Ну вот, теперь, сказал он себе, я тоже иду туда, куда уходят все.

— Конечно, этот факт остался в памяти людей из-за пропавшего золота, — сказал трактирщик. — Но кое-что кроме этого питало легенды и вдохновляло сказителей. Вот видите, здесь говорится о полнолунии. Я лично в это не верю, но наши старики считают, что из-за колдовских чар полной луны случаются самые странные вещи на свете. Ужасные кровавые преступления, расправы и оргии с невероятными эротическими фантазиями, нередко — с насилием. В общем, всякое случается, когда на небо выплывает полная лунища.

Сегодня тоже полнолуние, подумал Омеро Луис, так что это они мне рассказывают? Из-за тяжелого состояния в его памяти образовывались провалы, но все-таки он помнил, как стал лаять под полной луной. Еще одно совпадение? Держись, Омеро Луис, ты же всегда знал, что у времени свой отсчет и нет таких часов на свете, которые могли бы за ним поспевать. У него опять закружилась голова, да так, что пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть.

— Вам очень плохо? — спросил трактирщик, обеспокоенный таким резким ухудшением.

— У меня от слабости кружится голова, но мне не плохо, то есть я хочу сказать, что боли от ножа я не чувствую. Только слабость очень сильная.

— Я бы дал вам чего-нибудь поесть, — сказал трактирщик, — но, пожалуй, лучше дождаться врача.

Омеро Луис слегка помотал головой, желая показать, что ему ничего не надо. Его терзала только одна мысль, которую он не осмеливался высказать. Теперь он уже понял, что все, происшедшее сто лет тому назад, происходило или происходит сейчас, с ним или вокруг него. Поэтому он не осмеливался спросить о том, что он и так уже понял по словам трактирщика. В общем, он хотел знать: девушка и монах-доминиканец умерли тогда, сто лет назад, и теперь все повторилось? Монаха он видел на земле, в пыли, он уже почти не двигался, но Мариана молодая, крепкая, хотя и слишком тощая. Он сделал над собой усилие и обратился к трактирщику:

— А что случилось с монахом и девушкой?

— Они умерли. Умерли, истекли кровью.

Омеро Луиса снова покинули силы, и на какое-то мгновение он опустил голову на стол. "Я знал, — крутилось в его совсем спутанном сознании, — я знал, что счастье — это бредни". Трактирщик приподнял его голову и положил руку ему на лоб.

— Вам плохо, вы бледный как полотно. Уж не собираетесь ли вы умереть здесь, в моем трактире?

И тут же понял, что перебрал через край.

— Я, конечно, пошутил.

— Все кружится вокруг, так все кружится, — сказал Омеро Луис.

— Закройте глаза и крепитесь. Скоро должен приехать врач из больницы.

— У меня кружится голова, даже когда глаза закрыты.

Омеро Луису хотелось задать еще какие-то вопросы, но у него не хватило на это ни сил, ни смелости. Сознание помутилось, но три или четыре вопроса засели в его памяти: он задаст их, когда сможет взять себя

в руки. А пока с него было довольно и того, что он еще в состоянии дышать.

— Откуда вы знаете столько подробностей о том, что случилось сто лет назад, и зачем держите на стене эту картинку? — спросил у трактирщика пожилой рабочий. — О пропаже золота знают все, но вы знаете много чего еще.



— Дело в том, — сказал трактирщик, — что этот трактир принадлежал многим поколениям моей семьи. Разве вы не видели дату на вывеске, что над входной дверью? 1789 год, год французской революции. Там, во Франции, убивали друг друга, а здесь люди ели под вывеской "Белая голубка". Со временем отзвуки французской революции докатились и сюда, в Испанию, но в общем-то их никто и не заметил.

— Короче говоря, вы хотите сказать, что ваш трактир существовал сто лет назад, когда случилась эта история? — прервал его молодой рабочий.

Тут трактирщика прямо всего передернуло, потому что он вдруг заметил, что его рассказ о делах минувших совершенно во всем совпадает с тем, что произошло на рассвете неподалеку от его трактира: два верховых бандита, монах из монастыря Святой Аны и девушка, оба убитых бандита и оба погубленных коня да еще этот бродячий торговец, который пришел к нему умирать с ножом в боку.

Ну нет, подумал трактирщик, кое-что в этой истории не сходится, хотя все ограбления похожи одно на другое, бандиты действуют всегда одинаково, а путники, на которых нападают, всегда пытаются обороняться. Но самое странное из всего, что рассказывает бедняга, — это два бандита, прискакавших на конях на окольную дорогу.

— Сегодня бандиты приезжают по асфальтированному шоссе в автомобиле и вооружены не ножами, а пистолетами, — сказал трактирщик, продолжая свою мысль вслух.

— Или в крайнем случае на мотоциклах, а не на конях, — сказал рабочий — тот, что помоложе.

Омеро Луис отмечал каждое слово трактирщика и обоих рабочих, ничего не понимая, но испытывая все большее беспокойство от полученных сведений, осознавая какую-то странную их правдоподобность.

Все в мире повторяется, подумал трактирщик. Особенно несчастья. Хотя нет — поправил он сам себя, — повторяются ведь весна и лето, цветы и плоды, любовные истории, хорошая кухня: когда удается придумать новое вкусное блюдо, мы повторяем его из года в год. Ветчина и свиные колбасы пришли к нам издалека, и картофельные клецки сохраняются со времен открытия Америки, а каша из полбы существует уже больше двух тысяч лет, потому что ее готовили еще древние римляне. Но эти две кровавые истории совпадают во всех мелочах. Да, мир повторяется, тут уж можно поклясться, но это повторение во всех мельчайших подробностях с разрывом в сто лет остается самой жуткой загадкой на свете.

— Все точно так, как было сто лет назад, — сказал трактирщик. — Полное совпадение. Можно было бы подумать, что тут разыгрывается какой-то спектакль, если бы не этот нож, всаженный по самую рукоятку.

— Я тоже как раз об этом думал, — сказал пожилой рабочий, — и мне как-то не по себе. Чего-то я тут не понимаю, да нет, я вообще ничего не понимаю.

Омеро Луис чувствовал, что силы покидают его. Но прежде чем он потеряет сознание, ему хотелось узнать, спаслась ли Мариана. Поскольку он понял, что его история совпадает с той, давней, ему достаточно было узнать, спаслась ли та девушка, на которую напали сто лет назад, или умерла в пыли. Он забыл, что уже спрашивал об этом, в его мозгу стерлись и вопрос и ответ.

Он собрался с силами и снова задал этот вопрос трактирщику.

— А что стало с той девушкой и монахом?

— Я же сказал: они умерли от потери крови, — ответил трактирщик.

Омеро Луис чувствовал, что у него сейчас лопнет голова. Теперь у него оставался еще один, последний вопрос, но он не осмеливался его задать. Что случилось с торговцем? Хоть в голове у него все перемешалось, Омеро Луис понимал, что от ответа трактирщика зависит его жизнь. Он набрался смелости и решил все-таки задать этот роковой вопрос. Но из его сухой глотки не вышло ни единого слова, а губы и язык даже не пошевелились.

Омеро Луис чувствовал, что он медленно скатывается в мягкое облако, словно он растянулся на пуховой перине, не мешавшей ему двигать руками и ногами. Это было приятное ощущение, неожиданное наслаждение, чувство, будто ты плывешь в теплой морской воде. Выходит, подумал Омеро Луис, что это последнее путешествие не такое уж страшное, как принято считать. Примерно так бывает, когда ты устал, очень устал от всех трудов своей жизни, и в голове мутится, а глаза закрываются и ты вдруг мягко проваливаешься в светлый, как весенний день, сон.

"Наконец, — сказал себе Омеро Луис, — этот свет отделяет меня от всего, что произошло там, на пустынной дороге, с этими бандитами на конях. Здесь нет пыли, а главное — нет бандитов. Здесь летают чайки. Здесь растет можжевельник. Но непонятно, почему здесь со мной нет Марианы. Где ты, Мариана? Я жду тебя, мы должны вместе пройти и этот последний отрезок пути, я не хочу уходить один. Иди сюда, вот увидишь, нам будет хорошо.

Тут нет камней, нет пыли. Я уже сказал — тут летают чайки, ты не должна оставлять меня именно сейчас. Где ты, Мариана? Только вот перед уходом мне хотелось бы задать еще один вопрос трактирщику, но у меня нет больше голоса, нет слов, как я могу задать свой последний вопрос, если я онемел, совершенно онемел? Иди ко мне, Мариана, потому что на этот раз я, кажется, понял, что такое счастье. Наверно, этот студенистый и переливчатый свет щекочет мне глаза. Я думал, что проваливаюсь в темень, а тут, погляди, какой свет. Ну же, Мариана, иди ко мне. Вокруг столько воздуха, и я такой легкий, что мне кажется, будто я летаю. Какой я легкий, Мариана.

Где же ты, Мариана? Почему я тебя не вижу? Может, мы встретимся там, куда уходят все? Только бы там не было слишком много народу. Боюсь, что там нас действительно будет очень много и мы не сможем встретиться. Но я буду искать тебя, Мариана, все время буду искать, и не перестану искать. Времени у меня будет предостаточно, прежде чем я рассыплюсь в прах. Вообще-то я боюсь, что в конце концов все мы рассыплемся в прах.

Здесь, рядом, еще трое мужчин, которые что-то говорят, может быть, они говорят именно обо мне, но я не слышу их слов, да если бы и слышал, ответить не смог бы: у меня нет голоса. Да и зачем теперь отве-

чать? Я ищу Мариану, чтобы уйти с ней в последнее долгое путешествие. Омеро Луису ничего больше не нужно.

Не знаю, нравится ли мне вся эта тишина, а теперь уже нет и тех трех мужчин. Они исчезли вместе со своими тенями".

Так Омеро Луису и не удалось задать свой последний вопрос. Трактирщик уже не мог дать ему ответ. Но он получил его, увидел собственными глазами, погрузившимися в ту чудесную прозрачную среду, в сладкий сон, который постепенно превратился в свет долгого путешествия туда, откуда нет возврата.

# Сьюзен Сонтаг
# *Болезнь как метафора*

*Перевод с английского* Марка Дадяна

**От редакции**

Это не первое обращение журнала к творчеству американского прозаика, эссеиста и культуролога Сьюзен Сонтаг, которая впервые была представлена русским читателям как раз на страницах "ИЛ" (ее программное эссе "Против интерпретации" появилось в № 1 за 1992 год). Теперь по-русски издан небольшой сборник ее статей на различные темы, связанные с социологией и ценностными характеристиками западной культуры второй половины XX века "Мысль как страсть" (М., 1997), а читатели антологий современной американской прозы имеют некоторое представление и о художественном творчестве Сонтаг. Однако целый ряд работ этого автора, имевших очень большой резонанс на Западе, все еще ждет перевода, и хотя некоторые из них, включая публикуемое пространное эссе "Болезнь как метафора", написаны довольно давно, с ходом времени они ничуть не утратили своей актуальности. Сонтаг создала особый жанр философской публицистики, описывающей явления, знакомые из повседневного опыта, укорененные в будничном обиходе: эволюцию техники и рост социального престижа фотографии, вторжение в массовую психологию всевозможных клише, выработанных поп-культурой, а также меняющуюся гамму переживания болезней, которые считаются неизлечимыми. Под пером Сонтаг такие описания всегда насыщены контекстом общественного умонастроения разных эпох с неизбежно появляющимися элементами мифологизации реального опыта, которые часто приобретают откровенно политический характер. Именно поэтому этюды Сонтаг превращаются в оригинальный и глубокий анализ состояния культуры и самого сознания, создающего эти мифы. Текст, предлагаемый вниманию читателей "ИЛ", наглядно демонстрирует преимущества подхода Сонтаг к этим сложным проблемам. Вместе с тем он представляет большой интерес как богатством фактологии, охватывающей период от Средневековья до современности, так и своеобразием трактовки фактов.

Болезнь — сумеречная сторона жизни, тягостное гражданство. Каждый из родившихся имеет два паспорта — в царстве здоровых и царстве больных. Пусть мы и предпочитаем использовать первый, но рано или поздно каждый из нас, хоть на недолгий срок, вынужден причислить себя к гражданам этой другой страны.

Мне бы хотелось описать не то, как происходит изгнание в страну больных и какова там жизнь, но "карательные" и сентиментальные мифы, коими щедро наделено это печальное царство, — то есть описать не реальную географию, а стереотипы национального характера. Тема этого эссе не физическая болезнь как таковая, а использование болезни в качестве фигуры речи или метафоры. Я стремилась показать, что болезнь *не* метафора и что самый честный подход к болезни, а также

© Susan Sontag, 1978
© Марк Дадян. Перевод, 2003

наиболее "здоровый" способ болеть — это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления. И все же вряд ли возможно поселиться в царстве больных, не отягощая себя грозно пылающими метафорами, что образуют его ландшафт. Именно прояснению этих метафор — и освобождению от них — я посвящаю эту работу.

## 1

Две болезни сходным и фантастическим образом рядились в одежды метафоры: туберкулез и рак.

Мифы, связанные с туберкулезом (ТБЦ) в прошлом столетии, а с раком — в нынешнем, это реакция на болезнь, которая считается трудноизлечимой и капризной, то есть на болезнь непонятную в век, когда главная установка медицины состоит в том, будто все болезни поддаются врачеванию. Неизлечимая болезнь таинственна по определению. Так, ТБЦ воспринимался как коварный, безжалостный похититель жизни, покуда неясными оставались его причины и тщетными — усилия врачей. Теперь же настал черед рака — неумолимого, невидимого агрессора, болезни, входящей без стука, — пока однажды не будет выявлена его этиология, а методы лечения не станут столь же действенными, как в случае туберкулеза.

Хотя таинственность, которой окутана болезнь, всегда сочетается с надеждами на открытие противоядия, сама болезнь (некогда туберкулез, сегодня рак) вызывает вполне старомодные страхи. Всякая болезнь, если она таинственна и порождает страх, всегда будет восприниматься как заразная, пусть не в буквальном, но в нравственном смысле. Так, на удивление много раковых больных обнаруживается, что их избегают родственники и друзья, и они нередко подвергаются "обеззараживанию" со стороны собственных домочадцев, словно рак, подобно ТБЦ, инфекционная болезнь. Контакт с лицом, страдающим от недуга, который склонны считать таинственным и зловещим, неизменно воспринимается как прегрешение, хуже того — как нарушение табу. Магической властью наделяются даже названия таких болезней. В "Арманс" Стендаля (1827) мать героя отказывается произносить "туберкулез" из страха, что одно это слово ускорит течение болезни сына. А Карл Меннингер[1] (в "Жизненном равновесии") отмечал, что "само слово "рак", согласно распространенному мнению, убило некоторых пациентов, они бы не так скоро поддались болезни, от которой страдали". Данное наблюдение — одно из антиинтеллектуальных благочестивых заявлений и лжесочувственных высказываний, которыми полны современная медицина и психиатрия. "Пациенты, обращающиеся к нам со своими страданиями, отчаянием и немощью, — продолжает автор, — имеют полное право негодовать по поводу цепляемых на них проклятых табличек". Доктор Меннингер рекомендует врачам отказаться от "имен" и "ярлыков" ("наша задача в том, чтобы помогать этим людям, а не ранить их еще сильнее"), что, по сути, только повышает секретность и усиливает врачебный патернализм. Уничижительным и проклятым представляется не собственно процесс именования, но слово "рак". До тех пор пока весьма конкретная болезнь будет восприниматься как злобный, непобедимый хищник, а не просто как одна из болезней, большинство заболевших раком действительно будут деморализованы, узнав о своем диагнозе. Выход же видится не в сокрытии правды от раковых пациентов, но в очищении концепции болезни, в ее демистификации.

Когда всего несколько десятилетий назад диагноз "туберкулез" был равносилен смертному приговору — как сегодня, согласно расхожим представлениям, рак тождествен смерти, — болезнь было принято скрывать от чахоточных, а по их кончине от их детей. Врачи и близкие избегали говорить на эту тему даже с теми, кто был осведомлен о своей болезни. "Мне не говорят ничего определенного, — писал Кафка другу в апреле 1924-го из санатория, где скончался спустя два месяца, — так как

1. Карл Меннингер (1893—1990) — американский психиатр, один из основателей современной психиатрии. (*Прим. перев.*)

при одном упоминании о туберкулезе... глаза у собеседников стекленеют и все начинают изъясняться туманно и уклончиво". Раковый диагноз окружен еще более строгими условностями. Во Франции и Италии врачи по-прежнему сообщают о заболевании только семье больного, но не самому пациенту; врачи полагают, что правда будет нестерпимой для всех, кроме особо стойких и разумных людей. (Ведущий французский онколог говорил мне, что менее одной десятой его больных знают, чем они больны.) В Америке — отчасти из-за боязни судебных исков — врачи теперь гораздо откровеннее с пациентами, однако крупнейшая в стране онкологическая больница отправляет амбулаторным больным сообщения и счета в конвертах, на которых не указан отправитель, полагая, что болезнь, возможно, содержится в тайне от их семей. По той причине, что заболевание может быть воспринято как нечто постыдное и, следовательно, стать угрозой для интимной жизни человека, для его продвижения по службе и даже для его работы, пациенты, знающие о своем диагнозе, стараются говорить о нем очень сдержанно, а то и вовсе скрывают факт болезни. В Федеральном законе в Акте о свободе информации 1966 года, "лечение рака" упоминается в статье, где перечислены те категории информации, разглашение которых "составило бы незаконное вторжение в частную жизнь". Причем рак — единственная болезнь, упомянутая в законе.

Вся ложь, исходящая от врачей-онкологов и их пациентов, свидетельствует о том, сколь тяжело примириться со смертью в развитом индустриальном обществе. Из-за того что смерть воспринимают нынче как оскорбительно бессмысленное событие, подлежит сокрытию болезнь, повсеместно признаваемая как синоним смерти. Политика недомолвок в отношении раковых пациентов отражает человеческую убежденность в том, что умирающим лучше не сообщать о близкой кончине и что хорошая смерть — это внезапная смерть, а лучше всего, если она наступает во сне или в бессознательном состоянии. Однако современное отрицание смерти не объясняет меры и желанности лжи — сам глубинный страх предпочитают обходить стороной. Человек, перенесший инфаркт, может через несколько лет скончаться от сердечного приступа по крайней мере с той же вероятностью, что раковый больной — от рака. Но никому и в голову не приходит скрывать правду от сердечника: в инфаркте нет ничего постыдного. Раковым больным лгут не только потому, что их болезнь с большей или меньшей вероятностью смертельна, но потому, что в ней присутствует нечто "нечистое"[1] — в первоначальном смысле слова, то есть зловещее, оскорбительное, мерзкое, отвратительное для чувств. Сердечное заболевание предполагает слабость, неисправность механического свойства; в нем нет нечестия, нет ничего от проклятия, что некогда лежало на больных туберкулезом и все еще сопровождает больных раком. Метафоры, ассоциирующиеся с ТБЦ и раком, указывают на развитие какого-то особенно тлетворного, жуткого процесса.

## 2

Метафоры ТБЦ и рака перекрещиваются и переплетаются на протяжении почти всей их истории. Еще в 1398 году, согласно "Оксфордскому словарю английского языка" "consumption"[2] употребляется как синоним легочного туберкулеза[3]. (Иоанн Тревизский: "Когда кровь истончается, за этим следует чахотка и увядание".) Однако старинное толкование рака также связано с понятием "consumption". Вот раннее метафорическое определение рака в том же "Оксфордском словаре": "Все, что поедает, разъедает, разлагает или поглощает медленно и тайно". (Томас Пей-

1. В оригинале "obscene", т. е. непристойный, похабный (*англ.*). (*Прим. перев.*)
2. Потребление, расход; чахотка, туберкулез легких (*англ.*). (*Прим. перев.*)
3. В "Словаре древнефранцузского языка" (Dictionnaire de l'ancienne langue française) Годфруа цитируется "Практикум" (1495) Бернара де Гордона: "Tisis, c'est un ulcére du polmon qui consume tout le corp". ("Тизис — это легочная язва, которая поглощает все тело".) (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)

нелл в 1528 году: "Рак — это нарыв черной желчи, пожирающий части тела".) Согласно самому раннему, буквальному толкованию, рак — это нарост, бугор или выступ, а название болезни (от обозначающих "краба" греческого karkinos и латинского cancer) было навеяно, по словам Галена, сходством между вздутыми жилками на наружной опухоли и конечностями ракообразного, а не, как полагают многие, аналогией между метастазирующей болезнью и передвижениями краба. Однако этимология подсказывает, что и туберкулез некогда воспринимался как разновидность аномального нароста: "слово туберкулез" — от латинского tuberculum, уменьшительной формы от tuber, то есть бугор, клубень — означало болезненное вздутие, выступ или разрастание[1]. Рудольф Вирхов, основавший в 50-х годах XIX века клеточную патологию, считал "туберкулу" опухолью.

Таким образом, с периода поздней античности и до недавнего времени туберкулез был — в типологическом смысле — раком. А рак, подобно ТБЦ, описывался как процесс "поглощения" тела. Современные представления о двух этих болезнях оформились только с развитием клеточной патологии. Лишь с помощью микроскопа стало возможно выявить отличительные признаки рака как клеточной активности и понять, что эта болезнь не всегда принимает форму наружной или даже осязаемой опухоли. (До середины XIX века никто не классифицировал лейкемию как разновидность рака.) Четкая граница между раком и ТБЦ была проведена в 1882 году, когда обнаружилось, что туберкулез — это бактериальная инфекция. Прогресс в медицине способствовал окончательному размежеванию метафор, связанных с двумя болезнями, а в конечном итоге и их противопоставлению. В начале XX века начал складываться современный миф о раке — миф, который с 1920-х годов унаследовал основные понятия, претерпевшие драматическую обработку в фантазиях о ТБЦ, при том, что обе болезни и их симптомы стали подвергаться совершенно различному, почти диаметрально противоположному толкованию.

Туберкулез считается заболеванием одного органа — легких, в то время как рак может возникнуть в любом органе и распространиться на все тело.

Туберкулез — болезнь крайностей и контрастов: мертвенная бледность и горячечный румянец, гиперактивность, перемежаемая приступами слабости. Спазмодическое течение болезни проявляется в изначальном симптоме ТБЦ — кашле. Страдалец сгибается от кашля, потом откидывается на спинку кресла, переводит дух, дышит ровно; затем вновь кашляет. Рак — это болезненный рост (иногда видимый, чаще внутренний), это болезнь аномального, в конечном итоге летального разрастания, которое идет размеренно, непрерывно, постепенно. Хотя в иные периоды развитие опухоли удается задержать (ремиссии), рак не приводит к оксюморонам поведения, которые якобы характерны для ТБЦ: лихорадочная деятельность, страстное самоотречение. Туберкулезник порою бледен; бледность ракового больного неизменна.

Туберкулез делает тело прозрачным. Такой стандартный метод медицинского обследования, как рентген, позволяет пациенту, часто впервые в жизни, увидеть свои внутренности — стать прозрачным для самого себя. В то время как ТБЦ богат внешними симптомами и на ранних стадиях (прогрессирующее похудание, кашель, вялость, лихорадка), при раке основные симптомы чаще всего не очевидны до последней стадии, когда действовать уже слишком поздно. Рак, часто обнаруживаемый случайно или во время рутинного врачебного осмотра, может зайти достаточно да-

1. Такая же этимология приводится в нормативных французских словарях. "La tubercule" было введено во французский в XVI в. Амбруазом Паре и происходит от латинского tuberculum, то есть "petite bosse" (бугорок). "Энциклопедия" Дидро в статье о туберкулезе цитирует определение, данное болезни английским врачом Ричардом Мортоном в его "Фтизиологии" (1689): "Des petits tumeurs qui paraissent sur la surface du corps" (Небольшие опухоли, появляющиеся на поверхности тела). Во французском языке все небольшие поверхностные вздутия некогда назывались "tubercules"; это слово стало относиться собственно к ТБЦ только после открытия Кохом туберкулезной бациллы.

леко и без заметных симптомов. В этом случае человеческое тело непрозрачно и, чтобы выявить рак, необходима помощь специалиста. То, что недоступно ощущениям пациента, специалист определяет посредством анализа тканей. Больные туберкулезом могут видеть свои рентгеновские снимки и даже владеть ими: пациенты санатория в "Волшебной горе" носят снимки в нагрудных карманах. Раковые больные не изучают результаты своей биопсии.

До сих пор считается, что ТБЦ вызывает приступы эйфории, повышает аппетит и усиливает плотское желание. В рацион пациентов в "Волшебной горе" входит обильный второй завтрак, съедаемый с большим аппетитом. Рак же, согласно общепринятому мнению, поглощает жизненные силы, превращает прием пищи в мучительную процедуру, умерщвляет желание. Туберкулез воспринимался иногда как средство, усиливающее сексуальное влечение, как болезнь, наделяющая исключительными способностями к обольщению. Рак считается асексуальным. Однако для ТБЦ характерно, что многие из его симптомов обманчивы: живость как следствие нервного истощения или румянец на щеках, кажущийся признаком здоровья, но в действительности вызванный лихорадкой, или наконец всплеск жизненных сил, возможно предвещающий близкую кончину. (Такие вспышки энергии чаще всего саморазрушительны, а порой гибельны и для окружающих: вспомните легенду Дикого Запада о Доке Холидее, гангстере-туберкулезнике, которого разрушительное течение болезни освобождает от всяческих моральных условностей.) Все симптомы рака — истинные.

Туберкулез — это разъединение, таяние, дематериализация, это болезнь жидкостей: тело превращается во флегму, в мокроту, слизь и наконец в кровь; это болезнь воздуха, нужды в здоровом воздухе. Рак — это перерождение, превращение телесных тканей в нечто твердое. Элис Джеймс в дневниковой записи, сделанной за год до смерти от рака, последовавшей в 1892-м, говорит об "этом мерзостном осколке гранита в груди". Но бугорок этот живой, это зародыш, наделенный волей. Новалис в статье написанной около 1798 года для своей предполагаемой энциклопедии называет рак, наряду с гангреной, "полноценными *паразитами* — они рождаются, растут, производят потомство, обладают строением, выделяют секрет, едят". Рак — демоническая беременность. Святой Иероним, должно быть, думал о раке, когда писал: "Alius tumenti aqualiculo mortem parturit" ("Тот, со вздутым животом, беремен собственной смертью"). Хотя похудание сопутствует обеим болезням, потеря веса при ТБЦ воспринимается совершенно иначе, чем при раке. При ТБЦ человек "снедаем" — он сгорает. При раке в больного "вторгаются" чужеродные клетки и, размножаясь, становятся причиной атрофии или блокады телесных функций. Раковый больной "усыхает" (термин Элис Джеймс) или "съеживается" (термин Вильгельма Райха).

Туберкулез — болезнь времени: жизнь ускоряется, он ярко освещает и одухотворяет ее. Как в английском, так и во французском языке чахотка "скачет галопом". Раку присущ не аллюр, а скорее стадии; это (в конечном итоге) "терминальная" болезнь. Рак действует медленно, коварно: обычный эвфемизм некрологов — смерть "после продолжительной болезни". Всякая характеристика рака содержит указание на его длительность, а потому этот смысловой оттенок вводится во все связанные с раком древние метафоры. "И слово их, как рак, будет распространяться", — писал Уиклиф в 1382 году (переводя фразу из Второго послания к Тимофею, 2, 17); среди первых метафор рака встречаются образы "праздности" и "лености"[1]. В метафорическом смысле рак не столько "болезнь времени", сколько патология пространства. Его основные метафоры относятся к топографии (рак "распространяется", "метастазирует" или "растекается"; опухоли подвергаются хирургическому "иссечению"), а вызывающее наибольший ужас последствие

1. См. "Оксфордский словарь английского языка", где приведена ранняя метафора рака: "этот смертоносный и заразный рак, праздность" — Т. Палфримен, 1564 г. И еще о раке: "Леность — это рак, пожирающий то, что властители времени должны взращивать для деяний величественных" — Эдмунд Кен, 1711 г.

рака — помимо смерти — это обезображивание или ампутация части тела.

Туберкулез часто изображается как болезнь нищеты и лишений — прохудившейся одежды, изможденных тел, неотапливаемых помещений, негигиеничности, скудной пищи. Нищета может не быть столь буквальной, как чердак Мими в "Богеме"; больная чахоткой Маргарита Готье в "Даме с камелиями" живет в роскоши, но в душе она — отверженная. Напротив, рак — это болезнь среднего класса, болезнь, часто ассоциируемая с изобилием, с переизбытком. В развитых странах самый высокий уровень заболеваемости раком, и растущий процент онкозаболеваний связывается отчасти с богатой жиром и белками пищей, а также с токсичными выделениями промышленности, которая и порождает переизбыток. Лечение ТБЦ отождествляется со стимулированием аппетита, лечение рака — с тошнотой и потерей аппетита. Недоедающие, которые усиленно питаются — увы, безрезультатно. Переевшие — и неспособные есть.

Считалось, что смена климата может помочь и даже излечить больного чахоткой. Бытовало мнение, что ТБЦ — "мокрая болезнь", болезнь влажных, сырых городов. Внутренности становились влажными ("влага в легких" — одно из популярных некогда изречений) и подлежали "осушению". Доктора рекомендовали поездки в возвышенную, сухую местность — в горы, в пустыню. Но никакая смена окружающей обстановки не могла помочь раковому больному. Битва с болезнью происходила в самом теле. Все большее распространение получает в настоящее время гипотеза о том, что нечто в атмосфере способствует развитию рака. Но после появления злокачественной опухоли ее развитие невозможно повернуть вспять или остановить, переехав в "более здоровую" (то есть менее канцерогенную) местность.

Говорили, что ТБЦ относительно безболезнен. Рак же, напротив, сопряжен с ужасными болями. Считалось, что ТБЦ дарует легкую смерть, в то время как смерть от рака невыразимо мучительна. В течение целого века туберкулез — как возвышающая, изысканная болезнь — придавал смерти смысл. Литература XIX века полна описаниями почти бессимптомных, нестрашных, красивых смертей от туберкулеза — в особенности смертей молодых людей и детей таких, как малышка Ева в "Хижине дяди Тома", маленький Пол Домби в "Домби и сыне" и Смайк в "Николасе Никльби", где Диккенс описал ТБЦ как "страшную болезнь", которая "утончает" смерть:

> ...избавляя ее от всего грубого... где борьба между душой и телом так постепенна, тиха и торжественна, а исход ее столь неизбежен, что день за днем и капля за каплей смертная часть иссякает и отходит, так что дух возносится под своим невесомым бременем[1].

Сравните облагораживающую, безмятежную смерть от ТБЦ с ужасной, исполненной агонии кончиной отца Юджина Ганта в "О времени и о реке" Томаса Вулфа и больной сестры в фильме Бергмана "Шепоты и крики". Умирающий туберкулезник изображается прекрасным и одухотворенным; больной, умирающий от рака, лишен способности самоосознания — он раздавлен страхом и агонией.

Таковы контрасты, проистекающие из популярной мифологии обеих болезней. Разумеется, многие туберкулезники умирают в страшных мучениях, а некоторые люди умирают от рака, не ощущая боли почти до самого конца; туберкулезом и раком болеют как бедные, так и богатые; и не каждый больной туберкулезом кашляет. Дело не только в том, что легочный туберкулез — это самая распространенная форма, а в сознании людей ТБЦ, в

1. Почти сто лет спустя в предисловии к посмертно изданному "Дневнику" Кэтрин Мэнсфилд Джон Мидлтон Марри (муж Кэтрин) похожим образом описывает Мэнсфилд в последний день жизни: "Никогда мне не доводилось видеть и никогда больше я не увижу никого более прекрасного, чем она в тот день; казалось, что изысканное совершенство, которое всегда составляло часть ее существа, полностью захватило ее. Говоря ее же словами, последние крупицы "осадка", последние "следы земного разложения" ушли навсегда. Но чтобы спасти это совершенство, она лишилась жизни".

отличие от рака, представляет собой болезнь одного органа. Дело еще и в том, что мифы о ТБЦ не ассоциируются с мозгом, гортанью, почками, трубчатыми костями и иными частями тела, где также может поселиться туберкулезная бацилла, но прекрасно сочетаются с теми традиционными образами (дыхание, жизнь), которые принято отождествлять с легкими.

В то время как ТБЦ вбирает качества, приписываемые легким, которые относят к телесному "верху", к "одухотворенному" телу, рак часто поражает органы (толстую кишку, мочевой пузырь, прямую кишку, грудь, шейку матки, простату, яички), о которых говорить не принято. Обнаружение опухоли обычно вызывает у заболевшего смутное чувство стыда, однако в иерархии телесных органов рак легкого воспринимается как менее постыдный, чем, например, рак прямой кишки. Еще одна, неопухолевидная, форма рака описывается ныне в популярных романах — раньше монополией на эту тему обладало телевидение — как романтическая болезнь, обрывающая молодую жизнь. (Героиня "Истории любви" Эрика Сигала умирает от лейкемии — "белой" или ТБЦ-образной формы рака, при которой, в отличие от рака желудка или груди, невозможно калечащее хирургическое вмешательство.) Болезнь легких — это, говоря образно, болезнь души[1]. Рак, способный поразить практически любой орган, — это болезнь тела. Не неся никакого "духовного" смысла, рак означает только то, что тело, к прискорбию, есть только тело.

Подобные фантазии пышно расцветают еще и потому, что ТБЦ и рак воспринимаются как нечто гораздо большее, чем болезни, которые были (или суть) фатальны. ТБЦ и рак отождествляются с самой смертью. В "Николасе Никльби" Диккенс обращается к ТБЦ как к "болезни, в которой жизнь и смерть переплетаются так странно, что смерть обретает сияние и краски жизни, а жизнь надевает ужасную маску смерти; болезни, которую никогда не излечивала медицина, от которой никогда не спасало ни богатство, ни бедность..." А Кафка писал Максу Броду в октябре 1917-го, что "пришел к мысли о том, что туберкулез... не какая-то конкретная болезнь и не болезнь, заслуживающая особого названия, но зародыш самой смерти..." Рак располагает к похожим размышлениям. Георг Гроддек[2], чьи замечательные мысли о раке в "Книге об ОНО" (1923) предвосхищают слова Вильгельма Райха, писал:

> Из всех теорий, связанных с раком, только одна, на мой взгляд, выдержала испытание временем, а именно что рак, посредством строго определенных стадий, ведет к смерти. Под этим я подразумеваю, что все нефатальное не может быть раком. Из этого вы можете заключить, что я питаю мало надежд в отношении новых методов лечения рака... [но только] надеюсь на успешное лечение так называемого "ложного" рака...

Несмотря на все успехи в лечении рака, многие все еще готовы подписаться под уравнением Гроддека: рак = смерть. Однако метафоры, окружающие ТБЦ и рак, готовы немало поведать нам о понятии болезни, о том, как оно развивалось, начиная с XIX века (когда ТБЦ был самой распространенной причиной смерти) до наших дней (когда наибольший страх вызывает у людей рак). Романтики по-новому взглянули на смерть сквозь призму туберкулеза, который растворял бренное тело, возносил дух, расширял границы сознания. Связанные с ТБЦ фантазии позволяли эстетизировать смерть. Торо, болевший туберкулезом, писал в 1852 году: "Смерть и болезнь часто пре-

1. В романе "Мадам Жервезе" (1869) братья Гонкур назвали ТБЦ "болезнью возвышенных и благородных частей человеческого существа", противопоставляя его "болезням грубых, низких телесных органов, болезням, которые засоряют и марают разум больного". В ранней повести Т. Манна "Тристан" молодая жена заболевает трахеальным туберкулезом: "...трахея, но не легкие, слава Богу! Но вот вопрос: если б то были легкие, могла бы новая жертва выглядеть более чистой и бесплотной, более отдаленной от страстей жизни, чем сейчас, когда бледная и утомленная, она сидит, откинувшись в своем девственно-белом эмалированном кресле, подле здоровяка мужа, и прислушивается к беседе?"
2. Георг Гроддек (1866—1934) — немецкий психиатр, автор теории о психических аспектах органических патологий. (*Прим. перев.*)

красны, как... лихорадочный огонь чахотки". Никто не думает о раке так, как некогда представляли себе смерть от ТБЦ — живописную, подчас лиричную. Рак — редкая и все еще скандальная тема для поэтов; а эстетизировать рак кажется и вовсе невообразимым.

## 3

Самое поразительное сходство между мифами о ТБЦ и раке состоит в том, что обе болезни воспринимаются — или воспринимались — как болезни страсти. Лихорадка при туберкулезе была признаком внутреннего горения: туберкулезник — тот, кто "чахнет" от страсти, ведущей к растворению его тела. Использование связанных с ТБЦ метафор любви — образов "болезненной" любви, "поглощающей" страсти — намного старше романтической традиции[1]. Со времен романтиков этот образ был вывернут наизнанку, и ТБЦ стали воспринимать как разновидность любовной болезни. В душераздирающем письме от 1 ноября 1820 года Китс, навеки разлученный с Фанни Брон, писал из Неаполя: "Если б у меня был малейший шанс излечиться [от туберкулеза], эта страсть убила бы меня". Как объясняет один из героев "Волшебной горы": "Симптомы болезни не что иное, как скрытая манифестация могущества любви; сама болезнь — это лишь преображенная любовь"[2].

Подобно тому как некогда считалось, что ТБЦ происходит от чрезмерной страсти, обрушивавшейся на людей безрассудных и чувственных, так и сегодня многие полагают, что рак — болезнь недостаточной страстности, поражающая тех, кто не раскрепощен сексуально, скован, не импульсивен, не способен дать волю гневу. По сути, эти кажущиеся взаимоисключающими диагнозы — весьма схожие и не заслуживающие, на мой взгляд, особого доверия вариации на одну тему. Очевидно, что в психологических портретах обеих болезней подчеркивается недостаточность или скованность жизненных сил. Ведь в той же мере, в какой ТБЦ превозносили как болезнь страсти, его также считали болезнью подавленности. Надменный герой "Имморалиста" Андре Жида заражается ТБЦ (что отражает восприятие Жидом его собственной жизни) из-за того, что подавляет свою истинную сексуальную природу; приняв Жизнь, Мишель выздоравливает. Следуя тому же сценарию, сегодня Мишелю следовало бы заболеть раком.

Если рак считается теперь расплатой за скованность, то ТБЦ некогда воспринимался как разрушительное следствие разочарования. Если сегодня в качестве профилактики рака некоторые рекомендуют так называемый "свободный секс", то в тех же терапевтических целях секс часто предписывали больным туберкулезом. В "Крыльях голубки"[3] доктор советует Милли Тиль завести любовную связь в качестве лекарства от чахотки; а умирает она как раз тогда, когда узнает, что ее двуличный ухажер Мертон Деншер тайно помолвлен с ее подругой Кейт Крой. В письме, датированном ноябрем 1820-го, Китс восклицает: "Мой дорогой Браун, мне следовало завоевать ее, когда я был здоров, и я бы остался здоров".

Согласно мифологии ТБЦ, приступ чахотки обычно бывает спровоцирован неким страстным чувством, которое к тому же находит в болезни свое выражение. Но страсть должна быть отвергнута, надежды — раздавлены. Сама же страсть — чаще всего любовная — может тем не менее иметь политическую или моральную природу. В конце тургеневского "Накануне" (1860) герой романа Инсаров, молодой болгарский революционер, живущий в изгнании, осознает, что не сможет вернуться на родину. В одном из венецианских отелей его охватывает тоска, он заболевает чахоткой и умирает.

Согласно мифологии рака, болезнь — следствие долго подавляемого чувства. В раннем, более опти-

1. См. вторую сцену второго акта пьесы сэра Джорджа Этериджа "Человек моды" (1676): "Когда любовь заболевает, то лучшее, что мы можем сделать, это предать ее насильственной смерти; я не в силах вынести пытки мучительной, чахоточной страстью".
2. Перевод В. Станевич.
3. Роман Г. Джеймса. (*Прим. перев.*)

мистическом варианте этого мифа подавлявшиеся чувства были сексуальными; теперь же акценты сместились, и рак якобы может быть вызван долго сдерживаемой яростью. Неутоленной страстью, погубившей Инсарова, был идеализм. В современном мире нет Инсаровых. Их место заняли канцерофобы вроде Нормана Мейлера, который недавно объяснял, что не вонзи он нож в свою жену (и не высвободи "смертоносный клубок чувств"), он заболел бы раком и "сам через несколько лет оказался в могиле". Это та же фантастическая сила, что некогда приписывалась ТБЦ, только в более отталкивающей интерпретации.

Источник многих современных домыслов, согласно которым рак может быть спровоцирован долго подавлявшейся страстью, — сочинения Вильгельма Райха, определявшего рак как "болезнь, следующую за эмоциональным самоотречением", как "биоэнергетическое съеживание, утрату надежды". Для подтверждения своей получившей немалое распространение теории Райх приводит пример Фрейда, который, будучи страстным по природе и "очень несчастливым в браке" человеком, заболел раком, поддавшись отчаянию:

> Он вел тихую, скромную, благопристойную семейную жизнь, но нет никаких сомнений в том, что он был совершенно неудовлетворен в интимной сфере. Свидетельство тому — его самоотречение и его рак. Фрейду как личности пришлось отречься от жизни. Еще в середине жизни ему пришлось отказаться от личных удовольствий, личных радостей... если моя точка зрения на рак верна — вы просто сдаетесь, отрекаетесь, а затем угасаете.

"Смерть Ивана Ильича" Толстого часто приводят как яркий пример связи, существующей между раком и человеческим самоотречением. Однако точно такая же теория применялась к ТБЦ Гроддеком, который определял туберкулез как "...жажду умереть. Сперва должно умереть желание, затем — стремление к взлетам и падениям плотской любви, которую символизирует дыхание. А со смертью желания умирают легкие... умирает тело..."[1]

Подобно современным описаниям рака, в типичных для XIX века "портретах" туберкулеза причиной его становится самоотречение. В них показано, как по мере развития болезни человек *приходит* к самоотречению: Мими и Камилла умирают потому, что отреклись от любви, они умирают, облагороженные своим отчаянием. В автобиографическом эссе 1874 года "В Южных морях" Роберт Луис Стивенсон последовательно описывает стадии болезни, во время которых чахоточный больной "мягко отстраняется от страстей жизни". Художественная литература последней трети XIX века пестрит примерами того, как быстротечная гибель от ТБЦ сопровождается нарочитым самоотречением. В "Хижине дяди Тома" малышка Ева умирает со сверхъестественной безмятежностью, объявив своему отцу за несколько недель до смерти: "Силы покидают меня с каждым днем, и я знаю, что мне пора идти". О смерти Милли Тиль в "Крыльях голубки" мы знаем только то, что "она повернулась лицом к стене". Туберкулез изображался как своего рода архетипическая пассивная смерть. В рассказе Джеймса Джойса "Мертвые" Майкл Фери стоит под дождем в саду Гретты Конрой накануне ее отъезда в монастырскую школу; она умоляет его идти домой; он говорит, что "не хочет жить", и умирает спустя неделю.

Страдающих ТБЦ нередко изображали страстными, и все же более характерной их чертой был недостаток витальности, тяги к жизни. (Подобно тому как в современной версии этого мифа предрасположенность к раку связывается с недостаточной чувственностью или с неспособностью человека дать волю гневу). Вот как трезвые наблюдатели братья Гонкур объясняли чахотку своего друга Мюрже (автора "Сцен из жизни богемы"): он-де умирает "от недостатка

1. Продолжим цитату: "...ибо желание во время болезни возрастает, как возрастает и чувство вины от повторяющегося символического растворения семени в мокроте... ибо ОНО посредством легочной болезни придает красоту глазам и щекам, вливая в них соблазнительный яд!"

жизненных сил, что позволили бы ему противостоять страданиям". Майкл Фери был "очень хрупким", как объясняет Гретта Конрой своему "дородному, рослому", крепкому, внезапно взревновавшему мужу. ТБЦ прославляется как болезнь прирожденных жертв, чувствительных, пассивных людей, которые недостаточно любят жизнь, чтобы выжить. (Тоска полудремотных красавиц прерафаэлитов перерастает в отчаяние изможденных чахоточных девочек Эдварда Мунка.) И хотя в изображении смерти от ТБЦ акцент чаще всего ставится на крайней сублимации чувства, вновь и вновь появляющийся в литературе образ чахоточной куртизанки указывает на то, что ТБЦ якобы сообщал страдальцам сексуальную привлекательность.

Подобно всем действительно удачным метафорам, метафора ТБЦ обладала многогранностью, допускающей два взаимоисключающих толкования. С ее помощью можно было описать смерть человека (например, ребенка), слишком "хорошего" для секса — проявление "ангельской" психологии. Эту метафору можно было использовать и для описания эротических переживаний — и при этом счастливо избежать обвинения в распутстве, которое принято было связывать с объективным, физиологическим, разложением или моральной неустойчивостью. Метафора позволяла описывать как чувственность и муки страсти, так и подавленность и муки сублимации; туберкулез вызывал и "немоту духа" (слова Роберта Луиса Стивенсона), и прилив высоких чувств. Помимо всего прочего эта метафора давала возможность утвердить приоритет сознательного, приоритет психологической сложности. Здоровье становилось банальным, даже вульгарным.

## 4

Похоже, что ореол романтизма возник вокруг туберкулеза уже к середине XVIII века. В первой сцене первого акта комедии Оливера Голдсмита "Ночь ошибок, или Унижение паче гордости" (1773) мистер Хардкасл мягко упрекает миссис Хардкасл за то, что она слишком балует своего сына от первого брака Тони Лампкина:

Миссис Хардкасл. И моя ли в том вина? Бедный мальчик всегда был слишком болезненным. Школа стала бы ему могилой. Когда он чуточку окрепнет, кто знает, не одолеет ли он латынь за год или за два.

Мистер Хардкасл. Латынь! Как бы не так! Ну уж нет, пивная да конюшня — вот единственная подходящая для него школа.

Миссис Хардкасл. Полно, нам не стоит обижать бедного мальчика, ведь, боюсь, ему не суждено быть с нами долго. Любой, кто взглянет на него, поймет, что он чахоточный.

Мистер Хардкасл. Да уж, если только от чахотки толстеют.

Миссис Хардкасл. Иногда он кашляет.

Мистер Хардкасл. Конечно, если эль попал не в то горло.

Миссис Хардкасл. Признаться, я боюсь за его легкие.

Мистер Хардкасл. И я, признаться, тоже; потому что иногда он оглушает, как трубный глас. (*Из-за сцены доносятся крики Тони.*) А вот и он. Поистине, чахоточный персонаж.

Из этой беседы ясно, что связанный с ТБЦ миф уже был достаточно укоренившимся, ибо миссис Хардкасл — не что иное, как собрание расхожих мнений, присущих лондонскому светскому обществу, которому она подражала и которое составляло аудиторию пьесы Голдсмита[1]. Голдсмит предполагает, что миф о ТБЦ уже широко известен: ТБЦ выступает в роли этакой антиподагры. Для снобов, выскочек и светских карьеристов туберкулез был признаком изящества, рафинированности, чувствительности. При возросшей в XVIII веке социаль-

1. Голдсмит, получивший образование врача и некоторое время занимавшийся медицинской практикой, упоминает и другие трюизмы, связанные с туберкулезом. В эссе "Об образовании" (1759) Голдсмит писал, что слегка подсоленная, подслащенная и приправленная пища "устраняет всякую предрасположенность к чахотке, нередко встречающуюся у детей горожан". Чахотка воспринимается как предрасположенность (почти намеренная склонность), недостаток, который необходимо устранить и который в большей степени присущ городским жителям.

ной и географической мобильности достоинство и общественное положение более не передавались по наследству; их необходимо было заслужить. Они утверждались посредством новых представлений об одежде (моды) и нового отношения к болезни. Как платье (внешний покров тела), так и болезнь (своего рода его внутреннее убранство) стали тропами, применявшимися для характеристики нового отношения к личности.

27 июля 1820 года Шелли, выражая сочувствие брату по несчастью, пишет Китсу, также больному туберкулезом, что, по дошедшим сведениям, "у вас по-прежнему чахоточный вид". То был не просто речевой оборот. Чахотка воспринималась как "тип внешности", и "чахоточная внешность" стала поведенческим штампом XIX столетия. Аппетит почитался за признак дурного тона. Болезненность — за проявление величия. "Шопен болел туберкулезом в то время, когда здоровье было не в моде", — писал в 1913-ом Камиль Сен-Санс. "Шикарными считались бледность и изможденность; княгиня Бельджайосо прогуливалась по бульварам... бледная как сама смерть". Сен-Санс был прав, проводя аналогию между человеком искусства, Шопеном, и самой знаменитой из роковых женщин своего времени, немало способствовавшей популяризации чахоточной внешности. Сложившаяся под влиянием ТБЦ идея о "состоянии тела" стала новым образцом аристократической наружности — как раз в ту пору, когда аристократизм из категории власти превратился в категорию образа. ("Невозможно быть слишком богатым. Невозможно быть слишком худым", — сказала однажды герцогиня Виндзорская.) Воистину, романтизирование туберкулеза — это первый распространенный пример очень современного занятия, "конструирования" личности как образа. Чахоточная внешность приобрела привлекательность после того, как ее стали считать отличительным свойством, знаком благородного происхождения. "Я беспрестанно кашляю!" — писала Мария Башкирцева в своем некогда популярном "Дневнике", изданном в 1887 году после ее смерти, последовавшей в возрасте двадцати четырех лет. "Однако удивительно: вместо того чтобы сделать меня уродливой, болезнь сообщает мне некоторую томность, которая мне очень к лицу". То, что еще недавно считалось чертой femmes fatales и честолюбивых молодых художников, стало сутью самой моды. Женская мода XX века (с ее культом худобы) — последний оплот метафор, происходящих из романтизирования ТБЦ в конце XVIII и начале XIX столетий.

Из туберкулеза и его метафорических перевоплощений проистекают многие литературные и эротические образы, олицетворяющие "романтическую муку". В стилизованном описании начальных симптомов болезни мука становилась романтичной (так, например, слабость трансформировалась в томность), а истинные страдания просто подавлялись. Изнуренные молодые женщины с впалой грудью и мертвенно-бледные, рахитичные юноши оспаривали право на эту самую (по тем временам) неизлечимую, разрушительную, действительно страшную болезнь. "В молодости, — писал Теофиль Готье — я не в силах был признать лирическим поэтом никого, кто бы весил более девяноста девяти фунтов". (Обратите внимание на слова Готье: "лирический поэт" — очевидно, он уже тогда смирился с мыслью, что романисты слеплены из более грубого теста.) Постепенно чахоточная внешность, символизировавшая привлекательную беззащитность, исключительную степень чувствительности, стала отождествляться с идеальным женским обликом, в то время как великие мужчины середины и конца XIX столетия толстели, основывали промышленные империи, писали романы сотнями, воевали и грабили континенты.

Логично было бы предположить, что романтические образы ТБЦ лишь отражают литературную обработку болезни и что в эпоху победоносного шествия туберкулеза по миру он, вероятнее всего, вызывал отвращение — как рак сегодня. Разумеется, в XIX веке каждый знал о зловонном дыхании больного чахоткой. (Описывая свое посещение умирающего Мюрже, братья Гонкур отмечают "запах разлагающейся плоти в его спальне".) Однако все свидетельствует о том, что культ ТБЦ был не просто изобретением поэтов-романтиков и

оперных либреттистов, но имел широкое распространение и что человек — молодой человек, — умиравший от чахотки, действительно воспринимался как романтическая личность. Следует предположить, что реальность ужасной болезни бледнела в сравнении с захватывающими умы новыми идеями, в особенности теми, что относились к личности. Именно туберкулез акцентировал "индивидуальность" болезни и идею о том, что перед лицом смерти люди глубже постигают собственное "я": в образах болезни (ТБЦ) прослеживается возникновение современной идеи индивидуальности, которая в XX веке не только не утратила присущего ей нарциссизма, но и приобрела более агрессивные формы. Болезнь делала людей "интересными" — так поначалу определяли и "романтичность". (Шлегель в эссе "Об изучении греческой поэзии" (1795) называет "интересное" идеалом современной — то есть романтической — поэзии.) "Идеал абсолютного здоровья, — записал Новалис между 1799-м и 1800 годом, — представляет интерес только с научной точки зрения"; по-настоящему же интересна только болезнь, "которая соотносится с индивидуальностью". Эта идея — насколько интересны больные — была с необычайной дерзостью и двойственностью сформулирована Ницше в "Воле к власти" и других сочинениях, и хотя Ницше редко упоминает конкретную болезнь, его знаменитые положения о слабости личности и культурной опустошенности — или декадентстве — охватывают и развивают многие из возникших вокруг туберкулеза банальных утверждений.

Согласно романтической концепции смерти, болезнь делает людей неповторимыми и интересными. "Я бледен, — сказал как-то Байрон, глядясь в зеркало. — Мне бы хотелось умереть от чахотки". "Почему?" — спросил поэта его болевший туберкулезом друг Томас Мур, который гостил у Байрона в Патрасе в феврале 1828 года[1]. "Потому что дамы станут наперебой говорить: "Посмотрите на бедного Байрона, каким интересным он выглядит на пороге смерти". Пожалуй, самый замечательный вклад романтиков в культуру "чувствительности" состоял не в эстетике жестокости и красоты ужасного (как полагает в своей известной книге Марио Прас[2]) и даже не в требовании безграничной личной свободы, но в нигилистической и сентиментальной идее "интересного".

Грусть делала личность "интересной". Грусть — то есть бессилие — была признаком изысканности, чувствительности. В "Арманс" Стендаля доктор успокаивает мать Октава, говоря, что сын ее не болен туберкулезом, но страдает той "тоскливой и беспокойной неудовлетворенностью, свойственной в эту эпоху многим юношам его общественного положения"[3]. Грусть и туберкулез стали синонимами. Швейцарский писатель Анри Амьель, сам больной чахоткой, писал в 1852 году в "Интимном дневнике":

> Небо, одетое в серое, заложенное в складку легкими тенями; туман, стелящийся по далеким горам; отчаявшаяся природа роняет листья, что похожи на утраченные иллюзии молодости под слезами безутешного горя... Ель, стоическая в своей решимости, зеленая, одна бросает вызов этому вселенскому туберкулезу.

Однако испытать такую грусть или, как следствие ее, заразиться туберкулезом может только чувствительная личность. Миф о ТБЦ — это предпоследний эпизод в длительной истории стародавнего понятия о меланхолии, которая, в соответствии с учением о четырех гуморальных жидкостях, была болезнью художественных натур. Меланхолический склад характера — или туберкулез — отличал особую личность: чувствительную, творческую, одинокую. Китс и Шелли, вероятнее всего, испытывали страшные мучения, однако Шелли утешал Китса, что "чахотка — это болезнь, особенно благоволящая людям, которые пишут такие прекрасные стихи, как Вы..." Расхожие идеи, соотносившие ТБЦ с творческим им-

1. С. Сонтаг ошибается в дате: Д. Г. Байрон родился в 1788-м, умер в 1824-м. (*Прим. перев.*)
2. Марио Прас (1896–1982) — итальянский литературовед, автор трудов о литературе XVII в. (*Прим. перев.*)
3. Перевод Э. Линецкой. (*Прим. перев.*)

пульсом, утвердились настолько, что в конце XIX века некий критик высказал предположение, что упадок в литературе и искусстве связан со снижением заболеваемости туберкулезом.

Миф о ТБЦ не только объяснял природу творческих порывов, но и послужил важной моделью богемной жизни — вне зависимости от наличия или отсутствия у "богемной личности" художественного дарования. Больной чахоткой превратился в скитальца, вечно странствующего в поисках здоровой местности. С начала XIX века ТБЦ становится причиной добровольного изгнания, жизни, состоящей главным образом из путешествий. (Ни путешествия, ни изолированная жизнь в санатории не считались до той поры методами лечения туберкулеза.) Сложилась целая география мест, якобы благотворных для больных чахоткой: в начале XIX века — Италия; позднее — острова Средиземноморья и южных областей Тихого океана; в XX веке — горы и пустыни. Перед нами перечень пейзажей, которые и сами по себе стали благодатной темой в искусстве романтизма. Китсу врачи советовали переехать в Рим; Шопен перепробовал острова западного Средиземноморья; Роберт Луис Стивенсон избрал тихоокеанскую ссылку; Д. Г. Лоренс объездил полмира[1]. Романтики обратили болезнь в предлог для досуга и в возможность отбросить налагаемые буржуазным обществом обязательства ради жизни в искусстве. То был способ удалиться от мира, не возлагая на себя ответственности за такое решение, — такова тема "Волшебной горы". Сдав экзамены и готовясь поступить на службу в гамбургскую судостроительную компанию, молодой Ганс Касторп приезжает на три недели в санаторий в Давос, где живет его больной туберкулезом кузен. Перед самым отъездом Ганса врач обнаруживает в его легких затемнение. На горе Ганс проводит следующие семь лет жизни.

Породив так много — возможно, губительных — тенденций и превратив их в культурные идолы, миф о ТБЦ сопротивлялся неопровержимым доводам человеческого опыта и развивающегося медицинского знания на протяжении почти двух веков. Несмотря на определенное недовольство романтическим культом болезни во второй половине века, ТБЦ сохранял большинство своих романтических атрибутов — как знак высшей природы, как привлекательная немощь — до самого конца XIX и в первые десятилетия XX столетия. В "Долгом путешествии в ночь" О'Нила чахотка — все еще болезнь чувствительных молодых художников. В письмах Кафки полным-полно рассуждений о значении туберкулеза, равно как и в опубликованной в 1924-м, в год смерти Кафки, "Волшебной горе" Томаса Манна. Ирония "Волшебной горы" направлена в первую очередь против Ганса Касторпа, флегматичного бюргера, заболевающего туберкулезом, болезнью художников, ибо роман Манна это поздний, вполне осознанный комментарий к мифу о ТБЦ. И все же роман отражает миф: болезнь *действительно* ведет к духовному обновлению бюргера. Смерть от ТБЦ выглядела таинственной и (часто) назидательной; таковой она оставалась до тех пор, пока люди в Западной Европе и Северной Америке не перестали от нее умирать. Несмотря на резкий спад заболеваемости ТБЦ после 1900 года — благодаря улучшающимся гигиеническим условиям, — смертность среди инфицированных оставалась высокой; миф был окончательно развеян только после обнаружения эффективных методов лечения: с от-

1. "Любопытно, — писал Стивенсон, — что места, куда нас отправляют, когда здоровье покидает нас, часто обладают неповторимым очарованием... [и], смею сказать, больной не всегда безутешен, выслушивая приговор о ссылке; он даже не склонен воспринимать пошатнувшееся здоровье как самый неприятный эпизод своей жизни". Однако опыт такого вынужденного изгнания, как отмечает далее Стивенсон, оказывался куда менее приятным. Чахоточному не удается насладиться выпавшей на его долю "удачей": "Мир для него лишен очарования".

Кэтрин Мэнсфилд писала: "Кажется, половину своей жизни я провожу в странных гостиницах... Незнакомая дверь захлопывается за незнакомкой, и я ложусь в постель. Ожидая, пока выползающие из углов тени не начнут плести свою сонную паутину на уродливейших в мире обоях... Мужчина в соседней комнате болен тем же, чем и я. Проснувшись ночью, я слышу, как он ворочается. Потом начинает кашлять. После затишья начинаю кашлять я. Так продолжается долго. Пока, наконец, мне не начинает казаться, что мы два петуха, окликающих друг друга на ложном рассвете. С далеких, затаившихся ферм".

крытия стрептомицина в 1944-м и изониацида в 1952 году.

Если абсурдные трансформации столь ужасной болезни все еще представляются нам странными и непостижимыми, уместно было бы рассмотреть более современный пример искаженного восприятия болезни, сложившегося под воздействием все тех же романтических представлений о личности. Предмет искаженного восприятия конечно же не рак — никому не приходило в голову поэтизировать рак (хотя он и принял на себя часть метафорических оттенков, сопровождавших ТБЦ в XIX веке). В XX веке ужасающая, мучительная болезнь, из которой сотворили символ сверхчувствительности, "духовных" переживаний и "критической" тревоги, — это безумие.

Мифы, связанные с туберкулезом и безумием, имеют много общего. Обе болезни ведут к заточению. Страдальцев помещают в "санаторий" (общее наименование клиник для туберкулезников и — в английском языке — самый распространенный эвфемизм для обозначения психиатрической лечебницы). Изолированный от общества пациент попадает в зеркальный мир с особыми правилами. Подобно ТБЦ, безумие — это разновидность ссылки. Метафора психического странствия развивает романтическую идею о путешествиях, некогда сопровождавшую туберкулез. Дабы исцелить помешанного, его необходимо вырвать из повседневности. Потому неслучайно, что самая популярная метафора для благожелательного описания пограничных психических состояний — вызванных наркотиками или имеющих психопатическую природу — это путешествие.

В XX веке совокупность метафор и образов, ранее относившихся к ТБЦ, раздваивается и распределяется между двумя болезнями. Некоторые черты ТБЦ переходят к безумию: понятие о страдальце как о возбужденном, безрассудном существе, исступленно мечущемся между крайностями, существе слишком тонком, чтобы выносить ужасы вульгарной обыденности. Другие черты ТБЦ "наследует" рак — мучения, которые невозможно подвергнуть романтической обработке. Не туберкулез, но безумие — вот современный двигатель нашего суетного мифа о самовозвышении. Романтическая концепция состоит в том, что некоторые болезни заостряют сознание. Когда-то такой болезнью был ТБЦ; ныне считается, что состояния пароксизмального просветления сознание достигает через умопомешательство. В романтизации безумия со всей очевидностью отражается современный престиж иррационального или грубого (спонтанного) поведения — той самой страстности, подавление которой, согласно бытовавшему мнению, вызывал туберкулез, а ныне якобы вызывает рак.

## 5

В "Смерти в Венеции" страсть ведет к крушению всего, что составляло неповторимость личности Густава фон Ашенбаха, — его разума, его уравновешенности, его разборчивости. Болезнь же унижает его окончательно. В конце новеллы Ашенбах просто еще одна жертва холеры: он пал, поддавшись эпидемии, поразившей тогда половину Венеции. Когда в "Волшебной горе" у Ганса Касторпа находят туберкулез — это "повышение". Болезнь придает Гансу уникальность, она делает его умнее и тоньше, чем раньше. В одном произведении болезнь (холера) — это кара за тайную любовь; в другом болезнь (ТБЦ) — это ее выражение. Холера — проявление рока, болезнь, упростившая сложную личность и растворившая ее в среде больных. Болезнь, индивидуализирующая, выделяющая личность на фоне окружающей обстановки, — туберкулез.

То, что некогда делало ТБЦ таким интересным — или, как принято было считать, романтичным, — также превратило его в проклятье и источник особого страха. В отличие от ужасающих эпидемических заболеваний прошлого (бубонная чума, тиф, холера), поражавших человека как *одного из* членов сообщества, ТБЦ воспринимался как болезнь, изолирующая особь от общества. Каким бы высоким ни был процент заболевших, туберкулез — как и рак сегодня — всегда казался таинственной болезнью личностей, смертоносной стрелой, поражающей свои жертвы по одному.

После умершего от чахотки, так же как и в доме умершего от холеры, было принято сжигать одежду и другие вещи покойного. "Эти грубые итальян-

цы почти закончили свое ужасное дело", — так писал из Рима друг Китса Джозеф Северн 6 марта 1821 года, спустя две недели после смерти поэта в комнатушке на площади Испании. "Они сожгли всю мебель и теперь скребут стены, вставляют новые двери и оконные рамы и даже настилают новый пол". Туберкулез, однако, внушал ужас не только как заразная болезнь, вроде холеры, но и как кажущийся необъяснимым "порок". Люди верили в то, что ТБЦ имеет наследственную природу (так, чахоткой болели несколько представителей семей Китсов, Бронте, Эмерсонов, Торо, Троллопов), и в то, что недуг выявляет в заболевшем некие неповторимые черты. Сходным образом бытует мнение о семейной предрасположенности к раку, и, возможно, наследственный фактор в онкологических заболеваниях можно признать безотносительно к мифу о карательных свойствах болезни. Ни один заболевший холерой или тифом не задается вопросом "Почему я?" И в то же время — "Почему я?" (в смысле "это нечестно") — вопрос, мучающий многих раковых больных.

Сколько бы ни твердили, что нищета и нездоровые условия — главные виновники туберкулеза, все же считалось, что заболеть им можно только при наличии некоторой внутренней склонности. Врачи и простые смертные верили в существование "чахоточного типа", подобно тому как сегодня вера в предрасположенность к раку не только не ютится на задворках людских суеверий, но порой становится темой и самых просвещенных медицинских дебатов. В противоположность современному жупелу "склонный к раку характер", то есть неэмоциональная, скованная, задавленная личность, "чахоточный тип", тревоживший воображение людей в XIX веке, был сплавом двух различных мифических представлений: страстности и подавленности одновременно.

Сифилис — еще один бич XIX века — по крайней мере не был окружен ореолом таинственности. Заражение сифилисом было предсказуемым последствием половых сношений с носителем болезни. Среди проникнутых комплексом вины фантазий о сексуальном осквернении, произошедшем вследствие сифилиса, не было места для мифа о "типологической предрасположенности" к этой болезни (как некогда с ТБЦ, а ныне с раком). Сифилитиком был человек, уже им заболевший (Освальд в "Привидениях" Ибсена, Адриан Леверкюн в "Докторе Фаустусе"), но не тот, кто *склонен* им заболеть. Сифилис, воспринимаемый как кара, вызывал суждения нравственного (беспорядочные связи, проституция), а не психологического порядка. Туберкулез, болезнь некогда столь же таинственная, сколь сейчас рак, был источником для более глубинных размышлений, нравственных и психологических, о личности самого больного.

Древние склонны были считать болезни орудием божественного гнева. Кара обрушивалась или на человеческое сообщество (в первой книге "Илиады" в наказание за похищение Агамемноном Хрисеиды Аполлон насылает чуму на ахейцев; в "Царе Эдипе" чума поражает Фивы из-за присутствия в городе нечестивого царя-грешника), или на отдельную личность (зловонная рана на ноге Филоктета). Болезни, вокруг которых группируются современные мифы — ТБЦ, рак, — воспринимаются как форма самоосуждения, отказа от себя.

Разум предает тело. "Моя голова и легкие сговорились без моего ведома", — так в сентябре 1917-го Кафка писал о своем туберкулезе Максу Броду. Или же тело изменяет чувствам: пожилая героиня поздней новеллы Т. Манна "Обманутая", по-юношески пылко влюбившись в молодого человека, принимает за возобновившиеся месячные кровотечение, которое было симптомом неизлечимого рака. В совершаемом телом предательстве видится некая внутренняя логика. Фрейд был "очень красив... когда говорил, — вспоминал Вильгельм Райх. — Болезнь же поразила именно его рот. С этого времени я и начал интересоваться раком". Интерес привел Райха к созданию собственной теории о связи между смертельной болезнью и характером тех, кого она поражает.

До Нового времени считалось, что характер определяет поведение заболевшего человека. Как и всякая экстремальная ситуация, внушавшие страх болезни выявляли в людях их лучшие и худшие качества. Однако в большинстве рассказов об эпидемиях подчеркивается именно разрушитель-

ное влияние болезни на характер. Чем менее склонен был летописец рассматривать болезнь как возмездие, тем с большей вероятностью его рассказ касался морального разложения, вызванного распространением заразы. Даже если эпидемия не считалась наказанием, ниспосланным целому народу, она либо становилась таковым — так сказать, ретроспективно, — либо с неумолимостью вызывала падение нравов. Фукидид повествует, как вспыхнувшая в 430 году до Р. Х. чума сеяла в Афинах хаос и беззаконие ("Сиюминутные удовольствия заставили забыть честь и выгоду") и даже развратила речь. А единственная цель, с которой Боккаччо описал на первых страницах "Декамерона" великую чуму 1348 года, была показать, как дурно вели себя флорентийцы.

В отличие от несколько надменных рассуждений о том, как в пожаре эпидемий сгорают любовь и преданность, теории "современных" болезней, где на первом месте чаще всего стоит не общество, а личность, уделяют на редкость мало места тому, как недостойно принимают многие мысль о скорой кончине. Смертельная болезнь всегда считалась проверкой на твердость характера, но, похоже, в XIX веке авторы с великой неохотой позволяли больным "завалить" этот экзамен. Яркий пример тому — смерть от чахотки в художественной литературе, тесно связанная с "одухотворением" ТБЦ и поэтизированием ужасов болезни. Туберкулез дарует легкую смерть падшим (например, молодой проститутке Фантине в "Отверженных") или же жертвенную смерть — добродетельным, вроде героини "Призрачной колесницы" Сельмы Лагерлеф. Даже самые добродетельные, и те, умирая от чахотки, достигают заоблачных нравственных высот. В последние дни жизни малышка Ева из "Хижины дяди Тома" умоляет отца стать благочестивым христианином и освободить рабов. В "Крыльях голубки" Милли Тиль, узнав, что ее ухажер — охотник за приданым, завещает ему свое состояние и умирает. Поль Домби "по какой-то скрытой причине, очень смутно им сознаваемой, а быть может, и вовсе не сознаваемой... чувствовал, как постепенно усиливается его нежность чуть ли не ко всем и ко всему в этом доме"[1].

Для менее идеальных персонажей болезнь оказывалась хорошим поводом встать на путь добра. В крайнем случае несчастье могло помочь больному избавиться от самообмана — порой длиною в жизнь — и недостатков характера. Ложь, окружающая затяжную агонию Ивана Ильича — о его раке не знают даже его жена и дети, — открывает ему глаза на ложь всей его жизни; умирая, он впервые в жизни видит свет истины. Шестидесятилетний чиновник в фильме Куросавы "Жить" (1952), узнав, что у него неизлечимый рак желудка, оставляет работу и, посвятив остаток дней делу благоустройства трущобного квартала, борется с бюрократией, которой сам служил. За оставшийся ему год жизни Ватанабе хочет сделать что-то достойное, он хочет искупить свою посредственную жизнь.

## 6

В "Илиаде" и "Одиссее" болезнь проявляется как наказание свыше, как демоническое наваждение и как следствие естественных причин. В глазах греков болезнь могла быть беспричинной или заслуженной (ниспосланной за личный порок, за неправедные действия целого сообщества или за преступления предков). Христианство, установившее в отношении болезней, как, впрочем, и всего остального, довольно жесткие нравственные каноны, способствовало развитию более тесной связи между болезнью и "жертвой". Понятие о болезни как о каре сменилось идеей о том, что болезнь может стать в высшей степени уместным и справедливым наказанием. Проказа Крессиды в "Завещании Крессиды" Хенрисона и оспа маркизы де Мертей в "Опасных связях" де Лакло[2] показывают истинное лицо внешне благообразного лжеца — что выглядит как невольное откровение.

1. Перевод А. Кривцовой. (*Прим. перев.*)
2. Роберт Хенрисон (ок. 1430? — ок. 1506) — шотландский поэт и баснописец. Пьер Шодерло де Лакло (1741—1803) — французский писатель и политический деятель, один из основоположников "психологического романа". (*Прим. перев.*)

В XIX веке мысль о том, что болезнь так же соответствует характеру заболевшего, как наказание — греху, сменилась новым постулатом: болезнь выражает характер. Она — продукт воли. "Воля проявляет себя как организованное тело, — писал Шопенгауэр, — а наличие болезни означает нездоровье самой воли". Исцеление обусловлено здоровой волей, обретающей "диктаторскую власть — дабы подавить мятежные силы" больной воли. За поколение до Шопенгауэра сходный образ использовал великий врач Биша, назвавший здоровье "молчанием органов", а болезнь — "их бунтом". Болезнь — это воля, говорящая посредством тела, язык драмы мышления, форма самовыражения. Гроддек описывал болезнь как "символ, воплощение чего-то, происходящего внутри, драму, разыгрываемую 'ОНО'..."[1].

В соответствии с идеалом уравновешенного характера, выработанным еще до Нового времени, эмоции следовало сдерживать. Поведение определялось способностью переносить избыточность. Так, когда Кант употреблял слово "рак" фигурально, для него это было метафорой избыточных чувств. "Страсти суть рак для чистого практического разума — они часто неизлечимы", — писал Кант в "Антропологии" (1798). "Страсти — это... горестные состояния, чреватые множеством зол", — прибавлял он, воскрешая в памяти античную метафору, сопоставлявшую рак с беременностью. Сравнивая страсти (то есть крайние переживания) с раком, Кант конечно же ссылается на историческую концепцию болезней и прибегает к доромантической оценке страсти. Вскоре бурные чувства воспринимались уже с гораздо большей симпатией. "Нет никого в мире, кто был бы столь же неспособен скрывать свои чувства, как Эмиль", — сказал Руссо, и в его устах это звучало комплиментом.

По мере того как избыточные чувства стали восприниматься позитивно, исчезли и пренебрежительные аналогии между ними и ужасными болезнями. Теперь болезнь виделась как катализатор избыточного чувства. Туберкулез — болезнь, обнажающая сильные желания; она выявляет, вопреки самой личности, то, что личность раскрывать не хочет. Противопоставляются не умеренные и избыточные страсти, но страсти скрытые и те, что выносятся наружу. Болезнь "рассекречивает" желания, о которых заболевший мог и не подозревать. Болезни — как и пациенты — подлежат расшифровке. Именно в скрытых страстях видится источник болезни. "Тот, кто желает, но не действует, сеет чуму", — писал Блейк в одной из своих дерзких "Пословиц ада".

Ранние романтики искали превосходства в желании и в "желании желать" — якобы развитом в них сильнее, чем в других. Предполагалось, что неспособность реализовать идеалы витальности и абсолютной непосредственности превращала человека в первоочередного кандидата в чахоточные. Современный романтизм исходит из противоположного принципа: желания обуревают других, а герой (повествование обычно ведется от первого лица) либо испытывает желания, весьма слабо выраженные, либо вовсе их не испытывает. Предшественники теперешних романтических "героев бесчувственности" встречаются в русских романах XIX века (Печорин в "Герое нашего времени", Ставрогин в "Бесах"); и все же они подлинные герои — не находящие покоя, желчные, самоубийственные, мучимые своей неспособностью чувствовать. (Даже их угрюмые, совершенно погруженные в себя потомки — Рокантен в "Тошноте" Сартра и Мерсо в "Постороннем" Камю, похоже, изумлены собственной бесчувственностью.) Пассивный, вялый антигерой, властвующий над современной американской литературой, — это существо, порожденное обыденностью или оргией бесчувственности; не грозящее себе гибелью, но осмотрительное; не хмурое, порывистое, жестокое — а просто переживающее распад личности. Одним словом, в терминах совре-

1. Кафка, после того как в сентябре 1917-го у него нашли туберкулез, записал в дневнике: "Инфекция в легких — это только символ", символ эмоциональной "раны, воспаления, имя которой — Ф[елиция]". Он писал Максу Броду: "Болезнь говорит от моего имени, так как я ее об этом просил"; и Фелиции: "Втайне я не верю, что у меня туберкулез, по крайней мере это в первую очередь не туберкулез, но скорее знак моей полной несостоятельности".

менной мифологии, идеальный кандидат на ракового больного.

Может показаться, что взгляд на болезнь, при котором она воспринимается не как наказание за грехи, а как выражение внутренней сущности, менее моралистичен. Однако этот взгляд оказывается ровно таким же морализаторским и карательным. В случае современных болезней (некогда ТБЦ, ныне — рак) романтическая идея о том, что болезнь служит выражением характера, неизбежно ведет к неутешительному выводу: характер сам провоцирует болезнь, ибо ему не удается себя выразить. Страсть проникает вглубь, поражая и разрушая отдаленнейшие клетки.

"Больной сам создает свой недуг, — писал Гроддек, — он и есть причина болезни, и нам не следует искать других". "Бациллы" возглавляют представленный Гроддеком список чисто "внешних причин", вслед за которыми следуют "простуда, переедание, чрезмерное увлечение алкоголем, работа и все остальное". Гроддек утверждает, что "поскольку нам неприятно вглядываться в самих себя", врачи предпочитают "атаковать посредством профилактики, дезинфекции и тому подобного внешние причины", вместо того чтобы обращать внимание на истоки болезни. Согласно более поздней формулировке Карла Меннингера, "болезнь — это отчасти то, что мир сделал с жертвой, но главным образом то, что жертва сотворила со своим миром, с самой собой..." Столь нелепые и опасные воззрения перекладывают бремя болезни на пациента и не только ослабляют его способность оценить перспективы предлагаемого лечения, но и в конечном итоге отвращают пациента от помощи врачей. Исцеление ставится в зависимость от уже подвергшейся тяжким испытаниям самооценки пациента. В 1923 году, за год до смерти, Кэтрин Мэнсфилд писала в "Дневнике":

> Скверный день... ужасная боль и так далее, и слабость. Ничего не могла делать. Слабость была не только физической. Чтобы выздороветь, я должна исцелить свое "я"... Это предстоит сделать мне одной и немедленно. В этом корень того, что я не выздоравливаю. Мой разум *не подчиняется*.

Мэнсфилд не только винит себя в болезни, но и считает, что сможет избавиться от запущенного легочного туберкулеза, исцелив свое "я"[1].

Оба мифа — о туберкулезе, а сегодня о раке — возлагают ответственность за болезнь на саму личность. И все же метафоры рака отличаются особой жестокостью. Благодаря романтическим воззрениям на определенные типы характеров и заболеваний, болезням, якобы происходящим от переизбытка чувств, приписывается некое величие. Болезням же, которые-де вызваны эмоциональной подавленностью, сопутствует, главным образом, стыд — это оскорбление эхом отдается в работах Гроддека и Райха и многих попавших под их влияние авторов. Взгляд на рак как на болезнь недостаточной чувствительности осуждает пациента; такая точка зрения вызывает у нас не только жалость, но и презрение. Мисс Джи, из стихотворения Одена 30-х годов, "прошла мимо влюбленных парочек" и "отвернулась". Затем:

> Мисс Джи молилась в боковом
> приделе,
> Она решила на колени встать:
> "Да не введи меня во искушенье,
> Хорошей девочкой Ты помоги мне
> стать".
>
> Прошли и дни и ночи, словно волны
> Над затонувшем в бухте кораблём.
> Сев на велосипед, в закрытой блузке,
> Она поехала к хирургу на приём.
>
> В закрытой блузке, на велосипеде,
> Она приехала и позвонила в дверь:
> "О доктор, я себя неважно чувствую,
> И боль внутри пронзает точно дрель".
>
> И доктор Томас осмотрел её.
> Он осмотрел внимательно мисс Джи.

1. "Мэнсфилд, — писал Джон Миддлтон Марри, — убедила себя в том, что ее телесное здоровье зависит от ее душевного состояния. Ее постоянно занимала мысль о том, как ей "излечить душу"; в конце концов, к моему величайшему сожалению, она решила отказаться от лечения и жить так, словно ее тяжелый физический недуг был чем-то второстепенным или даже несуществующим".

Потом, идя мыть руки к умывальнику,
Вздохнул: "Ну что ж вы раньше не
пришли!"

А вечером супруге перед ужином, —
Уже подать обед был подан знак —
Раскатывая хлебный мякиш, молвил:
"Диковинная штука — этот рак.

Никто не знает, в чём его причина,
Пусть даже — кто и верит, что узнал.
Как будто затаившийся убийца
Ждёт, чтоб смертельный нанести удар.

Бездетных женщин выбирает в
жертвы,
Мужчин, давно оставивших дела.
Как будто бы творящая в них сила
Огнем наружу вырваться смогла[1].

Туберкулезник мог быть преступником или изгоем; на ракового больного смотрят проще, со снисхождением, как на неудачника. Рак Наполеона, Улисса С. Гранта, Роберта А. Тафта и Хьюберта Хамфри[2] воспринимался как следствие их политических поражений и отказа от честолюбивых замыслов. Что касается умерших от рака знаменитостей, чья жизнь не укладывается в "парадигму неудачников", подобно Фрейду и Витгенштейну, то их рак был классифицирован как чудовищное наказание за жизнь, проведенную в отречении от инстинктов. (Немногие помнят, что Рембо тоже умер от рака.) Напротив, болезнь, унесшая жизни Китса, По, Чехова, Симоны Вайль, Эмили Бронте и Жана Виго[3], знаменовала апофеоз в той же мере, в какой была личным поражением.

## 7

Считается, что рак, в отличие от туберкулеза, болезнь не подходящая для романтического характера, возможно потому, что романтическое понятие меланхолии было вытеснено в современном мире неромантической депрессией. "Мерцающий свет меланхолии, — писал По, — всегда будет неотделим от идеала красоты". Депрессия — это меланхолия, лишенная очарования, ее странной живости, ее порывов.

Теория об эмоциональных причинах рака находит отражение и в непрерывно умножающейся популярной литературе, и в научных изысканиях: едва ли не каждую неделю появляется новая статья, информирующая ту или иную часть почтенной публики о научно установленной связи между раком и болезненными переживаниями. Согласно цитируемым работам — причем в большинстве своем авторы ссылаются на одни и те же источники, — две трети или три пятых из, скажем, нескольких сотен раковых пациентов сообщают о своей подавленности и неудовлетворенности жизнью, а также о недавней потере (вследствие смерти, расставания или разлуки) родителей, любимого, супруга или близкого друга. Но вероятнее всего большая часть людей *не* больных раком также может пожаловаться на эмоциональную угнетенность и душевные травмы: это и называется человеческой участью. Следует отметить, что подобные истории болезни произносятся на очень высокой ноте — языком отчаяния, тревоги и маниакальной сосредоточенности на собственном "я" и на его извечно неудовлетворительных "отношениях" с другими людьми; все это несет на себе неизгладимый отпечаток нашей потребительской культуры. В таком тоне говорят о себе сегодня многие американцы[4].

Немногочисленные исследования, проводившиеся врачами в XIX веке, также показывали высокую сте-

1. Перев. М. Попцовой. (*Прим. перев.*)
2. Улисс С. Грант (1822—1885) — американский генерал, главнокомандующий армией Севера в Гражданской войне 1861—1865 гг., 18-й президент США, республиканец; Роберт А. Тафт (1889—1953) — старший сын президента У. Тафта, американский политический деятель, республиканец; Хьюберт Хамфри (1911—1978) — американский политик-демократ, 38-й вице-президент США. (*Прим. перев.*)
3. Жан Виго (1905—1934) — французский кинорежиссер, один из первых сюрреалистов в истории кинематографа. Примечательно, в контексте настоящей работы, что Виго болел туберкулезом, но скончался от лейкемии в возрасте 29 лет (*Прим. перев.*)
4. Например, исследование доктора Кэролайн Беделл Томас из медицинского колледжа Университета Джона Хопкинса было недавно изложено в газетной статье ("Может ли ваша личность убить вас?"): "Вкратце, жертвы рака — это малоэмоциональные люди, редко выказывающие свои истинные чувства. Чаще всего одиночество и оторванность от родителей

пень зависимости рака от эмоциональных стрессов своей эпохи. В отличие от нынешних американцев, больных раком, неизменно говорящих о чувстве одиночества, которое не покидало их с детства, раковые пациенты в викторианские времена жаловались на жизнь в большом городе, перегруженную работой, семейными обязательствами и утратами. Викторианские пациенты не тревожились о своей жизни как таковой и не предавались размышлениям о качестве ее удовольствий и возможности "осмысленных отношений". Медики усматривали причины или факторы, способствовавшие развитию рака, в горе, беспокойстве (особо присущем деловым людям и матерям в больших семьях), в сложных экономических условиях, внезапных поворотах судьбы и чрезмерной работе — или, если пациенты были маститыми писателями и успешными политиками, в горе, ярости, интеллектуальном переутомлении, тревоге, сопутствующей честолюбивым устремлениям, и в стрессах публичной жизни[1].

Таким образом, в XIX веке люди якобы заболевали раком вследствие гиперактивности и перенапряжения. Их, вроде бы, переполняли эмоции, которые следовало умерять. В качестве профилактики от рака один английский доктор рекомендовал пациентам "не перенапрягаться и бесстрастно относиться к жизненным невзгодам; и, прежде всего, не "выдавать" своего горя". Теперь пациентам предписывается не стоицизм, а самовыражение — от откровенной беседы до первобытных воплей. В 1885 году некий бостонский врач говорил о целебной силе "веселья — для тех, у кого подозревают наличие в груди доброкачественных новообразований". Сегодня этот совет показался бы поощрением той самой эмоциональной диссоциации, которая якобы ведет к раку.

В популярных работах о психологических аспектах рака часто цитируются труды давних ученых, начиная с Галена, который, в частности, отмечал, что "меланхоличные женщины" более подвержены раку груди, чем "сангвинические". Однако понятия изменились. Гален (II век) подразумевал под меланхолией физиологическое состояние со сложными характерологическими симптомами; для нас меланхолия — это просто настроение. "Горе и тревога, — заявил английский хирург сэр Эстли Купер в 1845 году, — числятся среди самых частых причин рака груди". Однако наблюдения врачей XIX века скорее противоречат выводам конца XX столетия: маниакальный или маниакально-депрессив-

знакомы им с детства". Клаус и Марджори Бансон из Психиатрического института Восточной Пенсильвании "обрисовали психологический портрет [подверженной раку] личности как человека страдающего депрессией, отрекшегося от самого себя и исполненного воспоминаний об эмоциональной обездоленности в детстве", а также "испытывающего трудности в поддержании близких отношений с другими людьми". Доктор Карл Симонтон, врач-радиолог из Форт-Уорта, штат Техас, который наряду с лучевой терапией проводит психотерапевтическое лечение, описывает "раковую личность" как человека с "выраженной жалостью к самому себе и явной неспособностью устанавливать и поддерживать осмысленные отношения". Лоренс Ле Шан, психолог и психотерапевт из Нью-Йорка ("Сражайтесь за свою жизнь: эмоциональные факторы в этиологии рака", 1977), утверждает, что "у большинства онкологических пациентов наблюдается определенный психологический склад" и что им присуще некое общее мировоззрение, возникновение которого "предшествует развитию рака". Он разделяет "эмоциональные особенности ракового больного" на три части: "детство или юность, отмеченные чувством одиночества", потерю "осмысленных отношений" во взрослой жизни и следующую за этим "утрату надежды". "Раковый больной, — пишет Ле Шан, — почти всегда относится с презрением к самому себе, к своим способностям и возможностям". Раковые больные "скудны чувствами и лишены ядра личности".

1. "Невзгоды и непосильный труд" — такая запись часто встречается в кратких историях болезни в "Клинических заметках о раке" (1883) Герберта Сноу. Сноу служил хирургом в Лондонской онкологической больнице, и большинство его пациентов были бедняками. Типичное наблюдение: "Из 140 случаев рака груди 103 пациентки упоминали умственное расстройство, тяжелую работу или иные истощающие факторы. Из 187 пациенток с раком матки 91 женщина приводила схожие причины". Врачи, наблюдавшие за пациентами, которые жили в более комфортабельных условиях, приводят другие данные. Г. фон Шмидт, лечивший от рака Александра Дюма, опубликовал в 1871 году книгу о раке, где в числе "главных причин" болезни упоминал "продолжительные и напряженные занятия, сидячий образ жизни, лихорадочное и тревожное оживление публичной жизни, честолюбивые устремления, частые приступы ярости, страшное горе". Цит. по кн.: Samuel J. Kowal, Emotions as a Cause of Cancer: 18th and 19th Century Contributions. Review of Psychoanalysis, 42, 3 (July 1955).

ный тип характера — почти полная противоположность жалкому, ненавидящему себя, безэмоциональному, инертному существу — современному типажу ракового больного. Насколько мне известно, ни один онколог, убежденный в эффективности химиотерапии и иммунотерапии при лечении рака, не написал ни строчки о пресловутом "раковом типаже". Нет нужды говорить, что гипотеза об иммунологическом отклике на эмоциональные потрясения (и, при некоторых обстоятельствах, о пониженном иммунитете к болезни) вряд ли тождественна — или созвучна — мысли о том, что эмоции вызывают болезни, а тем более что определенные эмоции становятся причиной определенных болезней.

Прямым предшественником "ракового характера" можно считать туберкулез: в соответствующей литературе та же теория, причем выраженная в сходных терминах, обосновалась довольно давно. Гидеон Харви в работе "Morbidus Anglicus" ("Английский больной", 1672) объявлял "меланхолию" и "холию" (то есть желчь) "единственной причиной" туберкулеза (который он называл метафорически "коррозией"). В 1881 году, за год до опубликования Робертом Кохом статьи, где он говорит об открытии туберкулезной бациллы и доказывает, что это — первопричина болезни, в стандартном учебнике медицины назывались в качестве причин туберкулеза: наследственная предрасположенность, нездоровый климат, сидячий образ жизни, плохая вентиляция, недостаточное освещение и "депрессивные эмоции"[1]. Хотя к следующему изданию статью в учебнике пришлось изменить, прошло еще немало лет, прежде чем были пересмотрены укоренившиеся взгляды. "Болен мой разум, а болезнь легких лишь выражение моего душевного недуга", — писал Кафка Милене в 1920 году. Что касается туберкулеза, теория о его эмоциональной основе бытовала и в XX веке, пока, наконец, не были найдены методы лечения болезни. Современное модное применение этой теории — когда рак связывают с эмоциональной угнетенностью, недостатком уверенности в себе и в будущем — окажется, вероятно, не более обоснованным, чем теория о психологической подоплеке туберкулеза.

Согласно историку Кейту Томасу, в разоряемой чумой Англии в конце XVI — начале XVII века широко распространено было поверье, будто "счастливый человек не уязвим для заразы". Наверное, фантазия о том, что счастливое состояние духа может отвратить болезнь, применялась ко всем инфекционным заболеваниям — до тех пор пока оставалась не выясненной природа инфекции. Теории, утверждающие, что болезни суть следствие психологических состояний и могут быть излечены усилием воли, всегда показательны, когда дело касается уровня медицинских знаний о физической реальности болезни.

В современном мире прослеживается отчетливое стремление к психологическому объяснению болезней, как, впрочем, и всего остального. Психология как бы позволяет контролировать состояния (вроде тяжелой болезни) и события, перед лицом которых люди почти бессильны. Психологическое толкование размывает "реальность" болезни. Эту реальность необходимо *объяснить*. (Она означает или символизирует или нуждается в трактовке.) Для тех, кто не ведает утешения в религии или не воспринимает смерть (подобно всему остальному) как естественное событие, — смерть представляет собой непристойную тайну, непереносимое оскорбление, нечто совершенно неподконтрольное. В конце концов, психологическим феноменом можно объявить саму смерть. Гроддек заявляет в "Книге об ОНО" (он писал о туберкулезе): "Умрет тот, кто желает умереть, тот, для кого жизнь непереносима". Обещание временного триумфа над смертью прослеживается в значительной части сочинений по психологии, начиная с Фрейда и Юнга.

В крайнем случае, можно рассчитывать на триумф над болезнью. "Физическая" болезнь становится в некотором смысле менее реальной — но,

1. См. August Flint and William H. Welch. The Principles and Practice of Medicine, fifth edition. 1881); René and Jean Dubos. The White Plague, 1952.

в качестве компенсации, более интересной, — по мере того как возрастает ее "ментальность". Невозможно не замечать, насколько в современном мире расширилось поле душевной болезни. Воистину, отрицание смерти в нашей культуре отчасти основывается на развитии категории болезни как таковой.

Понятие болезни расширяется благодаря двум гипотезам. Первая состоит в том, что каждое отклонение от социальных норм может рассматриваться как болезнь. Таким образом, если преступление — болезнь, то преступников следует не обвинять и наказывать, но понимать (как понимает пациента доктор), лечить и исцелять[1]. Вторая гипотеза заключается в том, что каждую болезнь можно рассматривать с точки зрения психологии. Болезнь в таком случае воспринимается, по сути, как психологическое явление, и людям внушают, что они заболели оттого, что (бессознательно) хотели заболеть, и они могут исцелиться, мобилизовав волю, могут жить, если решат не умирать. Две эти гипотезы дополняют одна другую. Если первая смягчает вину, вторая — восстанавливает ее в полном объеме. Психологические теории болезни — мощное средство возложить вину на больных. Пациентов, которым внушают, что они, пусть неосознанно, спровоцировали собственную болезнь, подводят к мысли о том, что они ее заслужили.

## 8

У "воздаятельных" идей о болезни длинная история, и такие представления особенно популярны, когда речь идет о раке. Против рака ведется "война" и объявляются "крестовые походы"; это "болезнь-убийца"; люди, заболевшие раком, именуются его "жертвами". Болезнь якобы объявлена вне закона. На самом же деле вина приписывается и самому раковому больному. Широко распространенные психологические теории болезни возлагают на несчастных страдальцев ответственность и за заболевание, и за выздоровление. Все установки, согласно которым рак воспринимается не только как болезнь, но и как демонический враг, превращают рак в болезнь не только смертельную, но и постыдную.

Проказа в пору ее триумфального шествия по Европе внушала такой же преувеличенный ужас. В Средние века лепра была социальным текстом, в котором обнаруживалось разложение, — примером или символом гниения. Нет ничего более жестокого, чем привнесение в болезнь моралистического "смысла". Любая серьезная болезнь, обладающая неясной этиологией и не поддающаяся лечению, тяготеет к "значимости". Прежде всего, с болезнью отождествляют тем самым объекты наших самых глубинных страхов (разложение, гниение, загрязнение, падение нравов, бессилие). Сама болезнь становится метафорой. Затем ужас болезни (используемой как метафора) переносится на другие предметы. Болезнь становится адъективным понятием. Все отвратительное или уродливое *напоминает* нам болезнь. Во французском осыпающийся каменный фасад все еще определяют эпитетом lépreuse[2].

Эпидемические болезни всегда были расхожими риторическими фигурами. От английского pestilence (бубонная чума) произошли прилагательные pestilent, фигуральное значение которого, согласно "Оксфордскому словарю английского языка", — "гибельный для религии, нравов или общественного спокойствия (1513)", и pestilential, означающее нечто "нравственно вредное или пагубное (1531)". На болезнь проецируется наше восприятие зла. А болезнь (обогащенная смысловыми оттенками) проецируется на мир.

В прошлом столь высокопарные мифы часто порождались эпидемическими болезнями — болезнями, по-

1. Раннее отражение этой яростно оспариваемой сейчас теории можно найти в сатире "Едгин" (1872) Самюэля Батлера. Согласно Батлеру, преступление, как и ТБЦ, это болезнь — наследственная или вызванная нездоровой обстановкой, а больных наказывать нелепо. В "Едгине" к тем, кто совершил убийство или кражу, относятся с пониманием, как к больным, но за туберкулез наказывают как за преступление.
2. Изъеденный проказой, прокаженный (*франц.*). (*Прим. перев.*)

ражавшими целое общество. В последние два столетия метафорами зла стали, главным образом, сифилис, туберкулез и рак, то есть болезни, в первую очередь отождествляемые с личностью.

Сифилис представлялся не просто ужасной, но и унизительной, вульгарной болезнью. Антидемократы использовали его для изобличения "скверны эгалитаризма". Бодлер в черновиках к так и не законченной книге о Бельгии писал: "В наших венах республиканский дух, как сифилис в наших костях — все мы подвержены демократии и похоти". В качестве инфекции, разлагающей нравственно и ослабляющей физически, сифилису суждено было стать стандартным тропом в антисемитской публицистике конца XIX — начала XX века. В 1933 году Вильгельм Райх утверждал, что "безрассудный страх перед сифилисом был одним из основных источников политических взглядов национал-социалистов и их антисемитизма". Но хотя он замечал, как сексуальные и политические фобии проецируются на сифилис в грязных пассажах "Майн Кампф", ему и в голову не приходило, что очень часто он сам упоминал рак в качестве метафоры бедствий современной ему эпохи. На самом деле метафорическое поле рака значительно шире, чем у сифилиса.

Метафора сифилиса была ограниченна, ибо сама болезнь не воспринималась как таинственная — только ужасная. Дурная наследственность ("Привидения" Ибсена), опасности сексуальных контактов ("Бюбю с Монпарнаса" Шарля Луи Филиппа, "Доктор Фаустус" Манна) — в сифилисе предостаточно ужасов. Но нет тайны. Его этиология была понятной и однозначной. Сифилис был зловещим даром, "передаваемым" не всегда знающим о своей болезни переносчиком ничего не подозревающему получателю. Напротив, туберкулез воспринимался как таинственный недуг, болезнь с мириадами причин — так же как сегодня рак: хотя все и признают его нерешенной загадкой, большинство сходится на том, что он обусловлен множеством причин. Ответственность за болезнь возлагают на ряд факторов — такие, как провоцирующие рак вещества (канцерогены) в окружающей среде, генетические особенности, снижение иммунитета (вследствие иной болезни или эмоциональной травмы), характерологическую предрасположенность. Многие исследователи утверждают, что рак — это не одна, а более ста клинически различных болезней, что каждый рак необходимо изучать отдельно и что в конце концов будет разработана целая обойма противораковых средств по одному на каждую разновидность болезни.

Сходство между современными идеями о множественности причин рака и некогда популярными, а ныне дискредитировавшими себя взглядами на туберкулез может означать, что рак в конечном итоге окажется болезнью с единой этиологией, излечиваемой с помощью некоторых определенных клинических средств. Действительно, как отмечал Льюис Томас, у всех болезней, этиология которых вполне прояснена и которые поддаются профилактике и лечению, обнаружилась весьма простая физическая причина: пневмококк — при пневмонии, туберкулезная бацилла — при туберкулезе, недостаток витамина PP (никотиновой кислоты) — при пеллагре; нет ничего невероятного в том, что некий болезнетворный агент будет когда-нибудь выявлен и для рака. Понятие о том, что болезнь можно объяснить только множеством причин, как раз соответствует представлениям о болезнях с *неясной* этиологией. И потому именно "множественные" (то есть таинственные) болезни имеют самое широкое применение в качестве метафор общественного или нравственного зла.

В отличие от метафоры сифилиса, образы ТБЦ и рака отражали не только примитивные фантазии о порче и разложении, но и довольно сложные мысли о силе и слабости, об энергии. На протяжении более чем полутора веков туберкулез служил метафорическим эквивалентом утонченности, чувствительности, грусти, бессилия, в то время как все беспощадное, неумолимое, хищное связывалось с раком. (Так, Бодлер отмечает в эссе 1852 года "Языческая школа": "Неистовая страсть к искус-

ству — это рак, поедающий все...") ТБЦ был двойственной метафорой, бичом — и символом изысканности одновременно.

Если сифилис передавался "пассивно" и считался безвинной бедой, то туберкулез — как рак сегодня — представлялся перерождением энергии, болезнью воли. Обе болезни сопровождались тревогой о состоянии энергии и чувств, страхом перед их разрушительным воздействием. Заражение туберкулезом означало недостаток жизненных сил или, наоборот, расточительное к ним отношение. "В нем ощущался недостаток жизненной силы... некая особенная слабость организма", — так описывал Диккенс маленького Поля в "Домби и сыне". Викторианское представление о ТБЦ как о следствии недостаточной витальности (и повышенной чувствительности) нашло свое зеркальное отражение в идее Райха о раке как о болезни, не нашедшей себе выхода энергии (и подавленных чувств). В эпоху, когда продуктивная деятельность человека ничем не сковывалась, нас заботил недостаток энергии. В наши дни, в условиях почти губительного экономического перепроизводства и растущих бюрократических преград, мы страдаем и от переизбытка энергии, и от неспособности адекватно ее выразить.

Подобно псевдоэкономической теории Фрейда об "инстинктах", возникшие в прошлом веке (и распространившиеся на первую треть XX столетия) мифы о ТБЦ отражают воззрения ранней эпохи накопления капитала. У человека ограниченный запас энергии, которую нужно использовать экономно. (Достижение оргазма на английском сленге XIX века определялось словом "трата", "потеря" — "spending", а не "прибыток" — "coming".) Энергию, подобно сбережениям, можно истратить или пустить по ветру. Тело начнет "поглощать" самое себя, пациент "истает".

Язык, применяемый для описания рака, вызывает в памяти иную экономическую катастрофу — никак не регулируемое, аномальное, хаотичное разрастание. Энергией обладает не пациент, а опухоль — она неподконтрольна. Раковые клетки, согласно учебникам медицины, — это клетки, лишенные механизма, который бы "сдерживал" их рост. (Рост нормальных клеток "самоограничен" благодаря механизму так называемого "контактного торможения".) Клетки без "самоконтроля", то есть раковые клетки, растут и развиваются "хаотическим" образом, разрушая нормальные клетки тела, его строение и функции.

Ранний капитализм предполагает рачительность, подотчетность, дисциплину — экономику, зависящую от разумного ограничения желаний. ТБЦ описывается в образах, подытоживающих неразумное поведение homo economicus[1] XIX столетия: потребление, расточительство, разбазаривание жизненных сил. Развитый капитализм требует экспансии, спекуляций, формирования новых потребностей (проблема удовлетворенности и неудовлетворенности), покупок в кредит, мобильности — это экономика, основанная на безрассудном потакании желаниям. Рак описывается в образах, подытоживающих неразумное поведение homo economicus XX столетия: аномальный рост, подавление энергии, то есть отказ потреблять или тратить.

Подобно безумию, туберкулез воспринимался как своего рода однобокость. Сколько бы ни страшились этой болезни, чахоточных больных всегда окружали сочувствием. Как и пациент психиатрической лечебницы сегодня, туберкулезник был, в известной мере, квинтэссенцией уязвимости, человеком, исполненным саморазрушительных причуд. В XIX и начале XX века врачи будто уговаривали чахоточных больных выздороветь. Их рецепты весьма схожи с предписаниями сегодняшних просвещенных врачей для душевнобольных: жизнерадостная обстановка, изоляция от стрессов и семьи, здоровая пища, физическая активность, покой.

Представление о раке сопряжено с совершенно иными, откровенно жестокими методами лечения. (Расхо-

1. Человек экономический (*лат.*). (*Прим. перев.*)

жая острота онкологических больниц, которую можно слышать как от врачей, так и от пациентов: "Лечение хуже болезни".) О потакании больному не может быть и речи. В условиях, когда организм пациента находится под угрозой атаки (инвазии), единственным средством становится контратака.

По сути, основные метафоры в описаниях рака берут начало не в экономике, а в военной науке, каждый врач и каждый внимательный пациент знаком с этой милитаристской терминологией или даже привык к ней. Так, раковые клетки не просто размножаются — они пролиферируют. ("Злокачественные опухоли пролиферируют даже тогда, когда растут медленно", как написано в одном учебнике.) Раковые клетки, произошедшие от материнской опухоли, основывают "колонии" в удаленных частях тела, то есть образуют крохотные аванпосты (микрометастазы), о существовании которых можно догадываться, хотя и нельзя обнаружить. Защитные силы организма крайне редко обладают достаточной мощью, чтобы разрушить опухоль, имеющую собственную систему кровоснабжения и состоящую из миллиардов деструктивных клеток. Несмотря на радикальное хирургическое вмешательство, несмотря на многократное сканирование тела больного, большинство ремиссий носят временный характер; велика вероятность того, что опухоль продолжит развиваться или что в конце концов коварные клетки перегруппируются и возобновят атаку на организм.

Лечение также формулируют на языке военных. В радиотерапии используют метафоры воздушного боя: пациентов "бомбардируют" токсичными лучами. А в химиотерапии, как и во время химической атаки, используют яды[1]. Лечение преследует цель убить раковые клетки (врачам остается только надеяться, что это не убьет самого пациента). Побочным эффектам противораковой терапии уделяется значительное, порой чрезмерное внимание. ("Мучительный курс химиотерапии" — вполне стандартная фраза.) Невозможно исключить повреждение или разрушение здоровых клеток (более того, некоторые методы лечения рака могут спровоцировать рак), но считается, что любой вред, нанесенный организму пациента, оправдан, если будет спасена его жизнь. Конечно, часто это не срабатывает. (Как в знаменитом: "Нам пришлось уничтожить Бен Зуха, чтобы спасти его".) Потери убитыми в расчет не принимаются.

Военные метафоры впервые вошли в медицинский язык в 1880 годах, когда бактерии были признаны источником многих болезней. Считалось, что бактерии пролиферируют или "просачиваются". Однако во всем, что связано с раком, язык "осады и сражений" приобрел особую точность и авторитет. С его помощью описывается клиническое течение болезни и методы ее лечения, при этом сама болезнь воспринимается как враг, с которым общество ведет войну. В последнее время лексика борьбы с раком приобрела оттенок колониальной войны — с соответственно высокими ассигнованиями из государственного бюджета, — и в десятилетие, когда колониальные войны далеко не так успешны, как раньше, милитаристская риторика приводит к неожиданным и неприятным последствиям. Несмотря на достигнутые с 1970 года значительные успехи в химиотерапии и иммунотерапии, врачи все чаще пессимистичны в отношении эффективности лечения. Репортеры, пишущие о "войне

1. Первым поколением противораковых препаратов стали средства азотно-ипритного типа (так называемые алкилирующие агенты), например циклофосфамид (цитоксан). Их использование — при лечении лейкемии (которую характеризует избыточное образование белых кровяных клеток), а затем и других форм рака — было вызвано непреднамеренным экспериментом с химическим оружием в конце Второй мировой войны, когда в Неаполитанской гавани взорвалось груженное ипритом американское судно. В результате от смертельно низкого содержания белых кровяных клеток и тромбоцитов (то есть от отравления костного мозга) погибло больше моряков, чем от ожогов или попадания в легкие морской воды.

Похоже, что химиотерапия и вооружения наступают друг другу на пятки, пусть даже только в образах. Первый значительный успех химиотерапии связан с сифилисом: в 1910 году Пауль Эрлих предложил в качестве лекарства от сифилиса производное мышьяка, арсфенамин (салварсан), который прозвали "волшебной пулей".

с раком", часто предупреждают общественность о необходимости делать различие между официальными реляциями и суровой правдой; несколько лет назад некий научный обозреватель отыскал бюллетени Американского ракового общества, где утверждалось, что рак излечим, и сравнил это с "вьетнамским оптимизмом незадолго до разгрома". Все же одно дело скептически относиться к окружающей рак риторике и совсем другое — поддерживать несведущих докторов, отрицающих существенный прогресс в лечении заболевания и утверждающих, что рак не излечим. Банальные фразы американского медицинского истеблишмента, трубящего о неминуемой победе над раком, и профессиональный пессимизм многочисленных онкологов, говорящих языком утомленных в боях офицеров, которые увязли в трясине нескончаемой колониальной войны, — вот два извращения, присущих милитаристской риторике о раке.

Совмещение образов рака с более грандиозными "философическими" доктринами привело к еще большему искажению понятия болезни. Если туберкулез изображали и как одухотворение сознания, то рак синонимичен порабощению или полному уничтожению сознания со стороны бессознательного естества, мыслимого как ОНО. При туберкулезе больной снедает себя сам, истончаясь, обнажаясь до самой сердцевины, до истинного "я". При раке размножаются неразумные ("примитивные, эмбриональные, атавистические") клетки, и больного замещает "не-я". Иммунологи классифицируют раковые клетки как "не-свои".

Уместно заметить, что Райх, внесший, пожалуй, наибольший вклад в распространение психологической теории рака, находил нечто подобное раку в биосфере.

Существует смертоносная оргоновая энергия. Она в атмосфере. Ее можно зарегистрировать такими приборами, как счетчик Гейгера. Болотистая субстанция... Стоячая, мертвая вода, которая не течет, не усваивается. Рак тоже вызван стагнацией в течении жизненной энергии организма.

В словах Райха слышна неподражаемая логика. И чем прочнее утверждаются метафорические параллели, тем с бóльшим основанием рак воспринимают именно в таком ключе — как космическую болезнь, символ разрушительных, чужеродных сил, нашедших приют в человеческом теле.

Как ТБЦ был недугом болеющей личности, так рак — это болезнь Иного. Рак следует сюжетам научно-фантастических романов: нападение "чужих" или "мутировавших" клеток, которые сильнее здоровых ("Нашествие похитителей трупов", "Съеживающийся человек", "Капля", "Нечто"). Согласно одному научно-фантастическому сценарию, мутанты либо проникают из открытого космоса или мутации случайно возникают среди людей. Рак можно было бы описать как торжествующую мутацию, и этот образ очень популярен сегодня при описании болезни. И теория психологического происхождения рака, и введенные Райхом образы сдерживаемой, загоняемой вглубь, затем оборачивающейся против самой себя и приводящей клетки в неистовство энергии заняли почетное место в жанре научной фантастики. А предложенный тем же Райхом образ носящейся в воздухе смерти — смертоносной энергии, которую можно зарегистрировать с помощью счетчика Гейгера, — показывает, насколько научно-фантастические представления о раке (болезни, порождаемой и излечиваемой смертоносными лучами) отражают наши коллективные кошмары. Первоначально страх перед атомной радиацией основывался на мнении, что облучение приводит к генетическим аномалиям в следующих поколениях; его сменил другой страх — после того как статистика показала высокий процент заболеваемости раком среди переживших бомбардировку Хиросимы и Нагасаки и их потомков.

Рак — это еще и метафора бешеной, неуправляемой энергии, которая противостоит естественному порядку вещей. В научно-фантастической сказке Томмазо Ландольфи космический

корабль называется "Канцерквин" ("Cancerqueen"). (Если вспомнить метафорическое поле туберкулеза, вряд ли кому-нибудь из писателей пришло бы в голову дать прозвище "Консампшенквин" – Consumptionqueen[1] – неустрашимому линкору.) Если толкование рака не основывают на психологических теориях, загоняющих болезнь в отдаленнейшие уголки естества, то рак обретает черты великана-врага, а борьба с болезнью становится сверхзадачей. Так Никсон, чтобы не ударить лицом в грязь перед Кеннеди, обещавшим высадить американцев на Луну, обещал народу победу над раком. И то и другое было фантастической затеей. Своего рода эквивалентом законодательного акта, определявшего пути развития космической программы, был Национальный акт о раке 1971 года, в котором, вместо конкретной программы действий по снижению загрязнения окружающей среды, провозглашалась лишь цель – найти панацею.

ТБЦ был болезнью, находившейся на службе у романтического восприятия мира. Метафоры рака в наши дни упрощают мир и могут привести к паранойе. Болезнь часто видится как демоническое наваждение – опухоли злокачественны или доброкачественны, – и многие из повергнутых в ужас раковых больных ищут спасения у знахарей и заклинателей. Организованная поддержка опасным играм – вроде печально известного препарата лаэтрил – чаще всего исходит от праворадикальных групп, чьи параноидальные политические устремления находят дополнительную подпитку в "чудесном исцелении от рака" и вере в НЛО. (Общество Джона Берча распространяет сорокапятиминутный фильм "Мир без рака".) Для более изощренных рак означает восстание травмированной экосферы: природа мстит злому технократическому миру. Ложные надежды и вульгаризованные страхи подогреваются грубой статистикой, которую обрушивают на общественность средства массовой информации, – например, 90 % всех случаев рака "происходят от нездоровой окружающей среды" или... "неправильное питание и курение" становятся причиной 75 % смертей от рака. В дополнение к этому жонглированию цифрами (трудно поверить в статистические выкладки, оперирующие понятиями "все случаи рака" или "вся смертность от рака"), мы наблюдаем постоянное расширение списка продуктов, которые-де вызывают рак: сигареты, краска для волос, бекон, сахарин, мясо птицы, получавшей в пищу гормональные добавки, пестициды, уголь с пониженным содержанием серы. Рак вызывают рентгеновские лучи (терапия убивает); излучение от телеэкранов, микроволновых печей и флюоресцентных циферблатов провоцирует рак. Как и в случае сифилиса, невинный или тривиальный поступок, совершенный в настоящем, может обернуться ужасными последствиями в отдаленном будущем. Хотя лежащие за пределами статистики патологические процессы не выяснены до конца, представляется очевидным, что в ряде случаев рак можно предотвратить. Но заблуждением было бы считать, что рак – порождение индустриальной революции (раком болели и в Аркадии), и уж тем более, что рак – это еще один порок капитализма (несмотря на меньший объем промышленного производства, русские загрязняют атмосферу больше, чем мы). Широко распространенное мнение о раке как о недуге индустриальной цивилизации не оправдано с научной точки зрения, и в той же мере беспочвенна праворадикальная фантазия о "мире без рака" (подобно миру без диверсантов). Оба эти положения исходят из ложного восприятия рака как сугубо "современной" болезни.

Средневековые представления о чуме были тесно связаны с понятием нравственной порчи, и люди искали козла отпущения вне пораженного заразой сообщества. (В 1347 и 1348 годах в Европе происходила резня евреев – с отступлением чумы она прекратилась.) В случае современных болезней козла отпущения не так-то просто отделить от самого пациента. И все же при всей индивидуализации этих болезней на них переходит метафорика эпидемий. (Тривиальные эпидемии все реже служат метафорическим целям, о чем, в частности,

1. Букв.: "Раковая королева", "Чахоточная королева" (*англ.*). (*Прим. перев.*)

свидетельствует почти тотальное историческое забвение пандемии гриппа 1918–1919 годов, унесшей больше жизней, чем Первая мировая война.) В настоящее время говорить о том, что рак вызван "средой обитания", такой же трюизм, как утверждать, что рак связан с эмоциональной жизнью личности. С загрязнением среды связывали ТБЦ (Флоренс Найтингейл[1] полагала, что чахотку вызывает "гнилой дух домов"), а сегодня рак – это болезнь всемирного загрязнения. Туберкулез был "белой чумой". Всерьез задумавшись о загрязнении окружающей среды, люди стали говорить об "эпидемии" или нашествии рака.

## 9

Болезни всегда способствовали образованию метафор, обличающих пороки и несправедливость общества. Традиционные метафоры болезни – это прежде всего олицетворение страстности; по сравнению с современными метафорами они относительно бессодержательны. Шекспир по-разному использует образы "заболевшего государства" – не делая различий между заразой, инфекцией, нарывом, абсцессом, полостной язвой и тем, что мы сегодня называем опухолью. При использовании таких метафор в целях инвективы болезни бывают только двух типов: мучительные, но поддающиеся лечению, и потенциально фатальные. Конкретные заболевания фигурируют как образ болезни в целом; ни у одной болезни в метафорическом контексте нет четко выраженной логики. В образах болезни выражается тревога за сохранность общественного порядка, а о "социальном здоровье", похоже, должно быть и так все известно. Метафоры здоровья не отражают современную идею об особой, всепоглощающей болезни, когда на первый план выдвигается вопрос о реальности здоровья как такового.

Вездесущие, в метафорическом смысле, болезни – такие, как туберкулез и рак, прочитываются менее однозначно. Они определяют новые, критические стандарты индивидуального здоровья и выражают чувство неудовлетворенности обществом в целом. В отличие от елизаветинских метафор – в которых слышались жалобы на некое неявное общественное зло или бедствие, в свою очередь передающееся отдельной личности, – современные метафоры предполагают глубокую пропасть между личностью и обществом, притом что общество воспринимается как враг первой. В этих образах общество предстает не только утратившим равновесие, но репрессивным. Такие метафоры время от времени звучат в романтической риторике, где сердце противопоставляется голове, непосредственность – рассудку, природа – искусственности, деревня – городу.

Когда в начале XIX столетия путешествия в местность со здоровым климатом объявили средством излечения туберкулеза, больным последовательно предлагали самые разные географические зоны. Юг, горы, пустыни, острова – само это разнообразие предполагало некоторую общность: отрицание города. В "Травиате", как только Альфред завоевывает любовь Виолетты, он перевозит ее из нездорового "злого" Парижа в целительную деревню: Виолетте немедленно становится лучше. А утрата любовного счастья ведет к возвращению Виолетты в город, где судьба ее решена: чахотка тоже возвращается, и героиня умирает.

Метафора рака расширяет тему отрицания города. До того как его стали считать в буквальном смысле источником рака, то есть канцерогеном, сам по себе город воспринимался как рак – место аномального, неестественного роста и экстремальных, пожирающих, хищных страстей. В "Живом городе" (1958) Фрэнк Ллойд Райт[2] сравнивает город прошлого, здоровый организм ("Город тогда не был болезнетворным") с городами современности. "Сегодня разглядывать на карте перекресток

1. Флоренс Найтингейл (1820–1910) – английская медсестра; организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853–1856 гг. (*Прим. перев.*)
2. Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) – американский архитектор; его творчество оказало немалое влияние на развитие современного градостроительства. (*Прим. перев.*)

любого большого города все равно что всматриваться в разрез волокнистой опухоли"[1].

На протяжении XIX столетия метафоры болезни становятся все более ядовитыми, нелепыми, демагогичными. Прослеживается тенденция называть болезнью всякую неприятную ситуацию. Болезнь, которую логично было бы считать такой же частью природы, как и здоровье, стала синонимом всего "неестественного". Гюго писал в "Отверженных":

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, – род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно опустошает страну. Монастырское заточение – это оскопление. Оно было бичом Европы[2].

В 1800 году Биша определил жизнь как "совокупность функций, противостоящих смерти". Этот контраст между жизнью и смертью был низведен до контраста между жизнью и болезнью. Болезнь (приравниваемая теперь к смерти) – это то, что противостоит жизни.

В 1916 году, в "Социализме и культуре" Грамши изобличал мышление, "согласно которому культура – энциклопедическое знание... Такая форма культуры способствует развитию бледного и бескрылого интеллектуализма... породившего целую толпу хвастунов и мечтателей, которые представляют бóльшую угрозу для здоровой общественной жизни, чем туберкулез и сифилис для красоты и здоровья тела..."

В 1919 году Мандельштам так воздавал хвалу Пастернаку:

Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это – кумыс после американского молока[3].

А Маринетти, развенчивая коммунизм в 1920-м, писал:

Коммунизм – это обострение бюрократического рака, который всегда снедал человечество. Немецкий рак – продукт типично немецкого лабораторного подхода. Всякая педантичная препараторская работа антигуманна...

Итальянский писатель-протофашист обвиняет коммунизм в тех же грехах – искусственность, педантизм, ортодоксальность, безжизненность, – в каких уличает буржуазную идею культуры будущий основатель итальянской коммунистической партии. ("Она [эта идея] действительно вредоносна, особенно для пролетариата", – говорит Грамши.) Образы туберкулеза и рака регулярно привлекались для описания репрессивной политики и идеалов, при том что репрессии понимались как явление, лишающее силы (ТБЦ) или гибкости и спонтанности (рак). Современные метафоры болезни определяют идеал общественного здоровья как аналогию здоровья физического – идеал, настолько же аполитичный, насколько взывающий к новому политическому порядку.

Порядок – одна из старейших тем политической философии, и если уместно сравнивать полис с организмом, то так же уместно сравнивать беспорядок в обществе с болезнью. Классические формулировки, где содержится аналогия между политическим хаосом и болезнью – от Платона до, скажем, Гоббса, – предполагают осуществление классической медицинской (и политической) идеи равновесия. Болезнь происходит от дисбаланса.

1. Социолог Герберт Ганс обратил мое внимание на связь реальной или мнимой угрозы туберкулеза с движением за ликвидацию трущоб в конце XIX – начале XX века, с понятием о том, что трущобы "порождают" туберкулез. К 1950 году в риторике городского планирования туберкулез уступил место раку. "Упадок городов" (фактически – трущобы) видится как предательски растущая раковая опухоль, а использование термина "инвазия" при описании проникновения не-белых или неимущих слоев в буржуазные кварталы – это метафора, связанная с онкологией настолько же, насколько и с военной наукой: понятия смыкаются.
2. Перевод Н. Коган. (*Прим. перев.*)
3. Осип Мандельштам. Сочинения в двух томах. М., Художественная литература, 1990. Неточно у Сонтаг: приводимое высказывание Мандельштама (из "Заметок о поэзии") относится к середине 20-х гг. (*Прим. перев.*)

Лечение направлено на восстановление равновесия, а в политических терминах — на восстановление иерархии. Прогноз, в основном, оптимистичен. Общество, по определению, не подвержено смертельным болезням.

Когда Макиавелли использует образ болезни, то исходит из посылки, что болезнь можно излечить. "Чахотку, — писал он, — на начальной стадии легко излечить, но сложно распознать; если же ее не распознали вовремя и не применили верных методов лечения, ее становится просто распознать и сложно излечить. То же самое происходит в государственных делах: предвидя их ход заранее, что доступно только людям талантливым, можно достаточно скоро излечить нарождающееся зло; но когда от недостатка предвидения зло возрастает до той степени, что становится очевидным каждому, спасения нет".

Макиавелли приводит в пример туберкулез как болезнь, развитие которой можно прервать, если обнаружить ее на ранней стадии (когда ее симптомы еле различимы). При достаточной прозорливости течение болезни обратимо; то же относится к хаосу в государственной жизни. Макиавелли приводит метафору болезни, которая соотносится не столько с обществом, сколько с искусством управления государством: подобно тому, как благоразумие необходимо при лечении серьезных заболеваний, так прозорливость необходима для контроля над социальными кризисами. Здесь мы имеем дело с метафорой прозорливости и призывом к прозорливости.

Согласно великой традиции политической философии аналогия между болезнью и беспорядком в обществе призвана побуждать правителей проводить более рациональную политику. "Хотя ничто из того, что сотворили смертные, не может быть бессмертным, — писал Гоббс, — однако если бы люди обладали разумом, на который претендуют, их государства могли бы, по крайней мере, быть ограждены от гибели вследствие внутренних причин... Следовательно, когда государства рушатся не из-за насилия извне, но по причинам внутреннего свойства, вина лежит не на людях как на *субъекте* государства, но на людях как на *созидателях* оного".

Взгляд Гоббса вовсе не фаталистичен. Правители ответственны и имеют возможность (посредством разума) контролировать беспорядок. Для Гоббса убийство (насилие извне) — единственный "естественный" путь смерти общества или общественного института. Погибнуть от внутренних беспорядков — тут уместна аналогия с болезнью — это самоубийство, то есть нечто вполне предотвратимое: акт воли или, точнее, несостоятельность воли (то есть рассудка).

Метафора болезни использовалась в политической философии, чтобы акцентировать призыв к рациональной политике. Макиавелли и Гоббс сосредоточивались на одной стороне медицинского знания — на необходимости остановить серьезную болезнь на ранней стадии, когда ее еще возможно контролировать. Но метафора болезни могла призывать правителей и к прозорливости несколько иного рода. В 1708 году лорд Шефтсбери писал:

> В человеке присутствуют определенные соки, которые требуют выхода. Человеческие мозг и тело естественным образом подвержены потрясениям... ибо в крови присутствуют странные ферменты, которые у многих вызывают необычайное по силе разряжение... Если врачи предпримут попытку полностью изгнать из тела эти ферменты и иссушить соки, которые проявляются в подобных извержениях, то, возможно, вместо того, чтобы излечить тело, они вызовут заразу и обратят весеннюю аллергию или осеннее недомогание в эпидемическую злокачественную лихорадку. В государстве существуют точно такие же горе-лекари, которые легкомысленно играют с мыслительными вспышками и, под благовидным предлогом умерить зуд суеверий и спасти души от яда энтузиазма, вызывают опасные потрясения во всей природе и превращают несколько невинных чирьев в воспаление и смертоносную гангрену.

Шефтсбери полагает, что благоразумие требует снисходительности к существованию известной доли иррационального (суеверия, энтузиазма) и что суровые репрессивные меры скорее усилят, чем устранят беспорядки, превратив досадную мелочь в катастрофу. В государстве не следует слишком увлекаться медици-

ной; не для каждой проблемы следует искать лекарство.

Для Макиавелли — прозорливость, для Гоббса — рассудок, для Шефтсбери — терпимость. Основываясь на медицинских аналогиях, все три автора рассматривают идею, как мудрый правитель может предотвратить роковую болезнь. Предполагается, что общество, в основном, здорово; болезнь (общественное бедствие), в принципе, всегда излечима.

В наше время использование образов болезни в политической риторике предполагает другие, менее терпимые суждения. Современная идея революции, основанная на бесконечно печальных перспективах существующей политической ситуации, разрушила старые, оптимистичные метафоры болезни. Джон Адамс писал в дневнике в декабре 1772 года:

> Предстающая моему взгляду перспектива... очень мрачна. Моя страна в бедственном положении, и оснований для надежд почти никаких... Народ изможден борьбой, а Продажность, Раболепие и Проституция разъедают общество и распространяются подобно Раку.

В сознании людей политические события стали восприниматься как беспрецедентные, радикальные; и в конечном итоге как гражданские беспорядки, так и войны приобрели характер революционных изменений. Как и следовало ожидать, метафоры болезни приобрели современное звучание вследствие Великой французской революции, а не американской — это с особой силой проявилось в реакционных откликах на французскую революцию. В "Размышлениях о революции во Франции" (1790) Эдмунд Берк противопоставляет войны и гражданские беспорядки прошлого французской революции, которую, на его взгляд, отличают принципиально новые черты. Раньше, вне зависимости от природы общественного бедствия, "органы... государства, даже если они были поколеблены, продолжали существовать". "Но, — обращался он к французам, — ваш теперешний мятеж, словно паралич, поражает сам фонтан жизни".

Подобно тому как классические теории полиса обогатились теориями "четырех жизненных соков", так и современное представление о политике было дополнено современным представлением о болезни. Болезнь тождественна смерти. Берк упоминает паралич (и "тлеющую язву разъедающей памяти"). Вскоре акцент переместился на вызывающие отвращение роковые болезни. Такие заболевания не подлежат врачеванию — их до́лжно искоренять. В романе Гюго о французской революции "Девяносто третий год" (1874) приговоренный к гильотине революционер Говэн оправдывает революцию, несмотря на все ее кровопролитие и собственную неминуемую гибель:

> ...это гроза. А гроза всегда знает, что делает... Цивилизация была заражена чумой; нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится. Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана[1].

Это далеко не последний случай, когда революционное насилие оправдывалось тем, что общество якобы поражено неизлечимой, ужасной болезнью. Мелодраматизм подобных метафор в современной политической риторике указывает на "воздаятельную" природу представлений о болезни: болезнь воспринимается не как кара, но как символ зла, как нечто, заслуживающее наказания.

Характерно, что современная тоталитарная идеология — и правого, и левого толка — особо расположена к использованию образов болезни. Нацисты заявляли, что каждый человек смешанного расового происхождения подобен сифилитику. Еврейство вновь и вновь сравнивалось с сифилисом и раком, который надлежало удалить оперативным путем. Метафоры болезни стали штампами и в большевистской полемике: Троцкий, самый одаренный из всех коммунистических публицистов, прибегал к ним постоянно — особенно после изгнания из Со-

1. Перевод Н. Жарковой. (*Прим. перев.*)

ветского Союза в 1929 году. Сталинизм был объявлен холерой, сифилисом и раком[1]. В политике использование образов смертельной болезни придает метафоре гораздо более заостренный характер. Сегодня сравнить политическое событие или ситуацию с болезнью означает вынести обвинительный приговор, определить меру наказания.

Последнее особенно справедливо в отношении метафор рака. Это означает в первую очередь, что событие или ситуация безоговорочно и неисправимо порочны. Это ведет к феноменальному возрастанию ставок. Гитлер в своем первом политическом памфлете, антисемитской диатрибе, написанной в 1919 году, обвинял евреев в том, что они сеют "среди наций расовый туберкулез"[2]. В то время туберкулез все еще сохранял престиж многоликой, почти преступной болезни XIX века. (Вспомните проведенную Гюго аналогию между монашеством и ТБЦ.) Однако нацисты быстро модернизировали свою риторику, и, воистину, образы рака гораздо лучше соответствовали их целям. В 1930-х в речах о "еврейском вопросе" неоднократно говорилось, что избавиться от рака можно, только вырезав опухоль вместе с окружающей ее здоровой тканью. Для нацистов образы рака со всей определенностью означают "радикальное" лечение, в противоположность "мягкому" лечению, которое якобы подходило для туберкулеза, — различие между санаторием (то есть изгнанием) и хирургическим вмешательством (то есть крематорием). Евреи также отождествлялись с городской жизнью и стали ее метафорой — удивительно, что в нацистской риторике нашли отражение все романтические клише о городах как об изнуряющей, исключительно церебральной, нравственно разлагающей, нездоровой среде.

Эпитет "рак" в применении к любому явлению — это прямой призыв к насилию. Использование термина "рак" в политической полемике поощряет фатализм и оправдывает "жесткие" меры — а также придает особую остроту широко распространенному мнению о том, что болезнь эта фатальна. Хотя метафоры болезни никогда не отличались невинностью, можно утверждать, что метафора рака представляет собой худший случай: она безоговорочно убийственна. Монополией на эту метафору не обладает ни одна отдельно взятая политическая доктрина. Троцкий называл сталинизм раком марксизма; в Китае "банда четырех" стала, помимо всего прочего, "раком Китая". Джон Дин так говорил об Уотергейте Никсону: "У нас внутри рак — в непосредственной близости от президента, и он разрастается". Стандартная метафора арабской пропаганды, которую израильтяне могут ежедневно услышать по радио вот уже двадцать лет, называет Израиль "раком в сердце арабского мира" или же "раком Ближнего Востока", а офицер христианских праворадикальных сил Ливана, осаждавших палестинский лагерь беженцев, Таль Заатар в августе 1976 года, назвал лагерь "раком на теле Ливана". К метафоре рака трудно не

1. "Следует различать меры, — писал Троцкий Филиппу Раву 21 марта 1938 года, — необходимые для борьбы с неверной теорией, и те, что необходимы для борьбы с холерной эпидемией. Сталин несравненно ближе к холере, чем к ложной теории. Борьба должна быть напряженной, жестокой, беспощадной. Элемент "фанатизма"... был бы весьма полезен". Также: "Троцкий говорил о "сифилисе сталинизма" или о "раке, который следует выжигать из рабочего движения каленым железом". — Isaac Deutscher. The Prophet Outcast: Trotsky, 1929—1940. 1963.

Достойно упоминания, что в "Раковом корпусе" Солженицына почти нет метафор рака в применении к сталинизму или чему-то другому. Солженицын не искажал смысл своего романа, когда в 1967 году, надеясь на его публикацию в Советском Союзе, говорил Правлению Союза писателей, что название книги "вовсе не символ" и что "тема романа это собственно и буквально рак".

2. "Его [еврея] могущество — это могущество денег, которое, принимая форму процентов, беспрепятственно и беспрестанно размножается в его руках, заковывая народы в кандалы... Все, что побуждает народы стремиться к высшим категориям, будь то религия, социализм или демократия, для него лишь средство достижения цели, удовлетворение похотливой страсти к деньгам и господству. Его деятельность сеет среди наций расовый туберкулез". Джулиус Лангбен, живший в конце XIX столетия предшественник нацистской идеологии, называл евреев "мором и холерой". Однако в использованном Гитлером образе туберкулеза уже содержится нечто от метафоры рака — идея, что могущество евреев "беспрепятственно и беспрестанно размножается".

прибегнуть тем, кто хочет показать свое негодование. Так, Нил Ашерсон писал в 1969 году, что дело Сланского[1] "было -- и остается — огромной раковой опухолью на теле чехословацкого государства и народа"; Саймон Лейс в "Китайских тенях" говорит о "раке маоизма, разъедающем лицо Китая"; Д. Г. Лоренс назвал мастурбацию "глубочайшим и самым опасным раком нашей цивилизации"; я и сама в порыве отчаяния, охватившего меня во время войны во Вьетнаме, написала однажды, что "белая раса — это рак истории человечества".

Но как прикажете оставаться нравственно строгим в конце XX столетия? Возможно ли это, когда вокруг столько поводов для осуждения; когда мы хоть и различаем понятие зла, утратили религиозный или философский язык, позволявший говорить о зле разумно? Пытаясь измерить радикальное или абсолютное зло, мы ищем адекватные метафоры. Однако современные метафоры болезни — это всегда преднамеренная грубость. Вряд ли действительно больные люди выигрывают от того, что слышат, как название их болезни постоянно используется в качестве синонима зла. А метафора рака глупа по-особенному. Она неизбежно ведет к упрощению сложных понятий и выражает самодовольную уверенность в своей правоте, если не фанатизм.

Уместно сопоставить образ рака с образом гангрены. При некоторых роднящих ее с раком метафорических признаках (она начинается, так сказать, "на ровном месте", она разрастается, она отвратительна) гангрена, казалось бы, обладает всеми милыми сердцу полемиста смысловыми оттенками. Действительно, образ гангрены был использован в одной важной полемической работе, направленной против пыток, применявшихся французами в 1950 годах в Алжире; эта знаменитая книга так и называлась — "Гангрена". Но между метафорами рака и гангрены существуют серьезные различия. Во-первых, этиология гангрены вполне прозрачна. Это "наружная" болезнь (гангрена может развиться из простого пореза); рак воспринимается как болезнь таинственная, провоцируемая множеством причин, внутренних и внешних. Во-вторых, гангрена — не всеобъемлющая катастрофа. Она часто ведет к ампутации, реже — к смерти; считается, что рак ведет к смерти в большинстве случаев. Не гангрена и не чума (несмотря на замечательные попытки столь разных авторов, как Арто, Райх и Камю превратить чуму в метафору, обозначающую все мрачное и гибельное), а рак остается самой радикальной из всех метафор болезни. Именно по причине своей радикальности такая метафора особенно тенденциозна, это удачный образ для параноиков, для политиков, которые стремятся превратить кампанию в крестовый поход, для фаталистов (рак = смерть) и для тех, кто одержим антиисторическим революционным оптимизмом (идеей, что благотворны только коренные преобразования). До тех пор пока с толкованием и лечением рака связано столько милитаристских гипербол, эта метафора совершенно непригодна для тех из нас, кто настроен миролюбиво.

Весьма вероятно, что терминология, используемая для описания рака, подвергнется некоторым изменениям в течение ближайших лет. Она изменится решающим образом, когда этиология болезни станет вполне понятной и увеличится число выздоровевших. Меняется она уже сейчас с разработкой новых методов лечения. По мере того как химиотерапия постепенно вытесняет в лечении рака облучение, все бóльшие надежды возлагаются на иммунотерапию (которую уже сейчас используют при лечении онкозаболеваний). В тех медицинских кругах, где врачи пытаются сосредоточиться на стимулировании иммунологического отклика на рак, понятия о болезни эволюционируют. Когда воинственные и гремящие метафоры сменятся в языке медиков метафорами, ассоциирующимися с естественной защитой организма (чтобы полностью порвать с военными терминами, "защитную систему" можно назвать

1. Инспирированный в1952 г. Сталиным судебный процесс над группой чехословацких партийных деятелей во главе с Рудольфом Сланским, бывшим генеральным секретарем ЦК Компартии Чехословакии. (*Прим. перев.*)

"иммунной компетентностью"), рак будет отчасти демистифицирован; может быть, тогда аналогии с раком перестанут означать фаталистический диагноз или яростный призыв к борьбе с заклятым, коварным врагом. Тогда, возможно, использование рака в качестве метафоры станет морально допустимым.

Но вряд ли кому-нибудь тогда захочется сравнивать с раком нечто ужасное, ибо интерес этой метафоры заключается как раз в том, что она соотносится с болезнью, столь перегруженной мистикой, столь явно выражающей мысль о неизбежном конце. Наши взгляды на рак и метафоры, которые мы ему навязали, во многом отражают слабые стороны нашей культуры: наше поверхностное отношение к смерти, наше мучительное беспокойство, нашу безрассудную, недальновидную реакцию на вполне реальные проблемы роста, нашу неспособность построить развитое индустриальное общество с разумным регулированием потребления и наши оправданные страхи по поводу все более насильственного хода истории. Я предсказываю, что метафора рака устареет задолго до того, как будут разрешены проблемы, которые она воплощала с такой живостью.

# Роберто Калассо
# *Брак Кадма и Гармонии*

Глава из книги

**Вместо предисловия**[1]

Первое, что я хотел бы сказать об этой книге: ее немедленно надо издать массовым тиражом.

Второе — что удовольствие видеть эту книгу сродни только удовольствию писать ее; и я лично практически заимел зуб на ее автора за то, что он лишил меня этого удовольствия.

Третье — что книгу эту невозможно рецензировать, поскольку и похвала, и критика ее будут и похвалой, и критикой снизу.

Книга такого рода попадается в жизни лишь раз или два. Я бы сказал — раз, поскольку уже не молод.

Можно увязывать эту книгу с "Аргонавтикой" Аполлония Родосского, с овидиевыми "Метаморфозами" или "Белой богиней" Роберта Грейвза, но мы бы чудовищно удалились от темы.

Мы имеем здесь дело не с человеческой, а с божественной повторяемостью, каковая — повторяемость то есть — для Бога, как говорит Калассо, есть знак величия и, я бы добавил, дееспособности.

Книга Калассо не является ни сводом мифов, ни попыткой соорудить собственную вселенную.

Она не набор фактов и не вымысел. Она не пытается одомашнить непостижимое для массового потребления. И это не эссеистическая фантазия в континентальном духе на тему культурной ностальгии. И при всех ее плезирах это не texte.

Она не продукт какой-то эзотерической философии и не стилистическое бегство от умственной пошлости настоящего в интеллектуальное кокетство.

(Абсолютно свободная книга. Очищенная, я бы сказал, от любого жаргона — фрейдистского, структуралистского, деконструктивистского, какого угодно, хотя это самый жалкий комплимент, каким ее можно удостоить.)

"Брак Кадма и Гармонии" — книга об этимологии и морфологии существования, потому что в этом, по-видимому, и заключается мифология.

Комментарий к мифологии. Таким образом, эта книга является комментарием к двум основным принципам человеческого существования — необходимости и случайности, к их взаимодействию и источнику.

Взгляд на античную Грецию как на детство человечества примерно так же идиотичен, как взгляд на настоящее как на зрелость человечества. Греческая мифология не наивный, не анимистический, не пантеистический вариант Вселенной, но наиболее здравое из доступных представлений о ткани существования, с ее дырами, пятнами и каймой, теряющейся в темноте.

Книга Роберто Калассо не столько попытка разгладить морщины на этой ткани или отстирать ее, сколько острое — временами беспощадное — исследование этих дыр, пятен и особенно каймы, ибо темнота — тоже ткань, другая.

© 1988 Adelphi Edizioni S. P. A. Milano
© the Estate of Joseph Brodsky, 2003
© Е. Касаткина. Перевод, 2003
Редакция приносит свою благодарность автору, безвозмездно предоставившему право на публикацию.

1. Эта речь была произнесена Иосифом Бродским 26 марта 1993 года в Итальянском институте культуры в Нью-Йорке по случаю выхода американского издания книги Роберто Калассо "Брак Кадма и Гармонии".

Жизнь, как однажды заметила Сьюзен Сонтаг, — это кинофильм; смерть — фотография. В контексте такой метафоры мифология, как и сама теогония, может быть легко уподоблена телевидению, особенно учитывая явные антропоморфные качели, действующие в обоих.

Масштаб и параметры, конечно, совершенно разные; но самопроекция есть самопроекция. Кроме того, местонахождением обоих является либо дом, либо, точнее, сознание. Алтарь, так сказать, — ящик. Жертвоприношение можно рассматривать как дистанционное управление. У горы Олимп было двенадцать каналов.

Но сходство имеет пределы; фактически оно кончается раньше. Ибо мифология, будь она самопроекцией человека на бесконечность или наоборот, прежде всего есть поиск причинности.

Если же говорить о системах причинности, то мифология оправдывается гораздо лучше, чем что-либо еще из имеющегося в наличии, поскольку ее превосходство — в открытом финале и потому что ее главный структурный мотив — не прямая линия и не спираль, но зигзаг.

Очевидно, у греков был колоссальный метафизический интерес — интерес к бесконечному, который помог им осознать, что рациональность речи не гарантирует рациональности темы.

Я думаю, интуитивно они заключили, что прямолинейное мышление приводит к сужению перспективы, а заодно и экзистенциального выбора. Убежденность Аристотеля и Анаксимандра в ограниченности познания — не что иное, как эхо этого заключения.

В этом смысле, выводить возникновение нашей Вселенной из большого взрыва или происхождение нашего вида от обезьяны или амебы — тоже сужение перспективы.

Даже при наличии надлежащих приборов греки не пришли бы к таким выводам хотя бы потому, что выводы такого рода не представляли для них никакой важности.

Там, где мы видим конец линии, они видели или искали продолжение. Отсюда взаимодействие их небожителей со смертными, которое можно было бы назвать хтонической экспансией; отсюда и склонность этих небожителей к отстранению, то есть их космическая экспансия.

Странная, почти устрашающая черта книги Калассо состоит в том, что ее автор, по-видимому, больше заинтересован и больше уверен в космическом, нежели в хтоническом. То есть он больше сосредоточен на бесконечном, нежели на конечном. Как если бы его сознание было больше подвержено тяге, направленной от земли, а не к земле.

Он, конечно, мог бы возразить, что и сам Зевс редко имел дело со своим братом Аидом, разве что, когда последний решил взять в жены Персефону. Я принимаю этот довод. И тем не менее легкость и находчивость, с которыми Р. Калассо при малейшем оживлении готов занять позицию предельной, непроницаемой отстраненности, почти пугают.

Но тут он следует за богами; и что нас пугает, то для богов — освобождение. Ибо насколько они любят смертных, настолько они лелеют свою свободу. Возможно, главное в богах то, что их чувственность под стать их крайней отстраненности.

Книга эта, безусловно, и о том, и о другом. Она о взаимодействии смертных и бессмертных. Точнее — о взаимодействии бесконечного с конечным. Именно так греки думали о своей жизни, и эта книга свертывает время и помещает нас в их среду.

Странно, что в их окружении мы чувствуем себя уютно. В значительной степени потому, что природа человеческой ситуации и предприятий существенно не изменилась. Однако дело еще и в авторе, у нас в высшей степени осведомленный проводник — Вергилий своего рода, — если учесть, что и он позаимствовал замысел у Гомера.

Хотя бы потому, что эта книга имеет дело с тем, что мы привыкли считать

прошлым, за ней определенно — будущее. Но мифология — не прошлое. Мифология — подобно смыслу жизни — бежит истории, а писатель распахивает дверь истории, чтобы ее догнать.

Греки приняли бы Р. Калассо за своего. Не только потому, что stessa faccia, stessa rassa[1], как говорят итальянцы: но как за своих они приняли бы Овидия или Нонна — тех, благодаря кому их цивилизация простерлась за пределы своей истории.

Итак, что же это — продукт средиземноморского гения? Гения, безусловно. И все это Калассо собственной персоной, если, конечно, не предположить, что в него вселился один из богов — скажем, Аполлон, — дабы порассказать об их внутренних делах: и в самом деле, порой нам слышится здесь крайне доверительный, но в то же время чрезвычайно надличный тон, который не свойствен ни одному из нас и не является результатом перевода.

Нет, он не от переводчика. Тим Паркс, превосходный английский романист, лучший, говоря откровенно, среди современных беллетристов, выполнил эту работу абсолютно блистательно. Так что поневоле мы вынуждены приписать этот тембр уникальному таланту Роберто Калассо, который к концу нашего тысячелетия впустил в себя "одного из их богов" и дал голосу олимпийца слиться со своим собственным, став глашатаем этого бога или пантеона.

Я пользуюсь этим выражением — "один из их богов", — потому что так называется стихотворение К. Кавафиса, в котором он говорит, как распознать бога в толпе — поскольку боги имеют обыкновение смешиваться со смертными. И хотя бог может быть облачен во что-то совершенно незатейливое, есть говорящий знак, пишет Кавафис, — "в его глазах радость знания, что он бессмертен".

К этому следует добавить, что голос его не громоподобен, а являет собой обыкновенно смесь доверительного и безличного; что он не объясняет миф, но скорее предоставляет мифам объяснять жизнь; он говорит вам, что бесконечность и конечность связаны каким-то чрезвычайно сложным образом — подобно, может быть, молекулам или самим словам.

Когда вы встретите кого-то, кто отвечает этим характеристикам, вам лучше отступить и пропустить его, ибо он может оказаться богом.

Или же перед вами Роберто Калассо. А если недостает одной из характеристик, тогда вы имеете дело всего лишь с героем, — скажем, с Ахиллом или Гераклом.

В любом случае я предлагаю попристальней вглядеться в автора этой книги, ибо он, мне думается, менее смертен, чем большинство из нас. Его книга безусловно такова.

На странице 102 в ней есть слова, которые отлично могли бы составить ее эпиграф. Описывая состояние гомеровского героя, Калассо говорит: "Прежде, чем пробил час, он сумел постичь предметы разрозненные и завершенные в себе, как если бы они были вырезаны из неба космическими ножницами и выброшены на свет, от которого некуда деться".

С логикой, присущей метаморфозе, это описание оборачивается автопортретом Калассо или, если угодно, его книги.

Иосиф Бродский
*Нью-Йорк, март 1993*

*Перевод с английского*
Е. Касаткиной

1. Одного поля ягода (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Это никогда не случалось, но есть всегда.
Салюстий. *О богах и о мире*



## I

На берегу Сидона бык пытался воспроизвести любовное токование. Это был Зевс. Он дрожал, будто его жалили оводы. Но на сей раз дрожь была сладкой. Эрос водружал ему на спину деву Европу. Потом белый зверь бросился в воду и поплыл, высоко поднимая мощное тело, дабы дева не намокла. Тому было немало свидетелей. Тритон в ответ на любовное мычание затрубил в раковину. Трепеща, Европа ухватилась за длинный бычий рог. Борей тоже видел, как они рассекали волны. Озорник и ревнивец, он завистливо присвистнул при виде девичьих грудей, оголенных его дыханием. Афина зарделась, глядя сверху на оседланного девой отца. Моряк-ахеец тоже видел их и побледнел. Может, это Фетида, пожелавшая увидеть небо? Или нереида, приодевшаяся для разнообразия? Или похитил очередную девицу обманщик Посейдон?

А между тем Европа не видела конца этой безумной переправе. Но догадывалась, что ее ждет, как только они ступят на землю. И крикнула ветру и воде: "Скажите моему родителю, что Европа покинула отчую землю на спине быка, ее похитителя и морехода, что в будущем, видно, разделит с ней ложе. Матери же, прошу, отдайте эти бусы". Она собралась кликнуть и Борея, чтобы унес ее на крыльях, как он унес свою невесту, афинянку Оритию. Но прикусила язык: к чему менять одного похитителя на другого?

Но как же все началось? Девушки, играя, собирали цветы вдоль реки. Всякий раз при виде подобной сцены боги не могли устоять. Персефона была похищена, когда "в сонме подруг полногрудых... играла"[1] и собирала розы, крокусы, фиалки, ирисы, гиацинты, нарциссы. Прежде всего нарциссы, "цветок благовонный, ярко блистающий, диво на вид для богов и для смертных"[1]. Талию, игравшую в мяч на склоне горы среди цветов, Зевс, приняв облик орла, подхватил когтями. Креуса почувствовала, как сдавил ее запястья Аполлон, когда собирала цветы шафрана у подножия афинского Акрополя. Так и Европа с подругами собирала нарциссы, гиацинты, фиалки, розы, тмин.

Вдруг их окружило стадо быков. Среди быков один — ослепительно белый, с рожками, сияющими как драгоценные камни. В его облике не было никакой угрозы. Так что смущенная поначалу Европа поднесла цветы к его белоснежной морде. Как собачонка, бык взвизгнул от удовольствия и повалился на траву, подставляя рожки венку. Царевна, наподобие амазонки, отважилась влезть ему на спину. Тогда стадо потихоньку двинулось от сухого ложа реки к берегу моря. С напускной осторожностью бык приблизился к воде. Мгновение — и вот уже белый зверь рассекает волны с Европой на спине. Она оглядывается назад: правая рука держится за рог, левая — упирается в зверя. Ветер развевает ее одежды.

Но как же все началось? Европа, спавшая в своей комнате на втором этаже царского дворца, увидела на рассвете странный сон: она меж двух женщин, одна — Азия, другая, стоящая напротив, — безымянная. Две женщины яростно за нее сражаются. Каждая хочет заполучить ее. Азия походила на соотечественниц Европы; другая была совсем чужой. И чужая в конце концов властной рукой потащила ее прочь. "По воле Зевса, — сказала она, — азиатка Европа должна быть похищена чужестранкой". Сон был таким ярким, будто все случилось наяву. Европа проснулась в испу-

1. Гомеровы гимны к Деметре. 5. Перевод В. Вересаева.

1. Там же. 10—11.

ге и долго молча сидела на постели. А потом как всегда пошла гулять с подругами. В устье реки среди роз возле шумного моря она бродила с золотой корзиной в руке.

На лугу показался бык светлой масти с белым пятном на лбу. От него исходил аромат, заглушавший запах цветов. Он остановился перед Европой и лизнул ее в шею. Она гладила его и вытирала пену, облепившую ему губы. Бык опустился перед ней на колени, подставил спину. И когда она вскарабкалась, бросился к морю. Европа в ужасе оглядывалась на берег, звала подруг, махала рукой. Потом, уже среди волн, ухватилась одной рукой за рог, а другой сжала высоко на груди край туники. А позади нее туника развевалась пурпурным парусом.

Но как же все началось? Европа прогуливалась с подругами, со сверкающей золотой корзиной в руке. Ее сделал Гефест за два поколения до этих событий в дар Ливии. А Ливия подарила ее дочери Телефассе, а Телефасса отдала своей дочери Европе. Это был родовой талисман. Золотая чеканка, на которой одинокая корова будто плавала в море эмали. Два таинственных человека наблюдают за ней с берега. Позолоченный Зевс слегка касается рукой бронзового тела коровы. На заднем плане — серебряный Нил. Корова эта — Ио, прапрабабка Европы. Со своей историей метаморфоз и похищений.

Мучимая оводом, она пересекла все моря в вечно томительном своем скитании. Одному из морей возле Италии она подарила свое имя. Любовь Зевса принесла ей безумие и несчастье. Все началось с неких странных снов, когда Ио была жрицей в Герайоне, что рядом с Аргосом, самом древнем среди храмов, в месте, задавшем меру времени: греки долго вели счет годам по сменяемости жриц в Герайоне. Сны нашептывали Ио о страстной любви Зевса и внушали ей отправиться на луга Лерны, где паслись быки и бараны ее отца. Более не жрицей, посвятившей себя богине, а бестией, предназначенной богу, вроде тех, что свободно бродят вокруг храмов: того хотели сны. И они сбылись. Однажды храм раздвинулся до целого мира, до его бескрайних морей, которые она пересекала без передышки, вечно гонимая ужасным оводом. И чем огромней был горизонт вокруг, тем назойливей становилось преследование. Когда ей встретился другой страстотерпец, Прометей, она мечтала лишь о смерти и не сознавала, что подле нее страдалец, как и она, потерявший надежду умереть. Но, как и Прометей, Ио освободилась от наваждения. Однажды, когда она достигла берегов Египта, Зевс коснулся ее рукой. И обезумевшая телка вновь стала девой и сошлась с богом. В память о том миге назвала она сына Эпафом, что означает "легкое прикосновение руки". Эпаф стал царем Египта, и поговаривали, что он и есть бык Апис.

Спускаясь к цветущим лугам у моря, Европа держала в руке свою судьбу, отлитую в драгоценных металлах. Мелодия ее судьбы была обращением мелодии судьбы ее прапрабабки Ио. Бык увлек ее из Азии в ту землю, которую назовут Европой, как годами раньше отчаянное морское странствие коровы, пасшейся на лугах Греции, завершилось в Египте легким прикосновением десницы Зевса. И однажды в подарок деве Европе достанется золотая корзина. Она рассеянно держит ее в руке.

Но как же все началось? Если нам нужна история, то это история раздоров. И раздор пошел с умыкания девы, или с принесения девы в жертву. Одно непрерывно переходит в другое. "Купцы-волки"[1], прибывшие на корабле из Финикии, похитили в Аргосе tauropárthenos, "деву, посвященную быку", по имени Ио. Как сигнальные огни на горах, вспыхнул от этого пожар ненависти между двумя континентами. С тех пор Европа и Азия непрерывно сражаются, удар следует за ударом. Так критяне, "кабаны с Иды"[2], похитили деву Европу у Азии. Они вернулись домой на корабле в форме быка. И отдали Европу в жены своему царю Астерию. Один из внуков Европы будет носить то же небесное имя: этот юноша с головой быка будет жить в глубине лабиринта, дожидаясь очередной жертвы. Чаще его зовут Минотавром.

1. Ликофрон. Александра. 1293.
2. Там же. 1297.

Но как же все началось? По прибытии в Аргос финикийские купцы пять или шесть дней торговали товарами, привезенными с Красного моря, из Египта и Ассирии. Корабль стоял на якоре, а на берегу местные жители глазели, щупали, приценивались к чужеземным предметам. Последние товары еще не были проданы, когда приблизилась стайка девушек, и с ними царская дочь Ио. Торговля шла своим ходом. Как вдруг купцы бросились на девушек. Некоторым удалось бежать. Но Ио и еще нескольких похитили. Именно на это похищение ответили критяне, умыкнув дочь финикийского царя Европу. Сами финикийцы, правда, придерживаются другой версии: Ио завела шашни с капитаном заморского судна. Забеременела и стыдилась этого, так что решила уплыть с финикийцами.

Из этих событий родилась история: похищение Елены, Троянская война, а еще раньше поход аргонавтов и похищение Медеи — все это звенья одной цепи. Призыв к оружию раздавался то в Азии, то в Европе, и каждый клич из-за одной женщины — и с ней толпа грабителей плывет от одного берега к другому. Но Геродот отметил разницу между двумя сторонами: "...персы думают, что похищать жен пристало несправедливцам, стараться мстить за похищенных — безумцам, благоразумные же люди оставляют сие без внимания, ибо ясно, что если бы женщины сами не хотели, их бы не похитили"[1]. А греки ведут себя отнюдь не благоразумно: "...эллины же ради своей лакедемонянки собрали великий поход и, пришед с ним в Азию, разрушили державу Приама"[2]. С тех пор война между Европой и Азией не прекращалась.

Они пристали к большому острову, но не остановились. А затерялись в холмах. Только у Гортины под раскидистым платаном они сошлись, Зевс и Европа. Зевс обернулся орлом. А потом исчез. Но оставил возлюбленной стража. В знойной тишине до Европы доносилось цоканье бронзовых копыт. Кто-то скакал не останавливаясь. Это было одно из порождений нимфы ясеня — механизм или существо из другой эпохи. И то и другое: Талос, еще один бык, бык-страж, часовой острова; или же, как говорили иные, механический гигант, сооруженный Гефестом. На теле его выступала только одна жила, протянувшаяся от шеи до копыт — или до лодыжек. И в ней бронзовый гвоздь удерживал поток крови, заставляя ее вскипать внутри. В этом гвозде содержался секрет его жизни и секрет утраченного мастерства. Талос скакал вокруг острова и швырял камнями: главным образом, в пустоту или в приближающихся чужестранцев. В сидонском дворце Европа просыпалась и слышала голоса подруг, в сопровождении которых спускалась к морю; здесь же, просыпаясь, она слышала тишину и в глубине ее — отдаленный звук, который становился оглушающим. Но никого не видела. Она знала, что Талос продолжает обегать берега большого острова — Крит, Европа.

Ио, Телефасса, Европа, Аргиопа, Пасифая, Ариадна, Федра. Имена эти вызывают в воображении широкий, чистый, сияющий лик, светящий издалека, светящий всем, как луна. "Бледные громадные фигуры, чудовищные, одинокие, мрачные, опустошенные, роковые таинственные возлюбленные, обреченные на титанический позор. Что будет с вами? Какой будет ваша судьба? Где смогут укрыться ваши пугающие страсти? Сколько содрогания и жалости вызываете вы, какую безмерную, пронзительную печаль пробуждаете в человеческом существе, призванном созерцать столько позора и ужаса, столько преступлений и столько несчастья"[1], — писал Гюстав Моро.

Диодор Сицилийский: "Самым же значительным доказательством того, что почести, жертвоприношения и обряды мистерий были заимствованы другими народами с Крита, считают следующее. Обряд, совершаемый афинянами в Элевсине, который, по-

1. Геродот. История. I, 4, 2. Перевод И. Мартынова в переработке М. Гаспарова.
2. Там же. I, 4, 3.

1. Г. Моро. Пасифая.

жалуй, является самым торжественным, а также обряд на Самофракии и во Фракии в области киконов[1], откуда был и обучивший [этому обряду] Орфей, передаются как мистерии, тогда как в Кноссе на Крите эти обряды передаются в соответствии с установленным обычаем открыто с древних времен, причем то, что в других местах передается как таинство, здесь совершенно не утаивают от желающих ознакомиться с ним"[2].

Тайное на Крите было явным, и никто не пытался скрывать его. Таинства, что на каждом шагу мы встречаем в Аттике, здесь оставались доступными для всех. Но в этом не было ничего вызывающего. Крит со своей сотней городов без единой крепостной стены казался огромной игрушкой. Только цунами или случайные грабители с моря могли сокрушить его, но не нахрап цивилизации, которая в стремлении к самопознанию роет себе могилу.

Спустя несколько тысячелетий какой-нибудь славный морфолог цивилизации, обследуя остров, будет обескуражен, поскольку среди множества находок ему не удастся заметить и намека на историческое, политическое или хотя бы биографическое сознание, которое всегда преобладало в Египте. Для человека, ищущего признаков великой цивилизации, в Крите есть что-то детское, невнятное, несуразное.

В табличках с линейным письмом Б[3] встречается много имен богов: примерно половина продолжала жизнь в виде олимпийцев, другая же половина исчезла. О ней мы ничего не знаем: одни лишь неведомые имена, всплывающие рядом с именами Зевса, Посейдона, Геры. Как будто олимпийцы были гораздо многочисленней когда-то и привели с собой тени своих исчезнувших братьев и сестер.

Крит: пронумерованные горшки с зерном на складах, печати с фантастическими зверями, хрупкие фрески, резьба по слоновой кости, списки приношений, мед, гравированные маковые коробочки, букрании[1] и секиры. Колонны из кипарисового дерева, дворцы с лестницами, пронизанные столбами света, безымянные надгробия. Сваленные в кучу крошечные божки — не статуэтки, не дублеты в камне. Ничего от божественной вертикали, не хватает галлюцинаторного присутствия камня, поставленного стоймя.

Истории никогда не живут поодиночке: они ветви семьи, судьбу которой мы вычитываем и в прошлом, и в грядущем. В самозабвении морского странствия Европы на спине белого быка заложены еще неосуществившиеся возможности — судьбы ее внучек, спятивших от любви, удавившихся от стыда и отчаяния Федры и Ариадны. И среди небесных корней этого древа историй мы находим скитание обезумевшей коровы, их прапрабабки Ио, которая, в свою очередь, несет в себе образ другой ошалевшей коровы — матери Федры и Ариадны, Пасифаи. Она тоже удавилась от стыда.

Со скалы Ариадна видела Федру на качелях. Погруженная в свои мысли, она ждала. Две молодые кносские царевны. Дочери Миноса и Пасифаи. У них уйма братьев и сестер. И даже единоутробный брат Астерий с головой быка. Отцом его был большой белый бык, в которого влюбилась Пасифая. Астерий был упрятан в здание, выстроенное беглым афинским умельцем, о котором говорили, будто он кого-то убил. Поистине, это крытое сооружение было довольно

1. Киконы — фракийский народ, фигурирующий в греческих преданиях. К ним раньше всего прибыл Одиссей на обратном пути из-под Трои.
2. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. V, 77, 3. Перевод О. Цыбенко.
3. Условное название надписей на глиняных табличках, сделанных в крито-микенский период. Подобная система письма обнаружена на о. Крит и на территории материковой Греции и датируется XV–XIII вв. до н. э. Язык надписей является древним диалектом греческого языка. Надписи дешифрованы в 1952 г. английским ученым М. Вентрисом.

1. Орнамент в виде фронтальных изображений бычьих черепов. Мотив, часто украшавший фризы античных храмов. Вероятно, являлся намеком на совершаемые в храме жертвоприношения.

странным. Царевны уже знали о лабиринте, но для чужих глаз это была площадка для танцев. Они не догадывались — никто им не сказал, — что, когда их отец Минос отправился завоевывать континент и критянам пришлось слишком тесно общаться с греками, настало время скрывать свои тайны и, наконец, стыдиться их. Афинянин Дедал построил на Крите здание, камень которого скрывал и тайну (рисунок танца) и позор (Астерия, Минотавра). С тех пор тайна — это еще и нечто стыдное, чего положено стесняться.

Эта перемена, в свою очередь, зависела от развития событий в истории метаморфоз. Формы проявляли себя постольку, поскольку они видоизменялись. И каждая форма была совершенно отчетлива, пока оставалась собой. Но все знали, что спустя мгновение она может смениться другой. При Европе и Ио еще действовала маска воплощений. Мычащий бык и обезумевшая корова однажды возвращаются в обличье бога и девы. С поколениями метаморфоза становится сложнее, и все очевидней обнажается роковая природа реальности — ее необратимость. Уже Пасифая должна притаиться внутри деревянной коровы, большой игрушки на колесах. И толкать ее до лугов Гортины, где пасется желанный бык. От их союза рождается создание, которое никогда не сможет стать ни зверем, ни человеком. Навсегда гибрид. И как искусный строитель изобрел бездушный предмет, чтобы позволить матери любить быка, так же он должен будет изобрести лабиринт, чтобы укрыть сына. Минотавра убьют, Пасифая умрет затворницей, в позоре. Уже не было доступа к прежним формам, и возврат к ним был невозможен. Метаморфоза еще царит, но отныне, когда маска воплощений истрепана и прорвана, нужно изобретать предметы и порождать монстров.

"На Крите было принято, чтобы и женщины смотрели игры, и Ариадну потрясла наружность Тесея и восхитила его победа над всеми соперниками"[1]. Как только Ариадна остановила свой взгляд на чужестранце, Крит кончился. Прежде чем бросили ее, Ариадна пожелала бросить свой остров.

Дионис ухаживает за ней, потом обвиняет, потом убивает ее, потом вновь обретает и превращает в созвездие Северной Короны — Corona Borealis. Но это уже другой Дионис, не тот, которого она знала в детстве. Он тогда и не звался Дионисом. Он был Быком — тотальным Быком, который спускается с неба, как Зевс, поднимается из воды, как Посейдон, пасется под платанами Гортины. Он проникал повсюду — он был в меде и крови приношений, он был в загнутых рожках по краям алтаря, в букраниях, украшающих стены дворцов. Кудрявые юноши в набедренных повязках на бегу хватали его за рога. С самого начала Бык постоянно следует за Ариадной, сопровождает ее, присматривает за ней.

Теперь Бык уступает место афинскому герою. Они кажутся врагами, но с легкостью сменяют друг друга. Сцена уже готова. Больше никаких историй с чудовищами, только сомнительные похождения ожидают Ариадну. Никакого царского дворца из детства, а портики и площадь, где коварные и суровые мужчины при первой возможности всаживают друг другу меч в спину, где слово, служившее на Крите для подсчета припасов на складах, становится высочайшим, волнующим, почтенным. Всего этого Ариадна уже не узна́ет: она остановилась на полпути, на другом острове, диком и скалистом. Она смежила веки, чтобы никогда больше не увидеть того бога и того мужчину, которые по природе своей только и умеют, что появляться и исчезать.

Обычай олимпийцев — похищать девушек — Тесей превратил в человеческий порок. Каждая его экспедиция отмечена похищением женщины, будь то критянка Ариадна с юга или амазонка Антиопа с севера. В этом всегда было что-то от спорта, что-то дерзкое примешивалось к его предприятиям. И некоторые заканчивались не слишком благородно, поскольку Тесей спешил освободиться от едва завоеванных трофеев, чтобы перейти к завоеванию других. В пятьдесят лет он похитил Елену, когда

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей. 19, 6. Перевод С. Маркиша.

она плясала в храме Артемиды Ортии. В этом похищении ему помогал единственный человек, которому он был верен до конца, — его друг Пиритой.

Они встретились как противники и должны были уничтожить друг друга. Но увидав соперника перед поединком, каждый восхитился красотою и отвагой другого. С тех пор они были неразлучны в своих похождениях. И никогда Тесей не был так счастлив, как с Пиритоем, изобретая озорные вылазки, осуществляя их, рассказывая о них после. Они повидали мир и знали его, вдвоем убивали они мифических зверей и умыкали царских дочек. Ничто не смогло бы разлучить их, и уж конечно не женщина.

Однажды Пиритой почувствовал себя одиноким: недавно он потерял свою жену Гипподамию. Он решил навестить Тесея и отправился в Афины. И вдовца встретил другой вдовец: Федра удавилась. Как всегда, они не могут наговориться и вскоре принимаются обсуждать новые затеи. "В Спарте есть девчонка, ей десять лет, — говорит Пиритой, — и она красивее любой женщины. Ее зовут Елена. Почему бы ее не похитить?" Завладев Еленой, они бросили жребий, кому она достанется. Жребий выпал Тесею.

И как-то по ходу одного из только им понятных разговоров, которые радовали их больше всего в жизни (ни женщины, ни само приключение на поверку так их не захватывали), они решили, что вдоволь настранствовались по земле и пора бы заглянуть в подземное царство. Если они похищали земных царевен, почему бы им теперь не заняться подземными царицами? Кто дурачил царство живых, разве не сможет обвести вокруг пальца царство мертвых? Так Пиритой и Тесей спустились в Аид, чтобы похитить его царицу.

Именно Тесею не сидится на месте. Даже Елена, эта счастливая пленница, не может удержать его. Похитители еще опасаются возмездия, и самые сильные из их друзей смыкают ряды, чтобы отстоять Елену. Но Пиритою пришла идея спуститься еще ниже по Пелопоннесу — к мысу Тенар, где открывается вход в Аид, и похитить самую могущественную из цариц. Тесей отправляется с ним. На сей раз речь идет не о похищении двенадцатилетней (или ей было десять?) плясуньи из храма Артемиды и не о том, чтобы научиться танцу лабиринта у восхитительной девы. Теперь затея была опаснее: "...те госпожу увести из покоев Дита хотели"[1].

Наказание, которое владыка мертвых приберег для Тесея за его дерзость, — изощренное и глумливое. Аид учтиво принимает их. Выслушивает, усаживает на золотой трон, вырубленный в скале. Но невидимая сила пригвождает друзей к этому трону. И не могут они больше подняться. Пиритой, "тот, кто бродит по кругу", и Тесей-похититель должны позабыть самих себя, сидя в царстве мертвых. Когда Геракл вызволит Тесея, силой отодрав его от этого трона, на сиденье останутся лоскуты мяса. Поэтому, говорят, у афинских юношей маленькие и тощие ягодицы.

Окрестности Афин, еще до того как они стали называться Афинами, кишели разбойниками и зверями, которые нападали на путешественников и мучили их. Однажды глашатай с моря принес весть, что некий юноша прошел этим путем и всех разогнал: Синида и Фэю, Скирона, Керкиона, Прокруста и многих других. "Но как выглядит этот юноша?" — спрашивали люди. У него был меч с рукоятью слоновой кости и по сверкающему копью в каждой руке. Спартанская шапка покрывала его рыжеватые кудри. Под плащом фессалийской шерсти — пурпурная мантия всполохом на груди. Яростным огнем горели его глаза.

Тесей коротко стриг волосы спереди — чтобы никто не мог ухватиться за них в бою, говорил он, — а длинные сзади заплетал. Кудри, спадавшие на лоб, он посвятил Аполлону Дельфийскому. Когда он впервые появился в окрестностях Афин, ему было шестнадцать лет. На нем был ионийский хитон, волосы заплетены в косу. Рабочие, возводившие храм Аполлону Дельфийскому — не хвата-

1. Вергилий. Энеида. VI, 397. Перевод С. Ошерова. Под ред. Ф. Петровского.

ло лишь крыши, — насмехались над ним. Что за девица на выданье бродит под Акрополем без провожатых? Тесей ничего им не ответил. Он подошел к повозке, запряженной быком, выпряг животное и подбросил его вверх. Бык взлетел выше еще не достроенной крыши храма. Впервые Тесей столкнулся с быком.

Но скольких еще ему предстояло увидеть! Минотавр на Крите, чье человечье тело он пронзит мечом. Марафонский бык, захваченный им на радость афинянам. Бык, поднявшийся из моря, принесет смерть его сыну Ипполиту. И еще множество других случаев, менее известных, когда ему придется иметь дело с быком. Их отношения были такими тесными, что на монеты, которые впервые стали чеканить в его городе, священных Афинах, он поместил бычью голову. Название городу тоже дал он.

Есть что-то кощунственное в поведении Тесея, какая-то неистребимая дерзость, предвосхищающая Алкивиадову. Когда Тесей с другом Пиритоем спускается в преисподнюю, чтобы похитить Персефону — приключение вполне пародийное, — на ум приходит Алкивиад, которого хулители обвиняли в том, что он отправляет мистериальные культы с гетерами и бродягами. И как Алкивиад впоследствии с большой помпой возглавит процессию по священной дороге в Элевсин, так и Тесей руководил таинствами в своем городе. Они играли с тайнами, поскольку знали их, владели ими с рождения.

Тесей покидает Ариадну не по какой-то причине и не ради другой женщины, но потому что на минуту — а такой минутой может быть любая — забывает о ней. А рассеянность Тесея означает утрату кого-то. Ариадна помогла чужеземцу убить единоутробного брата с головой быка, покинула родительский дворец и готова, как служанка, мыть Тесею ноги в Афинах. Но Тесей позабыл о ней, он уже думает о другом. И место, где останется Ариадна, станет раз и навсегда пейзажем покинутой любви. Тесей жесток не потому, что бросает Ариадну. В жестокости такого рода он не отличался бы от многих. Нет, Тесей жесток, потому что бросает Ариадну на острове Наксос. Нет больше дома, где она родилась, ни тем более дома, где рассчитывала быть принятой, и ничего между ними. Лишь берег, в который с грохотом бьются волны, абстрактное место, где движутся только водоросли. Остров, на котором никто не живет. Место, где наваждение ходит по кругу и не может с него соскочить. Всюду проступает смерть. Место, где живет душа.

С тела покинутой Ариадны одна за другой спадают одежды. И это — сцена траура. Неподвижная, как статуя вакханки, едва проснувшись, дочь Миноса смотрит вдаль, в вечное отсутствие, туда, где уже исчез быстрый корабль Тесея. И ум ее волнуется, как море. Соскальзывает узкая лента, что держала светлые волосы, спадает пеплос, обнажая белые груди, не поддерживаемые больше поясом. Одна за другой одежды, в которых она навсегда уехала с Крита, падают к ее ногам. В песке и водорослях ими играют волны.

Пока нагая Ариадна вглядывается в пустую даль и думает, как хотелось бы ей оказаться в Афинах невестой Тесея и стелить ему ложе, хоть сама она в него и не ляжет, и служить другой, которая это ложе с Тесеем разделит, и подносить Тесею воду в кувшине, чтобы мог он вымыть руки после пира, — пока она перебирает в уме мельчайшие проявления преданности, какую она хотела бы выказать сгинувшему возлюбленному, у нее мелькает новая мысль: а что, если другая женщина испытывала схожие чувства? и ее преданность, ее самозабвение не уникальны, как нравилось ей думать поначалу? И кто была эта другая? Бесстыдная царица, ее мать, "вся светящаяся" Пасифая? Она ведь тоже, запертая внутри деревянной коровы, раскрашенной игрушки на колесах, неуклюжей и громоздкой, была согласна прислуживать любому пастуху. Вью сгибала, чтоб на нее надели ярмо, лепетала слова любви тупому быку, жующему траву. Укрывшись в душной темноте, пахнущей деревом, она хотела слышать лишь мычание белого быка, и звук пастушьей дудки раздражал ее.

Другая мысль как следствие предыдущей приходит в голову Ариадне:

а что, если она, Ариадна, всего лишь повторила страсть своей матери, Пасифаи? Если она — Пасифая, тогда Тесей — бык. Но Тесей убил быка, ее брата, и убил с ее помощью. Значит, она помогла Тесею убить самого себя? Или единственными убиенными в этой истории были они: удавившаяся Пасифая, сама Ариадна, готовая удавиться, и ее сестра Федра, которая однажды тоже удавится? Быки же и их победители напротив, кажется, непрерывно меняются местами, как будто убивать и быть убитыми для них равносильно одеванию и раздеванию. Бык не знал вертикальной смерти от веревки, поднимающей тебя над землей.

Когда эмалево-синий нос афинского корабля пристал к берегу Крита, когда Тесей не позволил царю Миносу по обыкновению добраться до одной из афинских девушек, когда во время игр Тесей посрамил ненавистного могучего главного Быка, который до сих пор всех одолевал, Ариадна подумала, что, возможно, этот непочтительный чужестранец сумеет разорвать порочный бычий круг, в который заключена ее семья. И тогда она предает божественного быка, который ослепил ее в пещере, она предает быка-брата, предает мать, помешавшуюся на быке, предает отца, который пожалел принести в жертву белого быка, вышедшего из моря, и отправил его на пастбище, поскольку для заклания тот был слишком красив. После всех этих предательств она обнаруживает, что Тесей бросил ее на пустом берегу. Но от быка уйти ей так и не удалось.

Когда появляется Дионис, лживый и обольстительный, слишком пунктуальный и слишком жизнерадостный, Ариадна чувствует, что каким-то образом Тесей и Дионис отнюдь не соперники, а сообщники. Шумом флейт и тамбуринов Дионис отгоняет эти мысли. Ариадна ослеплена божественной славой, которую ей предлагает Дионис. Ее невидимая ухмылка обращена к Тесею, поскольку слава эта — следствие его вероломства. Она познала превратности жизни: если бы Тесей не нарушил клятву (ведь он поклялся Афиной, кольнуло ее воспоминание, а Афина презирает брак), Дионис не вознес бы ее до себя. Нет нужды рыдать, как поселянке, имея бога под боком. Но Дионис ни у кого под боком не задерживается. Бог — всегда временное присутствие. И Дионис со своей шумной свитой уже отправляется в сторону Индии. Ариадна опять одна.

Когда бог появляется снова, нагруженный сокровищами и рабами, Ариадна, наблюдая его торжество, перехватывает страстный взгляд, который Дионис бросает на молодую индианку, царскую дочь, замешавшуюся в толпе прочих восточных пленниц. Опять плачущая Ариадна одна на берегу, ветер треплет ее волосы. Дионис со свойственным ему легкомыслием отвлек ее от мыслей об измене одного мужчины, чтобы вскоре последовать его примеру и таким образом превратить эту напасть в систему. Наложница-индианка осквернила их брачную постель. Одна назойливая мысль терзает рыдающую Ариадну: только б Тесей никогда не узнал об этом! Что за наивность! Неужели она еще не поняла, что Дионис и Тесей не были настоящими недругами? В этих двух противоположных фигурах повторился один и тот же мужчина, который продолжал изменять ей, а она позволяла себя бросать. "Тебя я полюбила навек"[1]. Эта способность любить навек была ее проклятием, она лишала ее всякой надежды вырваться из замкнутого круга, из ее сияющего венца.

Вся история Ариадны сплетается в один венец. "Приехал мой кузен", — думает молодая кносская царевна, когда ей сообщают, что Дионис высадился на острове. Она еще ни разу не видела этого родственника — редкостного красавца, по слухам — рожденного из огня, спалившего его мать. Представший перед ней Дионис не хочет останавливаться во дворце. Он сжимает запястье Ариадны и ведет ее в одну из многочисленных критских пещер. Ослепительный блеск короны пронизывает темноту пещеры. Пылающее золото и драгоценные камни Индии. Дионис дарит корону Ариадне в память об этом их первом свидании. Корона — знак со-

1. Овидий. Фасты. III, 498. Перевод Ф. Петровского.

вершенства, "глашатай благословенного молчания"[1] — стала обручем соблазна. Но "соблазнять" по-гречески означает еще и "разрушать": phtheírein. Корона — совершенство обмана, это обман, который замыкается на себе самом, и это совершенство, включающее в себя обман.

Когда Ариадна обратила взор на красавца Тесея, она была уже не просто девой, играющей с сестрами в кносском дворце. Она была невестой бога, даже если никто не знал об их союзе. Единственным свидетелем была та самая сияющая корона. Но и Тесей поднялся из подводного царства своего отца Посейдона, держа в руке венец, сложенный из маленьких цветков яблони, с капельками воды, излучающими свет. Он отдал его Ариадне, как Дионис когда-то свою корону. И Ариадна отдала корону Диониса Тесею. С одной стороны, Тесей повторял жест бога, с другой — Ариадна изменяла богу, чтобы дать возможность чужестранцу убить Минотавра, принадлежавшего богу-быку. Свет сияющей короны ведет Тесея, когда он углубляется в темные коридоры лабиринта. На этом свету сверкает его меч, прежде чем погрузиться в тело юноши с головой быка. Итак, Ариадна усугубляет обман: она изменяет своему божественному возлюбленному и кроме того предлагает его дар любви мужчине, претендующему на его место.

Но не был ли обман уже с самого начала заложен в этом даре бога? Ариадна обманута в тот момент, когда обманывает сама: она думает, что Тесей — противоположность бога, она видит в нем мужчину, который увезет ее, свою невесту, в Афины, прочь из бычьего круга. Когда Дионис вновь появляется на Наксосе, он размахивает сияющей короной. Ариадна смотрит на нее и думает о других коронах, которые всегда предшествовали обманам. Теперь она понимает, что это все время была одна и та же корона. Теперь ее история и вправду окончена, и узница сияющей короны Ариадна навеки останется одна на небе: Северной Короной.

1. Херемон. Кентавр. 71.

Бык присутствует в критских историях от начала и до конца. В начале Минос вызывает из вод белого быка, принадлежащего Посейдону, обещая, если тот появится, принести его в жертву богу. Бык появляется, но Минос не держит слово. Бык слишком красив, он не хочет убивать его, а хочет сохранить для себя. Именно к этому быку воспылает гибельной страстью жена Миноса Пасифая.

В конце Тесей поймает Марафонского быка, и это будет тот самый критский бык, поднявшийся из моря. После утех с Пасифаей он одичал, и для его поимки Минос позвал Геракла. Герой добыл быка и вернул на континент. Долгое время бык бродил по Пелопоннесу, потом возник в Аттике. Никто не мог справиться с ним, даже Андрогей, сын Миноса, побеждавший в состязаниях всех афинян. Быка одолел в Марафоне Тесей. И отдал его своему отцу Эгею, а тот принес животное в жертву Аполлону. Между началом и концом — судьба Ариадны, целиком поместившаяся в срок, который потребовался для переадресовки жертвоприношения: от Посейдона — к Аполлону, из Крита — в Афины. Этот переход усеян жертвами. Немые обрядовые жертвы — неотъемлемая часть ритуала. Но мифу требуются и другие жертвы, те, что падают вокруг места жертвоприношения, железные опилки в магнитном поле. На алтаре из жертвы вместе с кровью вытекают истории. Так возникают герои трагедий. В критских историях это Пасифая, Минотавр, Ариадна, Федра, Минос, Ипполит и сам Эгей. По пути с Крита Тесей забывает убрать черные паруса, и Эгей кончает с собой, бросившись с акрополя. Это было последнее примечание к переадресовке жертвоприношения.

"Некоторые писатели с Наксоса тоже по-своему передают историю Ариадны. Было якобы два Миноса и две Ариадны, из коих одна сочеталась браком с Дионисом на Наксосе и родила Стафила, а другая, младшая, была похищена Тесеем; покинутая им, она прибыла на Наксос вместе со своею кормилицей Коркиной, чья могила цела поныне. Там же, на Наксосе, умерла и Ариадна, и ей оказывают почести, не похожие на те, кото-

рыми чтут первую Ариадну: в память о старшей справляют веселый и радостный праздник, когда же приносят жертвы младшей, то они отличаются характером печальным и угрюмым"[1].

Судьба Ариадны двойственна с самого начала, и обряды на Наксосе отражали эту двойственность, не сглаживая ее чередованием смертей и воскресений. Ариадна, "невеста"[2] Диониса, — единственная избранница из толпы окружающих его женщин, та, которой бог дает новое имя — Либера. Ее же он просит убить. Дионис обращается к Артемиде, всегда готовой натянуть тетиву. Он просит ее пронзить Ариадну стрелой и хочет сам при этом присутствовать. Со временем все превратится в эвфемизм. На стенах Помпей запечатлен образ любви небесной.

Фигуры мифа в отличие от персонажей романов, приговоренных к единственному поступку, проживают много жизней и претерпевают много смертей. Но в каждой жизни и в каждой смерти присутствуют все остальные, аукаясь между собой. Только когда мы осознáем внезапную увязанность несовместимого, мы сможем сказать, что переступили порог мифа. Брошенная на Наксосе Ариадна была пронзена стрелой Артемиды по приказу Диониса, недвижного свидетеля убийства; или же Ариадна удавилась на Наксосе после того, как ее бросил Тесей; или же, беременная от Тесея, она стала жертвой кораблекрушения у Кипра и умерла родами; или же на Наксос является Дионис со свитой и справляет с Ариадной божественную свадьбу, после чего она возносится на небо, где мы по сей день можем наблюдать ее среди северных созвездий; или же Дионис явился на Наксос и Ариадна стáла его спутницей во всех похождениях, его возлюбленной и воином: когда Дионис в Аргосской земле напал на Персея, вооруженная Ариадна была с ним среди стаи безýмных вакханок, но Персей потряс перед ней смертоносным ликом Медузы, и Ариадна окаменела. Там она и осталась — камнем в поле. Ни одна женщина, ни одна богиня не претерпела столько смертей, сколько Ариадна. Камень в Аргосе, умершая родами, созвездие на небе, удавленница, дева с пронзенной грудью — все это Ариадна.

Но зародилась бы эта история без овода, который был орудием мести Геры? Куда бы мы ни глянули, в деяниях героев мы встречаем немигающий и неумолимый взгляд богини, бычий глаз, который, кажется, не смыкается никогда. Уже своим именем Геракл ("слава Геры") объявляет нам, что слава — не что иное, как результат преследований Геры.

Но как же все началось? Зевс и его сестра Гера еще детьми открыли для себя тайную любовь. Наслади-лись "...первым супружеским ложем, от милых родителей тайным"[1], — говорит Гомер. Их детские ласки затянулись безмерно. "Тогда Зевс миловался [с Герой ] три сотни лет"[2]. В ушах их непрерывно раздавалось клокотание Имбраса, реки на Самосе. Между рекой и морем заключали они друг друга в объятия. И никогда не уставали. Они позабыли о мире, лежащем за этими водами, и Зевс все откладывал момент, чтоб начать править им. Спустя тысячелетия в мокром песке Имбраса был найден рельеф, который когда-то украшал деревянное ложе. На нем стоящий Зевс устремлен к Гере, ее груди обнажены, и он берет в руку ее правую грудь.

Гера — богиня ложа, она даже беспокоится, не чуждаются ли брачного ложа старик Океан и Тефида, растившие ее. Покров для нее, первый покров — pastós, тот брачный занавес, что окружал thálamos (опочивальню). На Самосе и в Пестуме остались свидетельства того, что ложе было главным предметом ее культа. Даже когда Гера обольщала Зевса на вершине Гаргар, земля взрастила по этому случаю ковер цветущих трав: "...густые, гибкие, кои богов от земли высоко подымали"[3], подобие ложа, одетого затем златым облаком, — взамен pastós. Ложе было для Геры исконным местом, площадкой детских эротических игр. В ее самом

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей. 20, 8—9. Перевод С. Маркиша.
2. Еврипид. Ипполит. 339.

1. Илиада. XIV, 296. Перевод Н. Гнедича.
2. Каллимах. Причины. II, 48.
3. Илиада. XIV, 349. Перевод Н. Гнедича.

величественном храме, Герайоне близ Аргоса, можно было видеть на жертвеннике рот Геры, любовно сомкнувшийся на воспрявшем фаллосе Зевса. Ни одна богиня, даже Афродита, не допускала подобных изображений в своем храме.

Как раз в Герайоне и берет начало история первой измены Зевса, причина всех вендетт. Для измены Гере Зевс выбирает одну из ее жриц, женщину, которая была к ней ближе всего, поскольку именно она держала ключи от святилища, — Ио. Внешностью, облачением Ио была призвана воссоздавать образ богини, которой она служила. Она была копией, пытающейся подражать статуе. Но Зевс выбрал копию, он желал минимального отличия, достаточного, чтобы нарушить порядок и породить новый смысл. Он хотел этого, потому что это было *другое*, и хотел *ее*, потому что она была копией. Чем незначительней отличие, тем чудовищней возмездие. Все остальные похождения Зевса, все остальные отмщения Геры не более чем новые повороты колеса неизбежности, которое Гера запустила однажды, чтобы наказать женщину, очень похожую на себя.

*Перевод с итальянского*
Е. Касаткиной

# "Непереводимая игра слов (*прим. перев.*)"

*Przekładaniec. A Journal of Literary Translation. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej. Kraków: Tertium*, 2000—2002

Иллюстрацией проблем, из которых вырос и которым посвящен польский журнал "Пшекладанец" ("Przekładaniec"), может послужить попытка перевести его название. "Przekładaniec" означает "слоеный пирог", но одновременно ассоциируется и со словом "przekład" ("перевод"). Как найти аналог в другом языке? "Переводные картинки"? Но что в таком случае делать с развернутой "кулинарной" метафорикой? Заданная названием игра слов — как выясняется, вовсе не столь приземленная, как могло бы показаться, — активно эксплуатировалась авторами издания при его презентации: "Нашей кухней поначалу стал переводческий семинар в Ягеллонском университете. Мы также стряпали дома. Из этой экспериментальной выпечки (несовершенство которой мы вполне осознаем — тут подгорело, там не пропеклось, где-то получилось чересчур приторно, а где-то, наоборот, пресно) и вышел один большой слоеный переводческий пирог. <...> Рецепт — даже если за ним стоит давняя традиция, сотни и тысячи удачных опытов — никак не является гарантией успеха. Изготовление вкусного слоеного пирога и в самом деле должно опираться на проверенную рецептуру, но тот ингредиент, который на поверку окажется решающим, не передается даже самым эзотерическим языком кулинарных формул. С первых мгновений, ab ovo, окруженные этой недоступной слову аурой, мы и должны взвешивать ингредиенты, измельчать орехи и цукаты, просеивать муку, взбивать белки, замешивать ароматное тесто, разогревать печку и совершать прочие магические ритуалы. Подобным образом обстоит дело и со словесным слоеным пирогом".

Итак, это первый в Польше журнал, специально посвященный вопросам литературного перевода. "Пшекладанец" выходит с 1995 года и адресован переводчикам, а также всем, кого интересуют вопросы межкультурной коммуникации.

Рабочими языками журнала стали польский и английский, с этими культурами связано и большинство материалов " Пшекладанца", тем более что журнал сотрудничает с англоязычными периодическими изданиями "Exchanges" (Лаборатория перевода, Университет штата Айова) и "In Other Words" (Британский центр литературного перевода).

В журнале публикуются и маститые, и начинающие переводчики. Больше всего, естественно, переводов с английского: произведения Ш. Хини, У. К. Уильямса, И. Боланда, Дж. Эшбери, У. Оксли, Р. Л. Кука, Д. Хоупа, Р. О'Коннела, Х. Самараса, Т. А. Кларка, Д. Максвелла, К. Пирпойнта, А. Беннетта, С. Маккейба, Э. А. По, Г. К. Честертона, Дж. Херберта, У. Б. Йейтса и многих других. Почти целый номер был посвящен ирландской литературе. Однако особое место практически в каждом выпуске занимают и переводы итальянской классики — Данте и Петрарки, хотя печатается также и итальянская поэзия

XX в. (А. Поцци, Дж. Капрони и др.) в польских переводах. Опубликованы по-польски стихи И. Бунина и О. Мандельштама.

Примечательно, что наряду с переводами на польский в " Пшекладанце" печатаются и переводы с польского (причем зачастую сделанные *не*носителями языка): это и классическая поэзия К. Ц. Норвида, и К. К. Бачиньского, погибшего в дни Варшавского восстания, и стихи современных польских поэтов: Марцина Барана, Яцека Подсядло, Марека Пенёнжека, Яцека Бачака, а также нобелевского лауреата Вислявы Шимборской.

Кроме того, "Пшекладанец — единственный в Польше журнал, который дает читателю возможность ознакомиться не только с переводами с польского и на польский, но и, например, с немецкими переводами современной англоязычной поэзии или английскими переводами современных русских поэтов (например, С. Гандлевского в переводах Фила Метреса).

Одной из самых интересных и продуктивных для исследователя "жанровых форм" представляется аналог рубрики, существующей в российской "Иностранной литературе", — "Вглубь стихотворения". Так, в разных переводах даны сонеты и фрагменты трагедий Шекспира, стихи О. Мандельштама, Р. Фроста, У. Х. Одена, Т. Харди, сонеты Данте и Джона Донна и пр.

Теоретические же проблемы, которые поднимаются на страницах журнала — в больших статьях и в кратких комментариях к переводам, — одновременно вечные, повторяющиеся и все же каждый раз требующие нового решения: как далеко переводчик может позволить себе отойти от оригинала; в каких случаях перевод превращается в самостоятельное произведение, мало напоминающее оригинал; каковы особенности поэтического перевода и возможен ли он в принципе; как передать носителю другой культуры неотделимые от языка элементы национальной ментальности; в чем заключается специфика бытования в литературном процессе оригинальных и переводных произведений; какие "конфликты" возникают при переводе на родственный язык и какие элементы оказываются "непереводимыми" при работе с далекими друг от друга грамматическими системами; как переводить классику и прочее. В этой постоянной новизне и актуальности "старых" проблем, очевидно, и заключен смысл подобного переводческого издания, что прекрасно сознавали его инициаторы. "Мы по-прежнему не верим, что достаточно вызубрить какой-нибудь рецепт, пусть даже зарекомендовавший себя наилучшим образом, — да что там, даже целую сотню рецептов, — чтобы слоеный пирог удался. В нем слишком много магического", — писала редакция журнала в первом номере "Пшекладанца".

Весьма бурные эмоции, обычно сопутствующие обсуждению художественного перевода (как известно, Набоков в статье "Искусство перевода" призывал за иные "преступления" подвергать переводчиков жесточайшим пыткам, какими в Средние века карался плагиат, а Алексей Цветков, например, назвал Пастернака "палачом Шекспира"), ощущаются и на страницах польского журнала, тем более что практически все аналитические тексты принадлежат перу самих переводчиков, для которых наука о переводе отнюдь не бесстрастный набор научных концепций.

Неизбежное обеднение текста при переводе заставляет одних называть переложение формой "этнической дискриминации", "колониализма" и даже "терроризма", других — декларировать его полную автономию относительно оригинала. В разные времена перевод объявлялся "парадоксом", "действием, противоречащим законам природы", и даже

"самым сложным явлением за всю историю Вселенной" (исходя из обреченности переводчика на неудачу, Вальтер Беньямин и вовсе утверждал, что "язык сродни мистическому откровению", а "изменения, которые вводит переводчик, дремлют уже меж строк оригинала"). Парадоксальность этого явления связана с его двойственной природой: текст перевода одновременно оригинален (создан впервые) и вторичен (относительно языка-источника). С неуловимой границей между этими двумя особенностями, их взаимопроникновением, взаимодополнением и связаны не прекращающиеся до сих пор дискуссии: каковы отношения между переводом и оригиналом, — иначе говоря, каковы в этой двусмысленной ситуации "обязательства" переводчика?

Именно проблема *обязательств* – и в самом деле выходящая за рамки лингвистики, тесно связанная с психологией и этикой, — провоцирует многих теоретиков перевода на излишне суровое морализаторство. Журнал публикует эссе "Перевод, общность, утопия" одного из таких исследователей — американского переводчика, профессора Филадельфийского университета, историка и философа перевода Лоуренса Венути, последователя Фридриха Шлейермахера, сторонника "непрозрачного", "трудного", "очужденного" перевода, — а также комментарии польской переводчицы, филолога Й. Козак "Лоуренс Венути, или О переводах адаптированных и очужденных" и "Словарь терминов Лоуренса Венути".

Изданная в 1995—2000 годах "теоретическая трилогия" Венути "Переводчик как невидимка: история перевода", "Переводческие скандалы: по направлению к этике отличия", "Исследования перевода" написана резко и полемично. С точки зрения Венути, перевод никогда не бывает обычным коммуникативным актом двух равных сторон, это "естественный и эффективный инструмент этноцентрической агрессии: <...> переводчики участвуют в легальной эксплуатации чужих текстов и культур". Возможно ли другое решение, способен ли переводчик "избежать роли конквистадора и стать на родной земле почетным консулом иноязычной культуры?" — спрашивает Й. Козак. Ответ Венути весьма категоричен: нет, невозможно, в силу природы и цели этого феномена, в котором всегда присутствуют асимметрия, неравенство, агрессия и которое есть не что иное, как "насильственное замещение языковых и культурных особенностей чужого текста текстом, внятным читателю иной культуры". Венути, вслед за Шлейермахером, стремится сделать перевод видимым, запечатлеть в нем следы чуждости исходных текстов. Исследователь не призывает, но жестко настаивает на том, чтобы переводчик уподобился "чужеземцу в собственном языке", что, с его точки зрения, позволило бы одновременно достичь двух целей: во-первых, проявить уважение к чужому тексту и сохранить ядро его уникальной тайны, а во-вторых, десхематизировать собственный язык, обнажив изнанку значений, заставив "языковых туземцев" вдуматься в привычную речь. Другими словами: поскольку переводчик грешен в силу самой природы явления (он стремится присвоить себе оригинальный текст), то по крайней мере ему следует сознательно и последовательно бороться с собой, добиваясь "очуждения" собственного языка вместо "адаптации" чужого.

Однако вслед за Б. Хатим и И. Мейсон, авторами книги "Переводчик как субъект коммуникации", отмечающими, что внимание Венути сосредоточено на одном лишь оригинале — он видит лишь то, что в оригинале утрачивается переводчиком, — можно повторить: "Там, где есть потери, возможны и приобретения".

Анализу "баланса" подобных потерь и приобретений в каждом конкретном случае и посвящен в первую очередь польский журнал.

Значительная часть его материалов связана с переводом поэзии — самым "магическим" и одновременно самым уязвимым родом переводческого искусства.

Станислав Бараньчак, один из крупнейших польских переводчиков и поэтов XX веке, комментируя изданные несколько лет назад в Америке переводы Анны Ахматовой, иронизировал, что к книге, мол, надо бы приложить носителя языка, который будет по первому требованию декламировать стихи в оригинале, ибо в переводах их музыка утрачена безвозвратно. Известны и язвительные пассажи Бродского, адресованные англоязычным переводчикам русской поэзии. Бродскому же принадлежат слова о том, что перевод поэзии требует "стилистической, если не психологической *конгениальности*". С этим перекликается реплика Ю. М. Лотмана: для того чтобы английский поэт "вошел" в русскую литературу, "должен возникнуть его культурный *двойник*".

В этой связи журнал затрагивает и интереснейшую с точки зрения языка и психологии проблему отношений поэта к переводу своих произведений: вспомним, что Мандельштама в тридцатые годы приводила в ужас сама возможность "быть переведенным" ("И, может быть, в эту минуту/ Меня на турецкий язык/ Японец какой переводит /И прямо мне в душу проник". Или: "Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:/ Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить".), а Бродский, напротив, рассматривал перевод (в первую очередь как раз поэтический) как фундаментальный принцип мировой цивилизации, построенный на способности к самопожертвованию, ограничению эгоцентрических амбиций и претензий — для него это всегда был *диалог* языковых стихий, дающий в результате сплав *чужого*, ставшего своим, и *своего*, отдаваемого чужому. Все высказывания Бродского о поэзии и переводе связаны с глубоко и очень лично пережитой им идеей взаимосвязи лингвистического и психологического контакта поэта и — шире — человека с миром. И если для Бродского *лингвистическое* превосходство поэта есть превосходство *психологическое*, то перевод, оперативно расширяя лингвистические возможности поэзии, расширяет одновременно и границы формируемого ею психологического языка (неслучайно в том же эссе об Одене Бродский говорит о "расширении души" как конечном смысле поэзии).

С точки зрения А. Загаевского, польского поэта и эссеиста, беседа с которым опубликована в одном из номеров "Пшекладанца", многое в переводах его собственных стихов "остается закрытым — требуется слишком интимное знание языка". В то же время поэт инстинктивно предпочитает максимально точные переводы, поскольку в них "больше ощущает свое присутствие, что, впрочем, является лишним доказательством того, что переведенное стихотворение продолжает функционировать самостоятельно".

Если Загаевский, по его словам, никогда не вмешивается в процесс перевода ("Чужой язык — это лишь чужой язык", "знать его и писать на нем — далеко не одно и то же"), то молодой польский поэт Яцек Подсядло, по утверждению консультировавшегося с ним переводчика Павла Марцинкевича, "действовал так, словно писал стихи на другом языке <...> и не раз вносил поправки, руководствуясь лишь собственным поэтическим слухом. <...> Эти исправления <...> отдаляли текст от оригинала, доказывая тем самым, что даже авторизованный перевод стремится к определенной текстуальной независимости".

В связи с постоянно публикующимися в журнале переводами, сделанными *не*носителями языка, рассматривается проблема перевода на неродной язык, удачно воплощенная одним из авторов в следующем образе: "Перевод поэзии на неродной язык похож на уборку чужой и весьма захламленной квартиры с закрытыми глазами. Плохо себе представляешь, как расположены комнаты, как они обставлены. Можно, правда, что-то отодвинуть к стенке, кое-как подмести пол, пропылесосить ковры. Но всем этим действиям сопутствует неуверенность — а вдруг что-нибудь сломалось, вдруг теперь стоит вверх ногами, — другими словами, не получился ли в результате еще больший беспорядок. <...> Все комнаты этой "квартиры" я убирал с одинаковым тщанием. Но если, сняв с глаз повязку, я обнаружу посреди одной из них кучу мусора в терновом венце деревянных обломков, то ничуть не удивлюсь". Однако, как утверждает переводчик, чувство неуверенности компенсируется "бурными познавательными эмоциями: перевод на чужой язык позволяет нам новыми глазами взглянуть на родной с детства язык", ибо "фразеология языка, которым мы пользуемся каждый день, воспринимается бездумно, словно своего рода прозрачная упаковка вещей и событий, среди которых проходит наша жизнь". Другими словами, это один из парадоксальных путей, ведущих к цели, обозначенной Венути и Шлейермахером (несмотря на то, что последний называл таких переводчиков на неродной язык "дезертирами" и "предателями"), и — в другом ключе — М. Мамардашвили: обогащение языка через чтение, позволяющее преодолеть его "готовые значения", ведь перевод, в сущности, представляет собой возможно более глубокое прочтение текста. В переводе так или иначе всегда выстраивается психологическая модель вероятностного — по отношению к выраженному на языке оригинала — переживания. В "душевном" опыте другого языка, в чужом психологическом контексте рождается предощущение новых возможностей собственной речи.

Из многочисленных "сюжетов" журнала остановимся еще на двух, занимающих в нем особое место. Это проблемы перевода Шекспира и классики в целом.

Анализируя различные польские переводы "Гамлета", исследователи прослеживают решения переводчиков, порой вынужденных делать выбор между передачей игры слов и максимально точным воспроизведением смысла, сравнивают пути, избираемые авторами, которые стремятся вызвать у польского читателя реакции, подобные тем, что пробуждает шекспировский текст у англичанина, воплотить в польском переводе столь легко утрачиваемую естественность остроумия, по возможности адекватно выстроить образ Гамлета (ведь одно неверное слово способно мгновенно превратить его либо в инфантильного истерика, либо в раздражительного чудака). Нельзя не отметить и увлекательнейший сюжет, в который складываются небольшие эссе, посвященные переводу отдельных сонетов Шекспира. Эти материалы дают возможность увидеть трудности, которые представляет для переводчика в одних случаях шекспировская метафорика и образность, в других — сложнейшая и одновременно изящная "аргументация" заданного тезиса и пардоксальность поэтического вывода. Неудачное решение переводчика способно нарушить безупречную логику или лишить сонет таинственной двусмысленности, ибо воспроизведение многозначности поэзии Шекспира также оказывается малодоступной задачей: простые, на первый взгляд, слова необычайно трудны для интерпретации и перевода, что нередко заставляет переводчика отказываться от части метафор, вследствие чего утрачивается целостность образа.

Проблемы перевода классики в основном рассматриваются на материале итальянской, английской и польской литературы, и речь здесь идет о специфических проблемах и специфическом "профессиональном риске", связанном с большой лингвистической и культурной дистанцией между оригиналом и современным восприятием. Уж не говоря об опасности просто не понять текст, возникает вопрос частичной или полной стилизации и архаизации языка, что, по мнению исследователей, оправдывает себя при переводе скорее комически-реалистической поэзии, для которой характерна разговорная лексика, как и тяготеющих к архаике религиозных произведений, чем любовной поэзии с ее точным и нейтральным языком. Кроме того, немалую сложность представляет проблема верного "хронологического" решения — выбора возможного языкового контекста в собственной литературе: "ошибиться эпохой" не так уж трудно в силу несовпадения во времени литературных периодов в разных частях Европы. Так, попытка передать поэзию Петрарки языком Д. Наборовского и Яна А. Морштына, чье творчество считается вершиной старопольской любовной поэзии, обречена на жалкое подражательство, однако излишнее осовременивание, в свою очередь, грозит разрушением формы. Другой пример — перевод на английский поэзии Я. Кохановского, поэта польского Ренессанса. С точки зрения процесса кристаллизации национальных языков он наиболее близок Чосеру. Но перевод польского поэта на английский язык XIV века неминуемо обернется пародией, поскольку разница между языком Чосера и современной английской речью больше, чем между языком Кохановского и современным польским. В любом случае перевод поэзии прошлых веков требует от переводчика особой интуиции и языкового слуха: "Чем идеальней — удаленней — объект, тем скрупулезней его изображение, точно расстояние поощряет — развивает — хрусталик" (Бродский).

Журнал продолжает целенаправленно помогать именно молодым переводчикам. Помимо того, что он предоставляет им свои страницы (другой возможностью по-прежнему является "Литература на свете"), "Пшекладанец" проводит "переводческие мастерские", конкурсы и т. д.

"Мы вовсе не рассчитывали отыскать некий универсальный переводческий фокус-покус, мгновенно раскрывающий секрет любого текста, — писала редколлегия журнала, представляя новое издание, — напротив, главный смысл нашего кухонного времяпрепровождения заключался именно в скрупулезном анализе каждой изюминки, методов разбивания яиц, движений венчика и все совершенствующихся движений руки, замешивающей тесто". И в самом деле, столь драматический вопрос, как тот, можно ли избежать безнадежно унылой сноски "Непереводимая игра слов (*прим. перев.*)", ставится и решается каждый раз словно бы впервые — переводчиком, читателем, критиком...

Ирина Адельгейм

## Смешной недуг мистера Эндерби

Э. Бёрджесс. *Мистер Эндерби изнутри.* Роман. Перев. с англ. Е. В. Нетесовой. М.: Центрполиграф, 2002

Летом 1963 года малоизвестному английскому романисту, проживавшему в местечке Энгхэм, пришла бандероль из газеты "Йоркшир пост", где он подхалтуривал в качестве литературного обозревателя. В упаковке лежала книжная новинка — роман Джозефа Келла "Мистер Эндерби изнут-

ри"; редактор просил как можно быстрее его отрецензировать. Поколебавшись, наш герой накатал умеренно-доброжелательную рецензию, честно предупредив: творение Джозефа Келла — "грязная книга", способная отпугнуть впечатлительных читателей, поскольку изобилует физиологическими подробностями и "превращает в посмешище секс, религию и государство".

Спустя неделю после публикации рецензии в британской прессе, сохранявшей тогда остатки патриархальной добропорядочности, вспыхнул скандал. Газета "Дейли мейл" выступила с разоблачением и оповестила весь честной народ о том, что Джозеф Келл и автор недавней рецензии — одно и то же лицо. Возмущенный редактор "Йоркшир пост" публично предал анафеме беспринципного ловчилу, чье имя было... Да вы и сами уже догадались — Энтони Бёрджесс. "Мистер Эндерби изнутри" — один из тех пяти романов, что были написаны им в течение 1960 года. Столь невероятная производительность объясняется очень просто: врачи обнаружили у Бёрджесса неоперабельную опухоль головного мозга и заявили, что 1960 год будет последним годом его жизни. Вот и стал бедняга строчить роман за романом в надежде хоть как-то обеспечить будущее своей жены.

История больничных злоключений писателя (вопреки прогнозам британских эскулапов дожившего аж до 1993 года) легла в основу пикарескного романа "Доктор болен" (1960), нашпигованного гэгами, трагифарсовыми ситуациями и потешными персонажами буффонадного пошиба. "Мистер Эндерби изнутри" (он вышел под псевдонимом по просьбе издателей, напуганных чудовищной плодовитостью автора) внешне выдержан в том же бурлескном ключе. Главный герой, косноязычный, неопрятный, преждевременно одряхлевший поэт Эндерби, ведущий затхлое, полурастительное существование в курортном городке на побережье Ла-Манша, то и дело попадает в переделки: страдая метеоризмом, он в самые неподходящие моменты неприлично громко испускает ветры (во время торжественной речи амбициозного издателя Гудбая, который хотел было осчастливить его литературной премией, или во время свидания с внезапно обнаружившейся почитательницей, красавицей-журналисткой Вестой Бейнбридж). Ему постоянно угрожают ревнивые мужья — даром что этот тихоня и анахорет смертельно боится женщин и лишь изредка пробавляется онанизмом, успокаивая плотские позывы. Блюдо, приготовленное им по рецепту из дамского журнала, едва не отправляет его к праотцам, поскольку вместо аппетитного и питательного "Сюрприза из спагетти с сыром" он, словно Вовка из Тридевятого царства, сварганил нечто невообразимое из горелого теста и неочищенных долек чеснока. Наконец, жуликоватый собрат по перу, представленный во всех антологиях одним-единственным графоманским стихотворением, крадет у него замысел символической поэмы о Минотавре и Христе, стряпая сценарий костюмного боевика.

Сам Эндерби представляет собой откровенно фарсовую фигуру. Его рабочий кабинет — совмещенный санузел с ванной, доверху заваленной рукописями. Творит бёрджессовский "любимец муз и граций", сидя на унитазе, так что сочинение стихов нередко сопровождается, "трескучими взрывами в кишечнике" и телесными выхлопами, которые, чаще, чем хотлось бы читателю, воспроизводятся автором с помощью затейливых звукоподражаний: "Пффффрумммпффф"... "Брррррп"... "Перрпф"... Скатологические мотивы назойливо сопровождают Эндерби на протяжении романа и выстраиваются в кощунственную аллегорию, уподобляя творческий

процесс известному физиологическому отправлению. Казалось бы, на вопрос, который из века в век задают себе поэты: "Скажи: твой беспокойный жар —/ Смешной недуг иль высший дар?", — Бёрджесс выбирает первый вариант ответа.

Но роман куда более серьезен, нежели кажется на первый взгляд. По сути, он трагичен, ибо рассказывает о печальной участи поэта в наш непоэтичный "железный век", прекрасно обходящийся без его "мусикийских восторгов".

Впрочем, и нелепый Эндерби, прячущийся от пугающей повседневности в туалетной комнатке, платит враждебному миру той же монетой и черпает вдохновенье в чем угодно — в античной и христианской мифологии, в утвари убогой съемной квартирки, в воде для умывания, в рулоне туалетной бумаги, но только не в той жизни, которая протекает за пределами его холостяцкой берлоги. "Поэзию делают бунтари, изгнанники, аутсайдеры... Поэты ни в чем не нуждаются, кроме самих себя", — заявляет он Весте Бейнбридж, тщетно пытающейся вытащить его из добровольного заточения и примирить с обществом (для чего едва ли не насильно женит на себе и увозит в Рим).

Чары английской Ольги Ильинской (вспоминаем "Обломова", а заодно и самоотверженную неудачницу из "Защиты Лужина") оказываются слишком слабыми. Погрязший в собственных фантазиях и комплексах герой просто-напросто сбегает от нее в Англию, и уже там его настигает расплата: творческое бесплодие, попытка самоубийства, промывание мозгов в психиатрической лечебнице, где ему внушают, что время лирической поэзии прошло, что занятия литературой — признак затянувшегося отрочества, такой же, как "мастурбация, стремление запереться в уборной, бунт против общества и религии". В конце романа перед нами уже не эксцентричный бунтарь и аутсайдер Эндерби, а довольный жизнью обыватель Пигги Хогг, "полезный член общества", после принудительного лечения потерявший не только свое прежнее беспокойное "я", но и фамилию (сюжетный поворот, хорошо знакомый по "Заводному апельсину").

Предвижу, что, прочитав книгу, читатель будет разочарован: слишком многое обещал колоритный персонаж и слишком блеклыми оказались его "римские каникулы" (вторая часть романа). Скомканным кажется грустный финал: автор словно бы просто не знал, что ему делать с удачно найденным героем и "проклятыми" вопросами о смысле творчества.

Но не будем торопиться с оргвыводами, ведь "Мистер Эндерби изнутри" — всего лишь первая часть тетралогии о незадачливом служителе муз. Уже в 1968 году появилось продолжение романа — "Мистер Эндерби снаружи", в котором протагонист, мирно работавший барменом, окунается в водоворот новых приключений. Во время презентации поэтического сборника лидера рок-группы "Crewsey Fixers" Эндерби-Хогг обнаруживает, что книга целиком составлена из его ранних стихотворений, брошенных во время бегства из Рима у Весты Бейнбридж. Став к тому времени менеджером суперпопулярной группы (прообразом которой, по признанию писателя, послужили "Битлз"), она передала творения супруга напористому рокеру, благодаря ей вошедшему в литературный истеблишмент. Во время концерта и презентации поп-идол (окарикатуренный вариант Джона Леннона) погибает от руки завистника (позже Бёрджесс гордился тем, что предсказал убийство Леннона). Улики указывают на злополучного Эндерби, и он бежит из Англии в Испанию, затем в Танжер, где знакомится с представителями авангардной богемы; там к нему нисходит Муза,

дарующая поэтическое вдохновение и уверенность в собственных силах.

В следующем и, по мнению критиков, лучшем романе серии, "Завещание заводному миру, или Конец Эндерби" (1975), описываются нью-йоркские злоключения Эндерби, которого обвиняют в создании садистского порнофильма (отголосок истории с кубриковской экранизацией "Заводного апельсина"). В конце "Завещания..." Эндерби вроде бы как умирает, но только лишь для того, чтобы воскреснуть в заключительном романе тетралогии, "Смутлая леди Эндерби, или Эндерби без конца" (1984).

В общем, читателям, клюнувшим на "Мистера Эндерби изнутри", стоит запастись терпением и ждать, когда "Центрполиграф" или какое-нибудь другое издательство осчастливит их переводами следующих томов плутовской эпопеи. Во всяком случае, у докопирайтного "Мистера Эндерби снаружи" есть все шансы, чтобы его перевод попал на книжные полки российских бёрджессолюбов.

Николай Мельников

## Австрия

### "Альбертина" приглашает

Венский музей "Альбертина", недавно вновь открывший свои двери для посетителей, является одним из крупнейших в мире собраний графики. Основу коллекции, которая включает в себя шестьдесят пять тысяч рисунков и около миллиона гравюр старых и новых мастеров, составляют произведения Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Гойи, Пикассо, Дюрера, Климта и других прославленных художников. Благодаря работам по реконструкции, которые заняли более десяти лет и обошлись почти в сто миллионов евро, музей превратился в одну из главных туристских достопримечательностей.

Трудно поверить в то, что еще не так давно это было мрачное и пыльное здание, одна часть которого была отдана под хранилища, другая — сдавалась под офисы. Замок "Альбертина", расположенный в двух шагах от Венской оперы, был сооружен в XVIII веке и принадлежал герцогу Альберту Саксонскому — основателю коллекции. В 1945 году здание было на три четверти разрушено англо-американскими бомбардировками.

По новому проекту дворец приобрел два подземных этажа: на одном из них устроены запасники для рисунков, на другом находится огромная выставочная площадь размером около тысячи квадратных метров. При этом классические фасады и залы дворца были восстановлены в их первозданном виде: двери и потолки вновь заблестели позолотой, на стенах появились гобелены, комнаты украсили мраморные статуи, фрески, зеркала и хрустальные канделябры.

Всего в музее постоянно работают три выставочных зала. Поскольку рисунки нельзя постоянно держать на свету, дирекция "Альбертины" планирует полностью обновлять экспозиции не реже, чем раз в три или четыре месяца. Первыми выставками после открытия стали ретроспектива работ норвежского символиста Эдварда Мунка и две фотоэкспозиции: "Глаз и фотоаппарат" и "Роберт Лонго".

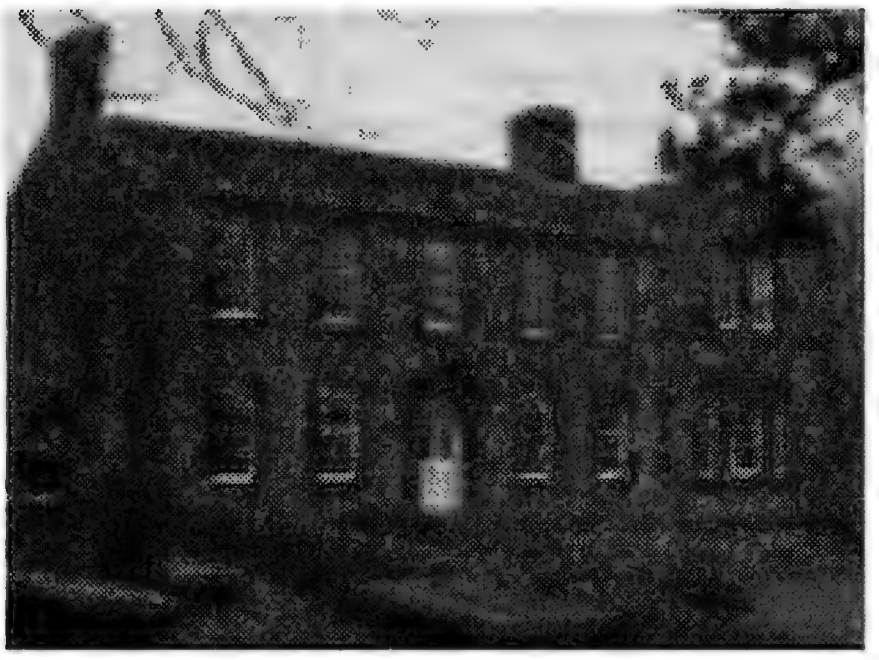
*Дворец "Альбертина", 1804 г.*

## Великобритания

### Неизвестная Шарлотта Бронте

Настоящей неожиданностью для читателей стало появление на страницах лондонской "Таймс" неизвестного произведения Шарлотты Бронте — 34-странично-го рассказа "Стэнклифская гостиница" из серии так называемых "ангрийских новелл". Действие в нем происходит в Ангрии — фантастической стране, созданной воображением Шарлотты и ее брата Брэнуэлла в школьные годы. Романтические фигуры героев, населявших эту страну грез, главным из которых был своенравный и обольстительный граф Заморна, создавались под сильным влиянием поэзии Байрона и его поэм — "Корсар" и "Гяур". Шарлотта и Брэнуэлл сочинили несколько десятков рассказов, стихотворений и дневников, написанных от лица вымышленных персонажей, продолжая эту литературную игру, когда обоим было уже за двадцать. Рассказ "Стэнклифская гостиница" был написан Шарлоттой Бронте в 1838 году, когда ей исполнилось 23 года. Но почему же он оказался неопубликованным? "Вокруг произведений этого цикла образовался мистический ореол. Считалось, что понять их может лишь тот, кто хорошо знаком с первыми литературными опытами старшей Бронте", — объясняет Хизер Глен — редактор, подготовившая новеллу к публикации.

Именно по этой причине до недавнего времени познакомиться с ангрийскими сюжетами смогла только горстка специалистов, работавшая с архивными материалами. Впрочем, у непосвященных имелась возможность увидеть эти сочинения на выставках, где они фигурировали в качестве экспонатов. Надо сказать, что путь к читателю "Стэнклифской гостиницы" оказался столь долгим и вследствие непростой судьбы самой рукописи. Оригинал — небольшие листочки, исписанные мелким почерком (более тысячи слов на каждой странице) — после смерти автора попал в Ирландию, а затем в США, в частную коллекцию. В конце концов рукопись вернулась в Англию и хранилась в музее сестер Бронте, расположенном в графстве Йоркшир в доме, где выросли будущие писательницы.



*Музей сестер Бронте*

Ни по стилю, ни по сюжету "Стэнклифская гостиница" не походит на "Джейн Эйр". Она состоит из нескольких внешне не связанных эпизодов, о которых в ироничной манере повествует Чарльз Тауншенд, дэнди, которому "нужно полчаса, чтобы одеться, и еще полчаса, чтобы оглядеть себя с головы до ног". Для новеллы характерны резкие смены сцен, тона и атмосферы, однако в целом она создает впечатление цельного и законченного произведения. Рассказ о дамской сентиментальности и мужском тщеславии, на взгляд редактора, близок читателям XXI века, которые сумеют по достоинству оценить его и другие произведения из ангрийской серии, которые также готовятся к печати: сборник из пяти новелл должен выйти в свет в конце года.

## Кто хочет стать миллионером?

Английский зоолог Ричард Конниф нашел, пожалуй, один из самых оригинальных способов применения теории эволюции Дарвина, описав с ее помощью поведенческие особенности богатых людей. Результатом стало обширное исследование, "Естественная история богачей", выпущенное английским издательством "Эйнеман". Основные тезисы автора просты: плутократы отличаются от простых смертных, следовательно, их можно объединить в особый подвид.

Для изучения нравов сильных мира сего Конниф посещает шикарные бары Монте-Карло, альпийские лыжные курорты и пятизвездочные отели Беверли-Хиллс, берет интервью у монакского князя Рэнье, пускает пыль в глаза голливудским магнатам и финансистам с Уолл-стрит, даже проникает в Бленеймский дворец. Наблюдения он старательно фиксирует в дневнике, а затем иллюстрирует примерами из жизни животных.

Личные состояния, утверждает автор, возникли тогда, когда сельское хозяйство достигло в своем развитии определенного уровня и появились излишки, то есть сравнительно недавно. До того на протяжении тысячелетий люди жили в равенстве, вынужденные делиться пропитанием, поскольку от этого зависело их выживание. Поэтому неприязнь к богачам, возможно, связана с процессом эволюционной адаптации.

На вопрос, счастливы ли богатые, Конниф не дает однозначного ответа. Некоторые из его собеседников, особенно мужчины, выглядели вполне жизнерадостными и уверенными в себе. Однако богатые редко считают себя таковыми. Отсюда вечная неудовлетворенность. Им приходится тратить нервные клетки на приумножение своих капиталов. Страшась грабителей или шантажистов, они замыкаются в гигантские поместья, напоминающие безлюдные мини-города. Конниф посетил одно такое владение под Лос-Анджелесом, на его территории располагались парк с аттракционами, театр, по архитектуре напоминающий парижскую Гранд-опера, олимпийский бассейн, ночной клуб и римские бани. В этом Конниф усмотрел тревожные симп-

томы, поскольку, как он считает, людям необходимо общение. При свете дня приматы могут действовать в одиночку, но с приближением темноты они собираются в стаю и прячутся под кроны деревьев. Оторванные от себе подобных, они начинают паниковать — совсем как богачи в своих особняках. Автор так и не приходит к определенному выводу по поводу того, хорошо или плохо уподобляться шимпанзе. С одной стороны, он находит такой тип поведения вполне естественным. Но с другой, при таком образе жизни остаются незадействованными многие функции, если, конечно, принять во внимание, что люди обладают речью и разумом.

## Германия

### Самая "быстрая" книга в мире

По случаю Международного дня книги один из культурных фондов, расположенный в городе Майнце, решил установить своеобразный рекорд в области книгоиздания. Собрав сорок немецких писателей, он поручил им написать самую "быструю" книгу в мире. Вклад каждого участника этого литературного эксперимента составлял две страницы, на написание которых ему давалось два часа, а на всю акцию, включая редактирование и типографский набор, отводилось двенадцать часов. В течение этого времени организаторы мероприятия планировали напечатать тысячу экземпляров книги.

По словам представителя фонда, они выбрали такой необычный способ для того, чтобы пробудить интерес публики к печатному слову. Они не рассчитывают выпустить бестселлер, просто хотят показать, что и такое возможно.

## Куба — США

### Наследие Хемингуэя

Тысячи писем, фотографий, книг с пометками — все эти бесценные для исследователей материалы, оставленные на Кубе Хемингуэем, более четырех десятилетий пролежали в подвале его усадьбы "Финка Вихья", расположенной вблизи Гаваны, где писатель жил с 1939-го по 1960 год.

После смерти Хемингуэя дом, где были созданы "По ком звонит колокол", "Старик и море", "Праздник, который всегда с тобой", вместе с обстановкой, коллекцией ружей и библиотекой был передан государству и превращен в мемориальный музей. Однако доступ в него был строго ограничен. Что до архивов, то они так и остались закрытыми для специалистов.

Открытия архивов добилась внучка Максуэлла Перкинса, издателя и друга Хемингуэя. Кроме того, после ее визита на Кубу было подписано соглашение, благодаря которому двери усадьбы распахнулись для всех желающих.

Другим важным событием, связанным с именем американского классика, стала передача Бостонскому музею и библиотеке имени Кеннеди тридцати его писем, адресованных Марлен Дитрих.

Этот дар сделала дочь знаменитой актрисы Мария Ривá, которая после смерти Марлен Дитрих в 1992 году стала владелицей эпистолярного наследия матери. Кроме писем, Мария Рива подарила библиотеке рукописи трех произведений писателя, в том числе романа "За рекой, в тени деревьев", а также два его стихотворения — одно из них с посвящением "Марлен от Папы".

Письма, которые Хемингуэй писал на протяжении десяти лет, с 1949-го по 1959 год, пополнят обширный архив писателя, хранящийся в библиотеке имени Кеннеди в специальном зале. Согласно завещанию Марлен Дитрих, специалисты смогут познакомиться с ними в 2007 году.

По словам сына Марии Рива Петера, Марлен Дитрих и Эрнеста Хемингуэя связывали не просто приятельские отношения, а настоящая дружба, но между ними никогда не существовало плотской близости, хотя писателю льстила мысль о том, что окружающие считают их любовниками.

Петер Рива предполагает, что остальная часть переписки, а именно письма Марлен Дитрих Хемингуэю, находятся на Кубе в бывшей усадьбе Хемингуэя.

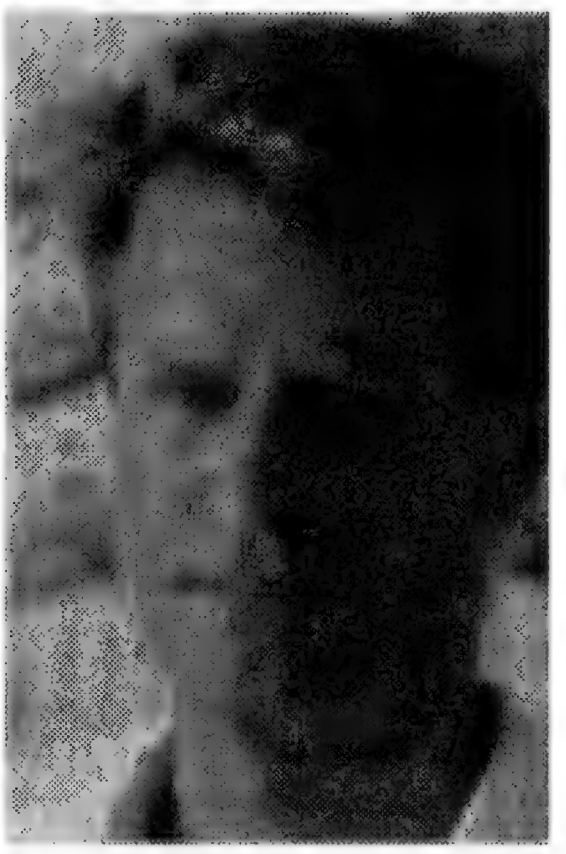
## Франция

### Ностальгия Жан-Мари Гюстава Леклезио

Одним из главных литературных событий 1963 года стал триумфальный дебют двадцатилетнего Жан-Мари Гюстава Леклезио, получившего премию "Ренодо" за роман "Протокол". Выход его последнего романа "Революции" (издательство

"Галлимар"), который совпал с сорокалетним творческим юбилеем писателя, также вызвал широкий резонанс. Работу над ним Леклезио начал еще три года назад в Америке. "Я не люблю спешки, — поясняет он в одном из интервью. — Вообще, писать — занятие утомительное и плюс ко всему довольно загадочное. Лично мне либо пишется, либо не пишется вовсе. А штат Нью-Мексико я выбрал потому, что здесь все настраивает на нужный мне плавный ритм: вокруг тихо, пустынно. Но это не мертвая тишина: в ней слышатся шумы Ниццы — города моей юности".

Роман "Революции" во многом автобиографичен. Самый яркий след в памяти писателя оставил отец, хотя воспитывали его по преимуществу мать и бабушка. Впервые мальчик увидел отца, который служил на острове Маврикий военным медиком, когда ему исполнилось семь лет, приехав в Африку с матерью и братом. "По сути, отец делал то же самое, что и сотрудники благотворительной организации "Врачи без границ", с той лишь разницей, что его положение было более скромным и неприметным, — рассказывает писатель. — В течение сорока лет он самоотверженно выполнял свой долг, и от тяжкого труда надорвался физически и морально". При этом формально такие люди, как он, считались колонизаторами. Именно по этой причине Жан-Мари Леклезио не может осуждать колонизацию безоговорочно, что он как-то и высказал на одной из конференций по проблемам Африки — к немалому возмущению африканских представителей.



*Ж.-М. Леклезио*

Что до названия романа, то для автора революция — понятие прежде всего философское, означающее вращение, переворот, изменение. "Одни люди находятся наверху иерархической лестницы, другие — внизу. Но стоит колесу истории — или фортуны — повернуться, как люди меняются местами, и те, кто вчера пребывал в аду, завтра могут очутиться в раю". Впрочем, в романе описаны и реальные революционные события, в которых принимает участие один из героев, двадцатилетний бретонец Жан: в июле 1792 года он оставляет свою деревню и присоединяется к революционным войскам. А два года спустя Жан кардинальным образом меняет жизнь, отправившись на Маврикий в поисках лучшей доли.

Вторая сюжетная линия, которая развивается параллельно, переносит читателя в 1950-е годы — эпоху войны в Алжире. Далекий потомок Жана перебирается из Ниццы в Лондон, чтобы изучать медицину, а затем оседает в Мехико, где примыкает к студенческому движению.

Что же для автора главное в этой "саге о кочевниках"? Понять историю? По-новому взглянуть на политические события? Изучить корни рода Леклезио? Критики считают, что у романа может быть несколько прочтений, но главное в нем — это атмосфера ностальгии, тоски по ушедшему детству.

По материалам газет "Лондон телеграф" и "Таймс" [Великобритания], еженедельника "Нью-Йорк таймс бук ревью" [США], газет "Либерасьон", "Монд" и еженедельника "Фигаро литтерер" [Франция].

**Джон Апдайк**
**John Updike**
[р. 1932]. Американский писатель, член американской Академии искусства и науки.

Автор романов *Кентавр* [*The Centaur*, 1963; Национальная книжная премия; рус. перев. *ИЛ*, 1965, № 1, 2], *Кролик, беги* [*Rabbit, Run*, 1960; рус. перев. 1979], *Кролик исцелившийся* [*Rabbit Redux*, 1971], *Кролик разбогател* [*Rabbit Is Rich*, 1981; рус. перев. 1986], *Кролик на отдыхе* [*Rabbit at Rest*, 1990] и др. В *ИЛ* напечатаны также его романы *Ферма* [1967, № 4], *Давай поженимся* [1979, № 7, 8], рассказы и эссе из книг разных лет [1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10; 1999, № 9; 2003, № 7].
Публикуемый рассказ *The Reading of Religious Experience* был опубликован в журнале *The Atlantic Monthly* [2002].

**Милан Кундера**
**Milan Kundera**
[р. 1929]. Чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий Франции и Италии. С 1975 г. живет во Франции. Пишет на чешском и французском языках.

Автор сборника стихов *Монологи* [*Monology*, 1957], пьесы *Владельцы ключей* [*Majitelé klíčі*, 1962], романов *Жизнь в другом месте* [*Život je jinde*, 1970], *Вальс на прощание* [*Valčik na rozloučenou*, 1972; рус. перев. 1999] и др. В *ИЛ* были напечатаны романы *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], *Неспешность* [1996, № 5], *Подлинность* [1998, № 11], эссе *Когда Панург перестает быть смешным* [1994, № 7], рассказ *Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам* [2001, № 2]. Собрание сочинений М. Кундеры выходит в издательстве Азбука.
Главы из романа публикуются по изданию *Kniha smichu a zapomen* [Toronto, Sixty-eight Publishers, 1981].

**Мария Виктория Атенсиа**
**María Victoria Atencia**
Испанская поэтесса. Лауреат Национальной премии критики [1998], премии Луиса де Гонгоры [2000] и др.

Автор сборников *Марфа и Мария* [*Marta y María*, 1976], *Сны* [*Los sueños*, 1976], *Огонь, где ты горишь* [*De la llama en que arde*, 1988], *Сигнал* [*La señal*, 1990] и др.
Большинство публикуемых стихотворений взято из книги *El Huego* [Barcelona, Tusquets Editores, 2003], остальные — из разных сборников.

**Януш Гловацкий**
**Janusz Głowacki**
[р. 1938]. Польский прозаик, драматург. С 1981 года живет в США. Лауреат многих литературных премий.

Автор сборников рассказов и фельетонов *Водоворот абсурда* [*Wirówka nonsensu*, 1968], *Новый танец ля-ба-да* [*Nowy taniec la-ba-da*, 1970], *Охота на мух и другие рассказы* [*Polowanie na muchy i inne opowiadania*, 1974], повести *My Sweet Raskolnikow*, 1977; рус. перев. в журнале *Новая Юность*, 1993, № 2]; пьес *Наказанное прелюбодеяние* [*Cudzolóstwo ukarane*, 1972], *Матч* [*Mecz*, 1976], *Охота на тараканов* [*Polowanie na karaluchy*, 1986], *На Пятой авеню* [*Kącik mieszkaniowy*, 1999], *Четвертая сестра* [*Czwarta siostra*, 2002]. В театрах Москвы и других городов были поставлены пьесы *Замарашка* [1979], *Фортинбрас спился* [1990] и *Антигона в Нью-Йорке* [1992].
Публикуемая повесть печатается по изданию *Ostatni Cieć* [Warszawa, Czytelnik, 2001].

**Луиджи Малерба**
**Luigi Malerba**
[р. 1927]. Итальянский писатель.

Автор романов *Змея* [*Il serpente*, 1966; отмечен премией Кампьелло], *Протагонист* [*Il protagonista*, 1973], *Голубая планета* [*Il pianeta azzyrro*, 1986], *Греческий огонь* [*Il fuoco greco*, 1991], *Летающие камни* [*Le pietre volanti*, 1992; премия Виареджо], *Маски* [*Le maschere*, 1995], повести *Саль-*

*то-мортале* [*Salto-mortale*, 1968; французская премия Медичи [1970; рус. перев. в *ИЛ*, 1976, № 5], сборника рассказов *Серебряная голова* [*Testa d'argento*, 1988; премия Гринцане Кавур]. Вместе с Чезаре Дзаваттини Л. Малерба написал сценарий по повести Н. В. Гоголя *Шинель*. В *ИЛ* печатались роман *Итака навсегда* [1998, № 3], рассказы Л. Малербы *Мафиозо* и *Два миллиарда* [1980, № 4], *Серая девушка* [1984, № 8].
Роман публикуется по изданию *Il circolo di Granada* [Milano, Mondadori, 2002].

**Сьюзен Сонтаг**
**Susan Sontag**
Американская писательница, критик, культуролог.

Автор романов *Благодетель* [*The Benefactor*, 1963], *Набор смерти* [*Death Kit*, 1967], сборника рассказов *Я и т. д.* [*I et Cetera*, 1978], сценария фильма *Дуэт для каннибала* [*Duet for Cannibals*, 1970] и др. В *ИЛ* публиковались эссе *Против интерпретации* [1992, № 1], *Думать наперекор себе. Размышления о Чоране* [1996, № 4], *На пути к Арто* [1997, № 4], рассказ *Сцена письма* [1999, № 1] и рассказ *Вот так мы теперь живем* [2000, № 2]. Сборник переводов ее избранных эссе 60—70-х гг. *Мысль как страсть* издан в 1997 г.
Эссе публикуется по изданию *Illness as Methaphor* [London, Penguin Books, 1989].

**Иосиф Александрович Бродский**
[1940—1996]. Поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии [1987]. С 1974 г. жил в США, писал на русском и английском языках.

Автор многих сборников стихов, в т. ч. *Конец прекрасной эпохи* [1977], *Часть речи* [1977], *В окрестностях Атлантиды* [1995], книг эссе *Меньше единицы* [*Less than One*, 1986; премия за лучшую литературно-критическую книгу года в Америке], *Набережная неисцелимых* [1992], *Скорбь и разум* [*On Grief and Reason*, 1995]. В *ИЛ* публиковались его эссе из этих книг [1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 1, 12; 1997, № 1], переводы стихов Дж. Донна [1988, № 9], пьес Т. Стоппарда *Розенкранц и Гильденстерн мертвы* [1990, № 4] и Б. Биэна *Говоря о веревке* [1995, № 2]и др.

**Роберто Калассо**
**Roberto Calasso**
[р. 1941]. Итальянский писатель и культуролог, директор миланского издательства Адельфи.

Автор книг *Падение Каша* [*La rovina di Kasch*, 1983], *Сорок девять ступеней [I quarantanove gradini*, 1991], *Ка* [1996], *Литература и боги* [*La letteratura e gli dei*, 2001], *К* [2002]. Книга *Брак Кадма и Гармонии* [*Le nozze di Cadmo e Armonia*, 1988] была удостоена престижных французских премий *Prix Veillon* [1991] и *Prix du Meilleur Livre Etranger* за лучшую иностранную книгу [1992].
Публикуемые главы печатаются по изданию *Le nozze di Cadmo e Armonia* [Milano, Adelphi Edizioni, 1998].

## Переводчики

**Инна Максимовна Бернштейн**
Переводчик с английского.

В ее переводе изданы романы *Моби Дик* Г. Мелвилла, *Смерть Артура* Т. Мэлори, *Возвращение в Брайдсхед* И. Во, *Черный принц* А. Мердок [*ИЛ*, 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой], *Костры амбиций* Т. Вулфа [*ИЛ*, 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком], *Как все было* Дж. Барнса [*ИЛ*, 2002, № 7], повесть *Десятый* Грэма Грина [*ИЛ*, 1986, № 12], рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др.

**Нина Михайловна Шульгина**
Переводчица с чешского и словацкого языков, критик, лауре-

В ее переводе издавались многие произведения чешских и словацких писателей, в т. ч. В. Шикулы, Р. Слободы, И. Климы, М. Кундеры, М. Вивега и др. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны романы М. Кундеры *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость*

ат литературной премии *ИЛ* [1987] и словацкой премии имени Гвездослава.

*бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], рассказ *Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам* из сборника *Смешные любови* [2001, № 2], а также романы М. Вивега *Лучшие годы псу под хвост* [1997, № 4] и *Летописцы отцовской любви* [2000, № 6].

**Наталья Юрьевна Ванханен**
Поэт, переводчица с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2001].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

**Ирина Васильевна Подчищаева**
Литературовед, переводчик с польского.

В ее переводах изданы рассказы в сборнике *Красивые, двадцатилетние* М. Хласко, рассказы К. Филиповича в книге *День накануне* [2003]. В *ИЛ* были опубликованы рассказы М. Хласко *Письма из Америки* [2000, № 2].

**Фридэнга Михайловна Двин**
Переводчик с итальянского. Лауреат премии *ИЛ* [1985].

В ее переводе изданы романы *Татарская пустыня* Д. Буццати, *Исчез перед рассветом* Дж. Понтиджи, *Греческий огонь* и *Змея* Л. Малербы. В *ИЛ* напечатаны: книга *Делать фильм* Ф. Феллини [1981, № 9—11], сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры *И плывет корабль* [1984, № 9], фрагменты книги *Тот кегельбан над Тибром* Микеланджело Антониони [1985, № 7, 8], сказки А. Моравиа [1990, № 4], повесть *Собаки Иерусалима* Ф. Карпи и Л. Малербы [1994, № 4], роман Л. Малербы *Итака навсегда* [1998, № 3], *Джульетта* Ф. Феллини [1995, № 4] и др. произведения.

**Марк Артурович Дадян**
[р. 1972]. Лингвист, переводчик с английского и французского языков.

В его переводах публиковались произведения В. Набокова, У. Х. Одена, Дж. Бакли и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана Нобелевская речь В. С. Найпола [2002, № 5].

**Елена Николаевна Касаткина**
Переводчица с английского и итальянского языков, автор статей о современной зарубежной литературе.

В *ИЛ* печатались ее переводы эссе И. Бродского.

rinet

*Быстрый доступ*
*Надежная связь*
*Качественный сервис*
*Rinet*

Internet servis provider **www.rinet.ru**

**Услуги подключения к сети INTERNET**

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

**Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00**
**Телефоны:** (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
**Адрес:** Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
**E-mail:** info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Конни Шарфа [р. 1958] *Феликс на пьедестале* [1982].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Санкт-Петербурге — в магазине издательства "Азбука" — ул. Решетникова, д. 15, тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

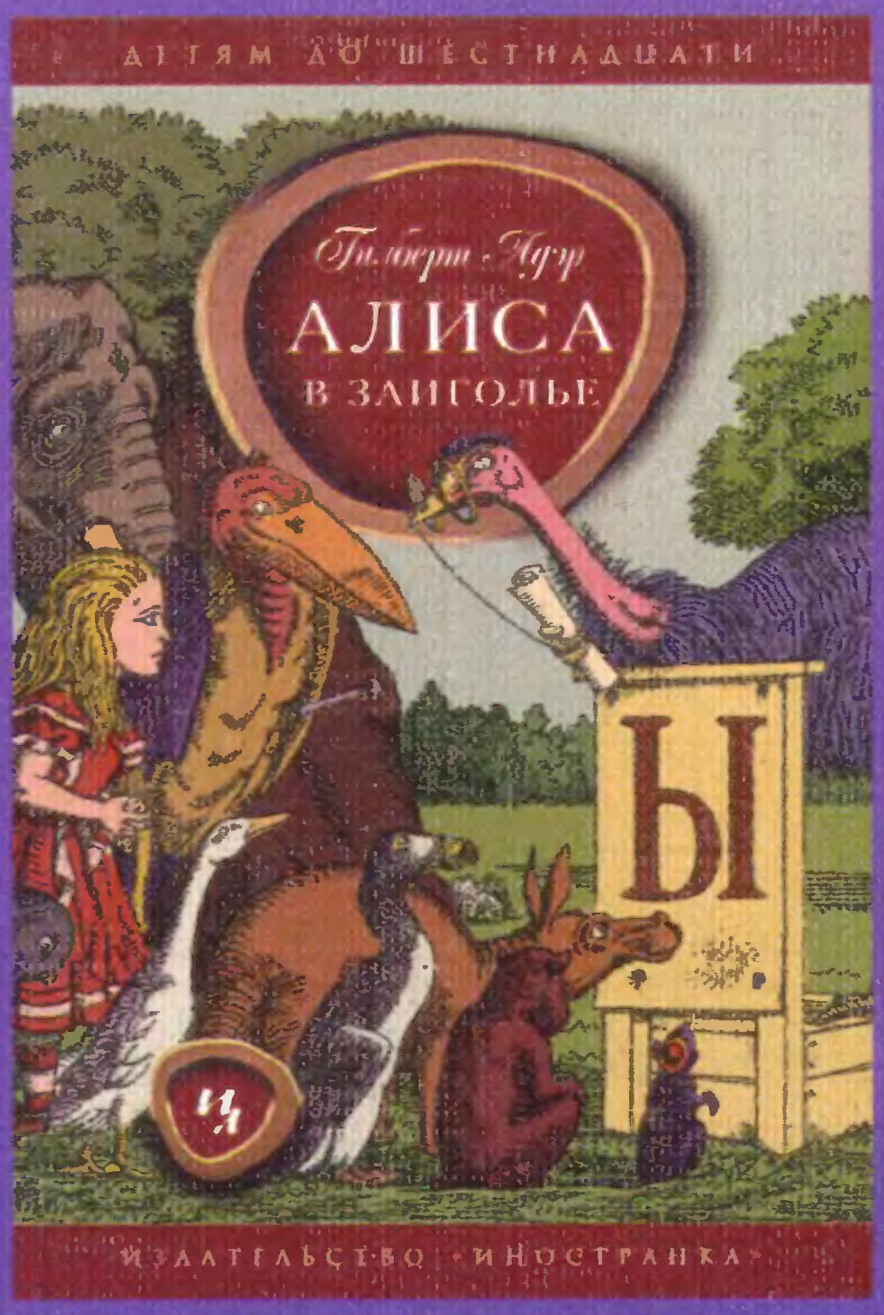
Подписано в печать 15.7.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4630.
Тираж 8450 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

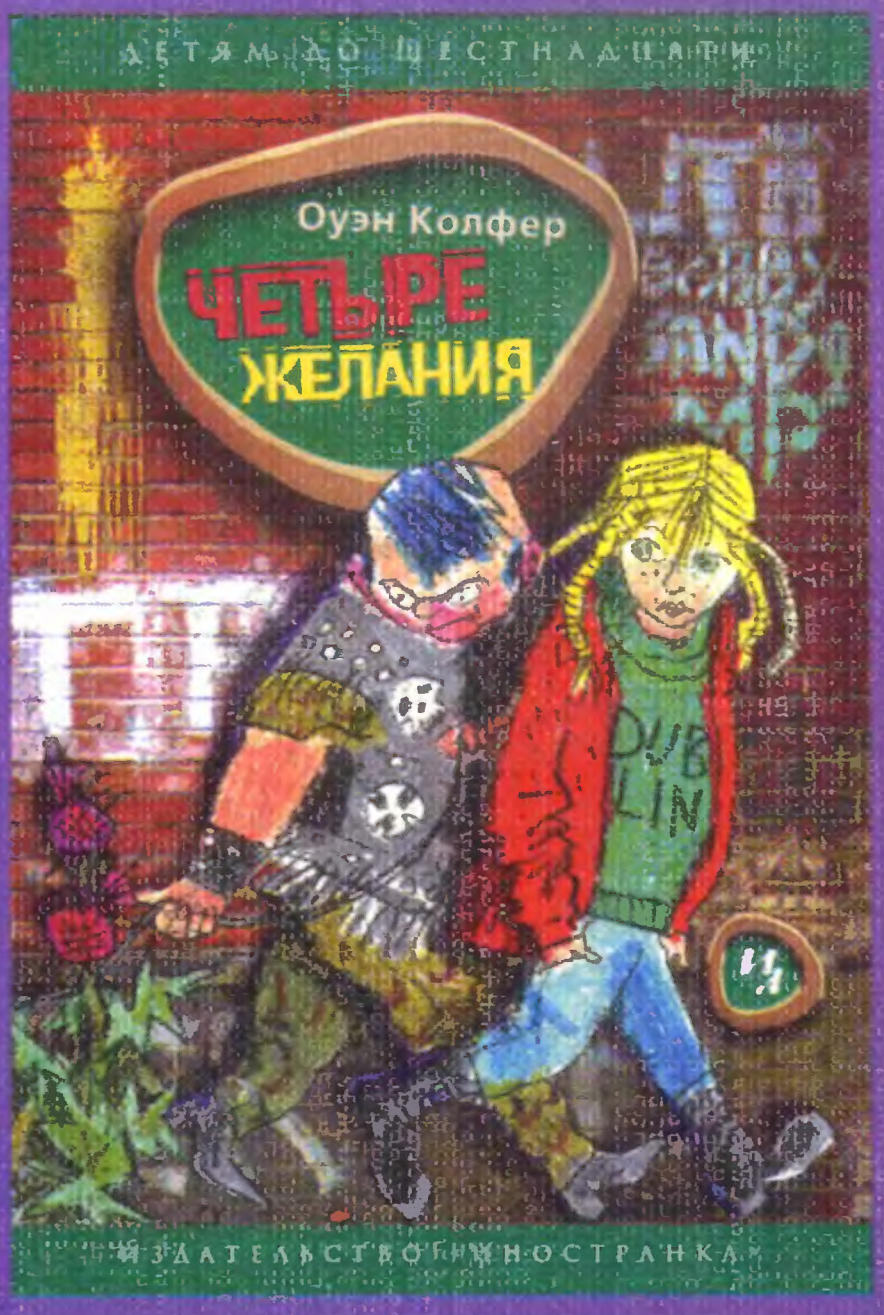
# [ 9 ] 2003

*НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ*

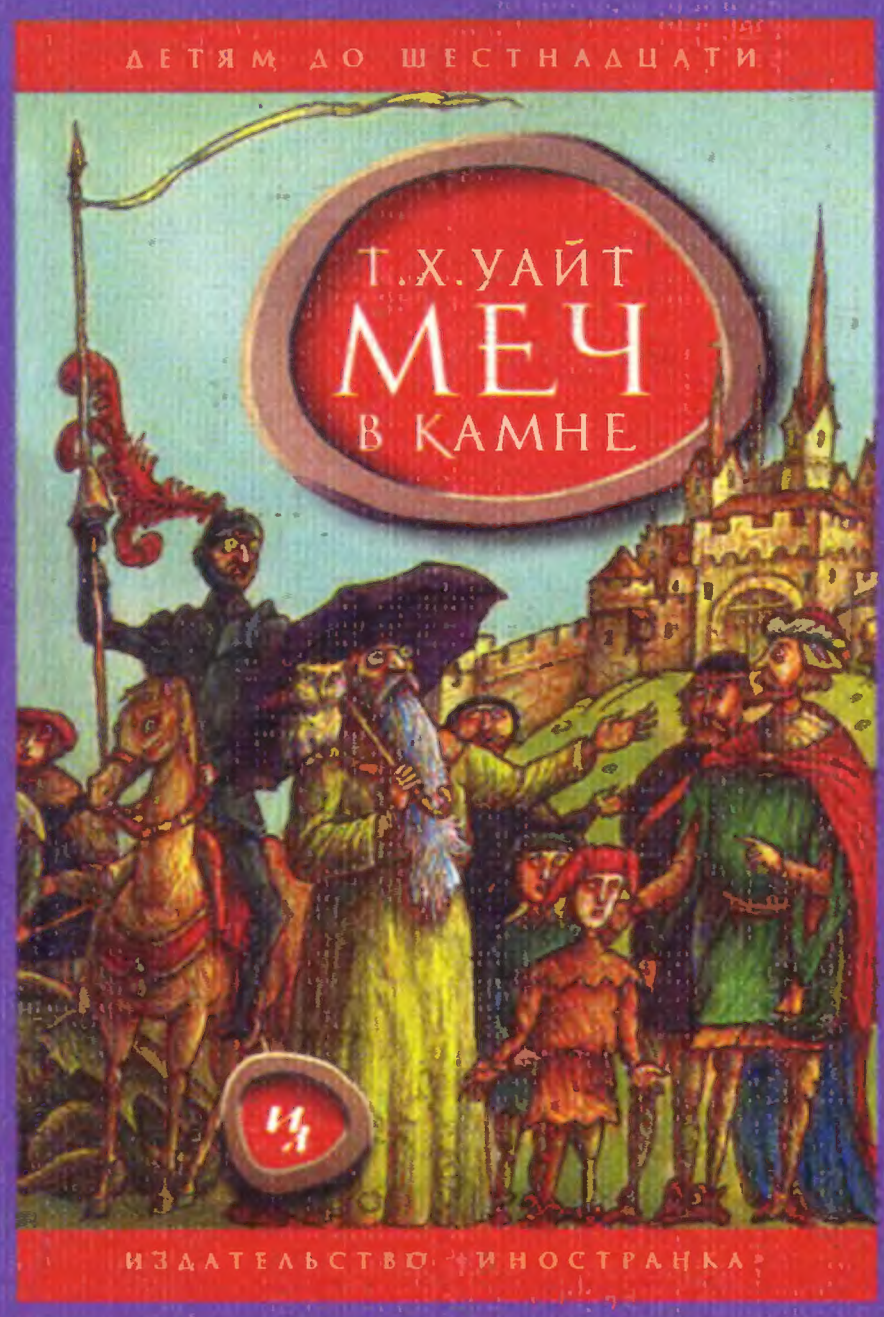
ПОВЕСТЬ КРИСТЫ ВОЛЬФ “НА СВОЕЙ ШКУРЕ” / СТИХИ САИДА И ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА / РАССКАЗЫ КАТИ ЛАНГЕ-МЮЛЛЕР, ЮДИТ ГЕРМАН, ГЕОРГА КЛЯЙНА И ВОЛЬФГАНГА ХИЛЬДЕСХАЙМЕРА / УВЕ ЙОНСОН В РУБРИКЕ “NB” / СТАТЬЯ ТОМАСА МАННА “ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ И ЕГО ПОВЕСТИ”

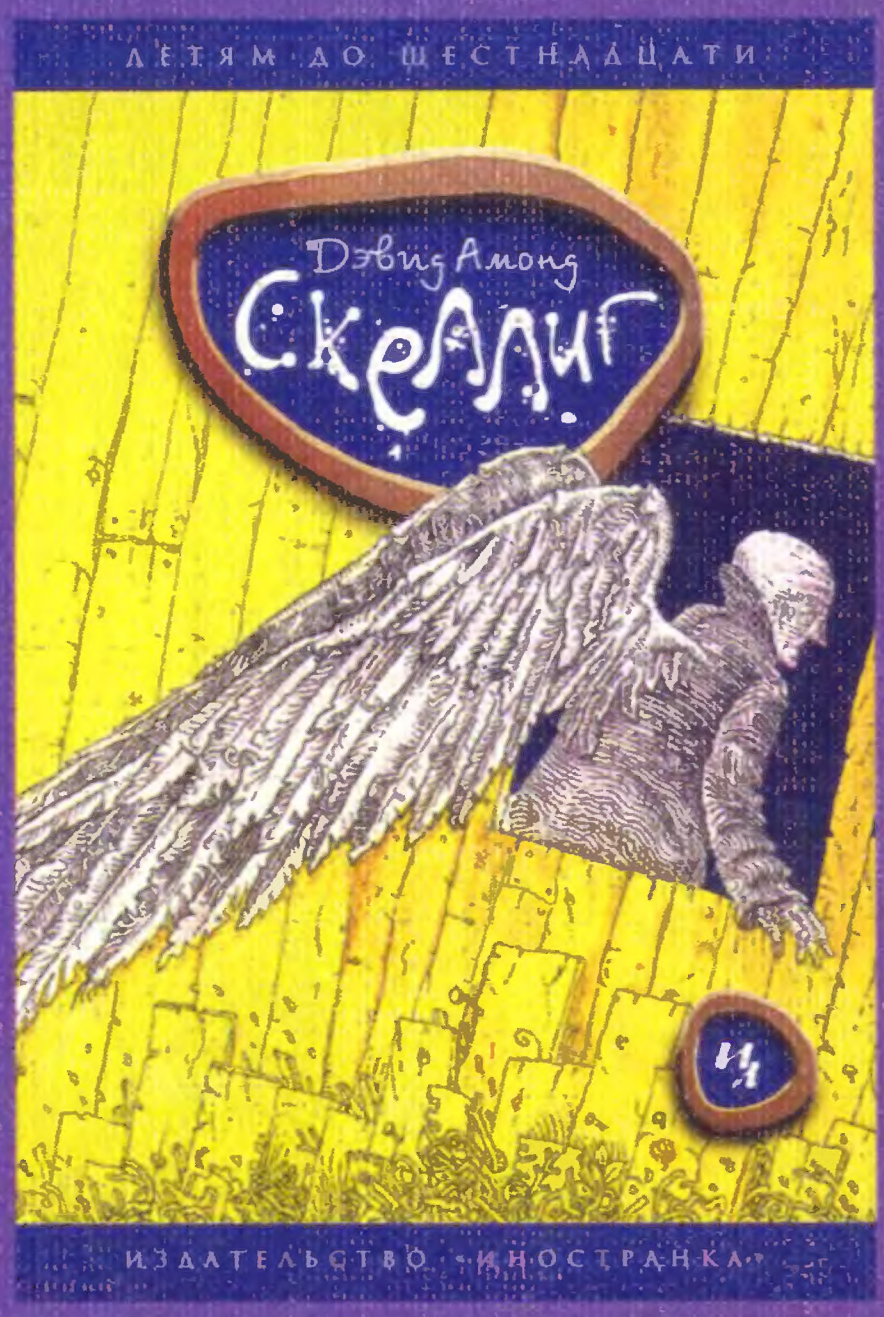
# «ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»




# ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!




# ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003 №8 1-288